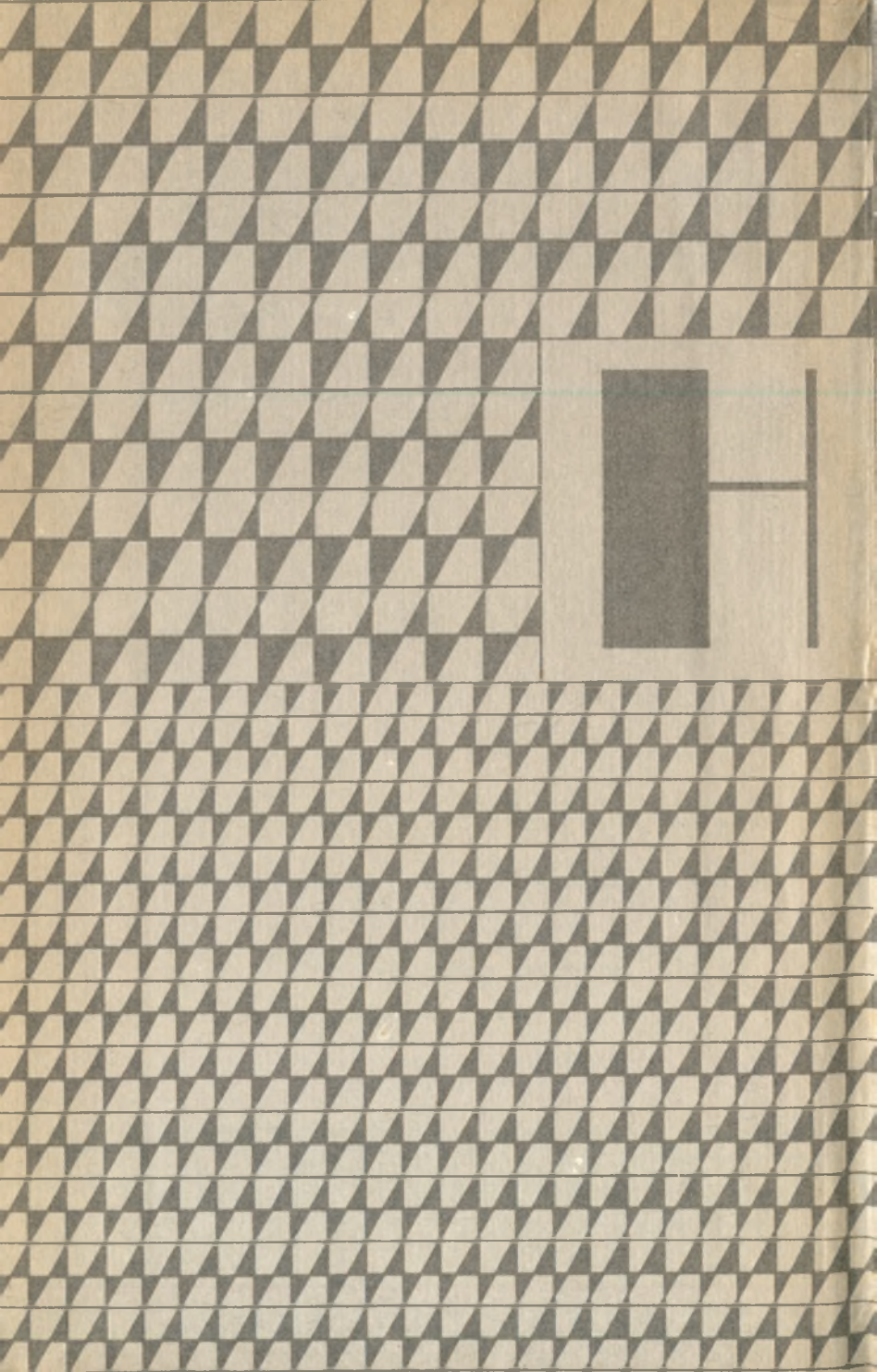


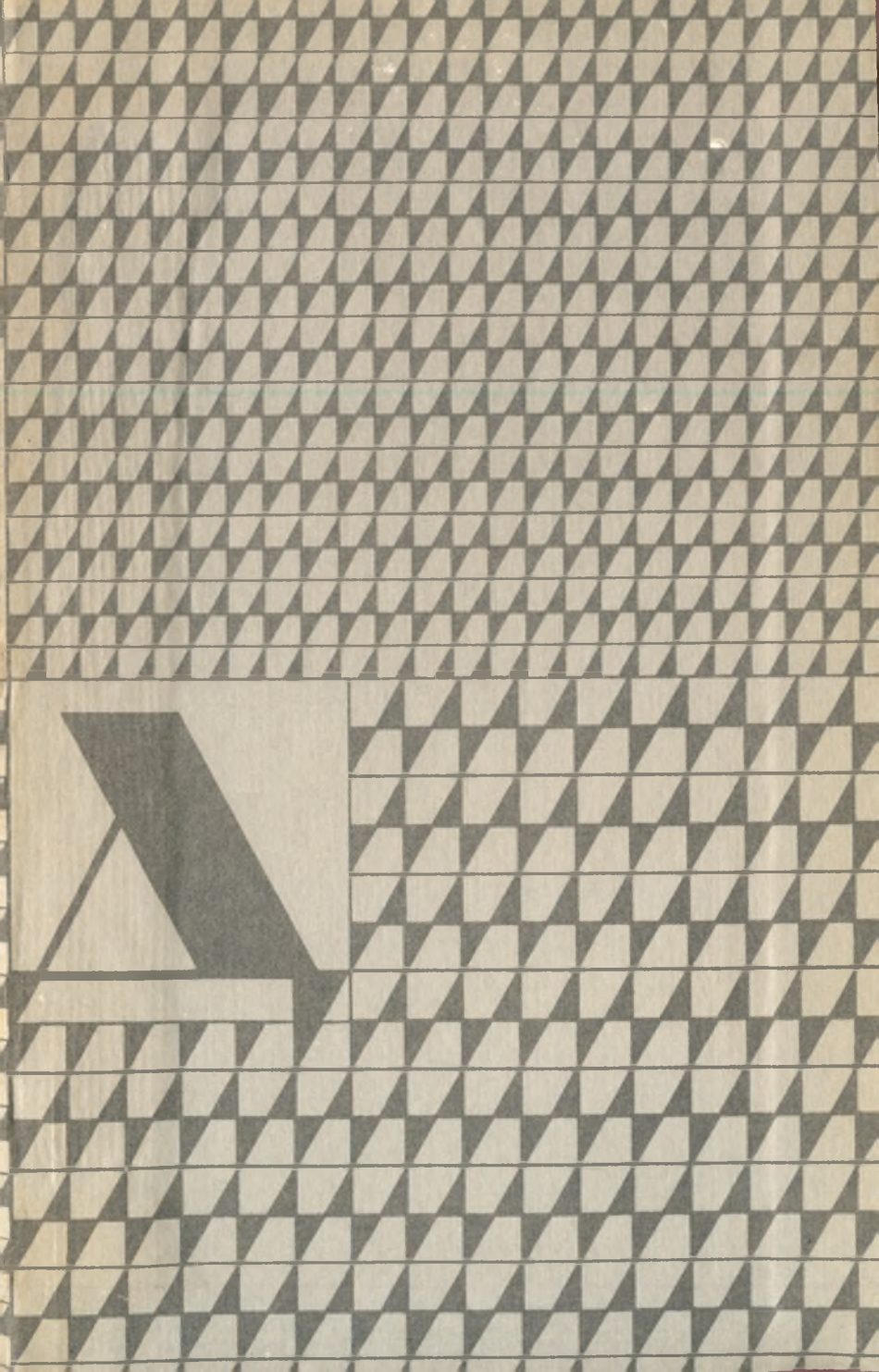
A stylized graphic design on a dark red background. It features a large, abstract shape composed of a vertical rectangle, a horizontal line, a diagonal line, and a semi-circle. The text is integrated into this design. The author's name is at the top, and the title is in the lower right.

НАТАЛЬЯ
АВЫДОВА

*окровица
на
земле*

СП







НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА



*Окровища
на
земле*

РОМАНЫ, РАССКАЗЫ

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1985

ББК 84.Р7
Д 13

Художник
АНАТОЛИЙ МЕШКОВ

4702010200—404
Д—38—86
083(02)—85

© Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Романы

СОКРОВИЩА НА ЗЕМЛЕ

Петр Николаевич жил в одном из непостижимых переулков, в непостижимом дворике и домике, сохранившемся в самом центре Москвы за спиной могучего серого здания с выложенной на фронто-не кирпичной цифрой — 1938.

Домик Петра Николаевича был лет на сто старше своего соседа и покровителя. Издали он имел все признаки милого благородного российского ампира, вблизи единственный признак — аварийности. Очевидно, каждую минуту мог завалиться набок, но почему-то не заваливался, какая-то сила держала его, какая-то гордость. К тому же его подпирали балки.

— Милости просим, — Петр Николаевич вышел на крыльцо встретить своего друга художника с женой. Они недавно поженились, и художник привел ее впервые. — Ступайте осторожно, ничего не бойтесь. Катя, попытайтесь представить себе, как это все выглядело когда-то. К этому крыльцу подъезжали кареты, кто-то торопился, кто-то ждал, стоя у окна... Немного воображения — и уже это вы подъехали в карете...

— И сами Петр Николаевич вышли нас встречать, — продолжил художник, не старый, но несколько старообразный человек с бородкой клинышком, похожий на загулявшего апостола. На бледных щеках горело по пятну, горело и никогда не гасло.

— Хорошо, что вы ко мне выбрались, Катюша, рад вас видеть.

Петр Николаевич хотел сказать «в добром здравии», но она не показалась ему в добром здравии, скорее у нее был больной вид. И вообще она в серых красках — прямые короткие волосы бело-серенькие и глаза серенькие. Первая жена художника была хотя и не красавица, но особа

оригинальная, яркая, темпераментная. Эта выбрана по контрасту.

— Вас будут сносить? — спросила Катя. — Выселять?

— Никто ничего не знает, — ответил Петр Николаевич, который не представлял себе жизни в другом месте. Он любил этот дом, гордился им, добивался его сохранения и реставрации. Не так уж много осталось в Москве домов такого чистого стиля, поэтому то, что есть, надо сохранить. Он доказывал это где только мог, его стараниями были завезены доски и кирпичи и свалены у крыльца, обещая невозможное...

Женщина в капоте из расписной малиновой фланели, в остроконечной лыжной шапке на седых волосах высунулась из старинного узкого окна, проводила входящих слепым взглядом звездочета.

Столбы-подпорки были установлены и в коридоре.

— Наверняка вам скоро дадут нормальную квартиру, — сказала Катя в извечном женском стремлении утешать, не выснив заранее истинных чувств утешаемого.

— Я умру раньше, — нервно ответил Петр Николаевич. — Умру, не переживу.

— Нельзя так говорить! — воскликнула Катя, не знаящая, что так говорить можно.

— Катерина, не возникай, — сказал художник. — Веди себя смиренно. Ее еще учить и учить, Петр Николаевич.

— Словом, такая избушка, в ней прожита жизнь, и хотелось бы, чтобы она осталась, когда уже нас не будет, — сказал Петр Николаевич.

В темноватой комнате с высоким потолком не стало светло, когда включили электричество, вероятно оттого, что вещи вокруг были темные. Зеркало над диваном было тусклое и едва отражало предметы.

Хозяин молчал, давал время освоиться, забыть захламленный вход, балки, запахи, сырость язвами на треснувших стенах, темноту, черноту.

Мысль о ведре и тряпке пришла в голову Кате. Но она откинула ее как недостойную жены художника. «То, что по-вашему грязь, по-нашему патина. То, что по-вашему чистота, по-нашему просто чепуха...» Это она уже слышала от своего художника, когда отмыла от грязи какую-то его банку. «Банка? Дура! Банка! О, я несчастный!» Это она уже слышала, об этом она уже плакала. Теперь училась относиться к этому с уважением.

— Как у вас хорошо,— сказала Катя со своим новым пониманием хорошего. И правда, было хорошо.

— Вот в какое место я тебя привел, лапкин-драпкин,— сказал художник,— скажи мне спасибо. Здесь чудес много.

— Будет вам,— сказал Петр Николаевич.

И ушел на кухню заваривать чай. Русский человек пьет чай во всех случаях жизни. Когда ему холодно, когда ему голодно, когда скучно и когда весело. Перед началом работы, и в конце, и в середине, когда нездоровится или устал, и просто так, от нечего делать. А в этой комнате необходимо было согреться кипяточком.

Для заварки Петр Николаевич употреблял коричневый китайский чайник восемнадцатого века с отбитым носиком. В нем чай получался вкусный.

Вообще же Петр Николаевич ломаных вещей не любил, особенно не любил испорченных умолкнувших часов. В его доме все старинные часы ходили и показывали время довольно точно.

— Простите, заставил ждать.

Там, в недрах непостижимой своей избушки, он переделался в домашний костюм, сменил пиджак на коричневую вельветовую блузу свободного покроя, шелковый в тон платок небрежным узлом завязал на шее. Так испокон веков одевались люди искусства, но теперь они так не одеваются.

Катя посмотрела на него, и ей показалось, что когда-то она уже знала этого человека, видела его вельветовую блузу и перстень на темной сухой руке, его глаза, мудрые веселые глаза сумасшедшего. Сказочник-чудак, дед-мороз фокусник, она его узнала. А он понял, что его узнали.

— Снять все со стола,— распорядился он вдруг охрипшим голосом.— Спокойствие.

Он сам всегда волновался в предвкушении того, что он сейчас покажет людям и увидит сам, потому что ему тоже каждый раз это было удивительно. Он снял со стола клеенку, сложил ее, потом ловко сдернул толстое серое шинельное сукно. И открылась красота. Яркая, излучающая сияние крышка стола, вся сплошь в тюльпанах и гвоздиках, разбросанных в беспорядке или собранных в вазы, над которыми летали бабочки и птички. Все это светило теплым медовым светом, было одновременно полно движения и покоя, радовалось и рождало радость, улыба-

лось и вызывало улыбку. В этом была наивность и душевная ясность, точная рука, божественное мастерство, совершенство, на это можно было смотреть часами и не устать. С точки зрения антикварной, это был поразительный экземпляр, шедевр, если не стесняться этого слова.

В Катиной прошлой жизни стол всегда был только столом, стул — стулом. Сейчас ей показали произведение искусства, хотели ее удивить, очаровать. А ее не трогает.

Она сказала:

— Какие интересные птички. Колибри?

— Колибри? — переспросил художник.

— А кто же, по-твоему?

— Вполне возможно, — ответил Петр Николаевич, — мне это в голову не приходило.

Потом он опять заботливо, старательно укутал стол в толстую попону. По отношению к этому столу он имел особые обязательства. Когда-то давно хозяйка стола, уезжая из Москвы, передала ему его на хранение с тем, что, если она вернется, стол будет ее дожидаться, нет — останется ему. Она не вернулась, а он все еще ее ждал, не ее, так каких-нибудь наследников, а их не было. Он тоже покидал Москву в войну, уходил на фронт, и стол в этой сырой, губительной для старинных вещей комнате сберегала и охраняла его жена. И вот уже почти забылось то время, когда он разлучался со столом, почти забылась та женщина, которая ему его отдала, похоронена в жарких узбекских песках, седой стала его жена, постарел он сам, еще больше стал похож на индуса... А стол все сверкает и светится по-прежнему, даже ярче, кажется, стал, порхают птички и бабочки, все так же готовы вот-вот распуститься тюльпаны, все так же нежны и зелены их изящные узкие листья, все так же обаятельно все это вместе, все так же радуется и способно радовать.

— Покажите ей комод, — попросил художник Петра Николаевича.

— Она ж его и так видит.

— Конечно, — сказала Катя.

— Притворяется такой интеллигенткой, — сказал художник. — Ну, что ты видишь?

Она видела темный кривобокий ящик, в нем еще ящички. Рухлядь. Видела странную комнату, странного человека — хозяина и странного человека — собственного мужа.

— Комод, — сказала она.

Петр Николаевич засмеялся.

— Ну правильно. Комод. Какой? Прежде всего русский. Спросите, почему? Ответить нелегко. Но взгляните хорошенько — и вы поймете, как он прост и мил и далек от совершенства, если сравнить его с каким-нибудь французом. Только сравнивать не надо. Он русский, и прелесть у него своя, особенная...

— Откуда он у вас? — спросила Катя. Ей казалось, что она такой же точно видела у лифтера под лестницей в том доме, где раньше жила. На нем стояли электроплитка и чайник.

— У Петра Николаевича все от самого себя, — ответил художник. — Этот комод у него двести лет. Ясно?

— Почему вы спросили, Катя? — поинтересовался Петр Николаевич. — Вам показалось, что вы его видели. Это вполне возможно.

— В Эрмитаже, — сказал художник. — Есть похожий.

«Вот именно, — подумала Катя, — и электроплитка никогда не выключается».

— Ну и хватит, — сказал Петр Николаевич, — на этом антикварное образование закончим. Идемте, еще покажу вам библиотеку.

Он провел своих гостей по коридору в другую комнату.

Потолки там протекали, а стены были не видны, их закрывали книги. Книжные полки стояли и поперек комнаты.

— Есть что почитать, да? — пошутил Петр Николаевич. — Если иметь время и... валенки.

— Понимаю, — сказала Катя. — Это я понимаю.

Что она понимала? И что хотела понимать? Она производила впечатление серьезного и упорного человека. Упорство было в тихом, нежном голосе, в серых, умытых, как морские камушки, глазах. В сущности, она была хорошенькая, если присмотреться. Художник присмотрелся.

Художник вытащил книгу с полки, начал яростно листать.

— Уходим, — сказал Петр Николаевич.

— Подарите мне эту книжку, — попросил художник, — зачем она вам?

Петр Николаевич посмотрел на обложку. Народный лубок, он и сам когда-то давно писал о нем. У художника было умоляющее и дерзкое выражение лица, это была его манера попрошайничать. Если мне не дадите, то поступи-

те плохо, нечестно, дадите — поступите правильно. Не хотите быть благородным человеком, не надо.

— Берите и отстаньте. Вот всегда так,— пожаловался Петр Николаевич Кате.

На столе появилась бутылка грузинского вина и кусок брынзы. А под клеенкой по-прежнему цвели медовые тюльпаны, коричнево-красные гвоздики, нежно зеленели их узенькие листья, бабочки летали и птички летали неизменно и вечно, длился и не кончался вечный теплый солнечный день.

Художник встал из-за стола и снял со стены небольшую торжественно-мрачную лиможскую эмаль, которая давно привлекала его внимание. В ней была тайна. Тайна времени. Лиможские эмали прекрасны ранние, пятнадцатого, шестнадцатого веков. Тайна цвета — синего, белого, черного... Тайна сюжета, хотя и разгаданная. Но все равно, воины были похожи на святых, а святые на воинов. Все это его волновало. И тайна цены тоже, вещь была луврского достоинства. И тайна автора. Называли Леонара Лимозена, а художника это злило, вещь и без того была хороша. Он не верил ученым атрибуциям, говорил, что все врут, чтобы зарплату оправдать. Он верил самому себе.

Приходя к Петру Николаевичу, художник всякий раз притирал к этой эмали близорукими, беззащитными глазами, сняв с носа старомодное пенсне, рассматривал не дыша, трогал нервными пальцами, хотя Петр Николаевич умолял не трогать. Художник просил продать эту вещь ему, предлагал любые деньги, что было ему особенно просто, так как денег у него никаких не было. Он уверял, что, кроме этой лиможской эмали, ему ничего не надо, только ее и никогда ничего больше. А деньги он заработает.

Петр Николаевич на него не сердился.

— Опять хватаете пальцами,— беззлобно сказал Петр Николаевич,— и опять смотрите на меня, как будто я Иисус Христос. Нормальных слов не понимаете. Не продается. Надпись сделать, что ли. Если хотите, откажу вам в завещании. И вообще, голубчик, в моем доме ничего не продается. И нельзя все так выпрашивать, это неприлично.

Художник бросил последний отчаянный взгляд на маленький квадратик металла, расписанный нетленными красками, который являлся ему во сне, и осторожно повесил его на гвоздь.

А еще он хотел, чтобы Петр Николаевич отдал ему

картинку, вернее, кусок, отхваченный от какой-то картины. Зайчик и полторы уточки, по уточке порезано. У зайчика белый пушистый мех и розовые глаза, такие же беззащитные, как у самого художника, такие же розовые. Зайчика и уточек он решил заполучить, хоть бы все тут взорвалось, их он искал, вытягивал шею, сидя за столом.

Он вставал из-за стола и слонялся по углам, как будто сам с собою играл в игру «холодно — горячо». Кроме картинки хотел найти еще небольшой складной нож русской работы. А ножи любил немислимой мальчишеской любовью, любовью физически слабого человека к холодному и огнестрельному оружию. Зачем Старикуну нож, рассуждал художник, не нужен абсолютно, он не отдает его только из упрямства. И заяц этот красноглазый, который притворяется храбрым, а сам дрожит от страха даже перед утками, не нужен. Старикуну не нужно, у него есть и всегда было, а художнику нужно, нужно, нужно, нужно. Художнику атмосфера, аромат, след величия важнее всего на свете.

Наконец он не выдержал:

— А я ножичка не вижу моего миленького.

Петр Николаевич показал на столик, заваленный бумагами. Катя выудила из-под них ножик и протянула мужу, а сама стала разглядывать фотографию.

— Наташа,— сказал Петр Николаевич.— Она нефтяник.

— Это родственница Петра Николаевича,— сообщил художник.— Со стороны Пушкина.

— Не слушайте его,— засмеялся Петр Николаевич,— все он врет.

— Если бы вы ко мне хорошо относились...— художник вздохнул.

— Это в самом деле представительница семьи, некогда связанная с Пушкиным. Но только тем, что они любили Пушкина, а Пушкин их. Связь достаточно глубокая, не правда ли? Семья замечательная, и женщины там всегда были прелестны, недаром Пушкин был влюблен в одну из них.

Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговей богомольно
Перед святыней красоты.

Он процитировал эти строки и помолчал недолго, выжидая, чтобы волшебные звуки отзвенели, растаяли в воз-

духе. Посмотрел на Катю, как она слушает. Она слушала прекрасно, он мог продолжать.

— Помните, Катя, в альбом Смирновой: «И как дитя была добра». «Чистейшей прелести чистейший образец»... Такие они, пушкинские женщины. Такая и она, хотя вполне современная. Добрая и красивая. Вот еще... в черновиках Евгения Онегина...

Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал.

А это из дневника... «Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной». Эти слова, Катя, я часто повторяю про себя, подумайте только, как просто... «Как черное платье пристало к милой Бакуниной». Все тут есть,— и его шестнадцать лет, и ее прелесть. Она, кстати, была старше его на четыре года. А дальше и вовсе поразительные слова. Цитирую: «Но я не видел ее 18 часов — ах! Какое положение, какая мука! Но я был счастлив пять минут!» Ну, подумайте, подумайте, так написать в шестнадцать лет в дневнике. Я все раньше думал, что это я написал про свою первую любовь. Вы улыбаетесь? У меня у самого всегда слезы от этой чепухи... «Но я не видел ее 18 часов — ах!» Да, Катя, Пушкин для нас для всех что-то вроде бога, и что-то вроде азбуки, и что-то вроде хлеба. Я думаю, что Пушкин в нас, в каждом, и Пушкиным нас можно экзаменовать, проверять на все — на патриотизм, если желаете, на порядочность, на сердечность, да на что угодно. Но вы не за Пушкиным пришли ко мне...

— Как раз за Пушкиным,— ответила Катя.

— Тогда я вам скажу...

— Вы со мной так никогда не разговариваете,— заметил художник ревниво.

— Ну, милый друг, вас другое занимает. И вы не умеете слушать.

— Не мешай,— попросила Катя.

— Я Пушкина читаю всегда. Читаю и перестаю понимать, кто это написал, я за Пушкина или Пушкин за меня,— сказал Петр Николаевич.— Я его так знаю, как только друга можно знать и понимать. Стало быть, мне повезло, и я в двух столетиях жил... «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов...»

— А она? — Катя показала на фотографию. — Какая?

— Я вас к ней отведу при случае. Хотя это не особенно легко устроить. Она женщина современная и не хочет быть экспонатом. Ей это не нужно, она об этом не думает. А я, старый дурак, к ней пристаю. Мне, наверно, вот эту строчку отыскать хочется: «Как черное платье пристало к милой Бакуниной». А знаете, почему я старый дурак?

— Знаю, — ответила Катя. — Потому что быть старым дураком приятно.

Петр Николаевич смутился, подумав, что художник не зря побаивается своей новой жены.

— Верно! Старому дураку разрешается болтать, открывать душу...

Катя подняла на Петра Николаевича свои серьезные серые глаза, сказала:

— Понимаю.

Она выросла в семье, где сдержанность считалась добродетелью, а душу умели отдавать, но не открывать.

И Петру Николаевичу захотелось ее еще одарить — откровенностью, воспоминаниями, рассказами о приключениях, которые в обычном смысле не приключения, но есть иной счет и иные понятия, и тогда, о, тогда, милая Катя, жить интересно, увлекательно, встречи бывают самые неожиданные.

Милая Катя откинула со лба волосы цвета суровых ниток, застенчиво улыбнулась. Не хватало, чтобы он в нее влюбился, как всегда влюблялся в неярких женщин, в тихие города, в произведения искусства.

Но художник скучал, перебирал книжки,пил холодный чай, ножиком играл. Петр Николаевич стал беспокоиться, что он порежется.

— Уберите ножик в свой бездонный карман, — сказал Петр Николаевич.

— А картинку?

— Тоже. Только угомонитесь, сядьте.

— Ура! — закричал художник. — Жена, уходим! А то передумают и отберут.

Художник сиял. Он бегал и прыгал по комнате, бородатый ребенок в узких штанах, веселый щенок, исчадие ада.

— Хотите выпить? — предложил он по-свойски. — Слепую вмиг в гастрономчик. Вам после таких умных разговоров очень полезно. Двадцать пять капель. Освежает. Отключает.

— Мы не хотим.

— Очень жаль. Отключка. Но вы не сердитесь на меня?

— Бесполезно.

— Вы сама доброта.

Художник чмокнул Катю в щечку.

— И жена у меня ничего, правда? — Он обаятельно подмигнул Петру Николаевичу. — Мы счастливая пара.

Катя покраснела. «Господи, — подумал Петр Николаевич, — радуется похвале этого злодея, его хорошему настроению, расцветает на глазах...»

— Ладно, Катюша, — сказал Петр Николаевич, видя, что художнику не терпится удрать с добычей. — Мы еще поговорим. У нас будет время, я вам Москву покажу, мою Москву, Арсений сядет работать наконец...

— Начинается, — проворчал художник.

— Ах, живите как хотите, какое мне дело. Можете не работать, все мы так думаем, что у нас две жизни, одну мы сейчас тут на глазах потратим без остатка, а вторую будем жить как следует. Ан нет.

Главное в нем, подумала Катя, что ему ровно двадцать. Двадцать лет его глазам, его голосу и его недовольству собой, его деликатности и его вельветовой блузе.

— Без нравоучений никак нельзя, — обозлился художник.

— Спасибо большое, — сказала Катя.

«Трудно ей будет, — подумал Петр Николаевич, — но она его спасет».

Через окно Петр Николаевич увидел, что Катя обернулась, помахала варежкой.

«Помогай тебе бог», — пожелал он ей.

— А теперь скажи мне, матушка, чего ты так лебезила перед Петром? — спросил художник по дороге домой голосом вполне дружелюбным, игриво-веселым.

Катя не ответила.

— Подлизывалась, а ты этого не умеешь. Это тоже уметь надо, — продолжал он. Дружелюбия, пожалуй, прибавилось. — Ничего ты не умеешь в жизни. Курить не умеешь, это ты вчера доказала. Болеть не умеешь. Подлизываться ты умеешь. Я уже могу составить список, чего ты не умеешь.

— Очень мило.

— Я тебе не нравлюсь? Я такой, как я есть, другим я

быть не могу. Ты недовольна? Но у меня нету ласковых слов и нету обманов для тебя. Дай отдохнуть!

— От чего?

— Человек устал.

Катя промолчала.

— Чего ты молчишь? Кажется, у тебя опять плохое настроение.

— Мне не нравится твой лексикон.

Художник остановился и придержал ее за локоть.

— Минуточку. Лек-си-кон,— медленно повторил он тоном уличного хулигана.— Что это такое? Что-то филологическое? И почему он тебе не нравится? Он меня устраивает, всех устраивает, и тебя он устраивал до сегодняшнего вечера, ты за него замуж вышла, между прочим, за лексикона.

Катя пошла вперед.

— Так, так...— мелкими злыми песчинками сыпалось на нее.— Хорошо. Прекрасно. Кое-что проясняется, кое-какие иксы и игреки. Такой лексикон годится? Иксы и игреки семейной жизни. Тот положительный и отрицательный опыт, которым мы оба располагаем, дает себя знать. Никуда не денешься. Только вот что я тебе сейчас скажу... и ты будь любезенька...

Катя прибавила шаг. Он продолжал довольно спокойным тоном, без восклицательных знаков:

— ...К старику ходить запрещаю. В антикварные дела нос совать, шпионить — запрещаю. Любезно улыбаться — запрещаю.

Дома Катя сказала:

— Я тебе купила.

И протянула художнику коробку фломастеров, делая вид, что уличного крика не было, она не помнит, ничего не было.

Он взял коробку.

— Еще чего.

Она улыбнулась.

Он исследовал коробку с обеих сторон, зачем-то подышал на нее, потер полый замшевого пиджака, открыл, пересчитал фломастеры, наконец сказал радостно:

— Восемнадцать. Это вам не двенадцать. Ура!

«Нужно все время хитрить и подлаживаться,— подумала Катя.— Вести политику, осторожную, примитивную, непонятно какую...»

— Я тронут. Мерси. Я такие хотел, фирменные. Где ты

достала? Но подарок со значением, намекаешь, тонкий намек, да?

— Ну как тебе объяснить!

— Не объясняй. На этот раз я тебя прощаю. Учти только, что я не хочу, чтобы ты стала антикварной дамой, мне это совершенно не нужно. А также пусть Старик не пудрит тебе мозги своим Пушкиным.

— Если бы ты сам знал, что тебе нужно,— заметила она.

— Правда, заяц,— согласился он с подкупающей простотой, которая составляла его человеческое обаяние, но была, как правило, глубоко упрятана и перекрыта разной чепухой.

Но вот вдруг наступила минута, под влиянием ли подарка, или что-то другое послужило причиной, только вдруг глаза посмотрели светло и ясно, хмурое, напряженное лицо разгладилось и оказалось молодым и чистым лицом юноши, который хочет говорить **только правду**, поступать только смело и честно, учиться как можно лучше, радовать родителей, дружить с хорошей девочкой, победить в соревнованиях, прочитать все книги, бороться с собственными недостатками, закалять волю... Катя увидела это лицо, потому что она его раньше видела и знала, что оно есть и оно настоящее.

— Хорошо,— поспешно сказала она,— давай попробуем разобраться.

И опоздала. Разбираться было некому. Художник вытащил ножик, раскрыл его, стал чистить лезвие сначала тонкой шкуркой, потом пастой для ванны. Он уже опять забыл обо всем на свете. Свет ушел из его глаз, опять они стали озабоченными, мутными, слепыми, мальчик, побеждающий в соревнованиях, превратился в горбатого антиквара, а Катя могла вновь и вновь решать свою задачу, кого она полюбила и как ей жить. Люди живут нормально, по вечерам читают журналы и смотрят телевизор, по воскресеньям катаются на лыжах, ходят в гости, на выставки, в театр. Путешествуют. Покупают новую одежду. Устраивают в квартире ремонт, вешают на окна занавески. Так жили ее родители, так она жила со своим первым мужем и от этой жизни ушла, эту жизнь предала.

Эту жизнь надо забыть. У нее теперь нет телевизора и нет занавесок, яркий неоновый свет «Переходите улицу в положенном месте» беспрепятственно проникает в окна.

От ужина ее муж отказался, сказав, что сыт, настоя-

шей постели у нее теперь тоже нет, а есть жесткая узкая лежанка, представляющая значительный исторический интерес, но как постель не заслуживающая внимания. Вот только ванна нормальная, можно полежать в теплой воде, подумать, еще лучше ни о чем не думать. Она хотела забрать у художника пасту, чтобы почистить ванну, но он не дал, обнял Катю, поднял на руки, покружился с нею по комнате, поставил на пол и потребовал ужин.

— Проголодался,— сообщил он доверительно,— но как! Если бы ты знала. Свари кашу, большой горшок, на молоке с маслом. И ведро кофе. И не смотри на меня так, как будто я тебя убил. Я исхожу из реальных возможностей. И не прошу того, чего нет в доме. Когда мы купим холодильник, то у нас в нем всегда будет лежать колбаса. Ты не против?

Арсений услышал о жабе случайно, от художницы Лары Морозовой, великого коллекционера.

Эта Лара в его присутствии с помощью целой серии хитроумно поставленных вопросов узнавала у других художников адрес жабы, делая вид, ей это надо по делу, по какому-то там делу. Ребята, кто знает, хозяйка известная картинщица, живет примерно там-то... Лариса Морозова никогда не нарушала главного правила коллекционерства. Правило это — молчание. Если коллекционер не в состоянии соблюсти правила молчания, он должен соблюдать правило неопределенности и тумана. Все только что-то, где-то, как-то, когда-то. В Москве, в Ленинграде, в одном населенном пункте. И тут Арсений вспомнил, что у него есть этот адрес, про картинщицу и ее жабу ему говорили, он собирался к ней, но тянул, не верил, что это что-то путное. Лариса Морозова не позволяла себе такой роскоши, верить или не верить, она немедленно проверяла все адреса и потому не опаздывала.

Когда он ее увидел, он сразу сказал себе «моя», но зачем-то еще пошел бродить по комнате, разглядывая то, что его совершенно не интересовало.

Богатство, чемпионство — ему это претило. Люстры бриллиантово сверкали, бронза гляделась золотом.

В лице и фигуре хозяйки тоже явственно проступали черты ампира. Лицо раскрашено акварелью, на голове го-

лубой парик, локоны как у Иоганна Себастьяна Баха. Пахнет антиквариатом и французскими духами.

Он почувствовал себя бродягой, нищим, хулиганом, кем не был, но хотел быть. Захотелось выругаться, плюнуть на ковер, толкнуть Даму в мягкий шерстяной бок. Запел велился ген его любимого дедушки, морского пирата.

Он плюхнулся на стул, такой же чемпионский, как все вокруг, и задрал голову на шкаф. Там восседала жаба, совершенно живая, недоступная, царственно спокойная.

— Ты, мать, царица,— сказал он ей,— если не богиня.

— Вы так смотрите, как будто боитесь, что она вас укусит,— сказала Дама, обнаруживая юмор, который в ней трудно было предположить.— Возьмите ее в руки. Она вам нравится?

— Нич-чево,— ответил он сдавленно, снял жабу со шкафа и поместил на стол, мысленно извиняясь, что беспокоил. «Прости, мать, так надо».

Исчезла декорация с ампирной хозяйкой, исчезло спесивое хамское богатство, притворяющееся княжеским, осталась только жаба, как будда в храме, который видит всех и все видят его.

— Продайте,— небрежно уронил художник, заранее зная ответ и готовя убогое продолжение: «Зачем она вам? Она вам не нужна. Отдайте ее мне»... и так далее.

Дама просигналила бровью, показала, что шокирована. Современные молодые люди дурно воспитаны, этот вывод также отразился на широком, вместительном лице.

— Она вам не в жилу,— продолжал он.— Не унисонит.

— Унисонит,— чему-то обрадовалась Дама и вдруг по-своему подмигнула художнику.

Что Дама баба лихая, это, собственно, художник сразу определил, как и то, что она еще не вышла в тираж. Он окинул взглядом, который следовало считать мужским, ее плотные формы, определил, что упаковка солидная. Но ему было не до глупостей, он предпочитал девушек помолже, попроще, без антиквариата.

— Честно говоря, я, наверно, могла бы ее отдать вам...— задумчиво проговорила Дама.

Неопределенность тона, загадочный взгляд, еще какие-то неточности, все это прошло мимо него, у него бухнуло сердце, пересохло в горле. Продается!

Художник отвернулся от жабы-будды, сознавая, что так смотреть, как он смотрит, нельзя.

Лара потому была Великой Ларой, что умела улыбаться.

ся в тех случаях, когда художник падал в обморок, обмирал, покрывался горячим потом, терял голос и хрипел. Великая Лара не боялась сказать «хочу» и «беру», когда художник говорил что-то невнятное. Бедный художник был не из того теста, из какого делаются короли.

— Сколько она может стоять? — спросил он небрежно и легко, как джентльмен.

— Ах, боже мой... — отмахнулась хозяйка от низменности темы.

Определить стоимость не трудно, если учесть, что художник потерял голову, а Дама заботилась о том, чтобы не иметь репутации торговки.

— Вы любите Китай? — спросил он, не видя вокруг ничего китайского.

— Она не Китай.

Он не знал, что еще говорить, тем более что нужны не слова, а презренный металл или какой-нибудь хитрый фокус из области коллекционерских обменов, что тоже отлично умела Лариса Морозова, а художник — нет.

В плетеной серебряной корзинке на столе лежали деньги, как будто они печенье, фарфоровое лицо хозяйки было непроницаемо, и лишь палочка таблеток снотворного служила признаком человеческих чувств и страданий. Поговорить о бессоннице? Да ну, к черту, пусть меньше хапает, лучше будет спать.

Он боялся, что она догадается, как он хочет получить жабу. Наивно думал, что еще ничем себя не выдал и незаметно его трепыхание. Не знал, что перед этой Дамой он муравей.

А жаба-царица сидела на бронзовой своей золоченой подставке как на троне и равнодушно смотрела на его муки. И не смотрела, а только сидела и была.

— Жабы приносят счастье, где-то я читала, а где, не помню, — хихикнув, сообщила Дама и стала похожа на магазинную вострушку, из тех, что не дадут взять пачку масла без очереди.

«Оборотень, — подумал художник. — Страшила».

— Давайте оба подумаем, вы тоже подумайте, — успокоилась она, возвращаясь в свой прежний фарфоровый облик. — Нужна ли она вам. По опыту знаю, какие мы бываем, если чего-нибудь захотим. А потом удивляемся: затмение...

Он не стал возражать, все еще веря, что разговор идет легкий, не понимая, что разговор давно уже тяжелый и

каждым простым словечком фарфоровая все глубже засаживает нож.

— ...вообще эта вещь не всякому нужна, не всякому понятна,— продолжала она, хотя он давно уже лежал на земле, окровавленный, бездыханный, разбросав руки, и глаза его остекленели.

Утром художник позвонил Дарье Михайловне, так звали хозяйку жабы, но она его принять не могла и голосом важным, как ее родной ампир, велела позвонить через два дня. Художнику это очень не понравилось, и он, повинувшись инстинкту следопыта, пошел к Ларисе Морозовой поразведать, как дела. Работать он все равно не мог, жаба стала очередным наваждением, средоточием всех помыслов, фокусом бытия.

— Какой желанный и редкий гость,— приветствовала его Лариса.

У нее было интересное лицо, длинное, узкое, бледное, большие, как очки, глаза, смелая прическа: только красивая может так причесаться — волосы были натянуты и убраны и как бы превращены в шлем, оставался только цвет и блеск этого покрытия. Одежда тоже была интересная, в старорусских традициях, вышитый цветами холщовый балахон, монисты на шее.

— Желанный? — спросил художник.

Если бы эта Ларка не была: а) художницей, б) старьевщицей и в) такой чересчур умной и разговорчивой,— он бы мог обратить на нее свое благосклонное внимание. Прозвище у нее было «искусствоведка», она кончала искусствоведческое отделение. Она еще и рисовала лиловые цветы на красном фоне и красные на лиловом.

— Мы с тобой старые товарищи. Ты хорошо сделал, что пришел,— продолжала она свои приветствия.

— Ладно, старушка, уговорила,— он обнял ее за талию, подтолкнул в узкую дверь из прихожей в комнату, где лиловые рисунки не экспонировались.

Старые голландские напольные часы тихо, мелодично отбивали четверти, как будто серебряные колокольчики играли в пятнашки, прибежали и убежали.

Поставцы, их было два в маленькой комнате, рогами упирались в потолок, но не казались громоздкими, такие у них пропорции, такая архитектура. Старое дерево, натертое воском двести лет назад, медовое, матовое, теплое,

пьянящее ощущением времени. Да, гармония была во всем этом, красота и доброта, ибо старые вещи добры к людям.

— Вот это да! — художник свистнул, останавливаясь перед раскрашенной деревянной фигурой святого в человеческий рост. — Откуда?

— Совершенно случайно... какой-то парень принес, предложил... я даже имени его не знаю...

— Да не знай сколько тебе влезет, я его у тебя не прошу, — засмеялся художник, — раз у него даже имени нет...

— Нравится? Французская средневековая скульптура ни в какое сравнение, правда? Гораздо суше. А этот... мы с ним из одной деревни, — Лариса обняла святого за узкие плечи. Святой покачнулся.

— Вот бы мне твои интендантские таланты.

— Один раз повезло человеку, — сразу заняла Лариса, — только не думай, пожалуйста, что задаром.

— Никто ничего не думает. Заглохни.

Художник терпеть не мог этой нищенской манеры разговаривать, наглого желания выглядеть невинностью, непорочностью, что обычно отличает самых прожженных, самых жестких. Пропасть между «быть» и «казаться» они настойчиво засыпают хныканьем и враньем.

— А это чего еще? — художник показал на большой мужской портрет.

— Что можно сказать, ты видишь сам. Копия. Старенькая. Но копия. По колориту прекрасная. Пусть висит. Где же лучше-то взять?

Со стен смотрели мужественные значительные лица, величественные фигуры, написанные мастерами, не копии.

«Сильна! — подумал художник. — Вышла она на жабу или нет?»

— Отдай свои копии хорошему реставратору, Ивану Ивановичу, например, ему можно доверить... такие копии.

— Если ты так советуешь, я так и сделаю. Спасибо, — поблагодарила она за совет, которым не собиралась воспользоваться и в котором не нуждалась.

Лариса любила гармонию своего дома и знала, что художник способен ее оценить. Большинству людей эти тонкости непонятны, чужды, им хоть трава не расти, и это, между прочим, тоже хорошо, и слава богу. Что бы делали знатоки, если бы вокруг были тоже знатоки?

— Чем тебя угощать? Что есть в моем бедном доме? Гречневая каша, молоко. Мед.

— Акриды? Как по линии акрид?

— Орехи.— Она плевала на его иронию.— Минуточку, вот, может быть, ты это любишь, мяту голубику? И грибочки. Это мне одна бабуся прислала из деревни. Бабуся — чудо. Голубика — пьяница, дурника.

— Не переводятся хорошие бабуся. Давай дурнику, а что к дурнике, я сбегаяю.

— Не надо. У меня есть. На травах и на корешках постоянно. Целебное. Могу дать рецепт.

Вышла она на жабу или нет? Спросить прямо? Не скажет. В обход, хитростью он не умел. Только и оставалось — выпить целебное, закусить маринованными поганками.

— Бабу деревенскую тоже обаяла? — спросил он.— Она тебя небось за колдунью посчитала?

— Compliments говоришь,— улыбнулась Лариса.

Она выдернула на затылке какое-то кольцо и выпустила волосы, как парашют; стиль колдуньи был у нее основной. По деревням она давно металась, искала одежду и прялки. Прялки у нее на кухне висят. Несколько новых он сегодня увидел, их раньше не было, где она их раздобыла, выморжила, непостижимо.

Его она угощала, сама не ела, только воду пила, монистами звенела и описывала красоты северной природы и причуды той бабки, называла ее почтительно, по имени-отчеству, употребляла ее деревенские выражения. Было в этом что-то совершенно непереносимое, неприличное. Художник двинул тарелкой, поднялся, сказал:

— Ну, расти большой.

И пошел.

...Обложка, которую он сделал, мало отличалась от предыдущей, на что, не постеснявшись, ему указали. Замечания были даны в виде дружеского совета, предупреждения, сделаны по-приятельски: «Старик, это что-то не то. Старик, это напоминает ты знаешь кого? Тебя. Так не годится... свои рекорды повторять, вместо того чтобы двигаться вперед, при твоём таланте. Ты бы нас потом не простил, если бы мы тебя не предупредили. И был бы прав».

Невысказанное слово «халтура» повисло в папиросном, синем дыму тесного помещения, чтобы быть высказанным, как только он закроет дверь за собой. А потом думай, как ты будешь крутиться. Другие художники будут получать заказы, те творческие личности, про которых при-

нято говорить «хорошо работают», «думают», а если кто-то работает в своей манере, это не нравится, это значит — повторяется, думать не хочет.

— Они меняют вкусы, как юбки, это бабское начальство...— внушал он жене.

— Но позволь, с каких пор Кирилл — баба? — заметила Катя, которая знала это начальство, даже была с ним дружна.

— Дай мне сказать мысль! — сразу заорал он.

— Пожалуйста.

— Теперь ты меня сбила, лапуля.

Что с ним? — думала Катя. Что происходит? Зря он ушел со штатной работы, и зря она его в этом поддержала. Как сказал Петр Николаевич словами старой солдатской песни: «Все бы это ничаво, только очень чижало».

Его слабые, беззащитные глаза стали совсем беззащитными, потерянными, и через секунду в них кипела ярость.

— Ч-черт, надоело, к чертовой матери все.

— Ты на меня сердишься?

— Ты при чем? Ты же из этих, как их, святых.

— Поезжай в Дом творчества.

— На какие шиши?

— Наберем.

— А долги? Ты хочешь, чтобы человека посадили в долговую яму? Иди ты со своей святостью!

Он знал, что плохо сделал книжку, наспех, повторил то, что делал раньше. И Катя знала. Она не понимала в антиквариате, но в графике разбиралась неплохо.

«Продай что-нибудь, раздай долги, отдохни — и сядешь работать», — хотела сказать она, но знала, какой поднимется шум. Политика здравого смысла с ним не годилась.

— Меня посадят в долговую яму, я буду там сидеть и лаять на луну!

— Какой бред! — Катя не выдержала и засмеялась, он тоже засмеялся, но спохватился и опять напустил на себя вид жертвы.

— Показать тебе мои долги, хочешь?

Она уже видела этот листочек, где долги были записаны тремя длинными столбиками. Первый под заголовком «Катастрофа и конец света», второй — «Срочно», третий — «Спокойно». Листок был богато иллюстрирован. Вокруг первого столбца взрывались самолеты, горели поезда, летели в пропасть автомобили, рушились дома и безза-

щитный человек, русский интеллигент конца века, стоял безоружный перед направленными в его грудь пистолетами. Вторая очередь долгов также была оформлена в стиле ужасов, только под заголовком «Спокойно» торчали острые пики сияющего солнца, распускались капустными листьями красные розы и в зеркальном пруду плавали белые лебеди и русалки.

— Я вижу, тебе мои долги вот где,— художник поступал себя по горлу,— но раз ты вышла за меня замуж, ты вышла и за мои долги. Это теперь и твои долги. По Библии.

Он поминал Библию часто и весьма приблизительно. Но нельзя было спрашивать, что он имеет в виду.

— Точно,— бодро признала Катя.— Там все сказано.

— Ты хочешь деньги копить? — спросил он почти ласково.

— Только чтобы разделаться с нашими долгами.

— На автомобильчик, биби-ду-ду. На магнитофончик, на телевизорчик,— включил, а там двадцать серий какой-нибудь лабуды. Так славно.

— Совсем? — она дотронулась до виска.

— Телевизора не будет,— сообщил он.

Она улыбнулась, проявляя чужацкую, озадачивающую его воспитанность. Это была не расслабляющая, нежная славянская улыбка, ласковая, московская, какие он хорошо знал, но провинциальная улыбка стойкости, сильного характера. Ему от этой улыбки становилось не по себе.

— Придется жить без денег,— объявил он.— Мы вступаем в эпоху грандиозного безденежья.

— С деньгами каждый дурак умеет. Где наша не пропадала.

Это была своеобразная попытка оптимизмом, самообладанием и поговорками.

— На рубль в день,— он все еще не мог успокоиться.

— Пусть это тебя не тревожит, я умею экономить и люблю стряпать. Суп из круп и селедка с картошкой у нас все равно будут. Ну хоть селедкин хвост, ха-ха.

Держаться она умела, это следовало признать. Первая его жена к плите не прикасалась, подходила только закурить от газовой горелки, раскисала от невзгод, ненавидела денежные затруднения, плакала из-за пустяков, но он скучал по ней.

Он вздохнул, потер вспотевшие глаза и сказал со скрытой угрозой:

— Позовем гостей, ласочка.

Катя похлопала в ладоши. Та жена любила гостей больше всего на свете, а эта делает только вид, что любит.

После того как он не сумел напугать ее надвигающимися невзгодами, он стал звонить по телефону и всех приглашать, но никто не мог сразу сорваться с места и ехать в гости.

— У каждого своя программа,— сказала Катя, думая этим его утешить. Теперь ей уже тоже хотелось, чтобы кто-нибудь пришел.

— Потрясающее гостеприимство написано на твоём лице. Не надо. Спасибо! Я сам могу уйти. К девкам! — рывкнул художник.

Она закрыла лицо руками. Он ту мучил, теперь эту.

— Давай без трагедий. Я пошутил. Позовем Петрушу, он мне нужен. Проведем вечерок по-семейному. У камина. Не плачь.

Первая жена ссорилась с Петром Николаевичем, интриговала против него, ревновала, воевала за влияние.

Катя отняла руки от лица, улыбнулась, она и не думала плакать.

Она побежала на кухню готовить бутерброды.

А ведь он знал, что она с характером. Несколько лет они работали вместе в журнале. За характер он не раз был ей благодарен.

Требовалось усвоить, что он нашел хорошую жену. После всего, что было, ему просто повезло, это признавала даже его суровая справедливая мать, не склонная обольщаться.

Он только не мог понять, что эта жена делает со старинными вещами, у нее была удивительная способность превращать старые вещи в новые. Подозревал, что она производит какую-то свою тайную реставрацию. Хотя она клялась, что только хорошо вытирает пыль, а сама любит «антики», он морщился от противного слова и не верил. Та, первая, все портила и ломала, и пыль вытирала по большим праздникам, та действительно любила.

Он заблудился в сравнениях. Первая была существо странное, глазастое, лохматое, доверчивое. Теперь ему стало казаться, что при ней он лучше работал. Это была выдумка, очередная несправедливость. Его первая жена была безрассудна и очень добра, вторая казалась рассудочной и бережливой. Та была бездельница, а эта рабо-

тяга. Если бы их соединить, перемешать достоинства их и недостатки и разделить поровну, получились бы две такие, как надо.

— Петр Николаевич пришел! — встретила Катя Петра Николаевича.— Мы вас ждем. Ужин на столе.

— Немного погодя чайку горяченького, крепенького выпью с удовольствием,— ответил Петр Николаевич.

Он вспомнил, как та жена встречала нелюбезно, и порадовался за художника, у которого есть дом и, что еще важнее, атмосфера в доме.

— Да, мой друг, хорошо у вас теперь,— проговорил Петр Николаевич.— Работать можно.

Ответом был затравленный, измученный взгляд.

Вольная жизнь для сильных, им она на пользу, слабые вон чего устраивают из нее. Когда художник состоял в штате, ходил в журнал на службу, имел твердую зарплату, это был совершенно другой человек. В журнале его любили. Очень добрый, он обожал угощать, таскал в редакцию огромные арбузы. Славный он был тогда парень, ездил на велосипеде, носил кеды, пил только молоко. Жил в своей комнате на краю Москвы как умник — книжки, гантели, набор столярных и слесарных инструментов и простой обеденный стол, за которым он постоянно рисовал, сидел — одно плечо выше, другое ниже. А когда он теперь рисует? Теперь у него для работы специальная мастерская на двенадцатом этаже. И квартира — вот, на четвертом.

Раньше он интересовался многими вещами, ездил, читал, сейчас — книжки только листает.

В свое время Петр Николаевич старался привить художнику любовь к изящному, к строгости и совершенству. Ничего не привилось. Друг его оставался верен себе, своей дикости, а может быть, своей талантливости.

Конечно, только талантливый мог так увешать стены от пола до потолка. Рыночные лубки, пряничные доски и медные иконки, «медяшки», ключи и замки, сечка для капусты и топор, картины и куски картин. Отдельно рамы как самостоятельные произведения искусства. Оконный наличник, печной изразец. Гравюры и вышивки. Другие художники тоже развешивали и раскладывали вокруг себя предметы народного творчества, это мода, ей много лет, а они художники, у них к этому особое отношение, профессиональный интерес, но такого дикарства и необузданности, такой разбойничьей жадности, напора и силы ни

у кого не было. Что производит впечатление? Несоединимость, которая кажется смелостью, оригинальностью? Изобилие, которое кажется глупостью, но и дерзостью?

— Все люблю,— признавался художник.— Все. Абсолютно все.

Два детских портрета были у художника, которые Петру Николаевичу нравились. Княжеские дети смахивают на бродяжек. Еще одна хорошая картина — проводы новобранца. Кто любит примитивистов,— а на них теперь мода,— нашел бы, что живопись интересная. И княжеские дети, и новобранец, и раскрашенные игрушки из папье-маше, расставленные на полках, чем-то неуловимо похожи на первую жену художника. Как будто человек все что-то одно ищет, ищет и найти не может. Ищет, все перебирает, хватается, вон чего натаскал, а все напрасно.

Вещи эти теперь всегда тут будут, прекрасные и безмолвные, а она ушла, их живая громкая сестра. Вместо нее пришла другая, подтянутая, как молодой офицер, с глазами, полными отчаяния.

— Чай заварен, прошу к столу,— позвала она.— В кухне тепло.

— Ать-два,— откликнулся художник с вымученной улыбкой.

«Кто-то должен вправить ему мозги,— подумал Петр Николаевич,— кто-то — это я».

За чаем Петр Николаевич догадался, какая тоска мучила художника. Ничего нового, все то же. В глазах голубела денежная катастрофа, стыл вопрос: «Где взять?»

Догадка скоро подтвердилась.

— Дайте денег в долг. Умоляю,— попросил художник, когда Катя отлучилась из кухни.

— Ужас и еще раз ужас,— ответил Петр Николаевич.

Вернулась Катя.

— Шептаться очень невоспитанно.

Она шутила, но мужчины молчали, поглощенные собственными переживаниями.

— Перейдем туда,— художник сигаретой показал в сторону двери, что скорее означало «отсюда».— Покалякаем.

— А я пока посуду помою, а потом вы меня посвятите? Я умею хранить секреты, могила.

Трогательно она держалась, ее муж этого не замечал.

— Значит, не дадите...— выдохнул из себя художник, когда они остались вдвоем.

— У меня нет.

— Дружба! Кого она интересует в эпоху атома! Кого может тронуть чужая беда. Вам все до лампочки, что не Пушкин и его окружение.

Петр Николаевич знал эти приступы гнева, когда художник порол злую чушь, не помня себя. А потом ни тени смущения и раскаяния, бородатый ангел с детской улыбкой. Бесплезно объяснять, что он вел себя как скотина. Он просто не знал, что на гостя не кричат, что деньги в долг просят, а не требуют, а если берут, то отдают. Ему вовремя не объяснили, а потом было поздно, он выплевывал эти истины. Он рано остался без отца, который погиб на Крайнем Севере, его воспитывала мать, хотя основное воспитание приходилось на школу, на двор, на эпоху и на случай. Плюс гены. Арсений обожал эту тему. «Ген гуляет», — говорил он и пригибал голову к плечу, как будто прислушивался. Иногда это был ген со стороны дедушки — государственного служащего дореволюционных времен, иногда ген бабушки — крестьянки или второго дедушки — морского волка, а нередко все гены гуляли вместе. У Арсения при этом был вид постороннего наблюдателя.

Сейчас он начал причитать:

— Ах, я дурак, идеалист, болван, мокрая курица.

Он кружил по комнате, по небольшому пространству, свободному от вещей.

— Что стряслось? Какая беда? Вы можете объяснить по-человечески?

Все-таки Петр Николаевич испытывал жалость к нему.

— Зачем? Что тогда будет? У вас появятся деньги? Но вы сказали, что у вас их нет. А нет — это нет. Это я испытал на собственной шкуре. Нет, и ни одна собака не даст. Вот так у вас «нет». Или как-нибудь по-другому? Ведь это надо иметь мужество — сперва сказать «нет», а потом «да». Но я вам ничего не буду объяснять. У вас на лице написано презрение, а презирать меня не за что. Я никого не убивал. Мне от вас больше ничего не надо, можете не волноваться. Даже если вы мне теперь сами предложите, я откажусь. Я уже отказываюсь. Надо быть гордым.

Петр Николаевич встал с намерением немедленно уйти. Хватит возиться с ним, он неблагородный, неблагодарный человек. Надо сказать: «Молодой человек, вы забыва-

етесь». И уйти. Это неравноправная дружба, и с этим надо кончать.

А молодой человек выговорился и стал успокаиваться. Он уже готов был извиняться, свалив все на бабушку — государственного служащего и его гены.

— В Библии про это сказано, — сказал художник, поглядывая виновато. — Как там, Петр Николаевич?

— Не про это.

— А про что? Если просят, дай...

— Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отворачивайся.

— Ясно. Сказать вам, в чем дело?

— Можете не говорить. Что-то раскопали.

— Правильно. Раскопал. Но что? Лягушку. Вернее, жабу. Фаянсовую. Жаба приносит счастье.

— Новые долги она приносит.

— Я художник.

— Это как раз стоит помнить.

— Хозяйка считает ее Францией. По бронзовой подставке. Подставка пышная, роскошная. Хозяйка тоже такая.

— Подставку могли сделать позже. Специально. И делали. Если вещь того заслуживала.

— Сама она небольшая, голубая. Гениального цвета. Я такого голубого цвета в жизни не видел, — художник охрип, и глаза его опять побелели.

— Хозяйку эту я знаю.

— Дама та еще. Но какое это имеет значение?

— Имеет. Идемте к моей жене, — сказал Петр Николаевич, — может быть, она сумеет помочь.

— Сколько-то я могу у нас в редакции собрать, — предложила Катя, возникшая в дверях. — Пущу шапку по кругу. Слышишь?

Арсений погладил ее по голове.

— Я все слышу, я все вижу.

Жена Петра Николаевича, совершенно седая, красивая, а была, очевидно, очень красивой, вынула из комода все, что у нее там было, очистила сумочку, сказав, что до полочки недолго ждать, и отдала художнику деньги. Лицо у нее при этом было такое, как будто она больше всего боялась, что ей начнут рассказывать, зачем эти деньги понадобились. Она читала детектив, взятый в библио-

теке, где она работала, и хотела одного: продолжать его читать.

— Вы очень хорошо выглядите,— сказала она художнику,— помолодели, посвежели.

Художник поцеловал ей руку и сказал «спасибо, Надежда Сергеевна» голосом сына.

— Если в срок не вернете...— проворчал Петр Николаевич, глядя на жену, она уже закурила и отключилась на мир шпионов.— Это деньги на ее санаторий.

Она подняла голову от книги:

— Не поеду.

...— Боюсь, Петя,— сказала Надежда Сергеевна, когда ушел художник,— мы ему плохую службу сослужили. Педагоги мы с тобой — никакие.

— В молодости всякая чепуха кажется такой важной и все так хочется. Потом это проходит.

— Мне не нравится, какой он стал. Он был другой.

— И будет.

— Ты как раз доказываешь, что человек не меняется.

Лариса не любила ходить к коллекционерам. Изучать произведения искусства у нее были другие возможности — она работала в музее. Меняться тоже не любила, хотя и умела.

Коллекционерские разговоры ее не интересовали, раздражали.

Денег, чтобы купить жабу, у нее не было, она хотела только посмотреть.

Для начала Дарья Михайловна посвятила ее в свои переживания.

— Нас хотят отсюда переселять, а здесь устроить гостиницу или не знаю что. Агитируют, что здесь дышать нечем, нет кислорода, нет двора. Обещают хорошие квартиры. Никто не хочет хороших квартир, никто не хочет двора, никто не хочет кислорода...

— Я пришла к вам не из Моссовета и не от музея,— любезно напомнила Лариса,— а от самой себя. По поводу жабы.

Дарья Михайловна, готовая к любому варианту встречи, кинула ответ-отказ:

— А я ее не продаю.

Тогда знала, как важно правильное начало. Встретились сильные дамы, достойные противники.

Жаба была точно такая, как Лариса ее себе представляла. Пленительная в своем уродстве. Прекрасная. Восемнадцатого века. Искомая. Умиротворяющая. Жаба ее заинтересовала, коллекционер в мертвом мире ищет живое.

Но хозяйка с волосами, крашенными в розовый цвет, чем-то испугала. Эти свежие сияющие волосы вместо положенных седых и гладкая, умощенная кожа находились в странном противоречии с уставлыми старыми глазами. Волосы и кожа были легкомысленны и глупы, глаза — умны. Глаза как будто от другого лица, или, наоборот, глаза свои, все остальное — чужое.

Благоразумие подсказывало без промедления удалиться и больше тут не показываться, но что такое благоразумие коллекционера?

Лариса уже увидела серебряную корзинку, где по-прежнему, как сухое печенье — ему ничего не делается, оно не портится, не черствеет, не ржавеет, — лежали деньги, и вовсе не мелкими купюрами. И поняла символическое значение натюрморта. Это был знак, простая надпись: «Деньги в этом доме не нужны». А это меняло дело.

Она села.

— Сколько же за нее хотят? — сказала она очень невинно. — Небось до-орого. Мульон.

— Хотите посмотреть ближе? — спросила Дарья Михайловна.

— Не надо, вижу отсюда.

— Художник Арсений Иванович считает, что это Китай.

— Ваш художник такой умный, все знает.

— Ну, что это, Китай или Франция под Китай?

— Для меня не имеет никакого значения, что под что. Ничего особенного или редкого она из себя не представляет. Это не великое произведение искусства. Это курильница. Их изготовляли в большом количестве в свое время. На них была мода. И в Россию их привозили. Они часто встречались.

— Не часто, — усмехнулась хозяйка. — Бронза французская.

— Возможно.

Это были первые ходы, которые ничего не могли дать, только показать, что противники их знают.

Но Лариса долго тянуть не собиралась.

— Вот что,— сказала она.— У меня есть картина, которая вас заинтересует. Насколько я могу судить. А я могу, потому что вижу, что на выставке. Одевайтесь. Едем ко мне.

— Кто художник?

Лариса показала рукой на стену:

— Вот, он у вас висит.

— Ах, он очень, очень неровный художник. Это из лучших его работ. Шедевр, хотя я не люблю этого слова. До этого уровня он не часто поднимался. О нем недавно вышла монография. Вы читали?

Розоволосая хотела увести в теорию и в искусствоведение, в бесплодный обмен мнениями по поводу никому не интересной книжки, но Лариса не далась, пропустила ход и стала смотреть в окно.

Наступило молчание. Дарья Михайловна соображала, Лариса не хотела ей мешать. Сообразить было просто, обмен выгоден Дарье Михайловне, только это ей и надо было сообразить, и это она уже сообразила.

Игра шла честно. Лариса выигрывала, потому что точно рассчитала. Художник коллекционерше нравился, вещь была не хуже, а лучше той, которая висела на стене. Жаба, если Лариса ее получит, не будет ей ничего стоить, потому что картину ей подарили. Если продавать за деньги, то картина дороже жабы, но весь фокус в том и заключается, чтобы исключить деньги. Считать их печеньем.

— Жаба приносит счастье,— сообщила Дарья Михайловна, сдаваясь.

— Чепуха на постном масле,— ответила Лариса.

— Где вы живете?

— Четвертая остановка на метро отсюда.

Дарья Михайловна стала уговаривать Ларису привезти картину к ней.

Лариса встала. Ей смертельно надоела эта дама, которая была готова, но все еще ломалась, строила из себя чего-то.

— Ну извините тогда. Времени больше нет. Картина большая, больше вашей. И лучше. Я не горю желанием ее отдавать.

Дарья Михайловна вышла в соседнюю комнату и там собралась с быстротою курсанта, услышавшего сигнал «Подъем».

...Лариса усадила жабу на комод, отодвинулась в сторону и посмотрела. Жабе было хорошо на комод, как будто она век тут жила, а то и все два. «Непонятно только, кто на кого смотрит, я на нее или она на меня», — подумала Лариса, и в этот момент позвонил телефон, и старый ее приятель Грант тягучим ласковым голосом пригласил ее пойти «куда-нибудь». «Жабы приносят счастье», — вспомнила она и шепотом предупредила жабу, что Грант не считается.

Когда она оделась и вышла за ворота, Грант сидел в своем новеньком автомобильчике и радовался жизни. Он был из тех молодых людей, которые, обретя автомобиль (а не обрести его они не могут, ибо рождены для него), срastaются с ним. Происходит взаимопроникновение человека и автомобиля.

Гордый, недавно защитивший диссертацию, Грант курил и улыбался, как улыбаются гордые восточные мужчины той женщине, которую сейчас ждут. В этой улыбке одновременно признательность и безразличие, симпатия и благодарность, обращенные к ней и к любой другой, идущей навстречу.

— Я уже терпение потерял и начал злиться, здравствуй, мамочка, — приветливо сказал Грант, поцеловал ее в щеку, щелчком выбил сигарету из пачки, протянул ей и отключился на машину. Женщина была при нем, можно было трогать с места и мчаться по Москве, как по родной долине.

Лариса курила, пока Грант, не улыбаясь, крутил руль, смотрел только вперед и вез ее «в одно хорошее место, какая тебе разница, положишься на меня». Разницы и в самом деле не было, и положиться на него было можно, он был хороший, добрый и совершенно чужой человек. И было непонятно, отчего он звонил и приглашал ее, не самую молодую, не самую красивую и не блондинку. Почему он звонил? Привычка? Пауза в бурной жизни? Или он выполнял какую-то свою программу, где находилось место внимания к старому другу, сочувствию, даже жалости, которая должна унижать, но почему-то не унижает.

На улице Кирова Грант попросил разрешения задержаться у почтамта, позвонить по телефону-автомату в Тбилиси. Он просто не мог пройти мимо этих дверей, чтобы не позвонить отцу и матери и не сообщить дорогим людям, какая в Москве погода, хотя мама каждый вечер выслушивала это в телевизионной программе «Время».

Закрыв машину, он крадущейся, неевропейской своей походкой, шагом наездника и охотника, пошел, предложив Ларисе следовать за ним. Она могла бы подождать в машине, но он железно выполнял свод каких-то ему известных правил, и по этим правилам ей полагалось идти с ним. В зале он оставил ее сидеть на первом свободном стуле и забыл про нее.

Он прошел к кабинам и присоединился к группе мужчин. На кабинах были названия городов, и мужчины стояли соответственно надписям — Баку, Тбилиси, Ереван. Каракулевы воротники, каракулевы шапки-конфедератки, каракулевы волосы. Загорелые лица смельчаков.

Женщин было мало. Одна сидела за столиком и по местному телефону-автомату давала поручения невидимой Зифе, чтобы та, в свою очередь, передала поручения Иве, а Ива, судя по всему, знала, кому передать поручения дальше. Женщина умело и проворно создавала цепную реакцию из поручений, пока не почувствовала, что они побежали — побежали от нее к Зифе, от Зифы к Иве, от Ивы к Эмме и дальше, дальше, в глубь страны, в горы и доли, в белые спящие южные города... ты передай, она передаст... он передаст... Поручения побежали, женщина положила трубку и вытерла потное лицо платком.

Грант отсутствовал долго. Лариса этому не удивлялась, не обижалась, не считала пренебрежением. Речи не могло быть о пренебрежении. Грант всех женщин уважал с той секунды, как они рождались, до той, когда умирали. И это было в нем, наверное, самое удивительное, прекрасное и мучительное.

Он ею не пренебрег, он только в очередной раз ушел, отключился. Сначала отключением была машина, потом дорога, потом кабина с телефоном — вся грузинская родня и грузинская сторона, которой он принадлежал как преданный сын, а потом вся дружная каракулевая группа «Тбилиси», там сразу закрутились, закипели какие-то дела, и Гранта долго не отпускали.

А женщина ждала. И Грант это знал, и вся группа это видела, и все остальные группы тоже. Наконец он пошел и сказал:

— Извини, моя дорогая. Едем. Мчимся.

Мчаться было недалеко, через улицу и переулок. Ресторан назывался именем далекой планеты «Юпитер», и возле него приплясывали те, для кого пока только мороз был музыкой. Всем бешено хотелось пройти в тепло и уют-

ное малиновое нутро планеты, но это было невозможно. А чем невозможнее это казалось (надпись сообщала: «Свободных мест нет»), тем больше этого хотелось молоденьким лейтенантам и их юным робким спутницам и седым краснолицым джентльменам и их дамам. Стеклянная дверь была на запоре, благодушный швейцар стоял за нею. Сквозь благодушие трудно пройти. На лице швейцара отражалось насмешливое презрение и мудрость привратника, знающего, что каждый рвется туда, куда не надо, и при этом что-то врет.

Никто не сумел, один Грант сумел, предложив благодушную швейцару несколько фраз на выбор. Тут было: «Позови Надю», «Где эта самая, как ее, Вера Сергеевна?», «Позови Гришу».

Швейцар отвечал:

— Никакой Нади не знаю. Веры Сергеевны нет. Гриша — это я. Мест нет.

И все-таки Грант оказался по ту сторону запертой двери, которая почти сразу приветливо открылась,пустила Ларису и тотчас же закрылась. И швейцар улыбнулся ей как важной гостье, а гардеробщик заботливо принял ее пальто. Удивительно, что никто из оставшихся на улице не рассердился, как будто признавая за Грантом право проходить сквозь запертые двери.

Отдельного столика в зале не нашлось. Пристроились к двум молоденьким девицам, сидящим перед скромной закуской. В ресторан этот ходили не поесть, а послушать джаз.

Грант заказывал холодные закуски, дружески взглядывая на золотоволосую официантку, а та матерински улыбалась, поощряла его, чтобы он продолжал добавлять из списка бледно напечатанной карточки, пока не исчерпал его пункты до конца.

Лариса знала, что бесполезно вмешиваться, взывать к экономии и пытаться остановить это ресторанным расточительством. Но это было не расточительство, а все те же им выполняемые правила. К ней это не имело отношения. Это был только он, явление под названием — Грант за столом в ресторане. От нее не требовалось даже улыбки.

Потом он ушел здороваться с руководителем джаза и с певицей, гордой своей сексапильностью, а вернувшись, хотел заняться Ларисой, оказать ей внимание наконец (он сказал: «Сейчас буду за тобой ухаживать, мамочка») и не смог. Увидел окруженные бирюзовыми и зелеными

теньями глаза двух девочек напротив за столом, за его столом, их голодные бледные личики, их прозрачные кофточки, а под ними их прелести и кружевные комбинации, их пустынные тарелки с колесиками копченой колбасы, их бутылку минеральной воды, и кинулся на помощь. В следующее мгновение он уже, подозвав официантку, золотую подругу, заказывал не два, а четыре горячих. Каких? Любых. Но чтобы мясо было мясом... испытывая древнейшую потребность накормить голодного, обогреть замерзшего.

Потом он пил с Ларисой, обнимал Ларису, танцевал с Ларисой, хвалил ее прическу, точнее, ее отсутствие, ее чувство ритма, ее профессию, ее характер, ее сногшибательный вкус. Очень хорошо, мамочка, держи спину прямее и... хвост трубой... И продолжал улыбаться девочкам. Он их жалел. Они были без кавалеров, без денег и без перспектив, некрасивенькие, неудаленькие, официантка была крайне нелюбезна с ними, каждый мог их тут обидеть. А он был мужчина, имел деньги, сильно декольтированная певица в сверкающей, ниспадающей чешуе помахала ему рукой и специально для него спела песню, официантки его уважали, и никто не мог его обидеть,— он знал дзюдо.

— Пейте, лапочки, а главное, ешьте,— подбадривал он их.

У Ларисы возникало желание уйти, но Грант бы все равно не понял, на что она рассердилась. Он нежно пожимал ее руку, гладил колени, и было это так, как будто он ласкает одну нескончаемую женщину, которая каждый вечер становится другой, но он уж этого не замечает.

Лариса осталась и тоже беседовала с девочками, и еще танцевала с Грантом, а потом поехала на квартиру к его другу, зная, что там никого нет дома. Почему-то сегодня понадобилось ехать туда, а не к ней, где тоже никого не было. «К тебе в следующий раз, мамочка»,— пообещал Грант. Он выполнял свою программу.

И там все было хорошо, и ничто уже не отвлекало Гранта от нее, если не считать телефона. Ибо Грант, когда видел телефонный аппарат, сразу начинал звонить.

Казалось, этот веселый, добрый, удачливый, физически сильный человек, который управляет всеми ситуациями и делает только то, что хочет, сам управляет телефонным аппаратом и стоит перед ним навтыжку, как великан сол-

дат, имеющий на груди медаль «За храбрость», перед маленьким худеньким пенсионного возраста генералом.

Обнимая одной рукой Ларису, Грант другою крутил телефонный диск и что-то говорил в трубку, и трубка что-то ему говорила. Потом говорила только трубка, приказывала, а Грант слушал.

Ларисе стало жаль его, она подсмотрела его тайну. Он был незащищен перед техникой.

Но жалеть надо было не его. Они прощаются, он умчится, она останется одна, и плохо будет ей. Не поможет умение предвидеть и трезво смотреть на вещи, умение ни на что не надеяться и не быть от этого в истерике.

И все-таки она продолжала ждать, что когда-нибудь он вспомнит назавтра о том, что было вчера. В его таинственной программе не было пункта воспоминаний. И самой Ларисы там не было, лишь серенький, ловкий как мышка, телефон с выющимся живым шнуром.

Грант исчезнет. Новенькие автомобильчики, сверкающие магнитофончики, электробритвы, транзисторные радиоприемники, фотоаппараты уведут мальчика, и его надо забыть, как она забывала старые фильмы, даже виденные по нескольку раз. А она была Великий Кинозритель.

Да и не нужен он ей вовсе, просто она устала от одиночества, как устают от болезни. Считали ее обыкновенной, а она обернулась хронической. Только Грант еще большее одиночество. Грант — это отчаяние, которого она не смеет себе позволять.

— Я тебя провожу, мамочка,— радостно пообещал Грант. Это следовало считать милостью, он мог и не проводить, а помахать ручкой и отъехать в другую сторону.

— Провожу, провожу,— подтвердил он, видно сам сомневаясь.

Ладно, у нее есть друзья, физики и химики, правильные люди, из тех, у кого отдых следует сразу за работой и ничего нет в промежутке. В отдыхе они резвы, выносливы. Они ей подходят, и она им подходит. Никаких Грантов. Приближается весна, хватать надо лыжи, кислород, ультрафиолет, жизнь в движении, в лесу, в горах и на море. Господи, как хочется на море!

Уже из окна своей квартиры она увидела, что Грант зачем-то вылез из машины, обошел вокруг и похлопал по дверце, как по шее потрепал. Он казался таким мучительно одиноким, никого у него нет, есть только друг — автомобиль.

Жалостью к другому не спасешься от жалости к себе, а ее никто не пожалеет, уж это она хорошо знает. Хотя кроме физиков и химиков у нее еще есть друзья. Художники — двенадцатый этаж большого современного дома. Она там свой человек. А кроме того, ей досталась жаба.

По утрам он чувствовал себя плохо.

Он лежал, укрытый поверх одеяла старым клетчатым пледом, в вязаной фуфайке. Не хотелось шевелиться, не хотелось вставать.

Все снаружи было онемелое и не давало двигаться, зато внутри печенки-селезенки и сердце, конечно, оживлялись, становились не в меру активны, стучали, болели, трепыхались, как механизм старинных часов, способный издавать шипение и звуки, но не способный ходить и показывать время. По утрам он смотрел в свое тусклое, совсем не волшебное зеркало, и там отражалось что-то странное, Змей Горыныч какой-то. Как это быстро произошло, думал он, из нежного мальчика, общего любимца, из юноши с сияющими глазами получилось такое сухое, темное, коричневое. Ничего не осталось, только ресницы, длинные, красивые ресницы, которые были даны тому мальчику, зачем-то по-прежнему пушисто вылетали из сморщенных век.

Завтракать есть смысл, когда на столе две чашки, две, а не одна, независимо от того, молод ты или стар.

Некому было сварить кофе, купить свежую булку, а черствый хлеб он не ест.

Он смотрел на дверь и молил, чтобы кто-нибудь пришел, кому он нужен, кому можно улыбнуться, кто задаст ему вопросы, на которые он знает ответы. От старости существует единственное спасение — быть кому-нибудь нужным, иначе... это уж совсем нечестно.

И дверь отворилась. И вошла, к радости и удивлению Петра Николаевича, Катя, в пальто из зеленого сукна, похожем на шинель, в офицерской каракулевой папаше на светлых, прямых, как тонкая пряжа, волосах, в сапожках, тоже офицерских, на руках белые варежки.

— Вот хорошо! — воскликнул Петр Николаевич, садясь на диване и укутываясь в плед, как благородный испанский рыцарь.

— У меня сегодня редакторский день... — застенчиво сообщила Катя.

А день был не редакторский, а обыкновенный, чудесный, зимний, сверкающий, для воскресенья, для лыж, для катка, снежков, для пирога с капустой, для театра, которого давно ждешь, для вечера вдвоем, которого ждешь всегда... Она поссорилась с Арсением. Из-за чего? Из-за глупых, несправедливых слов, на которые не нужно обращать внимания.

Он ушел, сказав — расти большой. Она плакала, потом стала уговаривать себя: нельзя, надо стоять, надо выстаивать, надо, должна или — признать себя побежденной. Уходить.

Перед зеркалом она раскрасила свое лицо, не принимающее краски.

— Ну и черт с тобой, — сказала она этому лицу, — а я все равно буду краситься. Все буду, что решила.

Потом позвонила в редакцию, отпросилась и пришла сюда, в этот домик с колоннами, вне времени и пространства, падающий, но не упавший, в этот домик с книгами, которые она когда-нибудь прочитает, к этому старому человеку, который обрадовался ей...

— Я вам, сударыня, от души рад, для меня честь, — галантно ответил Петр Николаевич из глубины дивана, из молитвы о госте.

— Вы не завтракали, — установила Катя.

И побежала в булочную.

— Теперь другое дело, — сказал Петр Николаевич, когда Катя протянула ему чашку кофе. — За столом должно быть как минимум двое.

Катя кивнула. Она как в бога верила в завтрак и в ужин, в натертый пол и вымытые окна, в рабочую неделю и нерабочее воскресенье. А ее художник удирал спозаранку, бегал голодный до ночи, понедельника от вторника не отличал.

Петр Николаевич отметил перемену в Катиной внешности: волосы, прямые, как мотки шерсти, свитер — не поймешь, мужской или женский, кольцо зеленое, пластмассовое. Она явно желала выглядеть современной, женой художника, похожей на других жен художников. Они были необыкновенными в ее представлении, она обыкновенной, и теперь она пошла расправляться со своей обыкновенностью.

Катя остановилась перед фигурками двух китайских собак.

— Сердитые собачки.

— Священные собаки Фу. Охраняют жилище. Вход в храм.

— Всегда была такая проблема — охранять. Знаете, Петр Николаевич, все, что я у вас вижу, мне нравится. Оно всегда тут было. На этом месте росло. Понимаете, что я хочу сказать?

Он понимал. Как всегда, она говорила о своем муже.

— И потом, вы берете в руки все эти вещи свободно, независимо, вы не подползаете к ним, а подходите по-хозяйски.

И опять это была только первая половина фразы.

— Он еще молодой.

— А что тут особенно ему нравится?

Любовь привела ее сюда, любовь заставляла трогать ненужные, неинтересные предметы и пытаться увидеть сокрытое, не чашку в чашке, не тарелку в тарелке, а что-то, что там видели они, коллекционеры, знатоки. Ей самой все это было неинтересно, она принадлежала к тем, кто в тарелке хочет видеть суп, а в чашке чай. И зеленое пластмассовое кольцо ей тоже было не нужно. Она его нацепила, чтобы не отстать от других.

— Он любит этот стул, например,— сообщил Петр Николаевич и прочел на Катином лице величайшее недоумение, почти отчаяние человека, который не в состоянии осознать, как можно любить стул, притом еще такой черный, кривой, неудобный, в сущности даже грязный. «Еще как любит,— подумал Петр Николаевич,— до 'безумия».

— За что? — спросила она.

— Ладно, я вам постараюсь объяснить,— ответил Петр Николаевич,— а для начала подарю топазовую печатку, вы себе сделаете из нее кольцо, какого свет не видал.

— Почему это,— сказала Катя.— Я не возьму.

— Возьмите. На счастье. Ни у кого такого нет и быть не может. Это и было раньше кольцо. Знаете, кому оно принадлежало? — Он запнулся, ему хотелось накрутить какую-нибудь такую историю, чтобы поразить гостью, чтобы она сделала себе кольцо, всегда носила его на своей большой, не для колец созданной руке, помнила Петра Николаевича, когда его уже не будет. А кроме того, его сердце эстета не выдерживало вида зеленой пластмассы.

Он начал с правды.

— Одному из графов Бобринских, которые сыграли ту-манную, роковую роль в судьбе Пушкина, впрочем... — он замолчал.— Я ошибся.

Он вдруг подумал, что когда-нибудь Катя может не захотеть носить кольцо, если оно принадлежало врагам Пушкина, и решил исправить положение.

— Оно не Бобринских... оно Милениных.

— Той женщины с фотографии?

— Она мне его подарила, а я дарю вам.

Теперь он был доволен, теперь получилось как надо.

Он сидел на диване, худой, бледный, в вязаной кофте, со сверкающими глазами неисправимого фантазера, не знал, что еще придумать.

— Вы тоже Миленин,— сказала Катя.

— Ну, это семья большая, не все и знакомы между собой. Мне случалось встречать некоторых даже случайно. Почти. Представители семьи живут в Москве, в Ленинграде, в Париже, в Тамбове, в Касимове, в Рязани...

Он был ей благодарен, что она не пошла в редакцию, а сидит тут в кресле и улыбается печально, как будто тоже познала горечь бесчисленных потерь, и холод надвигающейся старости, и страх болезней, и тревогу, глупую и необъяснимую тревогу, ощущение, что ты куда-то опаздываешь, опоздал... Это женское сочувствие — дар волшебный, благословенный.

...Давно это было, если верить календарям. А на самом деле недавно, мы замечаем, как иногда тянутся часы, но не видим, как проносятся годы.

— До войны я поехал в командировку от Литературного музея в небольшой городок на расстоянии нескольких сот километров от столицы — ночь в поезде. Это был город лишь наполовину. Улицы разбегались, как положено, от центра, от здания горисполкома в стиле ампира и универмага в том же стиле. Там стояли каменные дома, и была мостовая, и еще магазины, и фонари, похожие на ленинградские. Но скоро это кончалось и начинались маленькие домики, все меньше, меньше и меньше, как слоники на комод, а на улицах, смотря по сезону, лежали подушки пыли, жидкая вязкая грязь или снег, горы снега, фонари там стояли простые — деревянный столб, а на нем лампочка в шляпе.

Поразительное количество снега зимой. Весной и осенью немыслимая грязь. Считайте меня глупым стариком, но не поживи я в тех снегах и в той слякоти, я бы считал себя обворованным. Было еще одно — фруктовые сады. Пьяный запах яблок. Сливы с дымчатой голубой тонкой кожей и медовой мякотью падали на землю и лежали

даже на улицах, за ними не нагибались, так их было много, а вкуснее я не ел никогда.

Два дня я ночевал в гостинице, но там было неудобно, в номере я был не один, к тому же я не люблю тараканов и мокриц, мокрицы, согласитесь, особенно нехороши. И я переехал. Нашел себе домик на окраине в лиловом саду, с лиловой от слив землей. Сам не знаю, как я на него набрел, шел, шел, кланялся — поднимал с земли сливы, дышал медом, разглядывал дома, и все они мне нравились. В каждом хотелось пожить, каждый был мой. Я знал, что в этих местах живут, вернее, жили когда-то Миленины. Я собирался их поискать, знал, что в городе был известный краевед, он всех знал, живых и мертвых. Сначала надо было найти его.

Остановился я наугад. Открыл калитку, обогнул хозяйственные пристройки, поднялся на крыльцо и постучал. Открылась дверь, меня впустили, спросили, что мне угодно. Я увидел благородные, тонкие, увядшие, как цветы, лица, добрые и мудрые глаза. Я сразу понял, что нашел их. Меня приняли гостем, жильцом, сыном, поселили в комнате с маленькими окнами и дощатыми полами, где дуло изо всех щелей. Ужинали горячей вареной картошкой с квашеной капустой, пили чай с вареньем из медного самовара с ручками в форме львиных голов. И беседовали, не так, как теперь беседуют люди, считая, что все знают, а если сомневаются, могут посмотреть в справочнике. Те вечера я провел с людьми, которые еще многое хотели понять, и задавали вопросы, и искали для себя ответы до последнего дня жизни. Ну а я? Я в них влюбился, был очарован, пленен, просыпался по утрам, дрожа от холода, и сразу вспоминал, где я и что со мной. Это с ними сто лет назад дружил Пушкин, и я понимал почему. Я по-ни-мал...

Голос Петра Николаевича дрожал, он и сейчас еще не переставал изумляться чудесности этой встречи, тому, что он узнал этих людей, нашел, они не потерялись в снегах, и в садах, и во времени, он вошел в их калитку.

В их ветхом домике стояла ветхая мебель, столетняя, двухсотлетняя. Он и раньше любил и понимал старинные вещи, но в этих креслах мог сидеть Пушкин, на столики могла опираться его рука, из чашек он мог пить чай.

Петр Николаевич смотрел на пленительные обломки, представлял себе, какими они были когда-то и какими они могут быть. Ему хотелось восстановить эти вещи, убе-

речь от близкой и окончательной гибели, сохранить навсегда.

Он вставал из-за овального стола, где пили чай, подходил к божественным каминным часам, трогал их, гладил белый мрамор, золоченую бронзу. Две колонки, увитые бронзовыми гирляндами из лавровых листьев, на них урны. Часовой механизм помещен в шар, увенчанный вазой с цветами. Часы из дворца или из богатого музея. Если их продать, только их, и ничего больше, хватило бы на дрова, на необходимую одежду. Но никому это в голову не приходило. Для Милениных это были просто часы, которые всегда были, всегда ходили, только недавно перестали.

Тогда Петр Николаевич стал реставратором. Он восстановил и отполировал маленькое бюро с гнутой крышкой, починил диван, на котором спал, шкатулку. Если в старое дерево вложить работу, руки и душу, оно отвечает благодарностью. Он сумел наладить даже часы. Увлёкся. Ему хотелось восстановить все, что там было. А там было... Но скоро он понял, что в этом доме важнее наколоть дров, чем вернуть красоту наборному комоду времен матушки Екатерины Алексеевны. А еще важнее раздобыть эти дрова со склада, договориться с шофером грузовой машины, привезти их и сложить поленницы в сарае, рядом с обломками исторической семейной мебели.

Он сумел запасти им дров на несколько зим.

— Аппетит у них был как у птичек, но они стали так жарко топить печи,— улыбнулся Петр Николаевич,— что я боялся пожара. Я даже прочистил дымоход. А главное, я понял, что все могу. И не в том дело, что они моя родня. Не окажись я там случайно, я бы мог их никогда не узнать. Там я особенно почувствовал принадлежность к семье, к роду и к родине. У меня всегда это было, но эти старики научили меня любви, которая осветила всю мою жизнь, освещает и сейчас... Хотя они ничему не учили, божже сохрани, ничему и никогда. Кстати о вещах. У моих родителей, у родителей моих родителей старина была просто бытом, хотя и они в свою очередь любили именно старину, русскую более всего. Но вещей не ценили, и я не ценил. Революция все еще протряхнула как следует. Был молодой — продавал, не понимал, раздавал. Но тут были вещи святыя, связанные с именем, святым для меня. Я уже был автором двух тоненьких книжечек о Пушкине в Москве и Пушкине в Петербурге, учтите.

...Когда он уезжал, ему отдали некоторые вещи, которые держал или мог держать в своих руках Пушкин. Каретную шкатулку с короной и монограммой, дорожные часы в кожаном футляре, чернильницу, молитвенник.

— Вот.

Петр Николаевич открыл ящик комода, где все это лежало. Только это, и ничего больше.

Катя перелистала маленький молитвенник в лиловом бархатном переплете с бронзовым замочком и ключиком. Молитвы там были переписаны на трех языках от руки тонким острым старинным почерком. На разные случаи жизни, из Евангелия — «Над болящим», «Во время брака», «Во время всякой нужды».

— Пока храню. А потом отдам в музей,— сказал Петр Николаевич.

— А ваши родственники?

— После войны я ездил на могилу.

— И все?

— Вот Наташа осталась. Вот я вас к ней отведу, посмотрите, что за фрукт.

Петр Николаевич расстроился. Он хотел рассказать, какие бывают на свете люди, а рассказал, какие бывают вещи. Потому что вещи можно рассказать и показать, а людей рассказать невозможно.

...Ввалился художник, не снимая куртки, упал на стул, разбросал руки-ноги.

Заметив жену, сказал: «А-а... ты тут».

— Не отдала! — воскликнул Петр Николаевич.— Я знал.

Художник молчал. На его лице явственно проступили татаро-монгольские черты, как будто обнажились корни. Сначала это было лицо старого больного монгола, оно медленно превращалось в лицо здорового молодого татарина-ордынца, который мчится на своем скакуне, с колчаном и стрелами за спиной, и хочет одного: убивать врага, жечь его жилища, угонять его женщин и коней.

— Я знал,— повторил Петр Николаевич огорченно.— Рассказывайте.

Но художник все еще летел во весь опор, пригнувшись в седле, все еще видел одну цель перед собой и задышался от желания стрелять, рубить, колоть, резать, топтать. Ему никак не удавалось переключиться.

Наконец удалось:

— Сказала, что жаба приносит счастье. А счастье про-

дать нельзя. Вчера она его продавала, а сегодня передумала, зза-ра-за. Какого черта она мне...

И опять он вскочил в седло и умчался.

— А я где-то читала,— сообщила Катя,— что жабы приносят несчастье.

— Читать надо меньше! — рявкнул художник.

— Шумели там? — поинтересовался Петр Николаевич.— Показали ей?

— Совсем нет,— вдруг застеснялся художник.— Я вел себя очень странно. Заскулил как побитый пес и пополз к порогу. Что я говорил, не помню. По-моему, я улыбался. Под конец развел та-акой Версаль, сказал «до свидания». Хотя если я еще раз увижу эту рожу, я умру. Как я ее не убил, зза-ра-зу?

— Представляю себе этот Версаль,— засмеялся Петр Николаевич.

— Я сказал ей «до свидания».

— Вот и молодец,— деликатно вставила Катя.

— Ты-то небось рада до небес,— немедленно откликнулся художник, откровенно наслаждаясь возможностью быть несправедливым.— Ты этого хотела, сознайся, колдовала...

— Нет,— бесстрашно и твердо ответила Катя.— Я хотела, как ты хотел. Но раз не вышло — не трагедия.

— Очень тонкое теоретическое замечание. Хорошо, что я женился на ученой доцентихе и у нас в семье теперь такая уютная университетская атмосфера. Ее мне как раз не хватало.

— К сожалению, я не доцент.

— Ну, редактор. Без разницы.

«Мучитель,— сердито подумал Петр Николаевич,— исчадие».

У исчадия было страдальческое лицо с двумя багровыми пятнышками на скулах, воспаленные глаза. Вид бродяги. Одет соответственно. Узкие короткие штаны и широкая куртка с чужого плеча, вид жалкий и вызывающий. Иногда, очень редко, у него делалась милая простая морда, иногда он умел хорошо смеяться, но кто станет ловить мгновения? Жена? Хватит ей терпения?

Она застегнула свою шинель, взмахнула варежкой.

— Покидаю вас,— сказала весело и мило, чуть не плача.— Не скучайте без меня.

Художник стал собираться в издательство.

— Для официальных мест вы выглядите несколько

нереспектабельно...— осторожно сказал Петр Николаевич.— Перенесите ваши дела на завтра, если можно.

— Не можно. Кто мы, а кто они? — ответил художник.

Белые рубашки, выбритые подбородки, уважение к начальству — все это вчерашний день. Художник новый человек, Петр Николаевич вчерашний день.

О том, кому досталась жаба, Петр Николаевич узнал от Дарьи Михайловны. Изредка она ему звонила и спрашивала, над чем он сейчас работает и как здоровье.

У коллекционеров, у которых как будто так много секретов, на самом деле секретов не бывает. Все это секретное обязательно вылезает наружу. Молодые храбрецы думают, что они, если постараются, все что хочешь обделают шито-крыто и никто не узнает. А потом долго, иногда целую жизнь, ходят со своей репутацией и не знают, куда ее девать.

Дарья Михайловна прекрасно знала, что художник из его команды. Она вообще все знала, это была ее профессия. Обладая некоторым имитаторским даром, она смешно описала, как художник делал вид, что жаба его не интересуется, губы поджал, губы тонкие-тонкие, сощурился, в глаза не смотрит, почему он в глаза не смотрит?

— Вы странно поступили, — сказал Петр Николаевич. — Пообещали, раздражили и не отдали. Кто так делает?

— Передумала. Не имею права? У него все равно денег нет, известно, как он долги отдает. Пустышками называли раньше таких, которые все смотрят, все хотят и ничего не могут. Точное слово.

— А Лариса вам понравилась?

— Какое сравнение.

Так оно и бывает, на хищника находится еще крупнее хищник.

— Поздравляю с удачным обменом. Вы в таких делах всегда были... мастер...

— Была? — со смехом переспросила его Дарья Михайловна.

— И есть.

Сколько он их видел, взбесившихся маникюрш и портних, желающих жить в царской роскоши, безграмотных герцогинь со Сретенки, волчиц частной инициативы. Дарья Михайловна из них. Ее богатства награблены до войны и

во время войны, когда она называла себя женой генерала и орудовала с сахаром и лярдом. Она всегда жила на широкую ногу, носила меха и бриллианты, но читала уголовное право, и другие получали от трех до восьми, а она продолжала ездить к морю, загорелая, рыжая Дода, леди из Столешникова, на которой чуть не женился какой-то боевой генерал, но не женился. Лицо у нее тогда было большое и круглое, блин с маленьким носиком посередине, но глазки радостные и голос глубокий, грудной, интимный, такой, как будто она и его украла, выменяла у порядочной женщины, у старой певицы какой-нибудь.

— То-то же,— сказала Дарья Михайловна,— никогда не хотел признавать за мной никаких достоинств, ужасный человек. А я все равно ваша старинная поклонница, была и осталась.

Жена ему рассказывала, как в войну Дода прикатила на генеральской машине и предлагала подкормить дорогую Надежду Сергеевну в обмен на миленинские вещи. Дорогая Надежда Сергеевна голодала.

Петр Николаевич сказал:

— С художником вы поступили некрасиво. И мне вы, пожалуйста, больше не звоните. Я занят. Меня нет дома.

В этом обществе Катя бывала не раз, хотя художник старался ей втолковать, что в среде людей искусства не принято, чтобы муж и жена всюду ходили вместе, как шерочка с машерочкой. Она шла, да еще надевала белое платье. Ее подтянутость и чистота достигали той степени, когда женщина кажется почти ненастоящей, не живой.

Муж насвистывал простой мотив, шаркал подошвами растоптанных мокасин и был насмешлив.

— Ты, как я понимаю, готова. При полном параде. Кто это тебя научил так по-идиотски причесываться? Мы можем вытряхиваться? Надеюсь, я тебя не шокирую? Я ведь тоже теперь чист как голубь.

Последнее относилось к тому, что она без спросу выстирала его джинсы. Любимые штаны полиняли, по ним протекли голубые полосы, и они стали похожи на немую карту, полную тайной географической красоты. Свитер, связанный из грубой латышской шерсти, стянутый узлом вокруг шеи, висел на спине как пиратский флаг.

— Боже, как ты копаешься,— причитал он, хотя она

была готова раньше него.— Ты не можешь побыстрее? Ехать так ехать.

Ехать — вознестись с пятого этажа на двенадцатый в лифте, где зеркало отразило его лысеющую голову рассерженного апостола, его нереспектабельную фигуру бродяги в живописных лохмотьях и ее аккуратную точеную головку, как будто отлитую в серебре, ее одежду, выражающую уважение к окружающим.

На двенадцатом этаже помещались мастерские, просторные комнаты с балконами или без них.

Коридоры пахли масляной краской, нитроглифталевыми лаками, надеждами, новосельями. Двери не запирались, новшества перенимались. Слесари, плотники, гости были общими, как хлеб и спички, как чай и кофе, как содержимое бутылок и консервных банок. Дух коммуны был могуч, прекрасен и недолговечен. Впоследствии ему предстояло уйти в другие места, к другим людям, в другие коридоры. А здесь закроют двери, поделают гостей и слесарей, угощение станет необщим, неодинаковым, и, если в одной мастерской покрасят стенку, то в другой обдерут краску и обнажат штукатурку, если в одной повесят светильник, найденный в палатке утильщика, в другой оставят болтаться голую лампочку на шнуре.

Но и тогда они останутся современниками, как определяют после смерти тех, кто при жизни делил молодость, зрелость и старость, в дружбе ли, во вражде ли, неважно. Эти пока делили молодость свою, кооперативное жилье, а последнее время начинали делить славу и деньги.

Был чей-то день рождения, к которому присоединили еще чей-то день рождения, но все это не имело значения, истинной причиной встречи была общность профессии, территориальная близость, клуб интересов.

Стол прекрасен, как натюрморт. Что-то исконно русское с примесью голландского. Использован нежный зеленый цвет молодого лука и салата на теплой медовой поверхности из чистых струганых сосновых досок. Разбросаны с тщательной небрежностью золотые деревянные ложки, золотые плетеные туеса. Цветут жестовские подносы, синеют кувшины Гжели. Дешевое вино разлито по огромным бутылкам. Изобилие, но не богатство. Кто-то принес коричневых, с костра и дыма рыбешек и свалил кучей. Катя хотела разложить их на блюде, ей не дали.

Здесь пируют художники и стол сервируют они.

Пируют — на столе лук, чеснок, соленые лиловые ла-

ково блестящие грибы для тех, кто не боится отравиться. Никто не боится. Главное украшение стола — моченая брусника, пахнущая северным лесом, откуда и все мы, все они, лесные, бородастые, голубоглазые путешественники, обитатели двенадцатого этажа.

Хозяин мастерской, Женя Кузнецов, показал гостям икону.

Небольшая, сгнившая по краям доска, вся словно из мелких осколков, как мозаика, которую составили века, и в то же время свежая, как написанная вчера. В ней беспокоящая странность, требуется к ней сторожиха — старушка в меховой телогрейке, чутко спящая на стуле у входа, или ей место в музее подделок, если таковой существует.

— Ну, знатоки? — спросил хозяин. — Ну что?

— Н-не знаю, — протянул Арсений. — Чегой-то не пойму.

— Красиво, — ласково сказала Лариса Морозова. Она дружила с Кузнецовым и не хотела ругать его икону.

— Интересно, откуда она, — сказала Катя, убежденная, что иконы, какие бы они ни были, должны висеть в церкви, а не в мастерских художников и в их квартирах и в квартирах их друзей.

На двенадцатом этаже относились к иконе как к произведению искусства.

Лариса ответила Кате:

— О, милостивый боже, она прекрасна, как цветок или дерево, которые прекрасны сами по себе, ни от кого, ни от чего не зависят. Дерево дано нам, и эта икона дана. Чтобы мы восхищались и чувствовали себя счастливыми. Я смотрю на нее и думаю: кто из нас, из вас, товарищей моих, мог бы так написать? О, я верю, я верую в вашу талантливость, в ваше предназначение, а эта божественная картина в ее наивности пусть будет напутствием и предостережением...

Она могла так трепаться очень долго, практически бесконечно, и ее товарищи, добрые люди, не умеющие говорить, хотя умеющие рисовать, слушали ее и не прерывали. Никто потом не мог пересказать ее выступлений и докопаться до смысла. Никому и не требовалось. Двенадцатый этаж проживал этот год в терпимости и снисходительности, в свободном развитии индивидуальностей, под особым сочетанием звезд и знаков.

— Потрясающая все-таки девка! — сказал Кате худож-

ник, задавая ей очередную невыполнимую задачу — разделить и это его заблуждение.

— Чем? — ангельским шепотом спросила Катя. — Извини, я не понимаю. Объясни.

Он развел руками.

— Умная? Хорошая? Талантливая? — продолжала допытываться Катя, прекрасно зная, что Арсений скорее проглотит язык, чем назовет талантливыми те букеты цветов, которые рождественскими и пасхальными открытками время от времени легко, несмущенно и серийно вылетали из рук автора в руки покупателя.

— Не будем об этом, — многозначительно уронил он, намекая на что-то, что понять могли лишь мужчины. Это составляло их тайное знание и тайное братство, причиняло страдания первой жене художника, но не особенно тревожило вторую. Первая, легковверная, неизменно попадалась на эту дешевку. Катя же считала, что грешники грешат и молчат, а хвастаются болтуны с комплексами неполноценности. Она ничего не выясняла в отличие от первой, которая стремилась доискаться правды и на этом погорела.

— В самом деле, — согласилась она, — подумаешь, проблема. Не составляет, как говорится. Верно?

— Боже, покарай лингвистов, — воскликнул художник и отошел от нее.

Мало того что Катя против правил всюду желала ходить с ним, она еще требовала, чтобы ее развлекали, разговаривали с нею. По ее милости он рисковал показаться смешным и жалким в глазах обитателей двенадцатого этажа. Тут жен держали на расстоянии. Двенадцатый этаж — место для работы, для творчества, не башня из слоновой кости, но бункер из стекла и бетона и уважения к личности. Его мадам на словах все признавала, клялась, что готова уважать двенадцатый этаж и его права, а на деле? Та первая тоже воевала и бесконечно нарушала и ничего не добилаься.

Художник посмотрел издали на Катю. Решительность была даже в том, как она сидела в кресле-качалке и качалась, не стремясь ни к кому приклеиваться, разговариваться, не ища дружб и общений, не подлаживалась под общий тон. Но он человек двенадцатого этажа, ей придется с этим смириться.

Вразвалочку он направился туда, где Лариса, заведя оранжевые кольца на лицо, с упорством и однообразием,

которые отличают великих проповедников, повторяла одно и то же:

— ...клянусь... я готова отдать все, что у меня есть, а у меня ничего нет, только немного времени, сколько его отпущено, кто знает... категория времени... единица богатства, часть позади и капля впереди... капля времени... капля крови..

Она мне нравится, решил художник, находя волнующей ее диспропорциональность, грудь красивой сельской девушки, и узкие бедра подростка-спортсмена, и кастрюльно-медные волосы, нейлоновое происхождение которых осталось для него неразгаданным.

— Ларочка, bravo! — крикнул он, но она не посмотрела на него.

Она в последний раз провозгласила себя главой школы, на знамени которой стояло одно местоимение «я», и заскучала, затосковала, сползла по стене на пол и там затихла с сигаретой.

Кроме нее, никто из обитателей двенадцатого этажа не заявлял так откровенно своих претензий, хотя, расставив столы и набив в стены тучи гвоздей, многие начали задумываться о будущем.

Пока одни обменивались прялками и медными обломками, сооружали книжные полки, прищипливали фотографии кинозвезд и собак, другие работали. В первый год существования двенадцатый этаж уже знал своих работников и своих лодырей, своих коммерсантов, своих донжуанов. Сложнее было разобраться с талантами. Все были живые, молодые, делали гимнастику с гантелями, запрашивали авансы, громко смеялись, говорили глупости... До персональных выставок им было далеко.

Двенадцатый этаж был щедрым авансом, если вспомнить о бездомных художниках Монмартра и других, рисующих углем на тротуарах иных столиц. Двенадцатый этаж означал рубеж.

Один из гостей, невысокий молодой человек, с мягкой золотисто-желтой бородой и ясными синими глазами, подошел к Ларисе. Наверно, его привлекло то, что она сидела на полу. Он нагнулся к ней и вежливо поздоровался. Лариса обрадовалась. Где-то в видимом ею будущем уже существовал коричневый и белый период творчества этого мальчишка, он был талантлив.

Лариса сказала ему:

— Костик, приходи ко мне и работай сколько влезет.

Тебе никто не помешает. Меня целый день дома нет. Квартира двухкомнатная.

— А вы где?

Он стеснялся говорить «ты» этой важной персоне, сидящей на полу, красиво, лилово одетой, считая ее каким-то начальством. Он только не совсем представлял себе, почему они так хорошо знакомы, когда и где это случилось, и конечно уж совсем не мог объяснить, почему эта незнакомка показалась ему трогательной и беспомощной девочкой, которую он должен спасти. Он помог ей подняться с пола.

— Где же вы? — переспросил он.

— В музее, — чуть обиженно ответила Лариса. — Могу тебе хоть сейчас вторую пару ключей дать.

— Я потеряю, — отказался он.

— Ты же знаешь, где я живу, ты у меня был, пил чай, — настаивала она, но ему казалось, что это ошибка, женщина эта ему незнакома и неприятна. Но в следующий миг он видел ее белое серьезное лицо, оно молило о спасении. Лиловое гляделось фоном человеческой драмы.

— Очень странно, — удивлялся он.

— Ладно, — отступилась Лариса, — пусть. Я хотела помочь, не хотите, не надо.

Он опять удивился. Она хотела помочь? Что это значит?

— Я приду, — пообещал Костик. — Очень скоро.

Именинницей была жена Евгения — Софа. Ранняя седина и морщины делали ее похожей на маму любого из присутствующих и даже на бабушку, которой пришла оригинальная мысль посмотреть, как веселится молодежь. Эту молчаливую добродушную женщину двенадцатый этаж уважал. Ее называли «наша Соня» и «наша радость» и даже «наша мама». Секрет ее успеха заключался в том, что, согласно легенде, она пришла в мастерскую к мужу один или два раза за все время. Мечты двенадцатого этажа об идеальной жене стихийно воплотились в этой усталой, рано состарившейся Соне, у которой от былой прелести и юности сохранились только крутые лихие брови, как знак качества.

— За тебя, София, за умную, мудрую, — провозгласил Арсений, озираясь на свою собственную немудрую, на крошечного испуганного и бесстрашного, глухого, слепого офицера, из тех, которые не сдаются. — Помню, как вы жили еще на Рогожке, в одной комнате, близнецы орут,

Эжен тут же прикнопливает свои листы, Софа в лыжном костюме, всегда народ, все веселые. На стенах у вас висели театральные афиши, помню эти афиши... На обед каждый день макароны с сыром... хорошие были макароны...

— Да, очень,— согласилась Соня с интонацией, в которой стоило бы разобраться, да поздно. Все уже решено, постановлено, других кандидаток на ее место не имеется. Точка.

Лариса сидела рядом с Катей, пила холодную сырую воду и ничего не ела. Хорошо знала, какая беда еда и во что обходится по рассеянности проглоченный кусок булки.

— Поела мясного, а теперь живот болит,— пожаловалась Лариса.— Как это люди каждый день мясо едят, бедные.

— А вы травки попейте,— посоветовала Катя.

— Я пью. Вы что пьете в таких случаях? — поинтересовалась Лариса.

Настои трав индивидуальны, как люди, которые их составляют и пьют. Истинные травники всегда творческие личности.

— Я не пью, я еще только собираюсь,— засмеялась Катя.

— А как моя прялочка поживает? — спросила Лариса у хозяина мастерской детским, умильным голосом. Она давно пыталась выманить у него его единственную прялку.

— Моя,— поправил Евгений.— Так она тебе нравится?

— Я по ней умираю.

— Ладно, там видно будет...

— Подождем, мы люди простые, без хитростей,— смиренно сказала Лариса.

Евгений засмеялся.

— Любим искусство русское народное,— заключила Лариса и умолкла.

Она скучала. Речи произносила не она, не про нее, на нее никто внимания не обращал. Вечер на глазах перерождался в именинно-семейный. Бородатые разбойники они только на вид. Летать они не умеют. Телезрители.

В довершение ко всему явился этот старый Петр Николаевич, которого она терпеть не могла прежде всего потому, что он ее не терпел, и тоже, подлаживаясь под общий тон, стал вспоминать, как хорошо было в той коммунальной квартире на Рогожском валу, какие были макароны, какие были надежды и как все были молоды и

хороши, из чего напрашивался вывод, что теперь они хуже и старше, а главная беда жизни — их мастерские, их двенадцатый этаж, который они получили, но ничем пока не заслужили. Двенадцатый этаж, как бельмо на глазу, всех волнует... Плюс дежурная шутка — вспомним о не знающих, где переночевать, собратьях с Монмартра.

Он так не говорил, но ей надо было к чему-нибудь прицепиться.

Она вскочила с места, топнула ногой, обтянутой сапогом, и обрушилась на старика:

— Какой ужас! Какой грех! Какая печаль! Отвратительно! Стыдно! При мне не смейте так говорить, запрещаю вам! Запрещаю всем!

Она перевела дыхание, сбавила темп.

— Однако это не ново, отнюдь, отнюдь. Подобные вдохновляющие речи мы слышали от завистников наших и от друзей наших, чьи имена здесь можно не называть. Пристало ли вам повторять за ними? Или вы и есть они? К чему только, помилуй бог, эта симпатичная шутка насчет собратьев, такая свеженькая? Она что? В общую копилку юмора? А что такое двенадцатый этаж? Что это, если не соединение железобетона, кирпича, некоторого количества штукатурки, краски, лака и малого вдохновения, спящей архитектурной, строительной и дизайнерской мысли. Или двенадцатый этаж символ? Уже не талантливости, по-вашему? А в лучшем случае, ловкости, приспособленности, если не худших грехов? Вы не уважаете двенадцатый этаж, хотя я не знаю, за что его можно не уважать. Бедный он, никто его не любит, он как бельмо на глазу, но в то же время, сознайтесь, без него было бы скучно вам, знатоку Пушкина и девятнадцатого века. А двенадцатый этаж, он двадцатый век, хочется вам или не хочется! И да здравствует двадцатый век!

Ее грубый, хамский тон вызвал замешательство. Что сказал старик, да и что он мог сказать? За дружеским столом у художников он всегда вел себя как бог, как отец, со всеми приветлив и справедлив. С ним интересно, он не зануда. Петра Николаевича любили, вкус его безупречный ценили, его интеллигентность, открытое сердце. Он любил молодежь, молодежь любила его, — расклад ясен.

Что случилось, она заболела? — так обычно спрашивают люди, когда придуманный ими человек вдруг сворачивает с придуманного для него пути и начинает переть совсем в другую сторону. Никто ничего не понял.

Старик тоже ничего не понял. Он побледнел, лицо его дрожало.

Катя подбежала к нему, обхватила за плечи и крикнула обидчице, всему столу, всему двенадцатому этажу:

— Как вы смеете? Я не позволю никому!

И сразу поднялся шум и не стало дня рождения и той умиленности, в которую они погружались, как в теплую ванну. Не стало ванны и кафельных стен, вообще не стало стен, ветер гнал по площади мусор, обрывки бумаг, окурки, песок, пыль.

— Мы уходим! — крикнула Катя голосом, неожиданным для столь миниатюрного создания.

— Нет! Вы не уйдете! Или мы все уйдем! — раздался хор голосов.

Обычно разобщенные и тихие жены двенадцатого этажа окружили Катю, стали успокаивать Петра Николаевича, кидая на Ларису возмущенные взгляды.

А та сидела с видом человека, которого не поняли. Впрочем, она была полна неуважения ко всем, и у нее были железные нервы.

Такую нельзя обидеть, оскорбить. Жены подняли визг? Пожалуйста, она подошла и опустилась перед Петром Николаевичем на колени, стала просить прощения в книжных, высокопарных выражениях.

У него срывался голос, он волновался, она была совершенно спокойна и произнесла речь, в которой осудила себя.

И двенадцатый этаж, одураченный ею, хотя состоял он совсем не из дурачков, вернул ей свое расположение.

К ней привыкли, снисходительно посмеивались: Лариса — говорящая женщина. Несколько экзальтирована, но это простительно, нервы городские. Наконец, она художница, пусть ее сюжеты гераньки, но и геранькой можно что-то выразить. Не всем нравилось ее коллекционерство, но в конце концов кому какое дело?

— Ладно, забудем, запомним, — посыпались предложения, и вечер покатился дальше, довольно гладко и привычно, хотя, как водится, праздник все равно стал вскоре антипраздником, посудой, которую надо перемыть, и ссорами, которые надо позабыть.

Катя удивлялась, и еще долго ей предстояло удивляться обитателям двенадцатого этажа.

Жизнь была к ним на удивление щедрa. Мир как чудо, как большой золотой шар, внутри все тоже золотое, шар летел, и они в нем летели... Жизнь расстилалась улицами

города, свежестью и зеленью лесов, неповторимостью деревень, вечно бередящих сердце художника. Жизнь дарила им белую бумагу, необозримые снежные ее километры и грубый благородный зернистый репинский холст, хитрые новомодные фломастеры, удручающе недолговечные, и старые надежные пузыречки разноцветной туши — крошечные горящие фонарики. Жизнь дарила им сотни новых монографий об искусстве, отпечатанных в лучших типографиях мира, на высоком уровне полиграфии, и старые книги на еще более высоком уровне.

С материнской щедростью отвела им весь Север, Архангельск, Псков, Новгород, Вологду, Тотьму, Центральную Черноземную область с деревнями и городками, подарила Киев с Лаврой, Ленинград с окрестностями, Самарканд, Бухару, Крым, Кавказ... Они все брали: лодки, костры, ружья, ножи, прялки, рушники, самовары, сундуки, возможность ехать поездом, лететь самолетом, сплавиться по реке на плоту. Брали юг и север, восток и запад, брали легко, естественно, как свое. Отдавать? Это потом. Некоторые отдадут сполна, а некоторые так и будут — брать, брать, брать.

Катя начинала понимать расстановку сил, невыносимые привилегии двенадцатого этажа, бедность его и богатство, окаянную его прелесть, странные его вольности.

— У тебя видик, мать, я тебе доложу, — насмешливо заметил художник как раз в тот момент, когда Кате казалось, что она — само дружелюбие.

— Не знаю, чего ты хочешь от меня, я веселая и довольная, — ответила Катя. — Какой у меня видик?

— Такой, что ты сейчас беднягу Лару живьем сглотнешь, и такой, вроде ты специальность переменяла, научную работу решила писать, под названием «Двенадцатый этаж». Всех тут научно изучишь, запишешь, проанализируешь и сделаешь выводы, доцентиха. Сделаешь выводы?

Последние слова художник произнес так презрительно, что Катя засмеялась. «Если не психовать с ним заодно, то можно еще смеяться», — подумала она.

— А на самом деле я не изучаю, а участвую. На равных.

— Господи, — простонал художник, ощущая Катино спокойствие как предательство. — Откуда ты свалилась на мою голову?

Катя улыбнулась.

— Вы про меня говорите?

Лариса подошла любезная.

— Катя, приходите ко мне, у меня есть книжка, в ней портрет, на который вы поразительно похожи. Я вам покажу.

— Имеем комплимент? — спросила Катя и оглянулась на своего художника. Но художник на нее не смотрел.

— Катя похожа на портрет Элеоноры Толедской, Бронзино. Он находится в галерее Уффици, — вмешался Петр Николаевич.

— Все вы старые комплиментщики и донжуаны, — засмеялся художник.

— Бронзино? — спросила Лариса. — Между прочим, на днях промелькнул один Бронзино.

— Да-а, — сказал Евгений, — я видел... этого Бронзино. Как же, как же.

— А почему я ничего не знаю? — удивился художник. — Где? Когда? Какой Бронзино?

— Ну пожалуйста, Арсений, не заводитесь, — миролюбиво ответил Петр Николаевич. — Это такой же Бронзино, как я китайский император.

В этом невероятном мире, где жил двенадцатый этаж, все могло быть. И Бронзино тоже, художник это знал. С ним, правда, чудес не случалось, ему ничего такого не попадалось. Он не стремился к громким именам, но Бронзино особый случай, Бронзино, который так безупречно, божественно писал флорентийских патрициев, надменных, мужественных, исполненных достоинства и красоты. Перед портретом Козимо Медичи в Музее изобразительных искусств художник стоял много раз и помнил плечи, и руки, и мягкую бороду, всю позу. Когда он думал о портрете, у него сбивалось дыхание.

— Какой портрет-то, скажите толком, мужички, — просил он. — Ну ты скажи, Лариса, ты же первая начала.

— Мужчина в черном, с цепью, — сжалилась Лариса.

Художник закрыл глаза и потер виски. Воображение нарисовало уменьшенный вариант того портрета, хотя там цепи нет, и одежда не черная, но черного и там много, живописец любил черный цвет и писал его часто.

— Сколько стоит? — спросил художник.

— Стоил. Недорого, — засмеялся Евгений. — Сто рублей. В магазине.

И все засмеялись.

Художник понимал, что ведет себя глупо и неприлично, но ничего поделать не мог. Хорошо, пусть не Бронзино и к

Бронзино близко не лежал, но откуда-то возникла такая легенда? Он не такой гордый, как Лариса-искусствоведка. Ему годится то, что она не берет. Кто-то все равно купил это за Бронзино, кто-то, у кого нашлось сто ре, в нужном месте, в нужный час. Даже если копия того времени...

— Прекратите, Арсений,—прикрикнул на него Петр Николаевич, который читал все его переживания, как книгу с картинками, и сердился и жалел его, молодого, глупого, не умеющего владеть собой, властвовать собою, то, что так хорошо умели модели Аньоло Бронзино.

— Что, братцы, это действительно было похоже? — попробовал улыбнуться художник, показывая, что все миновало, он уже способен на эту тему шутить.

— Пря-амо, сейчас,—буркнул Евгений.

— Ты так думаешь, что кругом одни сплошные идиоты. Похоже ли? — спросила Лариса презрительно.— В том-то и дело, что похоже. Типичный Бронзино, так бы я сказала. Устраивает?

Все опять засмеялись.

«Они из него дурачка делают,—подумала Катя,—а он подставляется».

— Я ухожу,—сказала Катя,—мне утром вставать рано, а двенадцатый этаж может дрыхнуть. Когда вы все в журнал приходили, а я была новенькая, младший редактор, на вас смотрела снизу вверх, все вы были симпатичные, а теперь я вас что-то не пойму.

— По-моему, ты начинаешь склоку,—мрачно отозвался художник.

— Да. Начинаю.

— В наше время женщина не проблема, а беда,—сообщил художник.

— И мне пора,—сказала Лариса,—я тоже человек раннего вставания.

Она надела милицейский тулуп, перетянулась кушаком, стала похожа на удалого ямщика, который сейчас взмахнет вожжами, гикнет, свистнет и помчится по Москве и Подмоскovie, а поедет назад — в санях у него уже будет лежать Бронзино, да не тот, сомнительный, а настоящий, подлинный, великолепный.

— Ты когда придешь? — спросила Катя у мужа.

— Не будем договариваться. Приду когда приду.

Он произнес это довольно миролюбивым тоном, но Катя покраснела, «где был и когда придешь» спрашивать нельзя, у нее сорвалось случайно, опять ошибка.

— Лапкин-драпкин, я приду.

«Лапкин-драпкин» — признак нежности, чем она ее заслужила, она не знала.

Он обязательно хотел познакомить Катю со своей племянницей. Ему казалось, что он хранитель каких-то последних прекрасных знаний и они кончаются. Может быть, глупости вроде засушенных лепестков в книгах. Пусть, не всем умными быть.

Петр Николаевич набирал номер Наташи Милениной, которая никогда дома не сидит. Подруги, друзья, театры, кино, а теперь новое увлечение — туризм. Может, ее прабабки за нее дома отсидели, впрочем, тоже, наверно, не особенные домоседки были. У него было чувство, что он их знал, прабабок этих двоюродных, троюродных, и был в них влюблен, и до сих пор влюблен, вот дурость, и радость, и тайна, которую надо хранить, потому что никто не поймет. Но как попадется человек, способный понять, сразу надо с ним поделиться чепухой этой, лепестками засушенными, тогда не пропадет, не умрет вместе с ним, а останется. Катя как раз такой человек.

Наташа сказала, когда он ее наконец поймал по одному из служебных телефонов:

— Ах ты боже мой, дядечка, какие китайские церемонии. Да приходите, когда хотите, с кем хотите. Как будто впервой. Мало я, что ли, ваших опекаемых видела, которым вы головы морочите, а они вам верят и слушают развесив уши. Я уж соскучилась без вас, без ваших фантазий. Только пообещайте не делать из меня музейный экспонат, я сейчас особенно для этого не подхожу, похожа на черта. Уезжаю в экспедицию на все лето и вообще не знаю, когда вернусь, может быть — никогда. Чего я тут не видела, а там — солнце, ветер, полынью пахнет. Как зовут вашу новую жертву?

Он побрился, надел вельветовую куртку, шелковым платком обмотал шею, стал выглядеть как собственная фотография двадцатилетней давности.

— В вас влюбиться можно, — польстила ему Катя.

— Было. Влюблялись, — скромно ответил он.

Умение так празднично выглядеть — особое мужское

свойство. Может быть, от сознания, что твой вид есть твой долг женщине.

Был небольшой мороз, очень светлое небо, бодрящая свежесть, один из прекрасных московских зимних дней, которые почему-то стали редки. Или так кажется? А между тем такие дни и есть Москва, и нежный запах свежести — Москва, и неповторимые развороты некоторых улиц, ничем, может быть, не примечательных, лишь тем, что они — Москва. Город любишь, как человека, любишь потому, что любишь.

Петр Николаевич купил целлофановый кулек с цветами — две тяжелые, как виноград, грозди гиацинтов, голубую и розовую, с нежным запахом. Он был чувствителен к запахам и внимательно посмотрел на Катю, как она — изумляется цветам или спокойна, равнодушна, современный человек. Лицо современного человека было розовое, как гиацинт, и спокойное. Он спрятал цветы под пальто.

Удачно совпало, и Наташа дома, и Катя свободна. А вдобавок весна в этот день пробивалась сквозь зиму, снег и лед, как запах гиацинтов сквозь драповое пальто.

— Чувствуете? Я чувствую весну, как какая-нибудь там букашка-муравей, под листом, под корягой. Чувствую, что-то хорошее будет, а что-то — это весна... Мы с вами подходим к дому, где Пушкин жил в тысяча восемьсот тридцать первом году. Здесь у него бывали Денис Давыдов, Языков, Баратынский, Вяземский и, конечно, Нащокин Павел Воинович. Гостиная была обклеена обоями под лиловый бархат с выпуклыми цветами. Его первая квартира... А следующий дом — мы пришли.

Молодая женщина выглядела так, как будто играла в снежки, где-то бегала и сейчас опять побежит.

Гидом быть она не захотела. То, что висело в ее доме на стенах, имело к ней самое непосредственное отношение, но ее не интересовало. Чудесные предки, верно. Но люди склонны переоценивать предков, особенно в последнее время. Ей стало скучно, когда Петр Николаевич подвел Катю к портретам и стал рассказывать, кто на них изображен.

Она присела перед зеркальцем у туалета с намерением причесаться. Помахала гребенкой, помахала щеткой и встала... Темно-синие волосы торчали, как у шестиклассника на большой перемене.

Предки, нарисованные с разной степенью искусности и искусства или изображенные на старых фотографиях, тепло укутанные в бархатные рамки, взирали на наследницу благосклонно. У многих из них тоже были такие лица, как будто и они что-то натворили.

Миленина поставила цветы в воду, стала накрывать на стол. Она явно боялась, что ее отвлекут от дела и о чем-нибудь спросят. Она колола сахар, как колют орехи, потом стала резать хлеб, сыр и вообще крошить всю еду, — казалось, она собиралась из всего, что было в доме, сделать салат.

Петр Николаевич обратился к ней:

— Наташенька, у тебя был другой портрет. Я его не вижу.

— Музей выпросил.

Петр Николаевич снял со стены фотографию грустного генерала в коричневой, местами порозовевшей бархатной рамке.

Миленина подошла.

— Дядя Саша. Девять человек детей. Храбрый безрасудно. Добрый, благородный, милый. Пупсик. Давно умер.

— Вот так она рассказывает про своих знаменитых родственников, — сказал Петр Николаевич. — Этот дядя Саша, пупсик, был прогрессивнейшим деятелем государства Российского.

— А как я должна про них рассказывать? Встать в позу, завернуться в римскую тогу? Они были замечательные, умные, просвещенные, преданные отечеству... их любили... и они любили. И умерли. Все как один, — закончила она смеясь и опять удрала, туда, где ее ждали, где шла жизнь без портретов, без старинной мебели, без желтоватых иссыхающих бумаг. Наташа давно хотела отдать их Петру Николаевичу, но он считал, что они вместе должны их перебрать. Она не спорила, бумагам, видно, еще долго предстояло лежать на прогнувшихся книжных полках.

Большая комната спокойно, естественно вместила два с половиной столетия и не казалась перегруженной. Историческое имело свои места на стенах и у стен, а современное: сумка Аэрофлота, бархатные брюки, пестрый платок, журналы, газеты, сигареты — без закрепленных мест сбивалось к столу и хозяйке. Комната была как город с современным центром и историческими окраинами.

Петр Николаевич стал описывать достопримечательности. Миниатюры, акварели, гравюры из тех, что висели

пониже, снимал с гвоздиков. На обоях открывались ровные темные пятна. Катя внимательно осматривала эти пятна.

— Не слушает,— обиделся Петр Николаевич.

Он вел экскурсию, старался, выдавал эрудицию, был блестящ, воодушевлен и внезапно обнаружил, что слушатели изнывают от скуки.

За столом у него еще больше испортилось настроение. Женщины разговорились и болтали, тратили драгоценное время неизвестно на что.

Общего отношения к шнурованным высоким сапогам оказалось достаточно, чтобы, еще час назад незнакомые, они стали вести себя как подруги детства. Кстати, он всегда знал, что стоит познакомить людей, как у них начинается отдельная жизнь, они забывают того, кто их познакомил.

Он молча пил чай.

Он хотел показать Кате этот дом, потому что старина тут была теплая, живая, а историческим — все, любая мелочь, даже ракушка, которую какой-нибудь дядя, пупсик, не поместившийся на стене, привез из путешествия на Цейлон в тысяча девятьсот десятом году. Петр Николаевич здесь все знал наизусть. Однако сегодня, снимая со стены акварели, он обратил внимание на одну, которой раньше не было, Наташа ее, видно, откуда-то вытащила. Акварель была подписная: Максим Воробьев, Петербург. Виды Петербурга теперь уже редко встречаются. Акварель немного выцветшая, серенькая, тронутая невидимым розовым. Лодка с цепью. Адмиралтейство. Небо. Вода. Розового как будто нигде не было, но все-таки оно было...

— Натали, откуда она? Вон та акварель.

— Кто? Что? Не знаю,— ответила Миленина голосом, каким шестиклассник отвечает на вопрос, кто разбил стекло.

— Ее раньше не было.

— Была.

Катя посмотрела, куда показывал Петр Николаевич. И маленькая картинка отделилась от стены и поплыла к ней с лодкой, с водой и небом, с прозрачностью и легким туманом, с часом, когда кончается день и начинается вечер, с весной, которая еще не наступила, с ожиданием чего-то, с обещанием, с вечностью, с безнадежностью, с Сенатской площадью, с Петропавловской крепостью...

Удивительно, как она ее не увидела, зато теперь видела только ее.

— Максим Воробьев, его сюжет, его Петербург,— сдержанно пояснил Петр Николаевич.

— Как же могло так все сохраниться? — спросила Катя, обводя взглядом комнату.

— Обстановка из имения,— ответил Петр Николаевич.

— Во время революции крестьяне собрали вещи в доме, погрузили на подводы и привезли сюда к маме, в Москву,— сказала Миленина.

— Очень просто,— комментировал Петр Николаевич с таким видом, как будто сам руководил транспортировкой.— А дом был белый, с колоннами. Аллея. Парк. Пруды...

— Китайская беседка,— вставила Миленина.

— И отдельное кладбище.

— Кладбище у всех отдельное,— улыбнулась Миленина,— я его помню. И надгробья домиками помню, со странным названием — голубцы.

— У вас должно быть глубокое чувство истории,— сказала Катя.

— А у меня его нет,— весело отозвалась Миленина и встала из-за стола,— мои дорогие, я должна собираться в темпе, одеваться и бежать сломя голову на работку. Вы сидите, допивайте чай, ни на что не обращайтесь внимания.

Она загремела ящиками, раскрыла огромные военные ворота шкафа-башни, они заскрипели, весь старинный город пришел в движение. Гремя катились повозки, шла, приплясывая, пестрая толпа цыган, от которой вдруг отделилась одна цыганочка и умчалась куда-то с ворохом тряпок, стащила их у самой себя.

Убежала девчонкой, самой отчаянной в таборе, вернулась женщиной средних лет, готовой к прохождению службы, скромной, тихой, чуть подкрашенной, вязаный шлем закрыл темно-синие вихры.

— У меня еще несколько минут,— сказала тихим голосом тихой женщины и присела к столу.

— Натали, ты опять без денег? — спросил Петр Николаевич.

— Всегда,— последовал ответ.

— Продолжаешь свои глупости?

— Дядечка, все равно вы меня не переделаете.

— Что ты задумала?

— Ее.

Она показала на маленький поясной портрет, скорее даже этюд. Девочка с розочкой в руке смотрела с него доверчиво и серьезно, совершенно беззащитная, вечных двенадцать лет.

«Она свихнулась, такой портрет нельзя продать,— подумала Катя,— это дикость».

— Один прелестный грузин его у меня выпрашивает,— сообщила Миленина.— Ходит за ним не знаю сколько времени.

— Наташа, я дам тебе денег, обещаю прогнать прелестного грузина и не трогать портрет.

— Устраиваем очередную трагедию,— засмеялась Миленина.

— Обещай,— настаивал Петр Николаевич,— послушайся хоть раз. Ты не должна этого делать. Ты и так все уже размотала, ничего не осталось.

— А мне ни-че-го не надо,— тихо и внушительно произнесла Миленина,— ничего. Я всю жизнь нефть ищу. Предсказываю, вычисляю. Вот только что меня интересует. Я неф-тя-ник. А меня из-за вас с работы уволят, это точно,— пошутила она и надела пальто, которое прибавило ей еще года три-четыре.— Приходите ко мне,— сердечно пригласила она Катю и посмотрела глазами девочки с розочкой вечных двенадцати лет.

На лестнице, когда спускались, она обняла Петра Николаевича, сунула ему в руки бумажный пакет, засмеялась и убежала.

Петр Николаевич развернул бумагу — это была акварель с лодкой.

— Я знал,— произнес он.

— Она выполнила ваше желание,— сказала Катя с легким осуждением в голосе, достаточно разбираясь в проклятой проблеме: коллекционеры и их желания.

— Не беспокойтесь, я ее отдарю.

— Она этого ждет?

— А при чем тут ждет или не ждет. Ей ничего не надо. Того, что ей надо, у меня все равно нет.

— Что это?

— Будем теперь чтокать... Я сам не знаю. Счастье. Любовь. Покой. Наоборот, бури. Молодость. Нефть, может быть. Свободное время. Красивые платья. Здоровье... Того, чего у нее нет и у меня нет. Зато у меня есть одна хорошая вещь, и я ей ее подарю. Я вам хотел подарить,

но я вам что-нибудь другое подарю. Или это, я еще не решил. И денег ей дам, я на днях получаю.

— Почему она хочет продать портрет?

— Может быть, он ее чем-нибудь раздражает. Она на него очень похожа, а он ведь такой, несколько жалобный. Не знаю. Деньги нужны. Я очень огорчен.

— Она ведь работает.

— И нельзя сказать, что она предков не ценит. Но она совершенно не желает от них зависеть. Они сами по себе, она сама по себе. У нас были родственники, которые сделали своей профессией принадлежность к роду, такое своеобразное иждивенчество. Она — нет. Хотя при случае может похвастаться и даже что-то рассказать. Тогда я с удивлением обнаруживаю, как она много знает о семье, о бабках и прабабках. Да, боже мой, с подробностями, деталями, как заправский историограф. А на вещи плюет. У нее есть ящики и сундуки, которые она не открывала по десять лет. Иногда она устраивает генеральную уборку, это самое страшное. Я ее просил разобраться с бумагами, нет времени. Она просит меня их забрать. Я заберу. Кончится тем, что заберу.

Петр Николаевич покраснелся. Он все время волновался, пока был у Милениной, расстроился из-за портрета, из-за акварели, из-за неразобранных бумаг, у него заболел затылок. Катя остановила такси и отвезла его домой.

Дома он лечь не захотел, выпил чаю, его отпустило.

— На улице было холодно, — пожаловался он. — Не моя погода.

А на улице не было холодно, только свежо, как на акварели, где вода и небо вместе. В Москве иногда тоже бывает: вдруг покажется, что море недалеко.

— Ну, я все-таки решил, — сообщил он и вытащил из комода крошечный конвертик из голубого бисера, открыл его и положил на стол сережки — зелененькие, жемчужный бантик и матовая зеленая капелька-слезка.

— Нет такой женщины, которой бы они не пошли, — сказал он. — У вас проколоты ушки?

— Вас не обидит, если я скажу правду? Не проколоты. Я ношу клипсы.

— Бабки наши носили серьги, никаких клипсов не знали. А нравятся? Они, видите, немного разные, один бантик побольше, и слезки разные, неровные. Это хороший

признак, это означает, что они очень старые. Типичная Екатерина. А Наташе они пойдут?

— Очень.

Кажется, он готов был их разделить и дать по сережке им обеим, Кате и Наташе.

Он прилег на диван. Катя закрыла его пледом и вышла в коридор. Вернувшись, она сказала:

— Сейчас придет врач.

— Сегодня случайно не первое апреля?

— Я вполне серьезно.

Катя улыбнулась твердой своей улыбкой. Но в этом весь и фокус, три недостающих сантиметра роста оборачиваются характером и такой вот улыбкой.

— Слава богу, нет таких врачей, которых можно пригласить в это время дня. Я болен, и это дико неинтересно. Моя болезнь старость и глупость. Лучше разверните акварель, посмотрим на нее, порадуетесь.

Катя выполнила просьбу.

— Там, на акварели, в Петербурге, тоже холодно и сыро,— сказал Петр Николаевич.— Надо рамку ампирную подобрать. У меня нет. У Наташи тоже нет. А купить нигде. Раньше все это было в изобилии у антикваров. Живопись какая проходила через руки невежественных антикваров. Боже мой, невежественные понимали. Именно проходила, потому что предметы искусства всегда в движении. Как люди. Ваш Арсений это движение почувствовал и побежал, пытается догнать, поймать, остановить, взять в руки, а у него не получается, он не тот человек. А признаться вам, что я тоже коллекционер? У меня есть коллекция, она мне по наследству досталась, когда-то я не понимал, стыдился, потом гордился, потом забыл. А теперь все вместе — и горжусь и забываю, но когда вспоминаю — радуюсь. Надежда Сергеевна ее тоже любит, она у нее в шкафу лежит. Показать? Бисер.

Это были большие и маленькие куски ткани, а на них — бисерные гончие преследовали бисерных зайцев, бисерные турки курили бисерные трубки и бисерные турчанки тоже курили трубки. Бисерные арапча прислуживали своим белым хозяйкам. Бисерные отчаянной бисерной храбрости гусары скакали на горячих скакунах, махали бисерными саблями. Бисерные дети водили хороводы, бисерные красавицы плели венки из синих васильков, а стариков там вовсе не было. Все происходило в бисерном царстве и государстве, среди сплошных бисерных цветов,

в бисерных садах и парках, под бисерными небосводами, на бисерной голубой земле.

Посмотреть эти вышивки было как прочитать книжку, которую и читать не надо, все мы ее когда-то уже читали. Веселье спряталось в бисерных страницах этой голубой книги, осталось от той девушки, которая ее вышивала, смотрела в окошко, мыла волосы, ждала жениха.

Над Петром Николаевичем друзья посмеивались, не солидное дело — бисер. Темные люди, отвечал он, это не бисер, а слезинки и улыбки тех, кто жил до нас. Это их голоса, я их слышу. Вы не слышите, и мне вас жаль. Вы глухие и слепые, у вас одно достоинство — вы живые, но вы и этого не понимаете.

Катя перебирала бисерные картинки и думала, что жена Петра Николаевича, говорящая всегда что-то доброе и странное, и он сам, и его племянница, все из этого бисерного королевства.

Приехал врач. Вошел, как входят люди, знающие, что их ждут.

— Доктор Шебов,— представила его Катя.

И не стала объяснять, что он ее бывший муж, тот, от которого она ушла к художнику и его безумию. Петр Николаевич вскоре сам смекнул и вспомнил. И принялся разгадывать загадку, почему она это сделала. А загадка не имеет отгадки, нельзя отгадать, почему молодца меняют на немолодца.

Шебов был среднего роста, среднего возраста, обаяния — ноль, определил Петр Николаевич. Но восточного типа лицо значительно, нестереотипно.

Доктор задал больному несколько четких вопросов, так называемая теплота в голосе отсутствовала, как она отсутствует в голосе, объявляющем из вокзального радиоузла выход на посадку.

Его способность сосредоточения была такова, что не требовала никакой формы. У постели больного он поэтому казался почти случайным визитером, скучноватым незнакомцем, присевшим отдохнуть.

Он перелистал небогатые медицинские документы пациента, досье фаталиста, где собраны направления на исследования и рецепты некупленных поливитаминов. Потом слушал легкие и сердце, мял живот, прижимал пальцы к каким-то интересующим его точкам движениями, казавшимися почти беспорядочными и случайными, настолько этот человек не заботился о производимом впечатлении.

Виртуозность и на скрипке необязательно сопровождается локонами по плечам и взглядом, устремленным в белый потолок, и к роялю иногда подкатывается шарик, злоупотребляющий кондитерскими изделиями, ненужный залу до первого аккорда. То, что извлекает врач своей виртуозностью, не рассчитано на аплодисменты, но Петр Николаевич, чуткий на человеческую талантливость, почувствовал ее в этом враче.

Осмотр продолжался недолго.

— Почему вы не едите? — спросил Шебов, садясь в креслице «квин Эн» как на табуретку. — Вы истощены, вы об этом знаете?

— Еда невкусная, — ответил Петр Николаевич кокетливо. — Отвратительная.

— Не вся ведь.

— А что есть вкусного? — Петр Николаевич захотел размяться. — Мясо отвратительное. Куры надоели. Рыба? Но какая? Макрурус, нототения, хек, угольная, ледяная. Кому может захотеться съесть угольную рыбу? Я знал другие названия. Севрюга, лососина.

— Семга, — закончил доктор и закурил у постели больного, попросив разрешения. — Ну, какую-нибудь вам все-таки хочется, из серии А или серии Б?

— Никакую.

— Плохо, — сказал доктор и так посмотрел сердито на свою бывшую жену, как будто забыл, что она бывшая.

— Петр Николаевич любит крепкий сладкий чай со свежей булкой, — сказала Катя примирительно.

— Это не еда.

— Чай! — воскликнул Петр Николаевич. — По-вашему, это чай? А по-моему — нет. Я помню, после войны кто-то привез из Китая коробку чая. На ней был нарисован цветок. Такой белый цветок, похожий на яблоневый, полный сказочного аромата, плавал потом в вашем стакане. Это был чай. Вы его, наверно, никогда не пили.

— Пили, — сказал Шебов, — но чашка крепкого бульона со свежей зеленью тоже ведь неплохо, согласитесь. Петрушка тоже своего рода цветок.

— Не хочу, — поморщился Петр Николаевич. — Бульон — это пройденный этап. Все бульоны выпиты. Все бифштексы съедены.

— Вот что. Вы должны чего-нибудь захотеть. Есть на свете салат «весна», фальшивый заяц, куриная котлета, печеночный паштет, пирог с капустой. Подумайте.

— Утка с яблоками и с крутонами. Крутон — это кусок жареной булки, который поплавал в жире.

— Отлично,— похвалил доктор все тем же теплым голосом диктора вокзального радиоузла.— Доступно. Не так уж дорого. Вкусно.

— Только я не соображу, какое вино к утке,— Петр Николаевич с явным удовольствием продолжал разминку.

— Любое. До коньяка включительно.

— Коньяк.

— Очень хорошо. Вы должны изощряться и придумывать, чего вам хочется, чего бы вы съели. Работать в этом направлении. Иногда это может быть манная каша с земляничным вареньем, в другой раз кусочек селедки с луком. Мед, творог, лучше домашний, сметана. Я вам назначу уколы.

— Уколы? — с комическим ужасом переспросил Петр Николаевич.— Я их не люблю.

— А их не надо любить, их надо делать,— ответил доктор.— В клинику хотите лечь? Поисследоваться.

— Чего-то не хочется. Умер бедняга в больнице военной, горько заплакала мать...

— Повторяю, вы истощены. И детренированы.

— Я? — Петр Николаевич казался польщенным.— Хотите, сейчас станцюю? Мазурку? Полонез? Полонез неинтересно. Мазурку.

— Делайте гимнастику по утрам. Улучшится погода — гулять. Вы комнатный человек.

— Совершенно справедливо,— радостно согласился Петр Николаевич, как будто это был комплимент.— Мы сегодня гуляли.

— Он упрямый,— пояснила Катя, выйдя проводить доктора в коридор.

— Мне это вполне ясно.

— Запущен? — тихо спросила Катя.

— Похоже.

— Но ты говорил, что надежда на чудо остается всегда.

— Кто-нибудь у него есть?

— Жена, племянница, друзья.

— Объясни жене, что сейчас самое важное, чтобы он ел, не теряя силы. С танцами, с песнями уговорить, заставить.

— Это все?

— Я бы врачом не мог быть, если бы не верил в чуде-

са,— сказал он и так посмотрел, что стало понятно, он еще не справился с разрывом, еще не прожил его, не прошел, не простил, не проехал. Тоску, нежность, непоправимость отразило его лицо, но тут же вновь оно стало азиатски-непроницаемым, закрытым, официальным, лицом врача, исполненным медицинской силы и медицинского бессилия. Он ушел, не задав больше никаких вопросов, предложив звонить ему в любое время. Уйти и не видеть Катю было ему пока еще лучше, чем видеть и разговаривать с ней.

— Слушайте, какой потрясающий парень! — закричал Петр Николаевич, когда Катя вернулась в комнату.— Убей бог, как вы могли его бросить, неужели таких бросают? Удивительно. Что он сказал? Только без вранья.

— Вы все слышали.

— Он, конечно, не весельчак. Но наш Арсюшка тоже не весельчак. Но это надо же, ни разу не улыбнулся, мускулом не двинул, ни одного любезного слова не произнес. Не утешил, не подбодрил. Потрясающе. Какие-то новые люди. Производит сильное впечатление.

— Вы можете стать на полсекунды серьезным? Вы можете понять, что больны? — сказала Катя.

— Кто? Я? — тихо переспросил Петр Николаевич.— Зачем? Кому это нужно? Спросите вашего первого мужа, он умный, он вам то же самое скажет. Спросите второго, глупого. И он то же ответит. И я, сам глупый, вам скажу. Я не болен. И не умер, а это главное. Поэтому мне было интересно ходить с вами в гости, интересно познакомиться с вашим доктором. Я доволен, что с ним познакомился. Пожалуй, кое-что я начинаю соображать. Он чересчур положительный, это единственный его недостаток. Такой пустяк, но вы предпочли отрицательного. Арсюшка-то отрицательный, а победил. Ах, жизнь смешная штука, паразитическая. Я решил подарить вам сережки. Наташе я что-нибудь другое подарю, а сережки — вам. Нужно, чтобы вы полюбили старину, стали бы в ней разбираться и чувствовать себя свободно. Тогда вы станете авторитетом в глазах одного человека. И это будет очень хорошо...

— Фантазии,— сказала Катя с грустной улыбкой. Неужели он действительно верил, что двумя этими бусинками он прибавляет ей веры в себя и скрепляет супружеский союз.

Петр Николаевич смотрел на нее блестящими горячими глазами, полными доброты и легкого безумия. Смуг-

лая худая рука протягивала маленькие дрожащие виноградинки, теплые капельки зеленого света.

— Ну что вы? Берите! Их носила чудесная московская красавица, муза поэта, вы тоже маленькая муза...

Надо взять сережки, приложить их к ушам. Надо улыбаться, улыбаться изо всех сил. Это единственное, что можно для него сделать, не заплакать, улыбаться и не смотреть на него, только на сережки, на зеленые знаки вечной нежности и доброты одного человека к другому человеку.

Костик держал в руке узелок с концами, завязанными как у головного платка. Он пришел, и чувство, которое при этом испытала Лариса, было похоже на панику.

Он стоял в прихожей молча, в позе бегуна, умеющего стоя отдыхать, руки, плечи свободно опущены, ноги расставлены. Одежда напоминала форму студента строительных отрядов. Зачем пришел, почему уйдет, ничего нельзя знать. Лариса предложила кофе, он посмотрел удивленно, как будто не понимал, о чем она там.

Сила, даже мощь была в его фигуре и в позе, беззащитность в свежем мягком лице, слегка только затененном золотистой бородой. Тот самый, который нужен ей, ибо она нужна ему. Классический случай: требуется жена, сестра, мать.

Насчет кофе он промолчал, а супу она постеснялась предложить. Так они стояли в прихожей, он, отдыхая и набираясь сил, она в тревоге и лихорадке — не упустить. Подумав, что странный, диковинный гость готовится попрощаться, сейчас это произойдет и он уйдет навсегда, Лариса решила действовать энергично. Толкнула дверь в комнату, потянула его за рукав, сказала:

— Садитесь.

Он сел на диван, положил свой сиротский узел на пол, что в нем было — краюшка хлеба? Краски? Леденцы? Папиросы? Еж, которого он мог подобрать в канаве?

Он продолжал молчать. Его молчание заполняло комнату, коридор, всю квартиру, как горьковатый дымок в саду весной, когда жгут листья.

Он сидел на диване прочно, удобно, но о чем с ним говорить? Она вспомнила старый школьный способ — кто кого перемолчит, тот выиграл. Они оба еще помолчали, и это было определено правильно. Костик вдруг улыбнулся

и предложил партию в шахматы. С его стороны это выглядело светским жестом, дорожные шахматы оказались у него в кармане. Она согласилась как любезная хозяйка, чтобы показать, что здесь ему ни в чем отказа не будет.

Когда определилась степень ее подготовки, он стал играть сам с собой, разыгрывать какие-то этюды или задачи, а она сидела рядом и думала о том, что произошло чудо, этот человек с синими глазами и шелковой кожей пришел к ней, он тут, на диване, только теперь не спугнуть. Вся ее сила, ловкость и ум пригодятся ли? С этим мальчиком лучше ничего не знать, ничего не уметь, все начать сначала.

Он осмотрел комнату, по картинам скользнул рассеянным взглядом. Вдруг его осенило, он дал дельный совет:

— Если все покрасить белой нитроэмалью, всю вашу старинную мебель, стены, пол, потолок, непокрашенными оставить только петровские стулья, будет хорошо. Я видел в Вильнюсе у одного художника...

Помолчав, он уточнил:

— Вернее, у одной. Это была женщина.

Лариса поняла, что погибает.

Это была ловушка из шахматной коробки, молчания, честности и оцепенения. Того совершенно забытого, утраченного, юного, звящего, летящего. Надежда, впервые за долгое время.

И она, повернув к нему опустошенное свое, разоренное лицо, улыбнулась. Черт возьми, неплохо придумано — выкрасить весь ее восемнадцатый век, все ее сокровища белой нитроэмалью. Нежные ямочки на щеках показали, каким оно могло быть, ее лицо, и не стало. Кто виноват? Жизнь, судьба, бедность, какая разница, отвечать все равно ей. Обликом своим, одиночеством своим.

— Я завтра опять приду, — пообещал он.

Он приходил каждый день, садился на диван, молчал, читал. Сперва ее книги по искусству, потом что под руку попадет, потом стал приносить свои. Старые мемуары, философскую литературу, сказки. Подбор книг был такой же неожиданный и загадочный, как он сам.

Однажды он принес откуда-то довольно много своих работ и попросил разрешения устроить их в коридоре, лицом к стене. В этот день ей следовало выкинуть драгоцен-

лые шкафы из большой комнаты и сложить картины там. Почему она этого не сделала?

Он по-прежнему сидел и читал в большой комнате на диване, она делала вид, что пишет статью, деловые письма.

«Такой у нас мальчик», — насмешливо поздравляла она себя. Она ждала, когда он захочет работать, тогда бы она освободила маленькую комнату, забрала бы оттуда поставец, гордость свою и достижение, или просто переставила так, чтобы поместить еще стол, а так как поместить там стол невозможно, то поставец она выставила бы...

Он оставался дома один без нее, мог не заметить, что она ушла. Но когда возвращалась, внимательно смотрел на нее синими глазами. Тогда и она видела его серьезное спокойное лицо, и ей начинало казаться, что он видит и замечает все.

«Ладно, хватит, — говорила она ему мысленно, — ты давай сиди, читай, не смотри на меня так».

И шла на кухню стряпать. Натуральные, растительные продукты, которыми она так усердно потчевала свое одиночество, он не употреблял, для него она варила мясные супы.

Однажды при нем позвонил Грант. Она испугалась. Того, что он увидит ее лицо, услышит ее голос, когда она будет врать. Но делать было нечего, и она наврала, что стоит в пальто и сию минуту уходит.

— Жаль, — сказал Грант откуда-то издали, из прошлого, и даже что-то трогательное и человеческое послышалось в его голосе, — я был на полпути. Будь здорова, мамочка.

— Вы были вынуждены солгать из-за меня, — сказал ей, вставая с дивана, Костя с таким состраданием, с таким лицом, как будто она из-за него убила.

Ей бы прилечь и отдохнуть, но в одной комнате Костя, невозможное светлое будущее, а в другой поставец, даже два, петровский и екатерининский, Петр и Екатерина.

Она почувствовала, что сейчас не выдержит и заплачет. Она устала быть сильной, приспособленной, жизнеспособной, на уровне своей репутации. Закаленной с четырнадцати лет, самостоятельной... Но она могла вычислить мощнейшую коллекционерскую комбинацию,

рядом с которой история с жабой — детские игрушки, могла совершить дерзкую сделку, могла угадать художника по оттенку серого на сером, отличить подделку от настоящего, увидеть руку мастера там, где поработала рука позднейшего погубителя. Она понимала искусство неведомо откуда, без особенных теорий, без ученического прилежания, ниоткуда.

И многое еще она знала, умела и могла. Умела одна ходить в кино, одна на лыжах, одна сидеть дома вечерами, названивая по телефону разным знакомым. Она звала их в гости, но им было не до нее, у них не было свободного времени. Она могла таскать тяжести, как грузчик, могла питаться на тринадцать копеек в день, могла уговорить старушку расстаться с фамильным портретом. Умела ходить босиком и спать на скамейке на вокзале, не боялась темного леса, пустынной дороги... То есть боялась, как все, но умела одолеть страх... Умела строить, пилить, циклевать полы, красить стены, белить потолки, чинить электричество, моделировать одежду. Умела солгать и поскандалить. Умела не жаловаться на судьбу. Умела рисовать красно-лиловые натюрморты. Умела бы еще лучше, если бы меньше понимала в живописи...

Она знала, что он может сейчас уйти, не простив пустяковой телефонной лжи, которая и не ложь даже для городского телефонного человека. Только для такого, как он, это ложь. Откуда он свалился в ее жизнь, чистенький, с невинными глазами, читатель историй про Ходжу Насреддина.

Пусть бы не приходил совсем. Поздно. Он опоздал ровно на десять лет, тех самых, которые она строила кооперативную квартиру (где она деньги брала, может быть, он и это спросит), ездила по деревням, выискивала всякую всячину, меняла, продавала, ловкая богиня торговли и одновременно ее раба, шила себе овчинный тулуп в талию, водила дружбу с двенадцатым этажом, отстаивала свое право рисовать цветы, право их продавать. Все сама. Все одна.

К черту, пусть уходит, только немедленно, сию минуту, пусть не разыгрывает тут святого. Она заплакала, кажется, впервые в жизни, после детства, отказываясь от надежд, понимая, что навсегда предоставлена своей самостоятельности и приспособленности, своему чутью на антикварные вещи, своему везению на них, своему уму, своим обширным знакомствам, своей скромной лиловой живопи-

си, диете, гимнастическим упражнениям для брюшного пресса, своей гречневой каше, русской моде, своей обиде, своему одиночеству.

Он стоял рядом, ни о чем не спрашивал, не утешал.

Работать он приспособился на кухне, так что поставцы, Петр и Екатерина, остались на своих местах.

Костик работал как дышал, незаметно и постоянно, это было главным признаком его божественной одаренности. Лариса, прирожденный искусствовед, это понимала.

Но, может быть, единственный раз в жизни ей захотелось быть женщиной больше, чем искусствоведом, чем художницей и всем прочим. Забыть свое коллекционерство-антикварство, свое проклятое зрение и проклятое умение, свой проклятый талант дешево купить то, что можно дорого продать. Пусть, для нее главное не продать, а иметь. Сейчас, в свой звездный час, она все имела, могла успокоиться, поставить точку. Ей ничего больше не надо. Костик, конечно, тоже все это любит и понимает. Может быть, это даже сыграло определенную роль в том, что ему захотелось тут остаться.

Лариса не обольщалась, не любовь привела его к ней, не влюбленность даже. Что же? Ах, неважно все это, важно только то, что он пришел и остался. Дальнейшее зависело от нее. Если она умела как машина рассчитывать немислимые антикварные комбинации, то теперь ничего не надо, только бежать с работы поскорее домой и быть счастливой от того, что тебя ждут и есть о ком заботиться. Она не знала, как он воспримет ее попытку принарядить его в джинсовый костюм, сшитый на заказ по ее рисунку, но в отсутствие заказчика.

Костик задумчиво посмотрел в зеркало и спросил:

— Тебе нравится?

Она сдержанно похвалила, стараясь не показать своего восхищения, почти умиления. Таким красивым был ее милый.

— Мне сначала показалось, что я похож на идиота, но если тебе нравится... Спасибо тебе за заботу.

Ее охватывала паника, когда она слышала его серьезный голос, видела его твердые и чистые глаза. Этого не может быть, думала она. Но это было. Как удержаться на

этой высоте, спрашивала она себя. Что делать, чтобы чудо, которое произошло, длилось, не кончалось.

Он не зарабатывал, и его это явно беспокоило. Ларисе он ничего не говорил, но она слышала его переговоры по телефону, его робкие попытки предложить свои услуги разным фирмам, которые в них не нуждались. Она могла бы ему помочь, но боялась, следовало проявлять осторожность. Видимо, ему где-то все же удалось договориться, потому что однажды вечером ее ждали дома цветы и новые книги по искусству.

Костик протянул ей деньги и заодно попросил прекратить покупки шмоток, в которых он похож на идиота. Довольно популярно объяснил, что лучше употребить свои силы и время на другие, более полезные дела.

Лариса похудела, похорошела. Исчезло вечно сосредоточенное выражение лица — на одном, на одном, на поиске, на вещи, на добыче. Лицо не горело как светофор, предупреждающий об опасности — тревога, дороги нет! Хотя тревога жила в ее сердце, на лице ее уже не было. Художники двенадцатого этажа, физики, все куда-то отъехало, стало ненужным.

Никто им не мешал, Ларисина мать жила в Подмоскowie, а мать Кости писала письма с Урала, полные заботы и тревоги, просьб не курить, надевать теплое белье и раз в день есть горячее.

Жизнь наконец-то смилостивилась над Ларисой, послала знак своего расположения, как посылает его каждому хотя бы один раз. Знак, шанс, конец веревки.

Когда она приходила домой и Костик спрашивал, что новенького, она осторожно выбирала из впечатлений и встреч дня то, что могло ему показаться интересным. В чем-то ошибалась, иногда попадала в цель. Была умна, слаба, неумела, неопытна, начинала с нуля. Она полюбила, а он? Он был с ней. Старинная формула — «они были предназначены друг другу» — вряд ли к ним относилась, они соединились случайно, но пока все шло хорошо. Может быть, они были предназначены друг другу?

Петр Николаевич позвонил художнику, и тот мигом прибежал с пучком фиалок.

— Цветы прекрасной даме, — сказал Петр Николаевич.

По правде, он любил цветы больше, чем их любят прекрасные дамы.

— Работаю,— сообщил художник.— Кажется, что-то получается. С глупостями решил кончать. Или — или.

— Ну слава богу.

— Или я рисую и я — художник, или возвращаюсь на старое место, где другие рисуют, а я их благодетель и отец родной. Вы ведь знаете, я любил тот журнальчик и делал его с удовольствием.

— Вы администратор неплохой, я это всегда говорил.

Художник бросил подозрительный взгляд, не хотят ли его тут оскорбить, но глаза старого друга смотрели серьезно, лицо было доброе.

— Как вы себя чувствуете? — спросил художник.

— Я, мой милый, здоровее всех. Вы мне сегодня нравитесь.

Петр Николаевич похлопал друга по сутулой замшевой спине.

— Все любят пай-мальчиков, прямо удивительно. Кто бы это любил не пай-мальчиков. А вы знаете, я все-таки еще раз позвонил той мадам. Она свою жабу отдала, как вам это нравится.

— Я знаю.

— Кому?

— Какая вам разница.

— Нет уж, начали, так договаривайте,— потребовал художник, как всегда проходя по краю самообладания.— Кто счастливый соперник?

Петр Николаевич назвал имя.

— Сильна, бродяга.— Художник присвистнул, качнулся с пятки на носок и неожиданно засмеялся.— Знаете, я даже рад. Клянусь. Жаба жабе жабу подарила. А меня судьба уберегла, я чист. Я в командировку уезжаю на два месяца, погляжу, как люди живут, подышу уральским воздухом. А мы давайте погуляем по Москве, сегодня чудная погода.

— С удовольствием,— сказал Петр Николаевич.— Я сейчас.

— А я уже,— сказал художник и натянул на себя нечто защитно-брезентовое, в пятнах краски и плохой погоды, водрузил как символ победы над бедной своей Катей, которая еще недавно говорила, что у ее мужа обязательно будет новое демисезонное пальто.

— Катю не обижаете? — спросил Петр Николаевич.

Художник закрыл голову капюшоном и не ответил.

Петр Николаевич шел медленно, ему казалось, что

очень холодно. Зима всегда была его врагом. Всегда? Да нет же, конечно, когда-то была другом, подружкой с румянцем на щеках.

Пальто давило на плечи, на грудь. Боли не было, только обидное, глупое ощущение, что летишь, когда лететь тебе, собственно, некуда.

— Какой странный ветер,— пожаловался Петр Николаевич.— Северный.

Художник предложил, что возьмет его на руки и отнесет куда-нибудь, где нет ветра.

— На помойку,— сказал Петр Николаевич, обретая земное притяжение.— Между прочим, отпустило.

И зима утихла. Петр Николаевич почувствовал теплый воздух и отчетливый запах земли и травы, словно Арбатская площадь осталась без асфальта.

Художник расстегнул свою робу и шагал, изредка задевая спутника длинными руками. А Петр Николаевич шел и думал, что для ощущения удачного дня нужна не женщина, пусть самая милая, а мужчина, единомышленник, еще лучше сын, и он был у него.

Так они шли. Один из них в этот день все видел и замечал, потому что ему было скоро умирать. А другой понимал это, страдал и, значит, тоже все понимал.

Лужи сверкали на солнце рыбьей чешуей и как будто плыли куда-то, плыли дома и деревья. Земля чуть-чуть дымилась. Дети и птицы, шалея от весны и свободы, кричали на бульваре, что, с обычными городскими преувеличениями, Петр Николаевич назвал райской музыкой.

Художник милостиво ударил ногой по оранжевому пырчатому мячу, а Петр Николаевич, легко подскочив, отпасовал его обратно хозяевам, умолкшим от возмущения. Потом они постояли, разглядывая очень приличные, но промокающие замшевые полуботинки художника. Они ждали мяча, но он к ним не вернулся, застрял среди маленьких рук и ног, как раздувшийся от спеси апельсин. А мысль, которую Петр Николаевич прочитал в глазах своего сына, подойти, отобрать у ангелов их любимую игрушку, была отвергнута.

— Не стоит с ними связываться,— сказал Петр Николаевич, проявляя естественное благоразумие.

Няньки и мамки, сидящие на этом бульваре не одно столетие, проводили их насмешливыми взглядами. Им тоже иногда хотелось поиграть вместо детей в их игры, они себе этого не позволяли.

Петр Николаевич и художник пошли дальше, их ноги знали дорогу.

Петр Николаевич стал объяснять, почему следует покупать цветы, они стоят сравнительно дешево, за ними не бывает очередей. Он их покупал даже в самые тяжелые времена, и его жена не ушла от него. Возвращаясь с работы, она находила дома цветы.

Художник немедленно рассердился, щеки его и глаза побледнели. Жену таким способом можно удержать, допустим, но уверять, что покупать цветы дешево и выгодно, это верх... верх... Он воздержался определять, верхом чего это является, скроил презрительную рожу и умолк.

— Вот именно. Выгодно,— смиренно и упрямо повторил Петр Николаевич.— Знаю, что говорю.

Он устал. Хотели зайти в кафе, но уже в дверях Петр Николаевич вспомнил еду, выставленную в буфетной стойке за стеклом и повторенную в зеркале, разносимую на подносах, расставленную на столах и еще умноженную зеркалами, и понял, что не может этого видеть. Мокрая мягкость картофеля, тайная калорийность и жирность сосисок, бдительность и зоркость трехглазых яичниц — это уже не для него. Это для очень здоровых. Напрасно чудесный Катин доктор его убеждал, он уже съел все, что мог.

Петр Николаевич присел отдохнуть в гардеробной на стуле. Знакомый швейцар сразу захотел допытаться, почему на фронте не болели.

— На фронте гипертоний не было.

— Гипертоний было,— сказал художник миролюбиво как будто. Но Петр Николаевич поспешил встать и увести его, дурака, из одних острых углов состоящего.

До конечной цели оставалось немного, и они не спеша одолели этот путь.

Возле магазина стояло несколько иностранных машин. По утверждению художника, иностранцы хватали «на Арбате» что попало, думали, покупают подлинную старину, благо, она у нас сохранилась, у них она давно кончилась или стоит баснословные деньги. Дикари, басурмане, смеялся он, темные люди, тащат все подряд.

Сейчас один такой дикарь, загримированный под лорда, выносил из дверей огромную, укутанную в бумагу картину к перламутровому автомобилю с буквой «д» на номере. За ним поспешала басурманка в очках, тоже с объемистым пакетом. Все бы им только побольше, попышнее, насмешничал художник, поглазастее. Глазастое они хотят,

жирное, богатое, а настоящего не видят и не берут. Если же попадались понимающие иностранцы и при нем покупали настоящее, он сердился еще больше, продолжая утверждать, что все они басурмане.

— Здравствуйте, давненько что-то вас не видать. Забыли нас,— приветствовали Петра Николаевича продавщицы. Они учились старомодным оборотам речи у своих постоянных покупателей.

Сегодня они были приветливы. Даже маленькая продавщица-злюка, ярая гонительница всех без исключения покупателей, сказала:

— Кого мы видим.

Улыбнулась Петру Николаевичу, но не ответила ничего художнику на его «привет, ваше величество».

Она никогда не отвечала на его веселые приветы, вздыхала и отворачивалась, показывая, что ей хочется ослепнуть и оглохнуть. Вздрагивали косички, когда он клал перед ней шоколадки, невинные взятки за право поздороваться. Они оставались лежать, непринятые подношения, в назидание всем,— ее ответ, несогласие, неодобрение.

Петр Николаевич считал ее слишком молодой, чтобы служить в антикварном магазине, но молодость — недостаток, который проходит, в остальном она ему нравилась, он любил злых и несогласных. Он бы очень удивился, узнав, что она и его ненавидела. За что? За всех обманщиков, жуликов, за всех алчущих богатств купцов, за всех ухажеров и обидчиков, за всех, кем он не был. Она не желала в этом разбираться.

Но сегодня она следила за ним из своего угла с канделябрами, часами, керосиновыми лампами и прочей бронзой, об которую рвутся чулки, и на ее худеньком лице много болевшего ребенка дрожало сострадание. Она увидела, что он болел и не выздоровел. А может быть, ей внезапно открылось, что он не такой, как все, не купец, не хапуга, что и впрямь ему что-то дорого и свято, и поэтому блестят у него глаза, в них не золотой блеск отражается, не бумажки денежные. Она поняла это, и ей стало только еще грустнее, потому что она поняла также, что уже ничего не сможет хорошего для него сделать, поздно.

Он шел по залу, все здоровался и кивал головой в заячьей шапке-ушанке. Так старенький учитель после каникул один раз в году проходит свой круг почета.

Художника она не любила. Он смотрел на продавщиц так, как будто они все только о нем и мечтают. Искатель

приключений, делающий вид, что приключения ищут его. Он не раз предлагал ей пойти с ним в ресторан и отказы выслушивал как согласия.

Петр Николаевич оставил Арсения любезничать с маленькой продавщицей, а сам прошел туда, где были выставлены мелочи, наименее достойные внимания, с точки зрения администрации. В этом отделе ему не раз удавалось кое-что найти. «Надо уметь искать», — улыбнулся он воспоминанию о медной чернильнице и почувствовал себя сильным, ловким, удачливым старым чертом.

Обычно там были только бабушкины бархатные альбомы на крепких, как от воров, застежках, их простые веера, не те, которыми они в театре медленно прикрывали нежные лица, только глаза оставались блестять с полузабытым ныне лукавством, а те, которыми они обмахивали потные мордашки в жаркий деревенский полдень, да их любимые рамочки-овалы для фотографий тех, кто и так был с ними всегда.

Он знал, что сейчас кто-нибудь обязательно подойдет посмотреть, на что он смотрит. Никому не отгадать, что на веер из ломаных костяшек, скрепленных галантерейной ленточкой.

Петр Николаевич перешел к другой витрине. Замдиректора Степан Степанович, не теряя достоинства, с небольшого расстояния вел наблюдение. Старый коллекционер давно не был, глаз отдохнувший, может что-нибудь обнаружить.

Петр Николаевич обернулся, хотел позвать художника, но тот намертво заблокировал отдел бронзы, развесил плащ-палатку и по всем признакам устроился надолго.

Художник как степной орел парил над куском чего-то блестящего, а в глазах его беловато-голубеньких пенилось легкое безумие. Дерзкий художник пробовал внушить продавщице: «Да!»

А маленькая продавщица, укрывшись в своем бронзовом доте, отвечала: «Нет!»

— Как ты думаешь, от чего эта деталь? — спросил художник, показывая продавщице золотой рожок. И хотел подойти ближе. — Сегодня вечером встретимся? В любое время! Да! Да! Завтра? Да?

Непостижимая легкость переходов на «ты» у молодых его друзей не переставала изумлять Петра Николаевича.

— Я откуда знаю, — с кладбища часов, показывающих несуществующее время, из глубины укрытия выкинула от-

вет маленькая продавщица, как залепила бронзовым шариком.— Нет! Нет! Уеду к маме в Кунцево, завтра буду весь день грядки копать. На солнышке загорю. Не подходи!

— Знаешь, от чего? От люстры,— ошастливил ее художник открытием насчет рожка.

— Ой, господи!

— Я его куплю.

— Купи хоть весь магазин.

— Чего ты жмуришься, как слепая дева непорочная.

— Положи рожок на место и отстань от меня.

— Нет у тебя че ю. Чувства юмора.

Она делалась неотразимой, когда злилась, может быть, поэтому они стремились вывести ее из себя. Она грубила, не отвечала, даже не слышала, что они ей говорят, она им никому ничего не продавала, не смотрела на них, а им мерещилась порочность, плохо замаскированная под невинность, и тайны антиквариата, которыми, они были убеждены, владел этот маленький, неподкупный его агент.

— Ладно, бывай, еще поговорим,— пообещал художник и наконец откленлся, отчалил, не расслышав чисто кунцевского: «Тьфу, духарь с бородой», пущенного ему вслед.

Только он отошел, перед бронзовым барьером возникли двое таких же бородатых, но на их «привет начальству» лишь кряхтенье и кашель старых часов были ответом.

В таинственной глубине зала художник увидел у прилавка широкую спину и прочные ноги Евгения Кузнецова, представителя двенадцатого этажа. Тот что-то разглядывал.

— Потягаемся,— бросил художник и почти повис на Кузнецове, как слабейший боксер на своем сильном противнике.

— А-а, привет,— оглянулся Евгений, держа в руках раскрашенную шахматную фигурку.

— Чегой-то такого антиресненького? — спросил художник дурашливым голосом.— Ась-вась?

— На,— Кузнецов положил фигурку на ладонь художника.— Владей.

Но наш художник тоже был ученый, он даже не поглядел на фигурку, отвергнутую Кузнецовым, а постарался определить, куда теперь направлен его взгляд.

— Вижу,— выкрикнул художник, что в более юном возрасте звучало бы: чур, я первый.

— А я давно вижу,— спокойно, с дружеской мягкой улыбкой парировал Кузнецов, что по юношескому варианту было: первый я.

Так они стояли, прижатые друг к другу. Кузнецов улыбался, чего нельзя сказать о художнике, и оба смотрели на грязную медную (наверно, бронзовую) чашу, а вернее, плоский сосуд с ручками в виде змей, видимо, восточного происхождения, который на тысячу человек только один не выкинул бы на помойку, достанься он ему каким-нибудь образом.

— Вот так-то,— сказал Кузнецов и попросил, чтобы ему выписали чек.

— Современный Цейлон,— сквозь зубы проговорил художник.

— Сейчас,— засмеялся Кузнецов и пошел платить.

Петр Николаевич этот раунд пропустил, но, сойдясь с художником в центре зала, по его лицу определил, кто проиграл.

— Идемте, я вам что-то покажу,— позвал он художника, желая утешить дурачка, который не умел проигрывать.

Художник двинулся за Стариком, нарочно громко шаркая подошвами, чтобы всем было противно.

Конечно, никакой то не Цейлон, а что-то удивительное, таинственное, от чего пахло стариной, узкой темной улицей, лавчонкой ремесленника, всем самым прекрасным. Пятнадцатый — шестнадцатый век, Иран или Китай, именно то, что надо собирать, если уж собирать. И стоило десять рублей, которые лежали у него в кармане, уютно свернувшись, ждали минуты и не дождались.

— Ну чего еще,— спросил художник все с тем же видом безнадежно проигравшего,— бантик-шмантик?

Он ткнул пальцем в бирюзовую брошку.

— Какую-нибудь юную деву представляете с этим бантиком? — спросил Петр Николаевич.

Художник быстро представил себе несколько знакомых юных дев с этим бантиком, но настроение у него от этого лучше не стало.

— Я не это хотел вам показать.

И те, которые наблюдали за ними, а такие тут всегда были, увидели, как старый джентльмен, худой, кожа и кости, насупился, снял заячью шапку, засунул в карман вечным студенческим неловким движением, волосы, соль с перцем, смахнул со лба. Попросил:

— Во-он ту табакерочку, Любочка.

Любочка, подмигнув зрителям, она знала секрет, которого чужак этот еще не знал, протянула ему табакерку.

Он открыл ее, отбросил квитанцию, не поглядев на цену, и стал изучать крошечный предмет, не имеющий, да никогда и не имевший практического применения. Потому что и раньше, когда такие вещи изготовляли, заказывали, покупали, дарили и даровали, они были только искусство, только бешеное человеческое тщеславие, капля гордости, миг хвастовства, секунда торжества и печали. Вынуть, поддержать в руках, на что-то намекнуть, что-то подчеркнуть, выделиться из толпы, щелкнуть крышечкой, спрятать в карман. Не ответить на вопрос. Мелочь, иногда драгоценная. Удивительное ничто. В то же время иногда отличие, иногда власть, любовь, но чья, к кому? Считалось, что там лежит табак, но какой уж там табак... И как проста выдумка, крохотная коробочка меньше ладони... Ваша табакерка, сударыня, будет со мною до последнего дня моей жизни... Молчите, осторожнее, он идет, прощайте... да хранит вас господь...

Наверху на крышке две собаки. Бесподобные, породистые, гордые псы, не подозревающие, какие они смешные. Внутри портрет молодой женщины, миниатюра хорошая. Сверху, стало быть, собачки, вот в чем фокус, изобретение любящей женщины, которой во все века доставался не тот, который нужен.

Нечто подобное у Петра Николаевича было когда-то, но чтобы встретить во второй раз, нужно везение. Чистейший восемнадцатый век, глупость, прелесть, подарок. Он развернул чек, посмотрел, сколько стоит подарок, и понял, почему смеялась продавщица. Дорого. Очень. А он денег не накопил, сберкнижкой даже не обзавелся. Но он не беден.

— Любочка, чек,— бросил Петр Николаевич, немного рисуясь.

— Ох, Петр Николаевич! До вас многие смотрели, восторгались. Но не решались. Все задешево хотят...

Люба давно тут работала и была славная женщина, немного только тронутая торговым скептицизмом. По-видимому, из-за прилавка человечество видится односторонне.

— Она меня дождалась.

Сейчас непременно кто-нибудь подойдет посмотреть, что он покупает. И действительно, упитанный мужчина со значком, похожим на университетский и на значок по-

граничника одновременно, замдиректора магазина, Степан Степанович, выплыл из своего закута-укрытия проверить, нет ли тут сенсации, не обнаружил ли знающий человек какую-нибудь промашку администрации, не выхватил ли из вверенного его попечением товара что-то не опознанное никем... Такие случаи бывали в его пестрой практике. Настоящие вещи редки, но и настоящие знатоки тоже. Кто-то может рассчитывать на удачу. Цена на ярлыке грозное оружие, но это еще не все.

— Ну, ясенько,— сказал он с облегчением,— все правильно. Я знал.

— Вы и должны знать. Вам положено.

А он и знал. Знал, например, какая это табакерка и из какого она собрания, кто ее сдал и кто в Москве в состоянии ее понять и купить. Он публику знал, кто сюда приходит в поисках старины, чепухи и нечепухи, счастливого случая и просто так, время провести в клубе-салоне. Тут бывали люди, одержимые чистой страстью, чудачки, знатоки, сумасшедшие и бизнесмены, нищие миллионеры и молодые снобы, спекулянты и жулики, иконщики, картинщики, любители побрякушек, беленьких камушков и сигарет «Мальборо». Бывали очень известные уважаемые деятели и очень неуважаемые тоже. Петр Николаевич был из истинных знатоков, раньше таких много было, теперь остались последние. Одного замдиректора не мог взять в толк: зачем ему эти молодые бородачи, которые крутились вокруг него. Он-то им нужен, а они-то ему зачем. Ну, то уж было не дело администрации.

— Ну почему же, я все-таки знал,— меланхолически повторил замдиректора и отошел.

— Лично я рад, что басурманам не досталось,— сказал художник.

Художник углядел презабавный подсвечник и потащил Петра Николаевича к нему. Петр Николаевич сказал, что он провинциальной русской работы.

— Почему? — спросил подозрительно художник.

— Что почему? — развеселился Петр Николаевич.— А где вы видели таких египтянок? Это Маша наша, крестьянка-египтянка, несет белье на речку полоскать.

Он смеялся, и все, кто его видел, тоже улыбались.

— Удивительные типы еще встречаются,— сказал кто-то в толпе.

— Конечно, это шедевр. Не люблю слова «умельцы». Какие умельцы, когда художники в лаптях ходили, суп-

горох ели, грамоты могли не знать, все равно художники...

Люди подходили послушать бесплатную лекцию чудака в заячьей шапке, уличного оратора.

Маленькая продавщица подскочила к художнику.

— Хватит. Отвези его немедленно домой. Он же болен, ты что, ослеп?

— Чего воробушек маленький хочет? — спросил Петр Николаевич. Он был доволен и чувствовал себя прекрасно.

Неожиданно умерла Дарья Михайловна. Ничто в природе не предвещало ее смерти. Такие люди отличаются крепким здоровьем, железными нервами и при той любви и заботе, какую они к себе проявляют, живут долго и долго сохраняют свои боевые качества.

Она умерла ночью, никого около нее не было. Только вещи, великолепные, немые, окружали ее, как всегда. Правда, в эту минуту они не нужны. Кресла, в которых некогда сидели горделивые придворные красавицы, зеркал-псише, которые помнили их ангельские личики, столы и столики, секретеры, диваны, кушетки-рекамье, канделябры, люстры, бра, золоченые вазы... Словом, она умерла посреди дворцового великолепия, в котором прожила жизнь по праву сильного и ловкого, бесстыдного и бессердечного, а еще точнее — по уголовному праву, которое уважала.

Какие люди, какие дела промелькнули перед нею в ее последнюю ночь, какие сожаления, какое страдание и тоска? Вряд ли она хранила память об ограбленных и обманутых ею, хотя, может быть, в ту ночь увидела какую-нибудь женщину или девочку с внимательными глазами.

Умерла легко и ловко, как жила. Последний день земного пребывания провела за рулем, ездила к портнихе, забрала платье, осталась недовольна линией, была на рынке, покупала зелень и чеснок, вечером побывала в Доме кино на премьере кинокомедии и встрече с творческим коллективом. Успела обновить платье. Комедия ей не понравилась.

Комедия ведь это там, где смеются, высокомерно заметила она своему знакомому, встретив его в фойе. С ним она выпила коктейль и выкурила сигарету. Так что старый большой оператор-документалист был последним, кто видел живую Доду. Он нашел ее, как всегда, великолепной.

Наследником оказался молодой морячок из Ленинграда, сын ее покойной сестры. Наследником владела одна

идея — побыстрее. В Ленинграде его ждала девушка. Времени у него было мало, и он не желал его тратить на то, чтобы возиться с бараклом московской родственницы. К ней он никаких чувств не питал. В сущности, умерла мало-знакомая дама, и наследник желал за два дня разбросать и уничтожить все следы ее земного пребывания.

В его быстром, современном мозгу, конечно, возникло представление о том, что ему крупно повезло, но он совершенно не знал, с какого конца приниматься за дело. Он обрадовался, когда две соседки предложили свою помощь. Они посоветовали прежде всего позвонить кому-нибудь из тех, кто бывал у покойницы, и предложить для быстроты купить все разом, потому что, как объяснили мальчику старухи, есть люди, которые с ума сходят из-за такого хлама, покойница тоже его любила и ценила. Много лет подряд они наблюдали странную жизнь покойницы, хотя она их не жаловала, гордо сама себя вела, а они вот пригодились и теперь выручают ее.

В записной книжке Дарьи Михайловны оказался телефон Ларисы, с пометкой «сотрудник музея», которая всем очень понравилась. Им просто повезло. Юный наследник сам и позвонил, все толково объяснил, напирая на срочность дела.

Слепой случай никогда не бывает совсем слепым, злой рок тоже как будто действует по программе...

Лариса приехала моментально.

Вещи были оторваны от своих мест и вытащены в полном беспорядке на середину.

А на диване близко друг к другу сидели две размоленные усталостью и волнением женщины в теплых платьях-халатах, смотрели на все это, стараясь понять, что перед ними, хорошее или хлам. Ведь факт, что не новое. Старое-то лучше нового, говорили они, но лукавили, они так не думали. Они любили новое. Им бы волю, все бы купили новое — тарелки, чашки, кастрюли, телевизор, пальто, рубашки, кофты вязанные индийские.

Это они все сдвинули и передвинули и придали этому окончательный вид беды, смерти, отъезда навек. Зато стало видно все. Такая кучность, по их убеждению, облегчала контроль, который необходим. Музей Доды, дворец Доды они развалили так, как будто швырнули в него бомбу.

Какие-то мелочи вылетели наружу и легли, но не прямо и не ровно, а непременно боком и вверх ногами, обра-

зовав странные и страшные скопления старинных вещей, вспыхивающие кое-где маленькими золотыми кострами. Видение сошедшего с ума коллекционера.

Несколько пачек старых писем, перетянутых шелковинками, и пакеты с фотографиями лежали в стороне, приготовленные для неземной почты.

Морячок с девичьим лицом ушел прогуляться по улице Горького, обещав скоро вернуться, и сейчас наслаждался весной и Москвой. Девушки ему улыбались, а он — им.

— Вот все,— сказала одна из женщин Ларисе, именно та, которая сумела кое-что, с ее точки зрения ценное, унести раньше и незаметно. Ее звали Анна Степановна.

Несколько картин — пейзажей (портреты — он не захотел), шкатулку с украшениями и мелочи, которые ему понравились, морячок сложил в красивый чемодан, с которым покойная ездила к морю.

Лариса медленно обвела глазами стены, увешанные картинами. Это висело состояние.

Женщины волновались, чего-то или кого-то боялись. Юного моряка все еще не было, он в это время выходил на проспект Калинина. На проспекте Калинина девушки оказались еще красивее, чем на улице Горького.

Женщины вопросительно смотрели на Ларису, а она молчала.

Это бывает раз в жизни, прийти первой в такую минуту и в такое место, где нет настоящих наследников и чужие, ничего не понимающие люди жаждут поскорее сбыть все с рук. Ситуация невероятная, забирать надо все, не вдаваясь в детали, грузить и вывозить, не теряя времени. Потому что каждую секунду может появиться еще кто-то, и тогда все погубло.

— Бедная,— сказала Лариса.— Отмучилась.

Наличных денег у нее, как всегда, было мало, она соображала, у кого занять.

— Все там будем,— с достоинством ответила Анна Степановна.

— Это верно. А где молодой человек, который мне звонил?

— Гуляет. Вы пока смотрите, решайте, если вам надо. Мы поставили столы к столам, мелочи в одно место собрали.

Про колечки и брошечки она ничего не сказала.

Так вот, значит, как обернулась история с жабой, божество пожелало вернуть свои богатства. Лариса потеряла

виски, сейчас — только успокоиться, собраться. И сразу взять бешеный темп, сбить с толку старух, развернуться, хорошо бы до прихода моряка. Он мог вернуться каждую секунду, но мог и задержаться, учитывая возраст, столичные соблазны, молодежные кафе...

— А вот еще,— вздохнула устало и укоризненно Анна Степановна, показывая на кровать и туалет, заваленный вещами.

— Вы ближе подойдите,— посоветовала вторая женщина, Мария Григорьевна, с видом человека, которого никто не хочет слушать. Она поднялась с дивана и направилась к дьявольской свалке с раскинутыми руками, осторожно, как слепая.

Но Ларисе не требовалось подходить ближе, ее сверхглаз определял с безошибочностью закупочной комиссии место, время, стоимость... Бронзовый треножник с плоской чашей, из Павловского дворца, называется «сюр ту дю табль», то есть «для всякого стола». Не для всякого, конечно, для всякого царского. Она помнила, где они там стоят, эти «для всякого стола», и как в них отражается солнце... Русские чашки скромной расцветки, очень старые, другие, пышные, сплошное золото... Сверхглаз определял марку с расстояния в пять метров, переворачивать блюдечки вверх дном не требовалось. Дарья Михайловна и фарфористкой была, фарфор знала, любила, флаконы молочного стекла собирала, лунные, жемчужные, томные, изысканные игрушки.

Интересно, где драгоценности? Лариса догадывалась, что они должны быть, даже не зная того, что покойница любила бирюзу с жемчугом, имела склонность к изумрудам.

Сметливая Анна Степановна заметила:

— Кажись, все на виду, ничего не пропустили, не утаили... Парень наш загулял, наследник имущества.

— А я отца Дарьиного помню, царство ему небесное,— сообщила Мария Григорьевна без особой связи с предыдущим.

— Толстый был, представительный. Форточки не любил открывать. Говорил, что у дворян ничего не проветривалось,— поддержала подругу Анна Степановна.

— Поклеп на дворянство,— сказала Лариса.

— Это не отец был ее, а отчим,— уточнила Анна Степановна.— Ой, мои скоро с работы придут голодные.

— Накормишь,— сказала Мария Григорьевна своим горючим голосом.

— Есть захотят, сами поедят.

Женщины не оставляли друг друга, заходили сюда вместе и выходили вместе. А ленинградский моряк в это время задавал вопросы веселой, похожей на птичку продавщице пластинок в отделе «Джазовая музыка» магазина «Мелодия». Птичка с удовольствием крутила пластинки светловолосому вежливому ленинградцу и не обращала внимания на прочих менее вежливых посетителей. Впрочем, в отделе царила вполне дружелюбная атмосфера всеобщего единения.

— Мы хотим,— веско проговорила Анна Степановна,— все сразу. Главное, от крупного освободиться. Квартиру освобождать надо.

— Я много могу взять,— сказала Лариса,— но какая цена?

— Вы все сами лучше знаете,— ответила Мария Григорьевна, просительно заглядывая Ларисе в глаза.

— Да уж, надо так сделать, чтобы никого не обидеть, человек копил, копил и помер,— философски заметила Анна Степановна и посмотрела на портрет дамы в черном платье с жемчугом, который она считала портретом покойной Дарьи Михайловны. Лариса тоже посмотрела на портрет, который считала голландским, семнадцатого века, художник не из самых великих, но и не из средних.

— Почин хотя бы сделать.

Это произнесла Мария Григорьевна. Она чуть не плакала. Она была так стара, бедна и одинока, ей хотелось только немного денег. Она прекрасно понимала, что получать их ей не за что, даже мебель не она двигала, у нее сил на это не было, только одно кресло, страшилу-громилу, удалось ей перетолкать из одного угла в другой, но по дороге она разбила какую-то рукастую лоханку и очень боялась, что Анна Степановна это вспомнит. Лоханка была размузейная «Старая Вена», но она этого не знала, а знала бы, так и что с того? Мария Григорьевна была не жадная в отличие от Анны Степановны. Когда-то давно она ходила мыть и убирать к Доде, и та все пугала: «Осторожно». Впрочем, об этом она уже забыла, и вещи Додины ей были не нужны. Никакие вещи ей были не нужны. Она хотела десять рублей, и больше ничего. За эти десять рублей она бы помянула покойницу, не в молитвах, давным-давно она уже не молилась, а просто добрым словом: мол,

царство небесное, хороших людей бог к себе забирает, а плохих, грешников, не берет. Поминать бога она любила, ей казалось, что про бога у нее складно получается, и люди ее тогда лучше слушают, хотя вообще-то они ее не слушали. Она обижалась и плакала. Ее спрашивали: чего, бабушка, плачешь? Она не умела объяснить причины, да и не было ее, она плакала и поминала бога. Это было все, что она еще могла и умела.

— Почин чудесное дело,— улыбнулась Лариса ласково.— Ну посмотрите, вот диван. Махина, дом целый. В современную квартиру его не втиснешь. Я бы взяла для подруги, на дачу... Сколько он стоит?

Цена дивана пробный камень. Сейчас все выяснится.

— Вы сами должны знать,— произнесла Анна Степановна довольно пугающим коммерческим тоном.

— Откуда, интересно! — ответила Лариса резко, чем следовало. Подводили нервы.— Вы решайте, вы хозяйки.

Слово «хозяйки» тоже неправильное. Она не понимала, почему нет мальчика, почему вообще нет никого, у Дарьи ведь были знакомые, не только две эти темные старухи бандитки.

— Десять рублей,— решила наконец одна из бандиток и вытерла рукавом испарину на лбу. Десять рублей за вещь, которая стоила тысячу.

— Т-так,— выдохнула Лариса. Этого нельзя было себе даже вообразить.— Т-так,— повторила она, покашляла и вынула из сумочки деньги.

Лариса села в мягкое кресло, покрытое божественной желтой тканью, все внутри у нее дрожало.

Анна Степановна предупредила:

— Кабы клопов там не было, в старье таком.

— Все может быть,— отозвалась Лариса и пошутила:— А с клопами почему?

— Вам этот бес рогатый нужен? — удивилась Анна Степановна.— Берите его за так, и давайте решать. Обидно, что я одну женщину найти не сумела. Она бы все взяла, все бы и посоветовала. Она к Дарье ходила.

— А еще у нее генерал был, ох и генерал,— вспомнила Мария Григорьевна.

— У генерала жена. И дочь,— сурово ответила Анна Степановна.— А сам умер.

— Не нужен никто,— резко сказала Лариса,— я беру все.

— Как так?

— У меня времени нет перебирать тут. Заберу все. Да и вы торопитесь. Я избавлю вас от всех хлопот.

— А себе наделаете, с какой это стати.

Анна Степановна определенно насторожилась.

— Ну кому-то надо повозиться,— мило и весело ответила Лариса, стремясь к одной цели — общая сумма и никаких деталей. Значит, весь секрет в том, что не нашли никого из антикварно мыслящих, искали и не нашли. Это судьба, это жаба.

— Вы ведь нас не обидите,— еле слышно прошелестела Мария Григорьевна,— человека сразу видно, она хорошая, грамотная, ученая, она старушку не обидит.

Лариса нахмурилась. О каких обидах они толкуют, эти бабки в капотах, эти привидения коммунальной квартиры. Она такая же наследница, как они. По совести, у нее прав больше. Она хоть знает, что с этим добром делать. Интересно, на какую сумму они рассчитывали в своих голубых мечтах. Пусть протрезвятся, она им много не даст.

Лариса постаралась улыбнуться помягче.

— Я должна бежать, бабулечки мои хорошенькие. Скажите, сколько денежек я вам должна принести, и я скоренько вернусь с грузовичком, а вы пока, что сумеете, слегка припакуйте. У меня шофер знакомый есть. Добро? Не будем тянуть резину.

Деньги тоже не проблема. Она обойдет двенадцатый этаж, попросит в долг, художники ее выручат. Единственная проблема — темп.

Обе старухи имели обморочный вид.

— Ну что вы такие у меня нерешительные,— еще более ласково пропела Лариса.— Хотите, я выйду на лестницу, а вы посовещайтесь.

Попутно оглядела фарфор, который был виден в раскрытые дверцы буфета. Горы предметов из сервиза «Придвор», стопки тарелок, причем ранних, а не тех, которые изготовляли на Императорском заводе позже, дополняя в последующее царствование то, что разбили в предыдущее на дворцовых обедах и ужинах... Обедали каждый день... триста лет подряд... Не смотреть, не интересоваться, приказала она себе.

А люстра? Во все времена такое было для богатых. Какой сохранности все вещи! Хотя она любила попроще, поглубже, понаивнее, но если совершенство, то вот оно. А истинную стоимость всего этого она не хотела называть

даже себе. Что ж, если ей не дано созидать, то ей хотя бы дано понимать и владеть.

Ни разу не подумала она о том, как отнесется ко всему этому Костик. Как можно отнестись к чуду. Деньги хорошо презирать, когда их нет, но гораздо лучше презирать, их имея. Теперь они с Кости́ком могут презирать деньги.

Темная лестница испугала Ларису, из глубины каждую минуту мог появиться кто-то, подогнуть трехтонку с такелажниками прямо к высокой, респектабельно обитой двери, за которой стражи охраняли кучи старья и не знали, что охраняют сокровища.

А что за странный морячок, пропавший без вести в центре Москвы среди бела дня... Задача как будто проста — обмануть и обворовать мальчишку и старушек. Последнее грязное дело, после которого жизнь обретет ослепительную чистоту и красоту... Если уж размышлять о нравственной стороне, то богатства Дарьи Михайловны нажиты не самыми чистыми путями. И плевать!

Старухи назвали сумму. Лариса даже хотела набавить, но такой порыв мог вызвать подозрение. Потом, когда все закончится, она принесет бабушкам конфет и пирожных.

Она хотела повернуть все до вечера, когда увеличится число людей, именуемых на юридическом языке свидетелями. Конечно, все это чепуха, сказки о престиже. Престиж искусствоведа в том, чтобы видеть и понимать искусство, престиж коллекционера, чтобы найти и взять. Оставался еще престиж художницы, что с ним делать?

Квадратик зеркала в золотых крутых завитках (подлинное русское барокко) отразил жар обгорающего лица, немигающие галочки глаза, застывшие ямочки под скулами.

Она скоро вернулась с шофером и Костика прихватила в качестве рабочей силы. Он согласился охотно и даже проявил подобие интереса, спросил, как звали покойную и от чего она умерла. Последнего Лариса не знала.

Старушка Мария Григорьевна с радостью ответила на его вопросы. Они разговорились.

— Халат японский у нее лиловый был, рукава висючие. Халат-кимоно, ох и халат, у меня от него тряпочка была, ох и хороша!

Мария Григорьевна улыбалась воспоминанию о халате и тряпочке, Костя внимательно слушал.

— Она сама красивая была вон какая,— Анна Степановна показала на старый голландский портрет, который в этот момент Лариса как раз снимала со стены. Костик не двинулся, чтобы ей помочь.

Голландская горожанка, женщина с твердыми принципами и понятиями о чести, со спокойным трезвым взглядом голубых, как сама ее прекрасная страна, глаз, была ловко втиснута в поставец из красного дерева, еще один поставец! Шофер толкал его плечом с одной стороны, а Лариса — с другой. Костик не пошевелился, сказал только: «В дверь не пройдет» — и опять повернулся к бабушке Марии Григорьевне.

Может быть, было еще не поздно, хлопнув поставец по жирному боку, воскликнуть: «А пропади оно пропадом!» — засунуть (уж если так приспичило) бесхозную голландскую горожанку под мышку и удалиться. Может быть, еще можно было спасти себя, свою душу, свою любовь, свою жизнь. Может быть, еще можно было, а может быть, и нет. Но Лариса, как безумная, продолжала толкать плечом и животом тяжеленный неподъемный роскошный поставец, который трещал, скрежетал, грохотал и не поддавался.

— Вот Дарью бог забрал к себе, а меня не забирает. Почему? — задала Мария Григорьевна Костику вопрос, на который трудно было ответить. Но Костик нашелся.

— Не время,— очень веско сказал он.

Старушке ответ понравился.

— Как бы не так,— сказала она, совсем развеселившись.

Лариса оттащила поставец и вернулась с шофером за диваном. Вид у нее был как у человека, которого хватил солнечный удар. Грозная, зловещая краснота заливала кожу, глаза опухли.

Громадину диван они вдвоем с шофером не могли даже сдвинуть с места.

— Костя, помоги! — крикнула Лариса.— Неужели не видишь? Помоги.

Но ей уже никто не мог помочь.

— Давай толканем,— предложила старушонка Мария Григорьевна и поднаперла плечиком и ударила сухими состиранными ладонями, и диван как воздушный мяч мяг-

ко отъехал от стены, словно добрый дух приказал ему отъехать.

Костик на призыв не отозвался, не повернул головы, старушка даже ему попеняла:

— Чего ты так, не хошь, чтобы она эту небель ограбала?

— А мне наплевать,— ответил Костик.

— Умно,— подхватила старушка,— чего тебе, чужого доброго жалко? Вот Дарья тоже такая была, вещи любила до страсти. Прямо сдыхала, все ограбала, а бог на это не посмотрел, все осталось.

— Мне наплевать,— зло повторил Костик.

— Мне вот ничего не нужно, а ей нужно, она молодая. Ты ее не суди. Вон как себе кишки надрывает, смотреть плохо.

Старушка опять хотела подключиться к погрузке, но Костик ее удержал.

— Нечего тебе, бабушка, лезть, пусть сама. Сколько она вам хоть денег дала?

— Сколько дала, столько дала,— улыбнулась старушка.— С нас хватит. А тебе не скажу, ты ее ругать будешь. Вон ты какой волнатый.

— Можете не говорить,— согласился Костик,— это неважно. Это совершенно неважно.

Лариса вырывала люстру из потолка, стоя прямо в сапогах на обеденном столе, среди разбросанных на нем бесценных предметов. Несколько хрустальных подвесок в форме слезок, они и называются слезки, упало и разбилось с характерным прозрачным звоном.

Казалось, вещи издают крики и стоны, не хотят, чтобы их рвали с мест и тащили отсюда к новой хозяйке.

Шофер, видимо, понял, что участвует в грабеже, осознал свою роль и свою задачу. Он помогал Ларисе на совесть, как будто рассчитывал получить свою долю, схватить куш.

— Зря, братец мой, стараешься,— сказал Костик шоферу.— А тебе мне сказать нечего,— бросил он Ларисе.— Живи. Пользуйся,— и ушел, чтобы собрать свои трусы и майки, а также свои холсты и картины, готовые и только начатые. Когда Лариса на грузовике с вещами Дарьи Михайловны приедет домой, его уже не будет. Он успеет уйти.

Он попрощался с бабушкой.

А Лариса осталась, и уже никто и ничто не помешало ей довести дело до конца.

Жаба принесла ей счастье, жабье счастье и жабье богатство, теперь ей осталось до скончания века беречь его и стеречь и ждать жабьего принца, потому что принц человеческий, сын человеческий ушел, унес ноги, спасая молодость свою, талант и честь.

Слава богу, Петр Николаевич мог работать. Он писал об оружии и знаменах, об орденах и солдатских песнях, о музыке, театре, живописи, литературе. Об обычаях предков, их вкусах и привычках...

Были годы, когда все это, казалось, забыли, и телефон его молчал. Он тогда работал в Литературном музее научным сотрудником. И писал только для музея. Конечно, всегда существовали люди, которых интересовала отечественная история, но теперь таких стало много, если не все. Он стал модным автором. Давно, в юности, на вечный вопрос, чего бы ты хотел в жизни, отвечал невесте своей Надежде: «Пригодиться». А позднее на вопрос о профессии отвечал: «Продавец воздуха». Так и осталось, ничего другого он для себя не придумал.

...На площадях и в переулках стояли театры, белели колонны, по вечерам освещались подъезды и застенчиво улыбались одинокие женщины и насмешливо — одинокие мальчики, спрашивая лишнего билетика, а странные и прекрасные люди, артисты, входили в боковые темные двери, каждый раз заново волнуясь. Волнение их вечно и преодолимо... Так было и будет. Он писал о дружбе своей с актером, который не был прославлен при жизни. «Я должен о нем рассказать, кроме меня никому», — шептал он, продолжая писать.

Вдова его Вера Игнатьевна и сейчас жива, он проводывал ее. Она тоже бывшая актриса, и когда-то он был в нее влюблен.

Актер происходил из семьи декабристов, складывалась сложная история нескольких жизней, и, как всегда, у Петра Николаевича век двадцатый стал уплывать, уплывать, и настал век девятнадцатый, и восемнадцатый...

Он позвонил художнику и спросил:

— К Вере Игнатьевне хотите пойти?

— Очень, — закричал художник, — буду вести себя тихо, прилично. Вы удивитесь.

— Я знаю, как вы себя ведете, — засмеялся Петр Николаевич. — Я уже удивлялся.

— Ну испытайте последний раз,— сразу привычно начал канючить художник.— Знаете, как я люблю с вами ходить. Какая это для меня наука, школа, просто удовольствие.

И тут же прибежал, лодырь несчастный, с радостной улыбкой, приплясывая на длинных ногах.

Вера Игнатьевна встретила гостей приветливо, даже кокетливо, в той манере, которая теперь так же редко встречается, как мягкое кресло с ушами, в котором сидела старушка.

— Забыл, забыл меня окончательно,— смеялась она,— и не поднесите мне ваших конфет, неискренних, не хочу. Мне надо, чтобы вы меня помнили, а не конфеты ваши.

— Дел много, и погода стояла неважная,— ответил он.

— Погода, это я понимаю, а дела — нет. Не понимаю. Разве дружба не важнее, чем все дела? Мы с вами не один год приятели, вы знаете, как я вас люблю и скучаю...

В таком роде Вера Игнатьевна могла говорить долго, получалось у нее это мило и весело. Голос у нее был молодой, мелодичный, какого-то тоже уже забытого звучания, звенел из юности, из бунинских повестей, из какой-то памяти вечной о самом себе. Под этот голосок, как под гитару, Петр Николаевич неизменно начинал грустить и что-то вспоминать, что совсем не нужно вспоминать. Какие-то сады, какую-то весну, какие-то белые платья, и тонкие руки, и нежные глаза, и тихий смех, брата, которого давно нет в живых, бабушку с молитвенником в руках и лес, в котором удивительно много грибов. Вот загадка, он помнил такие полянки, где прямо на коленях можно было за несколько минут (а может быть, секунд?) набрать ведро лисичек (а может быть, белых?). А где теперь такие полянки, есть ли они? Конечно, ему судить трудно, уж сколько лет он городской, а на Арбатской площади грибы не растут.

Вера Игнатьевна, голубушка, соскучившись в одиночестве, хотела все выговорить про плохих друзей. Это она делала с таким удовольствием, что он не смел ее прервать и всегда выслушивал до конца.

В какой-то момент она замолкала, как будто у нее был определенный запас энергии и слов.

— Высказалась — и на душе стало легче. На этот раз

я вас прощаю. Но это не значит, что я всегда буду прощать.

Она выбиралась из кресла, легкая как птичка, и шла на кухню ставить чайник.

За чаем начиналось второе испытание. Политическая беседа на злобу дня и обсуждение новинок литературы. Вера Игнатьевна неизменно поражала его своим живым интересом ко всему на свете.

«Этим она и держится»,— думал он, не сосредоточиваясь на ее высказываниях, она говорила о незнакомом, и только голос, прелестный, живой, проникал в сердце.

— ...В последних двух номерах повесть напечатана...

— Кто автор?

— Вас интересуется имя?

— Насмешничаете? — сказал Петр Николаевич. — Интересует.

— Вот и рассердился. Ах, нельзя шутить с мужчинами, они сразу сердятся, я про это забыла. Вы тоже такой?— любезно обратилась она к художнику.

— Я гораздо хуже,— признался тот.

— А у меня новая приятельница появилась, интересная молодая женщина. Я рада каждому новому человеку в моем одиночестве и вообще люблю молодых. Моя новая приятельница — художница и очень много знает. Я прихожу к выводу, что теперь учат гораздо лучше, чем нас учили.

— Возможно.

— А я завидую. Какой полной и прекрасной может быть жизнь, если с самого начала серьезно учиться. А мы? Боже мой, я? Я об учебе не думала, я о другом думала. Ну о чем, о чем?

Старушка сердито посмотрела на комод, где в кожаной круглой рамке стояла фотография феи в кружевах, прелестной, как все феи, воздушной, как все феи, и, как все феи, далекой от идей фундаментального образования.

— Наверное, не о чем, а о ком. И не надо себя за это ругать. Это самое глупое, что мы можем теперь делать. Запоздалые сожаления, я их сам испытываю и поэтому знаю, как это неправильно.

— Моя новая подруга приходит, приносит мне свежие журналы и сидит со мной, говорит, что ей у меня очень нравится. Мою комнату хвалит. У меня все сохраняется, как было при Мите. Правда?

Он молчал. Эта комната одряхла так, как будто

прошли не года, а века после смерти хозяина. Красиво, но страшновато, как на картинке, которая была у Петра Николаевича в детстве. Заснувшее королевство. Спит стражник, прислонившись к железной ограде, спит лохматый пес в будке, спит принцесса у себя во дворце, спят ее подданные, и все королевство покрывается паутиной. Но, существенная деталь, сбоку на подходе маячит принц-избавитель.

В комнате Веры Игнатьевны грязь, обои в пятнах, коричневые шторы, тканые золотыми львами, свисают лоскутами, книжные горы не разобраны, вершины их запорошены пылью, как серым снегом. А ножнички, крохотные перламутровые, лежат на туалете несколько лет в одном положении тоже как заколдованные, как будто заснули, а рядом с ними спят костяные кружевные коробочки и шкатулочки лаковые. В серебряном стакане на письменном столе спят карандаши, которые еще отточил хозяин. Станный был человек, удивительный, сумасброд, актер тонкий, настоящий.

— Дух Дмитрия Степановича сохранился, но многое переменялось, Вера Игнатьевна. Я врать вам не буду. И, воля ваша, стол письменный надо выносить.

— Его никто не берет. Его невозможно продать. Хоть бы так кто-нибудь взял, в подарок. Мне иногда кажется, что я из-за него умру.

— А музей?

— Говорит, что берет. И не берет,— голос Веры Игнатьевны стал плачущим, личико сморщилось.

Этот письменный стол после смерти хозяина въехал сюда, встал посредине и перекрыл все пути. Он заполнил собою все. Вера Игнатьевна давно уже сказала, что выживет из них кто-то один.

Она сражалась с ним, особенно ночами, когда в зыбком свете фонаря он возвышался перед нею своими шпилями и башнями. Он был окован латунию, словно закован в латы, по ночам от него исходило сияние. Вооруженный воин, враг. Он был высокий, двухэтажный, мрачный и величественный. Выкинуть его она не могла. Муж любил работать за ним, ему он был друг.

Уже врачи из поликлиники сказали, что стол нужно убрать, в комнате нечем дышать. Стол сжирал кислород. Кроме того, по ночам он стрелял. Лежа без сна, она слушала эти выстрелы.

— Он такой огромный,— сказала Вера Игнатьевна.

— Давайте я его сейчас отсюда налажу,— предложил художник,— толкану, он и покатится. Минута.

Вера Игнатьевна посмотрела на него, подняв маленькое личико. Она уже почти ничего не видела без очков. Жалость сжала сердце Петра Николаевича, такой одинокой, всеми забытой и беспомощной была эта старая женщина; такой никому не нужной.

Другая бы давно взяла и выкинула это дьявольское порождение мрачной фантазии восемнадцатого века. Мрачной? Но восемнадцатый век не был мрачным. А кто сказал, что это восемнадцатый? Задав себе этот вопрос, Петр Николаевич понял, почему так ведет себя музей. Там тоже не знают, кто он, этот стол, или, наоборот, уже знают. Но пока ученые мужи, вернее, ученые дамы разберутся, у бедняжки кончатся силы.

Да, конечно, это никакой не восемнадцатый, а девятнадцатый, последняя его треть, вот тогда создавали подобные вещи.

— Обещаю вам, миленькая Вера Игнатьевна, голубушка,— ласково сказал он,— на той неделе его у вас не будет. Мы что-нибудь придумаем, да, Арсений?

— Конечно,— ответил художник, сдержанный, благовоспитанный молодой человек, как будто его подменили.— Как прикажете. Хоть сейчас.

— Начинайте его освобождать.

— Ой, ой,— тоненько сказала Вера Игнатьевна и рассмеялась.

Все-таки поразительно, как рождаются и живут такие незащищенные.

— А ваша подруга,— напомнил он,— чего она от вас хочет?

— Ничего. Станный вопрос. Я же вам сказала. Ей у меня нравится. Она меня в мамы берет.

— Лариса ее зовут?

— Вы знакомы? — удивилась Вера Игнатьевна.

— Как видите.

— Что за тон! Объясните, голубчик, чем она вам не угодила? Можно подумать, что вы были в нее влюблены.

— Она дурная женщина.

— Я уже в том возрасте, когда мне не опасны дурные женщины и дурные мужчины.

«Ну, как ей втолкуешь»,— думал Петр Николаевич.

— Конфеты мне больше не носите. Лариса тоже пусть не носит. Я дама вполне обеспеченная. Живу неплохо.

Когда они уходили, Вера Игнатьевна опять забралась на свое место, высокая спинка и боковины кресла закрыли ее от письменного стола, от проблем пыли и кислорода, уборки-разборки, рваных парчовых тряпочек и засохших белых бомбочек зефира, конфет, которые она любила, но не ела. Они у нее всюду лежали.

«На свете много одиноких старушек,— думал Петр Николаевич,— и все те же у них болезни и воспоминания. И нету дочки или внучки с косичками, единственного, что им нужно... А Митя ничего этого уже не видит и не знает, в этом тоже свое преимущество... А в рассказе о нем это должно быть. В эпилоге. Недаром никто не любит эпилогов».

А его сын шагал рядом молча.

— Вы себя хорошо вели,— похвалил Петр Николаевич.

— Никак я себя не вел,— ответил сын.— И давайте договоримся, такой я и сякой, но старушек я не граблю и не убиваю.

«Если его изобразить графически, то белого в нем больше, чем черного»,— подумал Петр Николаевич.

— А старинные вещи я все равно люблю и любить буду,— сказал художник,— вот как хотите. У старушки там тоже кой-чего есть очень даже невредного.

Иногда ей казалось, что все не так уж плохо, не безнадежно. Вот в такой день, когда муж сидел за обеденным столом и делал эскизы к книжке, советовался с ней, вставал, чтобы размяться, и опять садился, работал тут, не уходил даже в мастерскую на свой дорогой двенадцатый этаж.

Книжка была сборником сказок, жанр им уважаемый. Автор — народ.

— Нет, ты только послушай! — восклицал он и читал вслух, невнятно и восхищенно.

— «Нахмутив брови, следил за всадниками Черный король. Следил и радовался: впереди всех скакал наследник Зеленого короля, а Трандафир был последним. Сорина закрыла лицо руками. Она видела, что всадник в сермяге изо всех сил подгоняет своего маленького конька, но конек с каждым шагом отстает все больше и больше. И вдруг...» Трандафир, вот имечко, выговорить невозможно. Иван, Иванушка, Боба — то ли дело!

— Будет в следующий раз Боба. Обещали же, если эта пойдет хорошо. Будет.

— Я тебя умоляю, не разговаривай со мной как сполным идиотом, а из себя не строй святую, договорились?

Катя ответила:

— Ты прав, Трандафир выговаривается тяжело, но слово красивое и вполне славянского звучания.

Он засмеялся.

— Вполне басурманского.

Не бежал в неизвестном направлении, забыв позавтракать, не прятался на двенадцатом этаже, как в блиндаже, а сидел тут и работал.

— «Когда состязание окончилось, юноша подскакал к королевскому трону и смело сказал: «Ваше величество! Вы видели, что я выдержал все три испытания. Исполните ваше обещание, отдайте мне в жены прекрасную королеву!» — «Прочь с глаз моих! — закричал король. — Не отдам королеву за нищего!» Ничего, а? Как ты считаешь, король не прав? Конечно, не прав, вот ты же, например, вышла замуж за меня.

«Значит, я сама виновата, я делала какие-то жуткие ошибки, — ругала она себя. — Хоть бы понять какие, чтобы не повторять. Плюс понять его психологию, разгадать код, и тогда можно будет всегда знать, что ответить. Сто из ста».

— Знаешь, а я опять голодный, — ласково сообщил художник.

Сидя дома, он готов был все время жевать. Ей, впрочем, это нравилось. Муж просит есть, в этом было что-то правильное.

— То ли ты так вкусно готовишь, что мне все время охота есть, то ли, наоборот, недокармливаешь, не пойму.

Он в третий раз поел супу.

— Ну слушай дальше, очень хорошо. «Королева сказала отцу: «Ты опять не прав!» Видишь, то же самое сказала, что я говорю. Не прав король, не смыслит ни черта, старая перечница. Чего ты смеешься?

— Смешно.

— А в самом деле, чего он путает? «И тогда королева вскочила в седло рядом с Транда... Тран...» В общем, с этим самым типчиком и так далее... Неплохо!

— Конечно. Сказка есть сказка, спокойно можешь считать этого Трандафира Иванушкой.

— Не болтай, кто это мне разрешит. Национальный

колорит нужен, и я его им предоставлю. У Петра Николаевича в библиотеке этого колорита навалом, он, пожалуйста, мне даст, вы с ним сговорились за моей спиной, разработали план спасения заблудшей овцы. А то, что ты советуешь, так это ты, матушка, толкаешь меня на халтуру.

«Тут самое место попросить прощения», — подумала Катя и сказала:

— Прости, пожалуйста.

— Думать надо.

— Прости.

— Простил. А в общем, сказка прелесть, трандафир порумынски роза. Ну, розан, скажем, для мужика прозвание «роза» как-то не очень. Но поскольку он, розан, был искусный резчик по дереву, это меня вполне устраивает. Что вообще может быть лучше резьбы по дереву... Ну, конец сказки понятен: «бежим!», «в погоню», великан, которого он выручил, их выручает. Вот видишь, матушка, выручать людей надо.

Она похвалила эскизы, безошибочно отобрала лучшие, толково объяснила недостатки там, где увидела их, в заключение еще раз похвалила и... перехвалила. По работе в редакции знала, что его нельзя хвалить, он сердился. Но ей на самом деле понравились некоторые листы, и она забыла, что надо хитрить.

Он сразу вскинулся:

— Опять делаешь из меня мальчика! Цуцу!

— Какую цуцу? — спросила она, с трудом сдерживая слезы.

— Простую! Цуцика.

Он нес всю эту чепуху от недовольства собой, она это понимала, жалела его и плакала. А плакать нельзя.

— Реви, реви, тебя опять не поняли. Только отойди. От тебя воняет, как от банки с кремом. Что, я опять сказал что-нибудь обидное?

— Нет.

— Ой, иди ты со своей святостью. Или нет, оставайся, я уйду.

— Куда?

— Как это куда? Интересно. К себе. И ты не вздумай туда звонить и шляться туда. Сиди дома, читай, вышивай, можешь висеть на телефоне с подругами. Подруги есть?

— Есть.

Он начал успокаиваться.

— Хоп май ли. Туда носа не показывай. А то и так все смеются, что я превратился не знаю в кого, в трандафира.

— Дураки.

— Между прочим, люди отлично чувствуют, как к ним относятся. Все же видят, что ты их презираешь.

Отвечать на эту новую глупость не имело смысла.

Он ушел, шаркая домашними тапками и хлопнув дверью.

— Я сварю новый суп,— крикнула она ему вдогонку, расстраиваться она не собиралась.

Она уже столько расстраивалась, что — хватит. Она наденет красную шерстяную юбку, из материи, пролежавшей энное количество лет в деревенском сундуке, и батистовую сборчатую кофту, повторяющую фасон старых русских кофт. А в уши проденет деревенские серьги. Они сверкают как бриллианты, но они лучше бриллиантов, стеклышки со сказочно сверкающим названием стразы. Бедное деревенское украшение, которое ей очень нравится. У нее еще есть тяжелые, витые, так называемые хороводны цепи, правда, она несколько маловата для них, для них требуется девушка рослая, краснощекая, с толстой косой ниже пояса. Но все равно они ей нравятся, и она может их навесить на себя. Все это мода двенадцатого этажа. Она постигла ее.

Прошло то время, когда, спускаясь с четвертого этажа за почтой или вынося мусор, она, Золушка с ведром, прислонялась к стене и провожала глазами видения, нимф двенадцатого этажа. Некоторые приезжали в автомобилях, у них были тонкие фигуры и незначительные лица, они привозили с собой худощавых бледнокожих спутников, банки с соками и пивом. Другие выглядели проще, молоде, среди них попадались хорошенькие, через плечо у них висели холщовые сумки, вроде мешков для картофеля, только немного поменьше. Они робко заходили в лифт, тихонько нажимали кнопку с цифрой двенадцать, вытирали носики чистыми носовыми платками. Автомобилистки с пивными банками вели себя куда более развязно. Были, впрочем, и по-настоящему дерзкие девицы, бандитки, которых Катя поначалу боялась. Но у бандиток тоже были несчастные глаза.

Теперь Катя никого не боялась. Больше того, иногда ей начинало казаться, что эти пассажирки скоростного,

обитого небесно-голубым пластиком лифта ее побаиваются, она тут с ведром законная, а они в своих паричках и художественных заплатках разведчицы, диверсантки. Но они ехали на двенадцатый этаж, она поднималась до четвертого.

И все-таки, в отличие от первой жены, Катя могла считать, что разобралась с этой запутанной проблемой — Женщины и Двенадцатый этаж.

Раза два она зашла в мастерскую, нарушая запреты, без предупреждения и приглашения, и убедилась, что там, куда ей вход запрещен, решительно ничего не происходит.

Бандитки и паиньки чинно сидят вместе, пьют чай с баранками, смотрят работы, которые им показывают художники, высказывают мнение серьезно, тактично. Атмосфера приятная и деловая.

— Тебе чего? — недовольно спрашивал Арсений.

«Все ясно», — сказала себе Катя, когда и во второй раз застала ту же картину.

Катя дала себе слово больше не появляться, она не будет там сидеть и пить чай из кружек, смотреть работы и рассуждать об искусстве. Каждому свое. Сходить с ума нечего, пусть лифт работает с перегрузкой, пусть двенадцатый живет как хочет, ее это больше не интересует. Она приняла это решение после очередного хамства, два дня плакала, а когда кончила плакать, поняла, что надо это число записать крупными буквами и радоваться. Теперь она придет, если ее будут очень просить. В том, что будут звать, она не сомневалась. И оказалась права.

Ей по-прежнему внушали: не смей туда ходить, это наша фабрика, наш завод, рабочая площадка, святая святых. Женам вход запрещен, как на корабль.

А потом он звонил другим голосом: Катик, принеси бутербродик. Или: Катик, вздуй кофейку, я спущусь или ты поднимешься?

Сейчас он тоже позвонил:

— Катя, зайди.

Гремя хороводными цепями, как кандалами, она влетела в лифт и нажала верхнюю кнопку.

Из лифта вышла неторопливо, маленькая, важная. Она шла по коридору, сама чувствовала, что важная, и улыбалась тоже важно, сановно. Перед дверью мастер-

ской постояла, приводила улыбку в порядок и вошла, звякнув цепью.

— Привет,— сказала небрежно, соревнуясь с нимфами.

— А-а-а, ты.

Он сгорбился у стола, показал ей на кушетку и продолжал рисовать. Он работал с тою же беспощадностью к себе, с какой не работал. Поза казалась неудобной, неправильной, наклонялся он слишком низко, волосы ему мешали, лезли в глаза, он хмурился, что-то шептал.

Он был талантлив, она знала это, сам он этого не понимал. Кто, кроме нее, может внушить ему это, подарить веру в себя. Это ее главная жизненная задача, эта трудность ее увлекла, за ней она пошла, бросив хорошего, достойного человека, благополучный дом. Она все выдержит, будет с ним, она верит в него, и, хотя ей еще будет трудно невероятно, скука ей не грозит.

Она тихо прилегла на кушетку, прокрустово ложе, пружины бронзовые, сильные, злые, вливаются в бока.

Конечно, ее убивали его долги, с долгами новую жизнь не начнешь. Иногда она сожалела, что знает правила игры в «можно и нельзя» слишком хорошо. Он их не знает. Она украдкой оглядела стены, мастерская выглядела как жертвенный алтарь какому-то жадному богу. До новой жизни было далеко.

— Посмотри, трандафир трандафиркин.

Он протянул ей листы. Два из них были очень хороши, она не осмелилась их похвалить. Сказала суховато, как редактор:

— Эти мне нравятся больше остальных. Поздравляю.

— Ясно, трандафиркин. Ты глазаст. Мне тоже.

И засмеялся. Понимал, радовался.

— Я хотел с тобой к Петру сходить, но передумал. Я еще поработаю. Я ему тоже хотел эти листы показать, вроде не стыдно. А ты, если хочешь, здесь поспи. Хотя лучше чеши вниз, а то, кто зайдет, увидит у меня жену. Позор.

— А не жену?

— Совсем другое дело.

— А я бы при всем желании не могла больше лечь на эти пружины.

— Не ври. Пружины хорошие. Лучше не бывает.

— Вот пусть на них не жены ложатся. На здоровье.

— Ну, ну, ты так не шути, хуже будет.

— С некоторых пор со мной все в порядке, и хуже

быть не может, а лучше — может, — засмеялась Катя и хлопала его по щеке.

— Спятила? — ласково спросил он. — Колдунья несчастная. Забудь сюда дорогу,

— Поедете до конечной станции, а там еще немного на автобусе, проведаете моего старого друга, — сказал Петр Николаевич, — раз вы себе такую работу придумали, голубчик, со стариками возиться, вот и возитесь. Поезжайте, не пожалеете. Это последние старики.

— Да бу-удет вам панихиду разводить, — в грубоватой своей манере ответил художник. — Давайте адрес.

Автобус бежал по пересеченной местности, то поднимался, то опускался, как лыжник на лыжне. Наконец встал и вывалил пассажиров в грязь.

Это было место, которое стало Москвой, но не перестало быть деревней. Грязь была деревней, и воздух был деревней. И несколько женщин деревенских вышли из автобуса, и несколько таких же сели в него. Детки резвились вокруг.

Городскими были лишь дома-башни, пришельцы-великаны.

Надо было перейти овраг, чтобы подобраться к этим домам.

А его внезапно охватила тоска. Что он делал тут, зачем штурмовал овраг, увязал в снегу и грязи. Ведь еще немного такого мельтешения — и он пропал как художник. Не работается ему, он измучился, Катю измучил. Потому, наверно, и коллекционером стал, в этом отдушина.

Он идет, в кармане у него письмо, написанное Петром Николаевичем к другу своему и бывшему коллеге по Литературному музею. «Примите моего молодого друга, талантливоего художника Арсения Ивановича...» И вот он спешит, почти бежит, умирая от нетерпения, от желания поскорее увидеть не коллегу, нет, а какие-нибудь вещи его, сохраняющиеся с незапамятных времен у таких стариков, у последних стариков. Что ему надо? Все равно что... хоть даже ключик медный, хоть колокольчик ломаный, никому не нужный... Он бы его отчистил до блеска... А сколько у него колокольчиков? Когда хотят поразить воображение свежего гостя, то ведут к нему, он достопримечательность двенадцатого этажа, состоящего из многих достопримечательностей. У него колокольчики с потолка свисают. Сами

не развешивают, а он, дурак, развесил. Для того чтобы услышать мужественные сдержанные похвалы: «Вот это да». Когда-нибудь он все сорвет, будут у него белый потолок и белые стены, этим он будет отличаться.

Он знал, что увидит сейчас человека блистательно образованного и интересного. Петр Николаевич сказал: «Ради этого старика не жалко и сто километров проехать. Жаль, я болен. Передайте ему мой привет».

Вот в каком-то из трех одинаковых — не отличишь — домов и живет этот старик. Арсений постоял, посмотрел на окна, потер виски и повернул обратно. Представил себе, как он сейчас начнет дрожать, все хотеть, криво улыбаться, осторожно спрашивать: а с этим вы не хотите расстаться, а у вас случайно нет рамочки левкасовой?.. Когда-то надо очухаться, когда-то — это сейчас... Будет у него белый потолок и белые стены, а потом когда-нибудь он их распишет...

Книжку румынских сказок он сдал, но доволен ею не был, в отличие от Кати. Та высоко ценила добротную работу, редактор в ней гнезвился глубоко, будь здоров, маленький железный редактор, твердо знающий, что хорошо, что плохо. Когда она не была его женой и сидела за столом в соседней комнате, она казалась провинциальной беленькой девчонкой, любительницей мороженого и культпоходов в кино. Правда, довольно скоро она там сделалась профсоюзным боссом.

Он уже жалел, что поддался панике. Это не метод, а трусость, глупость, надо было пойти и там держаться сдержанно и благородно. Это было бы правильно. Но возвращаться не стал. Ушел — ушел. Значит, не судьба. Может быть, когда-нибудь потом, когда все его дела будут не в таком разладе. Такие книжки, как румынские сказки, он как блины может печь, только не хочет... Когда он сам будет доволен, а не уважаемый редактор Екатерина Ивановна, тогда в виде премии и заслуженного отдыха... А сейчас в виде премии есть Петр Николаевич и под диваном у него лежат гравюры, две из них ему обещаны.

Обещанного три года не ждут, решил художник, человек устал, человеку надо отдохнуть, и направился не в мастерскую, а обратно к Петру Николаевичу.

Он, разумеется, не собирался рассказывать, что его охватили чувства, здорово похожие на угрызения совести и раскаяние. За пять лет дружбы он привык бегать к Петру Николаевичу, как говорила его мать, надо — не на-

до. Толкнуть калитку, где это еще в Москве калитки в центре города, подняться на крыльцо, а крыльцо где еще найдешь? Где увидишь просторные холодные сени и комнату, именуемую библиотекой? Чувство соприкосновения с чем-то удивительным, ни на что не похожим, которое он испытал при первом знакомстве с Петром Николаевичем, не проходило. И когда художник открывал высокие двери, и дверей таких больше нигде он не знал,— он чего-то ждал. Чего? Он не мог бы ответить. Неожиданной встречи какой-то, которую всегда ждет человек. Она происходила каждый раз в этом белом, плывущем из прошлого в будущее доме,— может быть, просто это и была встреча с этим домом? И он продолжал ее ждать.

— Привет,— сказал художник невыносимо фальшивым тоном, который так не подходил этой комнате, комодам, книгам, потолкам и хозяину.

— Привет,— ответил Петр Николаевич, как будто не полтора часа назад они расстались.— Откуда вы, прелестное дитя?

— Ехал, ехал, не доехал,— сообщил художник.— Дела. Деньги зарабатывать надо.

«Натворил чего-нибудь»,— подумал Петр Николаевич.

— Катрин хочет видеть меня в обойме, она держит курс на официальный успех, хотя согласилась бы и на неофициальный. Но, помилуй бог, я же не Эжен Кузнецов, рисовать разбитые часы и львов с вытекающими внутренностями не буду, и я не Васек, который свою жену рисует по частям. Я бы на Катьку посмотрел, если бы ее рисовать по частям!

«Что несет! — подумал Петр Николаевич.— Бедная Катя».

— Может быть, вы думаете, что я не могу хватануть свой кусок славы? Сенсации? Фантазии, думаете, мало? Могу. Школа у меня есть. Не хочу, понимаете, не хочу! Екатерина честолюбива, вас это, может быть, удивит, в этой маленькой блондиночке, такой на вид тихонечке, кроется ба-альшая сила и ба-альшее честолюбие.

«Ничего ты не понимаешь»,— подумал Петр Николаевич.

— И самое правильное, я думаю, было бы ей завести ребенка, оставить меня в покое.

— А я бы крестным был,— сказал Петр Николаевич,— не возражаете?

— Само собой! — согласился художник, он был страшно

возбужден и еще не выговорился.— Ребенок на четвертом этаже. Екатерина Ивановна при ребенке, а я бы спокойно разобрался в том, как я хочу и как я должен рисовать. Не надо забывать, что я график. Хотя какой ребенок, когда у меня долги, за которые в долговую яму сажали и правильно делали. Не может быть и речи о ребенке. Кроме того, я вас уверяю, что Катю никакой ребенок не угомонит: вы обратили внимание на ее глаза? Это же глаза одержимого человека, серые, а в них серебро сверкает. Искрой бьет, автогенем, а иногда светлый голубой луч. Если ее по частям рисовать, то одни глаза брать. Серию такую сделать. А назвать знаете как? «Идут танки» или что-нибудь в этом роде. Она танковая. Я ее уже в мастерскую приглашаю сам. Никому не говорю, все думают, что она по собственной инициативе туда шляется, а на самом деле я ее зову, уже восемь раз приглашал, я записываю на календаре. Я ее рисовать собираюсь. Глаза, губы и руки. Все отдельно. У нее руки тоже значительные, крупные, непородистые, сильные. И красивые. Автогенщица. К другу вашему я не пошел, подумал: зачем я пойду? Не пойду, и точка. Вы, наверное, беспокоились, что я вас там компрометирую, все хватаю руками...

— Бог с вами!

— Катька довела меня своей политикой «холодной войны», и устал человек, человеку надо отдохнуть.

— Довольно странная у вас поговорка, мой милый, от чего вы устали?

— Я сказал, от себя самого. Час битый толкую, устал. Долги, творческий упадок, злая жена... Боже, что это?

Художник присвистнул и замер, пораженный.

Перед ним на маленьком черном столике стоял серебряный кубок на массивной ноге, с крышкой, увенчанной человечком, который, несмотря на крошечные размеры, был воплощением воинских добродетелей, любил выпить и погорланить песни. Смеяться и плакать хотелось при виде его.

Художник смотрел на кубок долго, думая о том, как некоторым людям везет, они находят такое. А потом он вдруг подумал, что все это не случайно, так и должно быть. Пусть другим достается, а он кубок посмотрел и может к себе в мастерскую топать и делом заниматься. Он посмотрел, и ему достаточно. А если не достаточно, то будь он проклят, ничего из него не получится, станет он как Лариса. Но не будет этого.

Кубок был тяжелый и одновременно производил впечатление легкого, воздушного, был расчеканен ананасом. Из тех, видно, какие привозили в шестнадцатом-семнадцатом веках в Москву в посольских дарах. Это маленькое непостижимое чудо светилось тусклым серым цветом, какой испускает очень старое серебро, этот свет и цвет могли быть только у такого серебра, ни у чего больше. Вот уберет сейчас старик кубок, но художник уже никогда его не забудет. Через десять и через двадцать лет будет помнить этот кубок.

Он взял его в руки, провел пальцами по выпуклостям, ощутил прохладную, но не холодную поверхность, серебро никогда не бывает очень холодным.

— Нюрнберг, семнадцатый век,— определил художник.

— Верно. Я давал его в музей, он у них два года был, а сегодня они мне его привезли. Вернули как порядочные люди,— сказал Петр Николаевич, глядя на кубок с дивана.— Я сам его забыл.

Художник не отрывал глаз от кубка. В той темной комнате со множеством темных вещей старое серебро смотрелось так, как надо. Оттого, что подобные вещи мы видим в музейных залах, освещенных наподобие операционных, за стеклами витрин, мы не знаем даже их свойств и возможностей. Вот здесь, на черном дереве столика «квин Энн» (или нет? Неизвестно), отражаясь в потертотом стекле старого зеркала, кубок на месте.

— Этот кубок, надо полагать, приехал в Россию еще до царя Алексея Михайловича Тишайшего.

— Наверно,— прошептал художник.

Ему хотелось уйти, унося с собой ощущение встречи с прекрасным.

Он испытывал чувство восторга, не омраченное жадностью, стремлением заполучить предмет. Он попытался скрыть своё волнение. Оно не имело отношения к кубку, ни к чему не имело отношения, а только к волшебному предчувствию работы, по которой он истосковался.

Петр Николаевич приписал молчание и волнение художника совсем другому.

Вошла Надежда Сергеевна, оглядела молчащих мужчин, сказала:

— Погода сказочная. Любите солнце, живите с солнцем, так мы раньше говорили. Выспренно, но правильно. И... все еще впереди, поверьте мне.

Никто не отозвался на ее бодрые слова, они были че-

ресчур бодрыми. Маленькими, изуродованными подагрой. Руками она стала переключать предметы с места на место, наводя порядок, но все то же и получалось, что было. Двое хмурых мужчин, темная холодная комната, книги, бумаги и нереставрированные вещи.

— Меня на работе считают хвастунией, высмеивают, что я все время чем-то хвастаюсь. Неужели я хвастаюсь? Чем? Девочки молоденькие, раньше считалось, что библиотечарши всегда старушки, а у нас ни одной старушонки, только молодые интересные женщины, а с женихами как-то неважно, нет женихов. Должна вам сказать, что эти интересные женщины все время говорят о болезнях, жалуются на здоровье и рассказывают о несчастьях. Я им говорю: милочки, если у вас что-нибудь болит, расскажите об этом одному-единственному человеку — своему врачу.

— А они? — спросил художник.

— Говорят, что у них нет своего врача.

— Тоже правильно.

— Что-то я не слышала никогда, чтобы ваша Катя разговаривала о своих болезнях.

— У нее был свой врач.

— Ну ладно, улыбнись, красавица, на мою балладу, — она заглянула в глаза Петру Николаевичу. — Чем же я хвастаюсь? Только мужем и его родственниками. И не хвастаюсь, а горжусь.

«Что такое, — растерянно думал Петр Николаевич, — мужество перешло к женщинам, а мужчины, вот они...»

— Я получила сегодня письмо от двоюродных сестер Петра Николаевича, Веры и Нины, и чудные фотографии. На одной надпись знаете какая? «Это юность издалика машет белым рукавом».

— Ты своим дамам показывала?

— Конечно. И письмо читала.

— Хвасталась?

— Посмотри, они обе чудно выглядят на фоне пальм и лазурного берега. Эти пальмы меня умиляют. Арсений, вы тоже чудно выглядите.

Она всех хотела поддержать, приласкать, такие периоды у нее сменялись другими, когда она лежала, читала, молчала, никого не хотела видеть. Это состояние проходило, и она опять становилась самой доброй, самой доброжелательной и веселой женщиной. И уверяла, что у всех еще все впереди.

После того как Катя передала ей советы врача, она была только в хорошем настроении, оживленной, говорливой, покупала продукты на рынке, прибегала в обеденный перерыв домой.

«Для меня потом не существует, существует только сейчас,— говорила она девочкам в библиотеке, когда они уговаривали ее побережь себя на «потом»,— нет такой проблемы».

— Ну-с, какие у нас проблемы? — спросила она, нарезая холодное мясо своими плохо работающими руками.— Вот если я вас накормлю и выгоню на улицу, у меня не будет проблем. А что вы так ненатурально молчите, вы поссорились? Молчат. А помнишь, Петя, как мы когда-то много разговаривали.

— Без конца. О чем?

— Обо всем. Мы не просто разговаривали, а договаривались, по всем пунктам, о каждой книге, о каждом человеке, о запахе, цвете... так важно казалось выработать на все общую точку зрения.

— Я совсем не уверен, что ты так к этому стремишься, но мы действительно все выясняли, хороший писатель или нет, хорошее блюдо или...

— Кстати, все готово. Арсений, садитесь.

— Надя, не ввинчивайся с едой, умоляю.

— Пожалей меня, съешь мясо и помидор.

— С ума сошла.

— Посмотри, какой помидор, какого он цвета. Съешь что-нибудь. Творог, сметану. Яйцо, сок.

— А потом пойдем гулять,— сказал художник.

Надежда Сергеевна весело посмотрела на него:

— Вот правильно!

— Вкусно пахнет. Я был не голоден, а теперь захотел есть,— сказал он.— Сейчас все съем.

— Вот и ешьте,— сказал Петр Николаевич.— Как я рад, Надюша, что у тебя никогда не было женского кулинарного честолюбия. У моей мамы оно появилось под конец жизни.

— У моей мамы его не было,— заметила Надежда Сергеевна.

— А у моей,— сказал художник,— даже не знаю, настолько ее самой никогда не было дома.

— Арсений, миленький,— обратилась Надежда Сер-

геевна к художнику.— Я убегаю и полагаюсь на вас, на ваше благоразумие. Поедите, отдохнете немного — и на улицу, на солнце.

— Ты раньше не была так солнцелюбива, — пошутил Петр Николаевич.

— Это открылось под конец жизни, как кулинарные способности твоей мамы, — ответила Надежда Сергеевна.

— Ну, никто больше нами не командует, — сказал художник, когда Надежда Сергеевна ушла, — можем делать все по-своему. Хотите, заварю крепкого чаю? Или кофе? И спасибо за кубок.

— За что, друг мой? При чем тут кубок?

— Я знаю, — ответил художник. — Есть будем?

— Вы.

— А гулять?

— Посмотрим. Вот о чем я хотел с вами поговорить, только выслушайте меня, не перебивайте. Все мы смертны, и я, по-видимому, тоже. Никакого особенного наследства после меня не останется, то, что было, развеялось, раскидалось, и бог с ним. Но то, что есть... Что связано с Пушкиным, это для меня самое дорогое, отдать надо в Пушкинский музей. Библиотеку тоже. Кубок и лиможскую эмаль возьмите себе на память...

Петр Николаевич сидел на диване очень прямо, спокойно. Художник увидел, как прекрасен, отрешен от жизненной суеты и как страшно одинок этот старик с блестящими яркими глазами и как он добр.

Художник молчал.

— Понятно? — Петр Николаевич ободряюще улыбнулся ему.

Улыбка прощала, отпускала грехи, суетность, алчность, невежество, улыбка говорила: не огорчайся, ничего страшного нет в том, что происходит, что одна жизнь с ее ошибками прокрутилась до самого конца — моя, а другая — твоя — начинается. Не стесняйся того, что ты молод, здоров и всего тебе хочется, говорила улыбка, и не жалея меня, моя жизнь была. Я страдал, я любил, я мерз и отогревался, я жил, остальное неважно. Поверь, милый художник, это главное. Не стесняйся самого себя, твоя сила в том, что ты молод.

Старик встал, легко нагнул и вытащил из-под дивана удлиненный пакет, завернутый в холстину. Развернул, поставил на стул небольшую картину в черной

раме. Стал поворачивать стул, ища правильное освещение.

Картина изображала сцену в корчме, людей, пьющих и поющих, прославляла радости жизни, как принято говорить, но производила грустное впечатление. Художник вглядывался в некрасивые лица, в коричневую темноту старой живописи.

— Мы приписывали ее... да это неважно, пожалуй, кому мы ее приписывали. Теперь я слышал разные мнения. И сомнения. Ну, судите сами, вы ее видите.

Гуляка там танцевал, уперев руки в бедра, штаны были ему велики и болтались, а он все танцевал, другой обнимал упитанную девушку в чепце и в белом фартуке, сдобную булочку, третий колошматил палкой по медному тазу, горланил песню, совершенно упился. А на столе стояли прозрачные бокалы, штофы, бутылки, глиняный желтый кувшинчик, оловянное блюдо, нож, солонка, хлеб, лимон. Из окон, распахнутых в сад, видны были зеленые деревья, в дверях какое столетие подпирала косяк женщина, держа за руку мальчика, мальчик хотел войти, но женщина его не пускала, считая, видимо, трагичную обстановку неподходящей для юного голландца, а ей самой было любопытно, и уйти она тоже не могла.

Петр Николаевич вернулся на диван.

— Благодарю вас,— сказал художник.

— Что-то вы меня сегодня подозрительно часто благодарите. Я не привык видеть вас таким вежливым. Ни к чему это, мой друг. В детстве мы в таких случаях говорили: тронут, двинут и опрокинут.

— Я теперь тоже буду так говорить,— улыбнулся художник.— Это мне годится.

— Я любил голландцев. Эту картину мы считали украшением собрания. Мы—это они, родители и их родители. Я ее отдавал в реставрацию. Неплохо они ее сделали, правда? Ее вы отвезете...—он назвал городок, о котором рассказывал Кате,—...там есть галерея, очень недурная, заодно ее поглядите. Я вам вообще советую, друг мой, объехать эти маленькие городки и посмотреть тамошние собрания, вам это много даст...

— Хорошо.

— На кладбище найдете могилу Милениных, подойдите к ней.

— Если хотите, я буду раз в год ездить на эту могилу.

— Не надо, мой друг. Когда-нибудь, если попадете туда, вспомните.

— Да-да,— художник прижался лицом к руке Петра Николаевича.— Я сделаю все.

— Не плачьте, мой друг дорогой. И ничего не надо делать. Я верю в вас, знаю, что вы талантливы, вы еще не нашли себя. Найдете. Будете работать, станете большим художником. Катя поможет. Меня вы будете помнить, я знаю. Что же еще вы можете сделать? Надежде Сергеевне будет плохо, она не привыкла жить без меня.

— Я ее не брошу.

— Знаю.

Больше Петр Николаевич не выходил из дома и почти не вставал с дивана. Жена взяла отпуск, ухаживала за ним, хотя он ничего не просил и не требовал, не жаловался на боли, чтобы не огорчать ее. Просил только, чтобы Надежда Сергеевна сидела рядом, держала его руку, и они разговаривали. Раньше им некогда было поговорить.

— Помнишь, Надя, как мы с тобой ездили на Кавказ?

— Войлочные шляпы были тогда популярны. Мы их носили.

— Помню я эти шляпы. А как мы загорали тогда — как негры. Тебе загар был к лицу. Все-таки мы молодые лучше знали, как жить. А потом забыли.

— Кто забыл?

— Все думаю, как бы сложилась наша жизнь, если бы я больше любил плохую погоду, меньше увлекался городами и если бы ты разделяла мои увлечения.

— Типично мужская несправедливость, я всегда была на твоей стороне.

— Но иногда не могла скрыть разочарования.

— Обидные слова.

— Не для тебя. Я все думаю, почему я так мало успел в жизни, так мало сделал, а кажется, что мог...

— Ты написал хорошие книжки, говорю как библиотечный работник.

— Какие-то годы я совсем мало писал, когда по музеям работал.

— Не забывай, время.

— Я сознавал ясно: все растащат. А я все-таки рус-

ский человек, я не мог смотреть равнодушно. Я понял: надо спасать. Молодой был, сильный.

— Ты спасал. Жаль только, что библиотеку миленинскую не спас...

— Миленинская неприиспособленность, легкомыслие, если угодно. Усадьба именем разбойника называлась, они строили и ломали, копили старину и разбрасывали. Миленины не только академиками, художниками и военачальниками были. Прадед Сергей, который подарил усадьбу гувернантке, приказывал зайцев пускать в дом, а сам верхом на лошади с компанией всадников гонялся по комнатам за бедными зайчиками. А в тысяча восемьсот пятидесятом году, когда Николай Васильевич строил большой дом, ему понадобилась китайская башня, а китайская башня это что? Вогнутая крыша. А где гарантия, что она, вогнутая в российской-то глуши, не свалится на голову? Он объявил, что даст вольную тем, кто найдет в лесу стволы, от природы искривленные так, как нужно. Четверо получили вольную, а китайскую крышу эту ты видела. Дед был другой. Общественный деятель, дом держал открытый,—впрочем, все Миленины были гостеприимны,—дружил с самыми выдающимися людьми в государстве, денег никому не жалел, был справедлив, щедр... А мне надо было идти работать в МУР, раз меня волновали расхитители государственных богатств. Мы — антикварная держава.

— Пистолета на боку тебе не хватало.

— Твое ампула — разочарованная красавица.

— Вот, выпей молока.

— Признайся, ты к этим проблемам безразлична. По тебе, провалились оно все, все картины, все исторические здания, все фарфоры, книги...

— Книги?

— Вот ты себя выдала!

— Наверно, я очень прозаическая личность.

— Прозаическая не скажет про себя, что она прозаическая.

— Я люблю то же, что и ты. Но я всегда все узнавала от тебя. Помню, мы гуляли с тобой и с кем-то еще по Метростроевской, давно это было, и ты рассказывал о доме двух «архивных юношей», братьев, приятелей Пушкина, потом о домике Нащокина, цитировал письма... «Вечер у Нащокина, да какой вечер! Шампанское, лафит, зажженный пунш с ананасами», ты называл точные

даты, потом мы зашли во двор, где помещалось «Московское заведение искусственных минеральных вод» доктора Лодера, ты там показывал, как гуляли пациенты доктора Лодера, как он учил их ходить и дышать, как они были одеты, о чем разговаривали между собой, как возникло слово «лодыри»... Но ты не знал, что потом я несколько раз повторяла эту экскурсию для своих подружек и даже для сотрудников библиотеки с неизменным успехом.

— Вот как!

— Я светилась отраженным светом, что для женщины, пожалуй, естественно. Для такой, как я. Но я любила все, что ты любишь, включая китайское искусство.

Он был доволен, смеялся.

— Я всегда подозревал, что у тебя двойная жизнь. А китайское искусство, ты права, его нельзя не любить. Дай, пожалуйста, ту чашечку, пусть постоит около меня. Давно ее в руки не брал. И вон вазу ту, эпохи Мин. Это пятнадцатый век, хочешь, научу тебя, как узнавать? Возьми вазу в руки, не бойся. Тут руками смотреть надо. Чувствуешь сало? Это Мин. Чувствуешь сало? Это и есть подлинный Мин. Теперь ты его всегда сможешь узнать без меня.

— Да, конечно, спасибо.

Она подавала ему то, что он просил, ставила на стол, укрытый попонами, оберегаемый, стоящий тут на вечном хранении. А сама выходила в ванную, плакала там, умывалась и возвращалась к нему с невозмутимым лицом. Красивые лица по-особенному невозмутимы.

— А все же стол мы сохранили,— как-то сказал Петр Николаевич,— теперь можем и отдать.

Она спросила:

— А кому же мы его отдадим?

— Надо подумать. Ты сядь,— попросил он ее.— Я совсем не вижу тебя сидящей.

— Я только делаю, что сижу.

— Нет. Это было раньше. А теперь ты только делаешь, что уходишь. Ты всю жизнь уходила на работу раньше меня. Я думал об этом, это несправедливо. Особенно зимой.

— Да у нас как-то не учитывают зиму. Но я отношусь к этому просто, встаю и иду. Даже приятно. Хотя в метро видишь, какие люди по утрам невыспавшиеся. Я ду-

маю, значит, и у меня такое опухшее личико. А сама спать уже не хочу.

— Спать не хочешь, есть не просишь. Вина не пьешь. Платьев себе не шьешь. Сколько лет у тебя это платье?

— Ну, знаешь! Оно новенькое, с иголки. А костюм-джерси? Почти не надеван. Я не виновата, что люблю только юбки и блузки. Одежду нашей юности.

— Я тебе блузку не покупал,— каялся Петр Николаевич, рвал ее сердце.

— А это?

Она распахнула дверцу шкафа, там висело темно-синее пальто с воротником-шалью из черно-бурой лисы. Надежда Сергеевна его сшила и не носила, только проветривала и закладывала в карманы апельсиновые корки. Она его стеснялась, как родственника-алкоголика.

— Будешь носить? — спросил Петр Николаевич.

— Никогда,— весело ответила она.

Он рассказывал ей то, что она давным-давно забыла. Он словно поставил себе целью заплатить по всем счетам, и болезнь не поторопила, не помешала ему, он все успел. Он даже исхитрился попросить у нее прощения, хотя она всячески старалась этому помешать.

— Прощать мне тебя не за что,— ответила она тем монотонным и бесконечно терпеливым голосом, каким приучила себя разговаривать с нервными читателями.— Тогда и ты меня прости.

— А тебя за что? — спросил он.— За то, что ты уставала, не отдыхала, скрывала свои болезни и неприятности? За это? За то, что ты меня не выгнала, когда надо было? За это?

— Почему? — улыбнулась она.— За другое.

— А-а-а,— он тоже улыбнулся.— Это да. Но только не к ней надо было ревновать.

— Это деталь.

— Хороша деталь. Ни в чем не повинная женщина боялась выйти на улицу, потому что ты ее стерегла в подворотне.

— Даже не верится, что это была я. Но лучше не попрекай, а то у меня тоже найдутся воспоминания.

— И за них прости.

...Надежду Сергеевну друзья называли трезвой женой безумного мужа, и хотя это были всего лишь ловкие слова, они ей нравились. Она улыбалась своей немного сонной насмешливой улыбкой, как будто не одобряла горяч-

ности и увлеченности Петра Николаевича, на самом деле она избежала участи многих и многих разочарованных жен. Развенчивающая улыбка осталась с юности, тогда была мода на курящих женщин, на юбки с белыми блузками и на такие улыбки. Мода эта прошла.

— Я всегда завидовала твоей энергии,— говорила она,— твои молодые друзья, я не хочу их обидеть, казалась мне немолодыми рядом с тобой. Ты моложе всех.

— Никогда не знал, что ты такая милая комплиментщица. Для этого стоило поболеть.

— Поправься, поправься,— шептала Надежда Сергеевна.

Немыслимая и невыполнимая задача Надежды Сергеевны облегчалась только тем, что включала в себя множество мелких и выполнимых. Достать нужную еду, нужное питье, нужные лекарства. Петр Николаевич с благодарностью принимал ее заботы и улыбался, пока мог улыбаться.

— Замечательно,— хвалил он, хотя не ел.— Люблю всю еду, приготовленную Надиными ручками.

Всю жизнь он ел только сыр и колбасу, приготовленные Надиными ручками. Сейчас она стряпала, а ему это было не нужно.

Ему хотелось ячневой каши, но ячневой крупы, как на грех, оказалось невозможно достать. Сверкающие новые гастрономы ее не имели, маленькие бакалейные магазинчики ею не торговали.

— Такая рассыпчатая,— объяснял он,— и очень горячая, даже немного пригорелая, с корочкой по краям.

Это была не каша, а воспоминание о ней, о детстве, о маме, о самом себе, мальчике, который только что проснулся, еще зевает и тянется, мама говорит: «растет», он и рад стараться. Ему надоест, он спрячется под одеяло и как будто опять спит, лень вставать, не хочется мыться, а завтракать очень хочется. Каша сладко сливочно пахнет. День яркий, в елочных и сосновых узорах на окнах, мама делает строгое лицо, но мальчик знает, что она не сердится, а смеется.

Петр Николаевич видит все это, этот миг суждено пережить дважды, он чувствует, какой он счастливый, как он умеет тянуться в теплой постели и расти, какая ласковая мама и какая молодая. Каша в горшке очень горячая, хочется съесть ее всю.

— Дело в том,— догадывается он,— что ее варили в горшке.

Но ни горшка, ни каши больше нет. Нет того мальчика, того солнечного утра и смеющейся молодой мамы, хотя он ясно слышит ее голос и смех и кричит: «Мама, мама!»

— Я кричал? — спрашивает он.

— Нет, нет.

— Сплю,— говорит он,— отчего это? Не знаешь? Это хорошо?

— Конечно.

Она все чаще убегала в ванную, все дольше там оставалась.

Звонил телефон. Петр Николаевич закрывал глаза, телефон отзывался болью. Раньше он нетерпеливо спрашивал: «Меня?»

Надежда Сергеевна раздражалась: «От кого ты ждешь звонка?» Сейчас просила как о милости, чтобы поинтересовался, кто звонил.

Как-то раз попросил, извиняясь:

— Надя, отдай починить те часы, может быть, сумеешь,— показал на подоконник, где стояли каминные часы. Она немедленно схватила их, унесла в мастерскую. Он всегда хотел, чтобы ходили часы, не мог видеть мертвых часов. Надежда Сергеевна изумленно подумала об этой верности себе. Но если нужно, чтобы ходили часы, может быть, он не умирает, не умрет!

Немолодая женщина с гордым красивым лицом, глотая слезы, брела по Арбату, тащила тяжелые часы, перевязанные веревками, молила о чуде. Не умирай, молила женщина, не умирай, просила и знала, что не упросит ей на этот раз.

Не очень счастливая по виду жизнь ее была счастливой, но узнать об этом дается в последний миг, в самом конце третьего действия, как сказал бы Петр Николаевич. Ах, нет, не сказал бы он так никогда, в сущности, он говорил очень просто и писал просто, подумалось Надежде Сергеевне.

Она так просила старого часовщика отложить другие заказы и выполнить ее невыполнимый, как будто от этого зависела жизнь ее мужа.

Старый мастер Николай Александрович, трезвый как стеклышко, чисто выбритый, на вид — дипломат высшего ранга, чинивший все знаменитые часы в столице

у всех знаменитых людей столицы, принадлежал к тому чудесному типу мастеров, которые дело свое почитают наиважнейшим на свете. Надежду Сергеевну он знал, не говоря уж об ее муже, и часы эти он тоже знал и раза два, если не больше, уже отказывался с ними заниматься.

— Провозишься...— говорил он и больше ничего не говорил. Не снисходил до объяснений с невеждами. Часовое дело профессия древняя и тонкая, по всей Москве сколько мастеров наберется, кто может трогать такие часы,— два-три человека, пусть десять. Николай Александрович мог, но у него был недостаток — честолюбие. Он желал, чтобы все часы, которые он «трогал», потом бы уже ходили точно и вечно, и потому брался за такие, в которых не сомневался. Трудности в работе его не пугали, он любил свое дело, он желал только, чтобы «его» часы ходили. Он давал гарантию уже тем, что соглашался.

— Николай Александрович...— робко начала Надежда Сергеевна, но мастер только взглянул на часы и скроил недипломатическую рожу:

— Эти? Опять? Я же вашему супругу сказал ясно и понятно, с ними провозишься...

Бледное, нервное лицо выражало неприступность и легкое презрение, ибо он в самом деле презирал те часы, которые нельзя починить. И любил те, которые чинил. Оттого они у него ходили.

— Эк упрямый он у вас, заело — почини. А там чинить нечего. Там пустота, ну починю пустоту, а гарантия?

— Не нужна гарантия, Николай Александрович,— твердо сказала Надежда Сергеевна.— Петр Николаевич очень болен. Пусть только потикают немного, много им тикать не придется.

— Так, значит,— сказал Николай Александрович.— Я их вам сам принесу, как сделаю.

Он проводил Надежду Сергеевну до дверей и еще постоял с нею молча на улице, а улица та была хоженная-перехоженная, улица детства и юности, когда-то гордая, славная и главная, а сейчас слегка задвинутая в тень новым проспектом, слегка заброшенная и печальная, но это была их улица, Надежда Сергеевна училась в одном из ее переулков, Николай Александрович много лет работал на

ней, а тот, о ком они сейчас думали, вообще был арбатский человек.

— Не горюйте, пожалейте себя, поберегите свои силы, они вам нужны и ему,— сказал он простые слова, которые, как ни странно, помогают. Помогают даже тогда, когда, кажется, ничто помочь не может.

Петр Николаевич попросил:

— Пусть придут Арсюшка с Катей.

— Тебе не тяжело будет?

— Я себя хорошо чувствую.

Они пришли тотчас, сели возле него.

— Я ваш должник, Катя,— сказал Петр Николаевич.

Кате это вступление не понравилось, она хотела что-то возразить, он не дал:

— Я обещал вам показать пушкинскую Москву и заболел некстати. Попросите Надежду Сергеевну, она замечательный экскурсовод, пойдите с ней по Метростроевской, а там она вас поведет.

Надежда Сергеевна накрывала на стол, она теперь постоянно накрывала на стол, стараясь придать ему сходство с опрокинутой витриной кондитерского магазина. Ей вдруг пришло в голову, что Петр Николаевич может захотеть сладкого. Она слушала, что он говорит, и все добавляла конфет к конфетам, халву, рахат-лукум.

Петр Николаевич сказал:

— Японская жена делает натюрморт в супе. Сперва супом любят и только потом едят. На дне пиалы колышутся травы, плавают звезды из ярких овощей.

— Хочешь так?— спросила Надежда Сергеевна без улыбки.— Я поняла.

— Чувство юмора, как говорит Арсюша — че ю, великая вещь, между прочим. Ну, Катя, куда пойдём?

— На улицу Горького.

— По улице Горького в пушкинское время проходила Тверская дорога, по ней Пушкин ездил несчетное число раз, по ней его в фельдъегерской тележке доставили в Кремль к Николаю, но мы с вами пойдём по Тверскому бульвару, где гуляла вся Москва и где он в тысяча восемьсот двадцать седьмом году гулял с Римским-Корсаковым, останавливался побеседовать с Зубковым и Данзасом. С левой стороны два дома принадлежали как раз Римскому-Корсакову, фавориту Екатерины. Следующий

дом, где Иогель задавал балы, Пушкин бывал у него еще на детских балах, по четвергам...

...Дальше Тишинская площадь, цыганское государство. Тишина и Грузины. Там же в переулочке жил душевнобольной Батюшков, Пушкин навестил его третьего апреля тысяча восемьсот тридцатого года. Знаете, мои милые, лучше, пожалуй, я подарю вам мою книжечку, там все это есть. А когда я поправлюсь, мы пойдем, пойдем и будем ходить много дней подряд. А потом поедем в Ленинград, я давно хочу съездить с вами в Ленинград. Я решил не умирать. Буду лечиться. Умирать не буду...

— Яблочный пирог удался у меня,— сказала Надежда Сергеевна,— я его теперь всегда буду делать. Попробуй.

— Понимаешь, родная, ты права, в том смысле, что нужен воздух, тогда появится аппетит.

Петр Николаевич замолчал, ему трудно было говорить. Но под конец улыбнулся, погрозил пальцем и сказал:

— Катю не обижай, береги. Не ссорьтесь. Оттуда увижу, рассержусь..

— Очень милая шутка,— ответил художник сдавленным голосом,— вполне в вашем стиле.

Катя схватила руку Петра Николаевича, прижалась щекой.

— Запрещенный прием, прекрати,— прошептал художник.

Петр Николаевич услышал.

— Запрещенные не все плохие, есть хорошие. Она знает.

Он погладил Катю по голове.

Он устал, надо было дать ему отдохнуть. Попрошаться и не заплакать. Улыбка — последнее мужество, последняя доброта тех, кто остается жить. Художник увидел, как смотрит Петр Николаевич на Катю, взмахнул рукой и выскочил за дверь. Женщины сильнее в таких испытаниях, а мужеству надо учиться каждый день.

Потом Надежда Сергеевна еще несколько раз предлагала позвать кого-нибудь, Петр Николаевич не хотел. Только ее просил не оставлять его одного, просил:

— Посиди. Я все время один.

— Я все время с тобой. Я выхожу только на кухню.

— Не надо.

— Арсений и Катя звонили.

— Больше никого не хочу. Не могу.

Это и был конец. Не боль, не страдания, не невозможность встать с дивана, а уход этот от людей, от себя, от нее. Он не благодарил ее больше, ни о чем не вспоминал, это был уход и от воспоминаний, он лишь держал ее руку в своей, как держит младенец почти бессознательно теплый палец матери.

Люди, вещи, время, эта сырая холодная комната, которая с ним была живой и прекрасной, уходили вместе с ним,

Его хоронили в сияющий, светлый день, а до того была все время серая, дождливая погода, и Катя подумала, что это дар Петра Николаевича тем людям, которые придут его проводить, еще один его подарок среди всех прочих, еще одна примета его доброты.

Народу на вынос собралось очень много, люди плакали, не утирая слез, не стесняясь, принимая как благо эту возможность свободно и откровенно оплакать последнего человека девятнадцатого века, Последнего Чудака, Последнего Добряка, хотя, наверно, он не был последним и никогда не будет последнего.

Сослуживцы Надежды Сергеевны, две молоденькие испуганные женщины, особыми, охраняющими движениями поддерживали ее под руки и вели, им казалось, что она не может идти сама. А она стеснялась попросить, чтобы они ее отпустили. Для них она была вдова за гробом, для себя она еще была никто и ничто, человек, который знает, что должен идти, ехать, сидеть, стоять, опять ехать. А больше пока не знает ничего. Похоронное агентство предложило четкую программу. Оставалось ее выполнить. Она знала, что не упадет в обморок и не будет плакать. Если бы она умела плакать, может, было бы лучше. Не сейчас, сейчас ничто не имело значения, а раньше, когда-то. Может быть, ему живому было бы лучше, если бы она умела плакать, а не молчать неделями. Ничего не вернешь, ничего не исправишь.

Гроб был разрисован волнистыми желтыми линиями по рыжему фону, разделан, что называется, под орех, люби-

мое им дерево, материал восемнадцатого века. Он бы посмеялся на такую красоту или рассердился и стал объяснять, почему это плохо, безвкусно и невозможно. Он умел сердиться, умел смеяться, умел прощать.

Его положили в гроб в темном костюме, в белой рубашке, Катя уверяла, что так полагается. Откуда она это знала? Она специально купила шелковый галстук и повязала его, подобрала запонки, расправила манжеты, добиваясь какого-то ей известного эффекта. У Надежды Сергеевны не хватило духу все это отменить в пользу старой бархатной куртки.

— Нет, нет, не надо старого,— просила Катя,— надо так. Посмотрите, какой он хороший и красивый. Спит, и все. Люди будут с ним прощаться, пусть он будет такой.

Со своей деловитой энергией Катя украсила покойного так, что его было почти не узнать. Добрые намерения маленькой жены художника сделали его похожим на актера МХАТа. Соседи по двору не могли скрыть своего восхищения.

«Лежит спокойный»,— говорили они, и это была правда, лицо выглядело успокоенным после страданий. «Еще не старый», и это казалось правдой, он умер, почти не побыв стариком. «Отмучился». И это.

Катя, окончив обрядовать покойного, еще долго оставалась у гроба.

Пришли попрощаться старики и старухи из Литературного музея, они были эпохой в истории этого музея, и Петр Николаевич принадлежал к ней. Они помнили молодого Петра Николаевича, они изумлялись его знанию девятнадцатого века, а они его тоже знали. Пришли сотрудники из журналов и издательств, где он печатался, переиздание его популярной книжки о Пушкине в Москве появится уже без него. Пришел друг юности, старый эстрадный певец, чей голос, лицо и слава к этому году уже оказались крепко забытыми, но мода вдруг вытащила его из забвения вместе с песенками, которые он когда-то пел, не имея особого голоса и усиливающей аппаратуры. Лишь обаяние и стиль. Недавно было напечатано интервью с ним, и Петр Николаевич позвонил ему и сказал: видишь, фокус в том, чтобы дожить... На «Мосфильме» Петр Николаевич консультировал исторические картины, приехали два кинематографиста с лицами людей,

уоставших хоронить. Из Башкирии прилетела Наталья Миленина.

Коллекционеры, которым покойный помогал, учил, скорбели о нем, но некоторых очень интересовало, как вдова поступит с вещами.

— Он был счастливый человек,— сказал кто-то и услышал в ответ:

— Такие бывают?

Евгений Кузнецов попытался рассказать какой-то удивительный случай. Но очищенный смертью от обиды и злости за ошибку, допущенную Петром Николаевичем, случай прозвучал вяло и слабо. Живой Петр Николаевич не боялся ошибаться; мертвый, он свои ошибки оставил на земле.

— Мир не может жить без чудачков,— сказала Катя художника двенадцатого этажа, которые стояли в ожидании, когда надо будет выносить гроб. Они молча установились на нее, изумляясь тому, как она изменилась за короткое время. Она обрела уверенность в себе, поняла, что даже среди таких замечательных, поистине необыкновенных людей, из которых самым необыкновенным она считала своего мужа, в обществе, где почти все были оригинальны, индивидуальны, можно оставаться собою и делать то, что считаешь нужным, и не бояться, что тебя посчитают дурочкой. И, как всегда в таких случаях, стоило ей осознать свое право на себя, как это тотчас признали другие.

«Художники такие же, как все остальные, только немного труднее,— объявила она недавно своей школьной подруге.— Поэтому я полюбила Арсения». А та слушала и кивала головой: «Понимаю». Хотя понимать нечего, когда женщина говорит «полюбила». «Полюбила» не объяснишь, как не объяснишь «разлюбила».

Пришел первый муж Кати проводить в последний путь еще одного своего пациента, которого нельзя было спасти. А может быть, ему еще была нужна мука увидеть новую Катю, жену художника, в черном платке и не понять того, что так легко поняла школьная подруга. Вечная загадка «любит — не любит» особенно трудна, когда загадывают на любимого человека.

В последнюю минуту к дому подошла Лариса.

Почему она пришла?

Художник взглянул на нее и отвернулся.

...На кладбище поехали не все, неотложные, житейские дела уведат людей от этой дороги.

Идя последние метры за гробом Петра Николаевича, художник понял то, что каждому достается понять поздно или рано и что есть самое важное для остающихся жить: сожаление о несделанном добре. Он мог сделать Петру Николаевичу столько хорошего и так это было нетрудно, а теперь все кончено, он ничего не может для него сделать.

Он вспомнил, как они познакомились, разговорились случайно в издательстве, хотя, когда знакомятся два коллекционера, ничего случайного в этом нет. Петр Николаевич сразу открылся ему, был щедр, помогал, а он сомневался, все ему казалось, что Петр Николаевич открывает не главные секреты, а главные прячет. Три карты не называет. А он назвал их сразу, отдал, только художник не сразу понял и оценил. У Кати сердца и ума оказалось больше. Может быть, потому, что к милому коллекционерству она не имела никакого отношения, путала все стили и эпохи, знала только, как стиральным порошком смывать древнюю патину.

Петр Николаевич открыл ему Москву, ту, которой уже нет. Но она есть, раз кто-то, остающийся жить, знает о ней: Они бродили вместе по улицам, и это были три карты Петра Николаевича. Петр Николаевич читал ему Пушкина... Он водил его к своим старым друзьям, последним старикам. Художнику все казалось мало, а сколько их осталось в живых, этих стариков... Он дарил художнику книги. Учил покупать цветы. Это было еще совсем недавно, хотя у могилы эти понятия путаются и все становится давно, за чертой.

Он умер, думал художник, как это странно, умер его смех, его голос, умерли привычки и заблуждения, все его привязанности, все его ошибки. Его знания. Его боль.

НИКТО НИКОГДА

В мечтах и в действительности я занимаюсь наукой, которая называется филологией. Путь к этому занятию был прямым, как стрела. Было счастливое детство. Оно осталось в памяти, как сочетание меда и аспирина, с преобладанием меда. Были счастливые школьные годы. Десять табелей успеваемости, осыпанных пятерками, плюс аттестат зрелости — золотой. Я не доставляла неприятностей родителям и наставникам. И переходила из класса в класс, важно и даже несколько мрачно неся свое звание «маменькиной дочки».

Я была старательная. Играла на рояле Седьмой вальс Шопена старательно. Читала стихи старательно. Меня хвалили. Давным-давно я поняла и узнала, что хвалят и награждают за старательность. И развивала это качество. Потом я завидовала тем, которым на все плевать. Тем, которые не боятся экзаменов, забывают поручения, лишние сведения выбрасывают из головы. Им говорят, а они не слышат. Я все слышу, вижу, запоминаю, а если боюсь забыть, записываю на бумажке. И за все это меня в конце концов взяли в аспирантуру, когда я с божьей помощью окончила университет. Не сразу, но все-таки взяли. И теперь я аспирантка.

Из университета я обычно возвращаюсь домой пешком. Иду и шепчу: «Как красиво, господи!»

«Нева... вот колонны ростральные... Тома де Томон... мост... поворот», — шепчу я, стараясь обходиться без эпитетов. Чувства мои не имеют названий. Для того чтобы чувства имели названия, надо быть искусствоведом. Помоему, нельзя делать профессией толкование искусства, как и толкование науки. Но так устроено, одни делают дело, а другие потом толкуют, трактуют, критикуют это сделанное не ими дело.

Насмотревшись глазами неискusstвоведа на красоту города, я начинаю думать о том, о чем думаю всегда,— о будущем.

Сегодняшний день был подготовкой к неизвестным будущим дням, конспектом, черновиком. Чем я больше стараюсь сейчас, тем лучше будет это будущее — таков закон. Так идет человек за своим будущим, но оно все время впереди.

Думать о будущем мне уже давно надоело, но не думать о нем я уже не могу. Со времен моего медового аспиринового детства вечно слышу я одну песню: вырастешь, напишешь диссертацию, станешь кандидатом наук. Так давно мне это обещали, что я не помню, когда в первый раз я услышала нерусское это слово «диссертация». Одним детям обещают куклу, другим собаку, котенка, фотоаппарат, куда-нибудь поехать, а мне — Диссертацию. Но добыть ее я должна была сама, трудом и усердием.

Мне приводили примеры...

Тетя Тася писала диссертацию; дядя Володя писал и сейчас пишет.

Я уж молчала дома о тех, которые писали диссертации рядом со мной, на моей кафедре. Двое наших мужчин, Роман и Петя, первым делом написали, но они были толковые, особенно Петя. Роман был послабее, больше обращал внимание на административные дела, больше заботился, чтобы кафедра шла по правильному пути, а также и факультет. Мне всегда казалось, что ко мне Роман относится неодобрительно, я ему не нравлюсь, и он бы хотел меня выгнать из университета.

Пять лет училась я на филологическом факультете. Все время мне казалось, что вот-вот я начну понимать, что к чему и что это за наука такая, которой я занимаюсь. Когда я уже на самом деле приближалась к тому, чтобы начать это понимать, пришла пора кончать университет. И я его окончила, ибо не могла попросить подождать, дать мне еще хотя бы год, разобраться в том, в чем я не разобралась за пять лет.

Назначения я ждала спокойно, удачно сдала государственные экзамены и считала, что вступила в полосу удач. Удачи меня преследовали, и одна из них застигла меня на распределении, когда я стояла перед столом комиссии и брала бумажку, где было написано, что я получаю на-

значение в «Интурист». Я уже успела увидеть себя на борту серебряного лайнера, летящего куда-то очень далеко.

Я вошла в эту комнату ничего не боясь, веря в хорошее. За столом сидела авторитетнейшая комиссия, белоснежные рубашки из нейлона, белоснежные блузки из нейлона. А в высокие старинные окна светило солнце.

Роман, он околачивался тут как общественный деятель от факультета, прочитал мои данные. Три строчки, и в комиссии кто-то засмеялся.

Потом главный, он сидел в центре стола и держался проще всех, спросил меня:

— У вас есть какие-нибудь пожелания, может быть, вы хотите что-нибудь попросить у комиссии...

Тут мне стало страшновато, как будто я очутилась один на один с судьбой, таинственным будущим, для которого я всю жизнь так старалась. Это будущее разговаривало со мной с казенной любезностью и даже хмыкнуло, когда знакомилось с моей анкетой. Теперь я должна была у него что-то попросить, а я была совершенно к этому не готова.

— Не знаю,— ответила я,— вернее, не представляю, что я могу просить.

Опять кто-то засмеялся.

— Чего же вы все-таки хотите? — опять спросил меня главный.

В конце стола сидели два моих профессора и, как мне показалось, внимательно смотрели на меня.

Чего я хочу,— допытывался от меня любезный, обходительный главный, даже с каким-то упорством, как будто это было действительно важно. Чего я хочу, черт возьми; если отвечать начистоту — я хотела поступить в аспирантуру. Не потому что мне надо было остаться в Ленинграде и заниматься наукой и узнать ее тайну, наконец, а потому что этого хотела моя мама. Мама хотела взять реванш за собственное легкомыслие и собственные неудачи, за порванную на сгибах бумажку об окончании третьего курса медицинского института, за пухлые пачки тонкой бумаги, исписанные на ее старой пишущей машинке,— те многочисленные диссертации, которые она напечатала. Десять копеек страница. Ногти на ее пальцах были всегда сломаны и руки перепачканы копиркой.

Молодые и не очень молодые люди аккуратно раскладывали на нашем круглом обеденном столе свои диссертации, напечатанные в трех или четырех экземплярах, завязывали папки и уходили навстречу своему будущему, а мама их провожала и желала успеха с таким трепетным волнением, что они, конечно, не понимали, в чем тут дело. За ними захлопывалась тяжелая, увешанная запорами дверь, мама оставалась в прихожей с неизменной папирсой — ушел еще один, еще одного она проводила туда, в ту страну, Диссертацию.

Комиссия ждала ответа. Все смотрели на меня, мое молчание затянулось. А Роман кривил губы, уже и тогда ему хотелось меня выгнать.

Я увидела, как главный наш академик, наша гордость и слава, член многих комиссий и академий мира, с грацией старого льва наклонился к профессору Затонской, что-то спросил, а она, пожав плечами, ему ответила шепотом прямо в львиное ухо. «Обыкновенная студентка. Диплом хороший, но поверхностный. Бойкость вместо глубины», — сказала она. И поправила черный бархатный бантик на белой кофточке и посмотрела вокруг глазами женщины, которая никогда не постареет.

Я не слышала, что спросил академик и что ему ответила Затонская, но была убеждена, что так они поговорили.

Надо было отвечать.

— Я не знаю, чего я хочу, — ответила я четко и громко под общий смех. Даже Роман хохотнул, но потом опять презрительно скривился.

Я ответила честно и этим подкупила видавших виды товарищей. Ничего не просила, не канючила насчет больных и престарелых родителей, хотя могла бы и это. Я знала, что в свое время Роман выезжал на родителях.

И за столом решили. Она не просит, не выгадывает, не устраивается, значит, мы ей дадим. Что у нас тут есть самого лучшего: город Иваново — педучилище, неплохо, Кимры — школа, Петрозаводск, в распоряжение горono — неплохо, Дальний Восток, Якутия — тоже неплохо, а вот тут у нас есть «Интурист». Как с языком? А по языку пятерка. Полоса удач — это полоса удач, кто на нее попал, тому с нее не сойти. Вот мы и дадим ей «Интурист», это будет правильно. За столом прощальные, размягченные улыбки, люди любят тех, кому делают хорошее.

И тут, когда все кончено, раздается вопрос. В судьбу вмешивается высшая судьба. Старый академик громко спрашивает нестареющую, лукавую Затонскую, которая когда-то училась с ним на одном курсе; они дружны с тех пор. Я представляю себе, какие они были молодые, а потом вместе много лет противостояли всем бурям и натискам и штормам.

— Почему мы ее не рекомендовали в аспирантуру?

Каверзный это был вопрос, и я, держа бумажку с назначением, как билет на самолет, стояла и ждала, что она ответит. Почему в самом деле не взяли в аспирантуру такую славную девочку, мамину дочку.

И она ответила в своей пленительной интимной манере человека, привыкшего думать вслух в большой аудитории.

— Владимир Викторович, ты задаешь наивный вопрос. Одно место мы имеем, но больше мы не имеем,— ответила она молодым голосом негромко, но внятно, чтобы было слышно в последних рядах тем, кто даже и не думает слушать. Ответила честно и не стала объяснять, в чем дело. А все и так знали.

И я еще раз поблагодарила уважаемых членов комиссии и вышла в коридор, где меня ждал мой жених Володя Иванов с видом человека, который попал сюда совершенно случайно и на минуту.

Ему надо было только посмотреть, что написано в беленькой бумажке, которую я держала в руке.

— Почему это тебя в «Интурист»,— сказал он,— другого места не нашлось? Ты согласилась принять такое назначение? Надеюсь, ты не относишься к этой бумаженции всерьез? Для такой работы университетов можно не кончать,— разорялся он, благо его слушали.

— Ладно, продолжим дискуссию дома,— попросила я.

Я осталась ждать остальных, кому еще предстояло войти в дверь и выйти из нее.

Володя наклонился ко мне и шепнул:

— Там ничего не было в смысле Ленинграда?

— Было. Вот это,— я постучала по сумке.

— Ты превосходно знаешь, что я имею в виду,— проговорил он гордо.

И он болтал о том же, меня это бесило. Без всякого понимания реальной обстановки всем им мерещилась эта намазанная медом аспирантура. У меня не было осно-

ваний на нее претендовать. Я посмотрела на часы, но Володя не обратил внимания на намек.

Я отошла к моей подруге Лине поделиться опытом. Лина уже работала в школе учительницей, имела оттуда вызов, мой опыт был ей не нужен.

Неодобрение Володи настигало меня на другом конце коридора.

Все дело было в том, что место в аспирантуру было одно и кандидат был тоже один. Может быть, позднее еще дадут место, так случается, но это неизвестно, а Затонская хотела, чтобы прошел мой однокурсник Борис Монин, и прошел наверняка.

Затонская знала студентов и умела выбирать аспирантов. Старый академик в этих вопросах с нею не спорил, полагался на ее ум, опыт и здравый смысл.

Я часто видела Монина в Публичной библиотеке. Он работал, а я читала журналы, современную прозу, романы с продолжениями. Я знала современную прозу, а он ее не знал. Затонская за другое выделила его из всех. Современная проза ее не интересовала, как и его, у них были одинаковые вкусы, и, когда он говорил, она слушала, глядя на него живыми, радостными глазами. И она припасала место в аспирантуре этому высокому, длиннорукому и длиннолицему Борису с медленными движениями и медленной, умной, не по моему уму, речью. Что увидел в нем ее карий глаз, почувствовала душа филолога? По-моему, она разглядела редкий экспонат. Фундаментальнейший немецкий профессор, Гёттинген, девятнадцатый век, с его любовью к теориям, с его прозрениями и его милыми трогательными ошибками. Она считала, что всем этим будет Борис Монин. Позже я узнала, что у нее были более веские причины выполнить свое намерение и причины эти были человеческими, а не филологическими. Затонская помогала Монину и хотела запрятать в аспирантуру, как прячут преступника в тюрьму, где ему уже ничего не грозит. Поэтому она не хотела, чтобы случайные девицы, вроде меня, болтались под ногами, имея шансы проскочить и занять это единственное место, ибо дуракам везет и имущему дается, а у неимущего отнимается. Позже я поняла ее мудрость и оценила ее сердечность, но все это позже, а не тогда.

Тогда я ни черта не понимала, тогда мне только нравилось, как Затонская произносит слова, каждое отдель-

но, четко, и оно с глухим, характерным звуком выстрела попадает в цель. И вся эта история с единственным местом и с Борисом Мониним, все это меня совершенно не касалось, если бы дома меня не ждала у накрытого стола мама, которая верила в чудо.

Мы с Володей продолжали стоять в коридоре, в разных его концах. Мара Левкова вошла в дверь, трясущаяся от страха, с какой-то безумной улыбкой, с дурными предчувствиями, и ее предчувствия тут же оправдались: ее загнали на Урал, а у нее как раз были старые больные родители, квартирные проблемы и неналаженная личная жизнь, ей нельзя было уезжать.

Наконец, когда все назначения были розданы и довольных, кроме меня, в коридоре не осталось, члены комиссии начали расходиться.

Обиженные не уходили и слушали Володины выводы. Они были не лишены остроумия.

Володя проследил, что назначения идут группами, пучками, и это, по ему мнению, было самое странное. Почему, скажем, в Якутию в этом году требовались филологи, а в Центральной Черноземной области в них не нуждались. Почему Сибирь их брала, а Прибалтика не брала.

— Вырисовывается занятная картина,— говорил он.— Ндда-а-а. Занятно.

«Занятно» было любимое слово, занятно было ему многое, может быть, даже все.

— Нда. Идет пучками без всякой системы.

Он пожевал воображаемую резинку и помолчал, чтобы придать вес своим умозаключениям. Все бедняги в коридоре молчали, он им объяснял, как они попались.

— Бессистемность и случайность лежат в основе данного распределения. Вопрос. Как бороться с бессистемностью? Просто. К примеру, ты берешь назначение не в «Интурист», «Интурист» это вообще, извините меня, нонсенс, а берешь любую Тмутаракань и смотришь,— тут уж надо не ошибиться,— чтобы оттуда поступило наибольшее число требований, потому что тогда эти требования наверняка липа. Случайность в массе других случайностей. Едешь туда и в тот же день выясняешь, что ты там не нужна. Остается только сделать обиженное лицо и уехать. Сто из ста, что так будет.

— Ох, умный,— сказала я и погладила его по мягким, рассыпавшимся волосам, которые совсем не под-

ходили к его волевой внешности деятеля-руководителя.—
А если там есть работа?

— Я не бог, случайность возможна и внутри случайности. Но вообще-то шанс равен нулю.

Он похлопал себя двумя руками по груди, выдохнул воздух и набрал солидную порцию нового. Он был похож на спортсмена, но спортсменом он не был.

— Дай бумажку,— кивнул он на мою сумку.

Я прижала сумку крепче к животу и попросила его успокоиться.

И в этот момент к нам подошла Затонская и сухо сказала, обращаясь ко мне:

— Владимир Викторович предлагает вам сдавать экзамены в аспирантуру, если это совпадает с вашим желанием. Что, простите?

Вблизи ее лицо было немолодо, но привлекало выражением энергии, и замечательными были глаза, злые и радостные одновременно. Блестящие молодые глаза и матовая усталая кожа.

Это свое иностранное «что, простите» она произнесла ледяным тоном.

Я ничего не просила. Ни на что не рассчитывала. Правда, моя мама по телефону говорила своим подругам, что меня возьмут в аспирантуру, но Затонская этого знать не могла.

Борис Монин вырос рядом с Затонской, прилетел на священное слово и теперь стоял, смотрел на меня. Володя замер, боясь пропустить хотя бы слово из этого разговора.

— С моим желанием? — переспросила я. — Мое желание... конечно... я просто и не знаю... так неожиданно... мне очень лестно,— бормотала я.

А надо мною парила мама с телефонной трубкой, и я слышала, как она отвечает: «Ушла. В университет. Да. Аспирантка... Защитит, тогда будет с чем поздравлять... Пока рано. Диссертацию надо написать».

— Что, простите? — подняла брови Затонская. Она хотела услышать вразумительный ответ.

— Да. Конечно. Совпадает,— ответила я наконец, как положено.— Спасибо.

Затонская кивнула и отошла, взяв Бориса Монина под руку. Она выказывала ему искреннее расположение, он смущался.

— Занятненько,— прошептал Володя.— Наш привет «Интуристу».

— Поздравляю,— тихо выговорила Мара,— замечательно.

— А по-вашему, только Борьки Монины должны поступать в аспирантуры,— сказала Лина, моя подруга, по обыкновению резко, запальчиво.

— Я не пойду,— ответила я,— мне не надо!

— Будешь душой,— проговорила Лина голосом, от которого скоро будут изнывать ее ученики.

Володя помахал ей рукой, что должно было, очевидно, означать: не беспокойся, все будет в порядке, она, то есть я, пойдет в аспирантуру.

И мы наконец разошлись.

Дома нас встретила мама. Оказалось, она тоже действовала. Ей помогли друзья. Мне предлагают подавать бумаги в Институт театра и музыки. Там есть аспирантура, заниматься, правда, придется не литературой, а театром, но это не важно, даже лучше.

— К черту детали,— заметила я в этом месте.

Один из вступительных экзаменов будет принимать дальняя родственница наших знакомых.

— Спасибо,— сказала я,— но театр меня не интересует. Я когда-нибудь ходила в театр?

— Ты? Ты очень много ходила в театр. Раньше. Я помню, какое впечатление произвела на тебя «Пиковая дама». Ты любила театр. Ты его и сейчас любишь.

— Когда это было? В пятом классе! Я была влюблена в мальчика, с которым ходила в театр. Он тогда, если хотите знать, первый раз взял меня под руку. Вот что произвело впечатление.

— Да? — надменно протянул Володя.— Рановато вы начали.

— Как все! — огрызнулась я.— Папа, уйдем от них,— произнесла я нашу грустную семейную шутку.

— Но я все-таки хочу знать, что там у тебя было,— ответил папа.— И тогда мы уйдем.

Я рассказала про «Интурист» и села к столу, чтобы дать папе высказаться.

У папы была трудная задача, он должен был так похвалить полученное мною назначение, чтобы я ни в коем

случае не захотела им воспользоваться. И сделать это со всем присущим ему тактом.

— Неплохо,— провозгласил папа, налив всем водки.— Выпьем, бояре. Я знаю, какое это великое дело— получить такое назначение. У нас в райисполкоме слышишь, какие назначения получают ребятки, так что это во всех отношениях неплохо, можете мне поверить. Это из самых лучших назначений, они учитывают общественное лицо, анкету, все данные. Ты молодец. Ты на хорошем счету, значит. Да, в ректорате у вас есть очень милые люди, я их знаю, встречал на сессиях Ленсовета.

Так, начало было обычное, все были молодцы и милые люди, все всё сделали очень хорошо. Дальше было труднее.

Ему потребовалась тарелка супа с фрикадельками и еще одна рюмка водки, после чего он сказал:

— Боюсь, что о чем-то мы не подумали, забыли в суматохе, один аспект все-таки упущен. Если не ошибаюсь, в «Интуристе» работа с делегациями, частые разъезды, а как у тебя со здоровьем?

— Отлично,— ответила я.

— А перенесенный в детстве сепсис? — спросила мама.

— Об этом знаешь только ты.

— Сепсис был, и все остальное, что мы условно называем «цереброспинальный менингит»,— пошутил папа, и я убедилась, что он совершенно не знает, как сделать так, чтобы я отказалась от «Интуриста» и пошла в аспирантуру по театру. Он не разделял мамины честолюбивые мечты, ему было важно другое — аспирантура это еще три года я дома.

Я хотела налить ему водки.

— Будя,— он положил большую красивую руку на рюмку,— а то захочу спать и не сумею дать руководящие указания.

— Тебе хочется, чтобы я занималась театром, потому что ты сам в прошлом был не чужд искусству? — спросила я.— Если ты так скажешь, я соглашусь. Твое желание для меня все. Наш папа,— пояснила я Володе с улыбкой гида из «Интуриста»,— выступал в опере. Он свистел. Художественный свист. Мог быть второй Саввой.

— Не в этом дело,— бормотал честный папа, как всегда стремясь только к истине,— работа в «Интуристе»

не совсем по тебе. Я это знаю, я немного знаю тебя..

Поиски истины привели в тупик.

— Володя, тебе все ясно? — спросила я и выкинула козырь. — Могу сообщить уважаемому собранию, что после того, как я получила это, — я помахала своей беленькой бумажкой, — мне Затонская предложила подавать в аспирантуру.

Папа улыбнулся, сразу все понял, успокоенный, выпил третью рюмку с намерением вскоре заснуть. Он умел спать под включенный телевизор, орущее радио и прочие шумы, на диване, который был выдвинут на середину большой комнаты и там оставлен. Между прочим, вся мебель в квартире не имела постоянного места, была расставлена с кажущейся небрежностью, отодвинута от стен, находилась как бы в состоянии свободного полета. Даже рояль, даже громадный отцовский письменный стол постоянно менялись местами, не говоря уже о более мелких предметах.

Папа включил телевизор и лег. Он надел полосатую коричневую пижаму, такую старую, что таких больше ни у кого не было, все их сносили и выбросили, только у него осталась.

Мама волновалась из-за двух аспирантур, — то не было ни одной, то сразу две. А которая лучше, неизвестно.

— Обе лучше, — заключил папа и заснул.

А мы с Володей удалились в мою комнату.

Я вполне оценила его тактичное поведение за столом. Он молчал, хотя не любил молчать, к тому же был набит информацией на интересующую всех тему, как кибернетическая машина, компьютер, которым он занимался в своей аспирантуре. Вообще же тактичности в нем было не больше, чем в нашем сиамском коте Мите, который прыгал по столам, рвал чулки гостям и летал по занавескам.

Но иногда Володя становился тихим и хорошим. С ним было так — мы оставались вдвоем, все его недостатки исчезали. Наступала минута, когда мне начинало казаться, что он спасение. От чего — не знаю, но спасение. Я начинала ценить его уверенность в себе, а уж в себе он был уверен как никто. Его главный недостаток становился его главным достоинством.

Мы познакомились на встрече Нового года, и довольно скоро он с присущей ему решительностью будущего крупного администратора сделал мне предложение.

— Только ты мне нужна,— сообщил он,— все ясно.

Я попросила шесть месяцев подумать, потом еще шесть, мне было не все ясно.

— Странно, конечно, это,— сказал Володя,— но я знаю, что ты скажешь «да».

Он верил. Какая-то другая женщина могла сказать ему настоящие слова и оценить его по достоинству, ей и оценивать было бы нечего, она бы его полюбила. А мне приходилось каждый раз все повторять, как урок, который никак не удается запомнить. «Умный, красивый,— повторяла я,— одаренный, какой еще?» Опять сначала — умный, благородный, надежный, любая другая была бы счастлива... Другая, но не я.

Когда Володя знакомил меня с очередным своим коллегой из аспирантуры, он говорил: «Моя невеста». Аспирантик обычно вежливо интересовался, откуда невеста. Ему отвечали, что это научные кадры университета.

Володя строил планы, рассказывал, как мы будем жить. Всегда будем прыгать на ходу в троллейбус, ходить в любую погоду без головного убора, хранить верность друзьям, не покупать мебели. Потом менялось насчет мебели, но прыгать на ходу — оставалось. Я не спорила, мне было все равно. Я только хотела, чтобы не кончались эти шесть месяцев.

Тот единственный мальчик, который был мне нужен, мной пренебрег, и теперь все всегда будет компромиссом.

Я это понимала, наверно. Я обманывала Володю, а он рассказывал, какие у меня честные глаза.

Экзамены в аспирантуру я сдала успешно. Когда не очень надо, все получается.

Конечно, я готовилась, читала различные учебники. Я даже испытывала удовольствие при виде нового, не читанного мною учебника, который я сейчас положу перед собой на стол. Но меня постигало разочарование. Я не понимала, что там написано, и начинала читать сначала. Со второго раза шло лучше, и веселый, потирающий руки толстячок, любитель учебников, сидевший во мне,

начинал радоваться. Вот они тут все — Шелли, Китс и вся Озерная школа, — сейчас мы их разберем и изучим всех этих томных красивых англичан, у которых даже жены писали знаменитые романы.

Да, конечно, я узнала из учебников много нового, но это было знание в чистом виде, и сделать из него можно было только другое знание. Я сбкрушалась и спрашивала Володю о практической пользе. Володя усмехался, предлагал менять профессию.

Я сдала экзамены еще и потому, что мне решительно некуда было деваться, разве что в другую аспирантуру, где проходили не Гейне и не Байрона, а театр Шекспира и театр Станиславского. А в общем-то было все равно, в какую аспирантуру идти.

Затонская была удивлена моим ответом на экзамене. И довольна, как бывает доволен преподаватель, который от вас не ожидал.

Она смеялась:

— Хватит, хватит, вы все знаете.

И академик был доволен. Он и сам, конечно, не знал, почему он чего-то от меня ожидал. А я простодушно, но смело излагала ему его собственные мысли, почерпнутые из тех учебников, которые он написал, а я прочитала.

Итак, я оправдала его доверие и приятно разочаровала Затонскую, а потом опять долго морочила голову Володе своими жалобами, что из этих знаний можно делать только другие знания, и ничего больше.

— Правильно, — отвечал Володя. — И диссертацию.

— Господи.

Он был уверен, что и я буду делать из своих знаний диссертацию, как и он из своих знаний делает диссертацию.

— Тебе понравится и будет интересно, — уверял он, потому что ему самому было интересно.

Борис Монин, разумеется, тоже сдал экзамены. Ему их и сдавать не надо было. Он изложил свои взгляды на какой-то вопрос, и Затонская не кричала ему «хватит», а внимательно слушала и качала прической, а потом сказала, что подумает. Академик зевнул, приложив,

как воспитанный человек, ладонь ко рту, и тоже сказал, что надо подумать. И этот вежливый зевок был единственным моим утешением (у меня не зевали), потому что экзамен Бориса Монина был настоящим экзаменом в аспирантуру, а мой ненастоящим.

Но так или иначе, теперь нас уже было точно двое на одно место. Правда, существовало еще одно место, но оно в счет не шло, его заняла дочка академика — Семенова Вера, которая к тому же была умница и вполне его заслуживала. Вера собиралась просить отца или деда, тоже академика, принять участие в добывании второго, то есть третьего, места.

Когда были сданы экзамены, мы стали думать, как его добыть. Явился Володя, своим присутствием показывая, что значит аспирантская свобода. Приехала Вера Семенова, сидела в столовой, пила чай с соевыми батончиками, все хвалила и играла с котом Митей.

Митя прямой, большой, как у собаки, лапой смахивал конфетные бумажки на пол и делал вид, что сейчас сдернет скатерть со стола, а сам исчезнет, потому что ему некогда. Но не уходил. Ему нравилось, как его хвалит светская Вера.

— Ты кот изумительный, никогда не видела таких рослых, таких умных и гладких котов,— распиналась она.

— Скажи лучше, таких нахальных,— сказала я, и Митя внимательно посмотрел на меня голубыми глазами.

— Редкий экземпляр, невиданный зверь,— продолжала Вера.

— Очеловеченный кот, ничего в этом нет хорошего. Заслуга моих родных,— объяснила я холодно и опять против воли встретилась с голубым Митиным взглядом.

— К делу,— заметил Володя, которого не интересовали коты.

Но мы ждали еще Бориса Монина.

Он пришел, я вспомнила, как вчера его экзамен отличался от моего, и подумала, что не может быть речи о выборе между мною и им. Нужно второе место, или я выхожу из игры, добровольно отказываюсь. Но я понимала, что говорить так не следует, это надо решить для себя, и для себя я это решаю.

— Придумал! — воскликнул Володя.— Вам надо вдво-

ем, и как можно скорее, катить в Москву и добиваться, чтобы дали два места. Формально у вас совершенно одинаковые права. Все должно быть справедливо.

— Справедливо не будет,— ответил Борис Монин, как будто с трудом. За счет того, что научный ум был дан ему с избытком, ему явно недодали чего-то другого, какой-то жизненной силы, оптимизма, который был у всех, даже самых несчастных, а у него не было. Утром мне звонила Мара Левкова, ей подарили валенки-чешанки, настоящие, деревенские, и ей уже стало казаться, что она не пропадет за Уралом. Этот сидел с видом человека, который пропадет в Москве, если мы туда поедем, и пропадет везде.

Вера объясняла коту Мите ситуацию:

— Пусть они поедут, они этим ничего не испортят. Ты бы поехал, котик, в министерство?

По наглой Митиной роже было видно, что он бы сиганул туда немедленно.

— Надо ехать,— сказала я.

— Формально у вас совершенно одинаковые права,— опять повторил Володя, и мне показалось это бестактностью, так как у нас были неодинаковые права. Но где-то и кто-то может посчитать, как Володя, что права одинаковые. Я это поняла сейчас, когда смотрела на согнутую длинную фигуру Бориса Монина.

«Великий ученый не должен так хотеть попасть в аспирантуру»,— мелькнула у меня мысль.

К нам вышла мама. Она все слышала из своей комнаты, которая называлась спальней и была спальней, когда-то красиво обставленной—двухспальная кровать, красивый туалет, пуфики и кресла красного дерева, но теперь в ней не было никакой мебели. После одного печального события в нашей семье там остался матрац на ножках, стул, стол и пишущая машинка. Кроме того, там была круглая голубенькая печка со времени финской войны, которую все время хотели снять и не снимали.

— Правильно!— сказала мама.— В Москву! Ехать и добиваться. А не сидеть тут сложа руки!

— Вы слышали, что говорит Наполеон. Это же Наполеон Иванович, вы что, не видите?— спросила я, и все засмеялись, кроме Бориса Монина.

Мама была сторонницей решительных мер всегда, а уж если возникали критические ситуации, она была—

сама энергия. Потому и бывшая спальня стояла теперь пустая, потому меня против воли тащило в две аспирантуры.

— А вы что думали? — обратилась мама к Борису Мониному. — Так вам ее подадут, аспирантуру?

Видит бог, он так и думал, но не решился признаться.

— Надо бороться, — сказала мама.

Кот Митя скакнул в открытую дверь прихожей, где в этот момент папа снимал плащ и перед зеркалом распределял волосики по лысине, которую закрыть было невозможно, но он упорно старался это сделать. Из прихожей они вернулись вдвоем, Митя на папином плече. Митя иногда притворялся цирковым.

Папа вошел со словами:

— Значит, в Москву? Ну что ж, может быть, это и мудро. Ааа, Верочка у нас. Как вы считаете, Верочка?

Он спросил ее точно таким голосом, каким она сама только что советовалась с котом Митей, и я подумала, что манера говорить у всех обаятельных людей одинаковая. Вопрос был задан Верочке, всем и никому.

Ответила мама:

— Тут не может быть двух мнений!

Борис Монин опять испуганно посмотрел на нее, он был из тех, кто допускает два мнения и больше всегда и во всем, поэтому мама, которая иногда неплохо понимала людей, нарочно для него повторила:

— Двух мнений быть не может. Ясно? Теперь все упирается только в деньги, — заключила она.

Она вздохнула. Очень часто все упирается только в деньги.

— У вас есть? — спросила мама у Бориса Мониного в упор.

И тот, уже немного пообвыкнув, ответил с ходу, не виляя:

— Нету.

— Хорошо, — похвалила его мама за ответ, и между ними установилось что-то похожее на взаимопонимание.

— Ничего хорошего не вижу, если денег нет, — заметил Володя, который на этом совете держался исключительно бестактно, прямолинейно.

— Деньги дело наживное, — философски заметил папа, и я по его голосу поняла, что у него нет ни копейки, только на завтра на обед, и то неизвестно.

— Так что же? — задумчиво спросила мама. — Где взять?

— На один билет в один конец деньги есть, — сухо сообщил Володя.

— Но надо на два билета и в два конца, миленький, — заметила я. — И жизнь в столице дорогая.

— Остроумно, — огрызнулся Володя. — Смех в зале.

Папа попросил:

— Не ссорьтесь, дети. Когда надо ехать?

Мама предложила:

— Ломбард?

Вера, краснея и стесняясь, предложила взять у неё.

— Не надо. Я достану, — ответил папа. — Завтра к вечеру деньги будут. Устраивает?

Все повеселели. Вера опять принялась за батончики с чаем, уверяя, что очень любит сою. Папа тоже любил сою и ценил совпадение во вкусах.

— Верочка фигура положительная, — говорил папа, — у нее есть обаяние.

В нашей семье всех людей делили на тех, у кого есть обаяние, и на тех, у кого его нет.

А я склонилась над Борисом Мониним, у которого как раз не было обаяния, объединенная с ним одной целью, борьбой и судьбой, и как брату своему сказала:

— Улыбнись, не падай духом. Завтра, как придут деньги (а откуда они возьмутся, бедный папа), я поеду за билетами или попрошу Володю. И мы с тобой, как два ходока за правдой...

— Я возьму билеты, — процедил Володя сквозь зубы.

— Остановиться есть где. У нас в Москве друзья, — разливалась я. — Белая рубашка у тебя есть? Проситель должен иметь вид.

Борис Монин корчился на стуле в костюме, более пригодном для дорожных, асфальтоукладочных работ, чем для коридоров министерства.

— Расфуфыриваться незачем, — сказал Володя.

— Костюм есть, — твердо заявил Монин.

— Одеться надо тепло, — заключила мама. — Будет очень холодно, я знаю, — добавила она так, будто ей сообщили это агенты оттуда, сверху, и оглядела нас трагическими глазами цыганки-гадалки. — Собачий холод будет, — уточнила она, чтобы мы посильней испугались.

...На следующий день в обед папа привез деньги. И я не стала спрашивать, где он их достал.

— Поезжай «Стрелой»,— сказал он небрежно. Я совершенно точно знала, что в одной из жизней он был князь, богач, промотавший огромное состояние.

Володя съездил за билетами и вручил их мне со словами:

— Извини, в разных вагонах. Вместе не было.

Я его успокоила, что всегда можно поменяться.

К поезду Борис Монин пришел одетый в приличный костюм, благородно немодный, и выглядел неплохо. Он и двигался увереннее, словно его перед Москвой развинтили и свинтили покрепче.

— Едем,— сказал он мне и улыбнулся.

Если бы знать, что он умеет так улыбаться, в него можно было бы влюбиться.

Но он не мне улыбнулся, а надежде, которую рожают в нас поезда.

— Будем добиваться,— возвестила я нашу цель не в первый раз.

Он сразу помрачнел.

— Попробуем,— сказал он невесело. Будто не он только что так доверчиво улыбался.

— Приходи ко мне в вагон,— позвала я его, подумав, что ночной дорожный разговор поможет нам понять друг друга.

Он не пришел.

Утром извинился:

— Лег и сразу уснул. Извини. А главное, не хотел портить тебе настроение. Ты такая энергичная особа, веришь в свои силы...

— В наши,— поправила я его.

— В наши,— усмехнулся он.

Мы гуляли около Министерства высшего образования, дожидаясь начала рабочего дня.

— Теперь, когда сданы экзамены, очень хочется получить это место,— начала я свои признания.

— Ты права,— согласился он.

— Я ведь совершенно не рассчитывала,— рассказывала я ему то, что он хорошо знал. Наверно, лучше меня.

Он подтвердил:

— Знаю.

— А что ты знаешь? — поинтересовалась я.

— Ерунда.

Я не понимала, почему о том, что неприятно или хорошо известно, нельзя говорить. Но тут он при всей своей вялости проявил упорство.

— Если ты считаешь, что я препятствие для твоего поступления, ты мне прямо скажи,— настаивала я.

— Идем,— ответил Монин,— здесь женщина ведаёт университетами. К ней.

И мы пошли, не имея представления о том, что мы будем говорить, как просить, что доказывать. Это только издали, в Ленинграде, казалось так просто.

По моей просьбе Монин пошел первым. Вернулся он скоро.

— Здесь довольно трудно чего-нибудь добиться,— сообщил он.— Не знаю, может быть, тебе покажется иначе...

Мне не показалось иначе. Неласковая женщина ведала университетами. Она спросила, что за новая мода ездить из Ленинграда в Москву, да еще группами. У меня был дрожащий голос и просительный вид, и я поспешила удалиться.

И мы опять стали гулять по улицам. Мы совершенно не знали, что нам делать.

— Я сегодня уеду,— вдруг сказал Монин, когда мы с ним расположились под полосатым навесом уличного кафе.

— С ума сошел,— испугалась я,— а как же я?

— Я сегодня еду,— повторил он, и я поняла, что он сделает, как сказал, и бесполезно его уговаривать. Он развязал и спрятал в карман галстук, расстегнул воротник рубашки, открыв худую шею.

— Хочешь в музей?— предложил он.— Это будет самое умное.

— Мы для этого приехали. Быстро ты сдался.

Подумал ли он, в какое положение он ставит меня. Мне, значит, тоже уезжать, если он уезжает.

— Оставайся.

Он ответил на мои мысли.

Я сидела расстроенная. Он был такой, как всегда. На что он надеялся?

— Ты неправильно делаешь,— сказала я ему.

Он смотрел куда-то в сторону.

— Полечу. Ночевать буду дома,— сообщил он.

— Я не могу,— сказала я.— Ты мою маму видел.

Воспоминание о маме прибавило мне бодрости.

— Я люблю дома ночевать,— тихо ответил он.

Я один раз видела его мать, старую женщину с черной клеенчатой сумкой. Она работала гардеробщицей и гордилась ученым сыном.

Монин улетел. Я осталась.

Надо было сосредоточиться, выработать тактику, посоветоваться с московскими друзьями.

Я пошла на Большую Полянку, где мамина подруга Настя прежде всего предложила взять себя в руки. Формулировка, от которой впадаешь в отчаяние. Но Настя и не собиралась вселять в меня бодрость и надежду. Она сказала, что человечество ничего не потеряет, если я вообще не стану аспиранткой.

На обед мы ели бульон с сухариками и отварное мясо с отварной морковью. Потом я легла, укрывшись с головой, на раскладушке под роялем, а к Насте стали приходиться аспиранты. Она занималась с ними испанским языком.

Мне почудилось, что сейчас сама собой откроется высокая дверь, и в комнату неслышно войдет Борис Монин в своем приличном костюме, и будет тут заниматься испанским языком, и потом они оба, Настя и он, будут требовать по-испански, чтобы я взяла себя в руки.

Я заснула, а когда открыла глаза, в комнате не было аспирантов. Настя лежала на тахте, завернувшись в пестрые ржаво-красные турецкие ткани, держа на животе толстый словарь, и добрыми глазами смотрела на меня сквозь очки. Такие люди, как она, смотрят так, если уверены, что их никто не видит. Наверно, своим материнским взглядом она меня разбудила.

— Я смотрела на тебя и думала,— сообщила она приятным контральто,— зачем тебе нужна аспирантура. Наука тебя интересуется как прошлогодний снег. Замуж ты и так выйдешь.

— Ты опять за свое, хватит.

— Я не понимаю зачем.

— А я не сумею тебе объяснить. Ты не хочешь мне помочь?

Настя была из академической семьи и могла помочь.

— Что значит помочь? — холодно спросила она, но я ее не боялась.

— Знаешь, что такое блат?

— Не знаю.

— По-испански такого слова нет? Не хочешь — не надо. Обойдусь.

— Не сомневаюсь. Ты ловкая девица.

Сюда стоит ходить и даже ездить из Ленинграда, если тебе хочется выслушать о себе правду, узнать, что ты неумна, нечестна, поразительно невежественна. Здесь тебе это скажут. Можно было уйти в какое-нибудь более веселенькое место, где разоблачение гостя не является задачей хозяев, но я продолжала лежать на раскладушке под роялем.

Струны рояля негромко постанывали.

— Я за тебя спокойна. Беспринципность, ловкость, пробивная сила, ты все получишь, что тебе надо, — поясняла Настя свою и без того ясную мысль и размахивала турецкими тканями.

— Тебе бы понравился Монин, — сказала я.

Настя дернула плечиком.

— Могли бы пожениться. Он моложе, модный брак.

Настя засмеялась. Она была некрасивая, но обаятельная.

— Место я достану вам всем назло.

— Достанешь, — сказала Настя.

Наутро я пришла в министерство, сообразив за ночь, что женщина, у которой я была, может быть, и ведаёт университетами, но не заведует ими, и сразу пошла искать приемную замминистра. Имя замминистра, также ночью, я вытянула из Насти, когда она хотела спать и недостаточно владела собой.

— Есть там такой, довольно приятный человек, — сказала она, — пробейся к нему. Попытайся. Может быть, ему нравятся крашенные блондинки.

Я была некрашенная, и она это знала, но я стерпела оскорбление за нужную информацию и вежливо пожелала ей спокойной ночи. Выспалась я хорошо.

Довольно приятный человек еще не появлялся в своем кабинете, когда я пришла. Я села в приемной у стены и стала ждать. Мысленно я сказала секретарше, что не уйду отсюда, пока не добьюсь своего. Она что-то почувствовала, посмотрела внимательно, увидела, наверно, что я ее боюсь.

Сидеть пришлось долго, но я была к этому готова. Звонили телефоны. Входили курьеры с бумагами. Мне стало казаться, что я уже когда-то так сидела и ждала. Мною владело чувство узнавания и древний инстинкт просителя. Секретарша поинтересовалась, откуда я.

В этой ситуации полагалось мысленно пропустить перед глазами свою жизнь. Не всю, но хотя бы отдельные картины. Чтобы не демобилизовываться, следовало выбрать только оптимистические.

В нашей семье воспоминаниями распоряжалась мама, создавала рассказы, где мешалась правда и вымысел.

Например, такой рассказ:

«В детстве ты была большая трусиха». (Посылка.)

«Я хотела, чтобы ты занималась спортом». (Никогда не хотела, считала спорт вредным.)

«Но ты боялась даже кататься на санках». (Возможно, что так.)

«Один раз папа посадил тебя на санки, ты визжала на всю Карповку». (Преувеличение.)

«Ты визжала, прохожие оборачивались. Я боялась, что ты заболешь от крика». (Вариант.)

«Тогда мой брат, который тебя очень любил, взял и столкнул тебя с горушки». (Путаница, сначала был папа, потом дядя.)

«Ты громко заревела и поехала и с тех пор хорошо каталась на санках».

История, полная противоречий, уже существовала в сознании только в таком виде. И не восстановить точную картину, ее закрывает легенда. Так за что ни возьмись. Школьные истории, которые, казалось, я могла сама проверить по памяти, тоже сохранились в ее редакции.

Я перебирала эти историйки, как бусинки в руках, выбирала, что-то виделось, как будто вправду было так.

«...Ты поехала на курорт... С трудом достали путевку в Сочи, в самый лучший санаторий...»

И так далее. Я вспомнила, с каким трудом действительно достали эту путевку в Сочи, а меня там обокрали, я вернулась в одном сарафане. Родители на курорты не ездили. Правда, существовал рассказ, как один-единственный раз мама ездила в Кисловодск.

Я услышала голос секретарши.

— Вот товарищ его давно ждет. Ваша землячка, из Ленинградского университета.

И я увидела немолодого господина, который уверенно крался к дверям, за которыми, как известно, никого не было. Среднего роста, худощавый человек в черном свитере, в сером костюме. Судя по тому, как он обращался с дверьми замминистра, можно было допустить, что он короток и с замминистра.

Он обернулся и быстро посмотрел на меня, как будто сфотографировал круглыми коричневыми глазами.

— Она студентка, я профессор, разница,— сказал он и засмеялся.

Двери в кабинет замминистра он открыл и не закрыл, а сам стоял покачиваясь, как бегун, которому надо бежать, а бежать некуда.

Секретарша пододвинула стул, сказала:

— Садитесь, Александр Петрович.

Но он не сел, а еще побегал по приемной, расходуя энергию, потом сел, не на стул, предложенный секретаршей, а рядом со мной у стены. А портфель из черной кожи бросил на пол. Так он распространился и успокоился.

— По какому делу? — спросил меня.

Я четко, но коротко, чтобы он не успел заскучать и убежать, доложила.

— Помочь? — спросил он, нагнув голову.

Я моментально согласилась, как типичная крашеная блондинка.

— Пятерки, пятерки? — переспросил он невнимательно.— У Затонской пятерку получить — надо быть гением или не знаю кем.— Похоже, что ему уже надоело помогать.— Я похвастался, но я не знаю, где можно место взять. Вы случайно не знаете, Вера Ивановна? — спросил он секретаршу.— По другим факультетам, что ли? У кого заваялось.

— Там,—махнула она в сторону распахнутой двери.— У одних возьмут, другим дадут. Делается.

«Как это просто,—подумала я,—и мудро». Атмосфера становилась все теплее, уже двое хотели помогать ближнему. Теперь, если еще замминистра к ним подключится,—исполнилась мечта.

Ленинградский профессор стал вскакивать со стула, ходить по приемной. Он засучил рукав пиджака, чтобы видеть свои плоские золотые часы, наводящие на мысль о крошечных летающих тарелочках. Он сверял их с моими, хотя мои не ходили. И он добился, что я тоже стала нервничать.

Все-таки тот, кого мы ждали, пришел.

Мой знакомый помчался за ним в кабинет, ловко, как футбольный мяч, подхватив с пола свой портфель.

Я осталась ждать.

— Профессор Федоренко достанет место,— сказала секретарша. Я недоверчиво покачала головой.— Это такой человек...

Профессор Федоренко вышел от замминистра с сообщением, что все в порядке. Это произошло быстро, как в сказке, как, собственно, и совершается все хорошее.

Было неудобно сейчас начинать разговор о Монине. И я рассудила так: Монин займет то место, которое было, я — то, которое будет.

Профессор Федоренко попросил меня перестать моргать глазами и поверить тому, что мне говорят. Бумаги придут на факультет позже.

Я все-таки сделала попытку объяснить положение с Мониным, но меня не захотели слушать.

— Нет! — вскричал он со смехом.— Феноменально. Она теперь требует еще одно место. На сегодня кончено. Идем обедать.

Мы сидели в кафе. Настя бы сказала, что такова логика событий и логика характера. Надо было признаться самой себе, я отправилась с ним обедать, потому что мне этого хотелось.

— Ладно уж, не скучайте,— сказал Александр Петрович,— сейчас побежите по своим делам, эпизод будет забыт. Аспирантское место получено. И могли бы улыбнуться.

Я была ему очень благодарна, но стеснялась сказать об этом. И дел у меня не было, только поехать за билетом и дать домой телеграмму.

Я понимала, что мне повезло. И радовалась, что не подалась унынию Монина, не уехала из Москвы. Но на всякий случай еще раз кратко повторила всю историю, чтобы знать, что все в порядке.

— Было одно место. Я на него не претендовала. Оно было для Монина.

— Чепуха,— заметил Александр Петрович.

— Моя кандидатура появилась позже, почти случайно.

— Опять чепуха,— сказал Александр Петрович.

— И тогда получилось, что нас двое. Я тоже сдала все на пятерки,— торопилась я досказать.

— А он?

— Он создан для науки.

— А мне это уже надоело слушать,— засмеялся Александр Петрович,— всегда так получается. Что ни сделай, все не так.

— Все так,— тихо сказала я,— просто тут есть моральная сторона. Если один из двоих более достоин...

— Пусть вас это меньше всего беспокоит. Зарытых в землю талантов на самом деле куда меньше, чем принято считать. Ваш приятель займет положенное ему место, а вам передадут вакансию с философского. Что еще требуется?

Больше ничего не требовалось. Я не хотела его обидеть.

Александр Петрович спросил, о чем я теперь задумалась.

Я ответила:

— О родителях.

— В каком смысле? — поинтересовался он.

— Это длинно объяснять,— сказала я.— Многие вещи я делаю из-за них и для них, как будто рассчитываюсь за что-то, а может быть, просто люблю.

— Сегодня тоже для них?

— В первую очередь.

— Рад, что сумел помочь.

— Я так и подумала, что вам тоже приятно и поэтому мы здесь сидим...— Я хотела изложить свою излюбленную теорию насчет того, как мы любим тех, кому делаем хорошо, но он меня оборвал:

— Нет. Сидим не поэтому.

— А-а,— протянула я,— тогда другое дело.

Он разглядывал меня весьма внимательно, но у меня возникало сомнение, видит ли он меня. Очевидно, он был из тех, кто задумывается. Тип этот был мне хорошо знаком: так иногда задумывалась мама и вперялась в незнакомого человека своими горящими глазами цыганки-гадалки.

— Я хотел кутить,— сообщил он, помолчав.

— Ну и что же? — спросила я.

— Расхотел.

Я засмеялась.

— Чего смеетесь? — спросил он.

— Сейчас вы скажете, что я виновата.

— Все-таки я вам помог. Могучая штука блат.

— Вы знаете такие слова, — я засмеялась, вспомнив, что еще предстоит приятная минута сообщить новость нашей подруге Насте.

— Ладно. Я еще не такой дедушка-старик, чтобы вы со мной так бесстрашно разговаривали. Пейте, — улыбнулся он, — можете пить за науку, если она вам так позарез нужна.

Я не знала, сколько ему лет, — сорок, пятьдесят. Старым он больше не казался.

— Я не имела возможности вам объяснить, — сказала я, — что мне просто некуда было деваться. Так все сложилось. Наука тут совершенно ни при чем.

— Это уже лучше. Но все равно я надеюсь, что мне краснеть за вас не придется, вы сделаете что-нибудь порядочное, прославитесь, как ваш кумир Затонская, и я приду к вам, уже пенсионер, вы поднесете мне рюмочку, вспомните этот день...

Так, конечно, разговаривают очень уверенные в себе люди. Мне представилось, какой он скоро будет старый и бедный.

— Представили себе, как это будет? — спросил он. — Но это будет еще не скоро.

И проницательных я на своем веку видела, я только с проницательными имела дело.

Ни к чему тут сидеть и смотреть друг на друга, это, может быть, интересно, но зачем? И я посмотрела на часы.

— Они же не ходят и никогда не ходили, — закричал он, — зачем же вы на них смотрите?

— Пора уходить, — ответила я.

— А вы узнаете это по этим часам? — спросил он с усмешечкой человека, который лучше меня знает ответ на вопрос. Но я тоже знала ответ, и поэтому пора было уходить.

На стол поставили какую-то еду.

— Давайте поменяемся часами, — предложил он, — мне как раз нужны такие, чтобы знать, когда уходить.

Он уже радовался и шутил, почувствовав что-то такое из «Эмилии Галотти», из старой немецкой пьесы, ко-

торию не читают современные люди, и напрасно. Она немного скучна, но там все написано про бедных невинных девушек, которых надо убивать.

— Часы я вам могу подарить,— сказала я.

— Нет, только меняться,— он явно развлекался.

— Хороший кофе,— переменяла я тему.

— Он вам не понравился,— продолжал он развлекаться.

— У нас дома пьют чай.

— Ладно, скоро поедем. Я вас отвезу. И все будет кончено.

Мы еще посидели в этом кафе, потом съездили на вокзал за билетом, потом ходили пешком, меняли такси, меняли кафе и скамейки в скверах, как будто за нами гнались, а мы петляли, заматали следы.

Потом я заехала к Насте попрощаться, взять чемодан и сообщить ей результаты. Она посмотрела на меня так, как будто я отобрала это аспирантское место у ребенка-сироты, у умирающего больного, у одинокой старухи. А я торопилась и не могла объяснить, что не отбирала его, оно валялось на философском факультете, никому не нужное, пропадало.

Мы постояли в прихожей среди платяных старых шкафов и холодильников, вытесненных со своих мест книгами. Но книги поползли за ними сюда и здесь тоже заполнили все пустоты, оставляя людям узкий проход.

Мы поцеловались, по виду даже довольные друг другом, ибо расхождение во взглядах связывает не меньше, чем единство. Кроме того, она когда-то любила моего дядю, и это нас тоже связывало. Я знала про нее множество прекрасных рассказов, и что бы дальше ни случилось, в них она уже жила вечно — изумительно благородная женщина, которая помогает людям, отдает им все, у нее остаются только книги. Она воспитывает чужих детей и — как человек, который делает добро, внимание! — не стареет. Были у мамы такие героини, которые не старели и при этом хорошо одевались.

Сейчас усталая, постаревшая Настя в веселеньком черно-лиловом фланелевом халатике стояла среди книг и холодильников и смотрела на меня. Она что-то чувствовала, хотя этот долгий день моя жизнь протекала так

далеко от нее, так далеко ушла я от всего и от всех, как, может быть, еще никогда не уходила.

«Сегодняшний день кончается»,— сказала я себе, сбегая по лестнице.

Александр Петрович ждал меня в такси.

— Я испугался,— он схватил меня за руку,— что вы не вернетесь. У нас остается всего час.

«Вполне достаточно,— подумала я,— чтобы попрощаться навсегда».

Настя осталась стоять там, в прихожей, и сейчас, наверно, открывала холодильник в поисках докторской колбасы и холодного черносливового компота.

— Ваши родственники?— спросил Александр Петрович, показывая на большой серый дом, от которого мы отъехали.

— Вроде.

Я уже не изумлялась его чуткости и умению читать чужие мысли, а торопилась к поезду, чтобы поскорее превратить этот день в воспоминание, в сожаление, в грусть, во все, во что превращаются наши поступки и наши ошибки. У меня уже было в жизни посерьезнее, чем это, и тоже превратилось в воспоминание, сожаление и лежало во мне, как в сейфе. И это я отправлю туда, это маленькое, ничего не значащее по сравнению с тем.

— Вы что-то сказали?

— Нет.

Он держал мою руку крепко, иногда прижимал к губам и тоже молчал.

Над перроном в темном небе светило московское время.

Мы много кружили в этот день по Москве и мало разговаривали. Выяснив семейное положение одной из сторон,— он был женат,— замолчали, больше не захотелось ничего узнавать. Стали обходиться без конкретных деталей. Он и она встретились в чужом городе, все понятно, и больше ничего не надо.

Он, правда, попытался сообщить, когда возвратится в Ленинград. Но я не хотела знать и не запомнила, меня это не касалось.

Конечно, мы могли когда-нибудь встретиться в университете или около него, Возможно, встретимся через несколько лет.

Нам оставалось домолчать пятнадцать минут, чтобы ничего не испортить. Нет у нас ни телефонов, ни адресов, ни почтовых отделений с окошком «до востребования», ни главных почтамтов — ничего, только он и она встретились в чужом городе. Еще десять минут. Мы расстаемся из-за отсутствия коммуникаций.

На перроне останется незнакомый человек, хотя в последние минуты мы как будто стараемся друг друга получше запомнить, он — меня, я — его. Не знаю, что видит он. Может быть, серые волосы и черные глаза и женщину как водяная лилия или, наоборот, красную свеклку и толстушку. Что ему надо, то и видит. Я вижу смуглого мужчину с пегой сединой в волосах, его хмурое лицо, и мне странно, невозможно думать, что я не знала его никогда раньше и не буду знать потом.

Начинаются последние предупреждения, что поезд отойдет через две минуты. И кто хочет уезжать и кто не хочет уезжать, уедут.

Это нас предупреждают, чтобы мы попрощались, а мы продолжаем смотреть друг на друга, не прощаемся.

И ничего не успеваем сказать, все кончается. Поезд трогается, и перрон уходит, уходит от меня.

Потом я стою у окна и не понимаю, куда эту встречу девать, как запрянуть и забыть.

Я пробовала призвать на помощь проверенную философию эгоизма, по этой философии все, что с нами случается, надо рассматривать как благо. Но это мне не подошло.

На перроне стоял Володя, улыбался, как аспирант аспиранту, и делал вид, что заранее был уверен в положительном завершении миссии. А я забыла вообще, что Володя есть на свете.

Мама встретила словами:

— Надя заболела.

Надя — это моя младшая сестра.

— Чем?

— Боюсь, не крупозка ли.

Меньше крупозного воспаления легких болезней нет.

— Век пенициллина, мама, — говорю я и иду посмотреть на больную.

Сестра лежит в кровати, с завязанным горлом, среди большого беспорядка — книжки, тетрадки, тарелки и

много разных других вещей, которые она начинает прятать под одеяло при моем появлении.

— Школу прогуливаешь? — спрашиваю я, искренне не понимая, почему она берет только те мои вещи, которые я запрещаю брать.

Когда мы были маленькими, она меня обожала. Со временем я сделала все, чтобы она возненавидела меня, но она все-таки меня любила. Я не обращала на нее внимания, ничего ей хорошего не делала, только сердилась, отбирала свои вещи и мучила ее. А она все меня любила и хотела только сидеть в моей комнате, играть с моими игрушками, рыться в моих ящиках, только слушать мои разговоры, и знать мои секреты, и ходить со мной по улице. А потом она незаметно выросла. Недавно ходила вся поцарапанная, колени в зеленке, локти в зеленке, и — выросла. Но и тогда ничего не изменилось, ей все еще хотелось сидеть в моей комнате и ходить со мной по улице. Я ее никогда не понимала. Потом она научится обходиться без меня.

— Двоек много? — спрашиваю я.

Она смотрит на меня цыганскими, как у мамы, глазами, такими же блестящими, беспокойными и мрачными.

— Двочки есть, — отвечает она смиренно, но с достоинством.

— Не надоело?

— Я не ты.

У нее вырабатывается манера с каким-то почти уголовным бесстрашием разговаривать на эти темы. А из кучи тетрадок на кровати торчит угол качественной гляцевитой бумаги. Я деликатно отвожу глаза, потому что это одна из моих школьных похвальных грамот, которые она берет у мамы и переделывает мое имя на свое, фамилию переделывать не надо. Так она лежит вся в похвальных грамотах и воображает себя отличницей.

— Освобожусь и посижу с тобой, — обещаю я.

— Мне очень хочется, — отвечает она. — Я так рада, что у тебя все в порядке. Все это благодаря силе воли. Повезло тебе, что у тебя такая сила воли.

Я ухожу, ничего больше не уточняя, а она остается в этом хлеве, добавив в общую кучу еще Митю-кота.

— Эй-эй! — кричит она вдогонку. — Собаку хочешь, щенка-эрделеныша?

...Володя собирается идти со мной в университет,

Я прошу:

— Не ходи. Мне надо остаться одной.

Он поднимает на меня свои чистые серьезные балтийские глаза и говорит:

— Понимаю.

Приказ о зачислении меня в аспирантуру пришел только через месяц, но пришел. Приказа на Монина не было. Случилось то, чего боялась Затонская.

Она встретила меня холодно. Но мне в Москве ясно сказали, что я получаю вакансию философского факультета, а то, что не утвердили Монина, ко мне не имело отношения.

Очевидно было одно: меня утвердили, а его нет. Может быть, мне следовало тоже отказаться, в виде протеста, я думала об этом. Но это была бы ненужная демонстрация, которая бы ничего не дала.

Никто не взял бы в аспирантуру Монина вместо меня, хотя теперь все считали, что меня взяли вместо него.

Я была не виновата, и сердце мое ожесточилось.

Во всем, что происходило со мной, была какая-то печальная неотвратимость. Без призвания я поступила в университет и окончила его из старательности. Можно было этим ограничиться и поискать дело по себе. Но я уже не могла остановиться, и все стало еще непоправимее.

Монина взяли на кафедру лаборантом, это давало ему возможность хоть как-то заниматься наукой. А я приступила к прохождению курса аспирантуры с репутацией человека, который, если потребуется, пойдет по трупам.

В аспирантской жизни самым интересным поначалу были заседания кафедры. Мне они казались чем-то вроде концертов виртуозов, где каждый исполняет свой блестящий номер соло и уходит.

Члены кафедры, одетые в дорогие материи, направляются в большую, хорошо проветренную комнату; я и не подозревала, что есть такая комната на факультете. Там они рассаживаются в креслах и на диване.

Я сажусь на жесткий канцелярский стул. Мы с Верой Семеновой младшие по званию. Вера всех знает, и ее знают. Она чувствует себя свободно. А я пришла с Боль-

шого проспекта Петроградской стороны и все никак не привыкну. На всю жизнь мама внушила мне трепет перед кандидатами наук и их напечатанными на машинке диссертациями. К счастью, меня пока не замечают, ни о чем не спрашивают.

Разговор ведется тонкий, изящный. Профессор Мельников — Франция, девятнадцатый век — сам похожий на маленького хорошенького французика того, то есть своего, времени, изящный шутник с усиками, шутит с доцентом Васильевой, и она отвечает ему так же изящно, и, может быть, еще более изящно, потому что это и ее литература и ее время. Она на француженку не похожа, она русская очень чистого типа — бронзовые волосы, полная грудь, яркие синие глаза, припухлые красно покрашенные губы. Удаль в ее лице и во всей фигуре.

Профессор Мельников шутит и шутит с нею, хотя это опасно. Она и притягивает его как опасность. Какой же он тогда французик девятнадцатого века, если он не захочет идти навстречу этой опасности.

— Вы всерьез усматриваете в этом вульгаризацию, очаровательная Наталья Александровна, или вы, по обыкновению, пошутили? — спрашивает профессор Мельников.

— Дорогой Валентин Григорьевич, поверьте мне, — красиво поставленным голосом отвечает Васильева и прикладывает руку к сердцу жестом точным, как в танце, — я никого не хочу пугать. Как и все здесь, я хотела бы, чтобы гроза прошла не над нашим небом. Как все, мечтаю о покое и благоденствии... Но, как говорится, — что есть, то есть, смотреть правде в глаза пристало мужчинам и воинам...

Она зарделась, прекрасная огородница, глаза блещут. А профессор Мельников зря насмешничает, он беспечен при всем своем жизненном опыте и осторожности, платил за это и еще будет платить.

Что-то подходящее к случаю и миротворческое произносит на английском языке — цитата, но откуда, не знаю, — самая красивая женщина на кафедре и на факультете, Ирина Меснер. Ее красота, в отличие от земных, горячих прелестей Васильевой, книжная, гравюрная, совершенная. Белое мраморное лицо, прямые темные до плеч волосы, одета в черное платье, на плечах черный шерстяной шарф. Одежда ничего не может для нее значить, нельзя ни спрятать, ни выгодно подчеркнуть такую красоту. Этот

редкостный дар она приняла когда-то и несет, от нее уже ничего не зависит. В самом деле, как оденешь античную статую? Может быть, это бесформенное черное платье самое правильное.

Ирина Меснер — английская литература. Она читает стихи — Шекспир? Байрон? Ее слушают все, а отвечает академик, ее муж. Он отвечает своей жене так же по-английски и, видимо, цитатой того же писателя, но противоположного смысла, ибо литературоведы существуют для того, чтобы ловить великих писателей на противоречиях и их изучать.

Все смеются, и Ирина Меснер смеется, как смеялась бы ожившая статуя, еле слышно, еле заметно и печально.

Я тоже смеялась. От радости, что попала в такую компанию, где пользуются архаическим английским, как современным русским, что стала свидетельницей этих блистательных поединков ума и этих небольших побед науки, из которых слагаются ее большие победы.

Перед моими глазами летают легкие мячики вроде пинг-понговых, раздаются сухие удары маленьких ракеток, на самом деле, только я это узнаю позже, это выстрелы, и летают не мячики, а пульки.

— Я высоко ценю вашу эрудицию! — восклицает пунцовая Васильева. — Я преклоняюсь перед гением Мильтона (о, горе мне, то был Мильтон, XVII век, пуританская поэзия, индепенденты, Потерянный и Возвращенный рай...), который образом Сатаны решил те проклятые вопросы, которые мы никак не можем для себя решить на кафедре. Если восставать против бога, то давайте тогда учиться у мильтоновского Сатаны.

Я не знаю, что заставляет Васильеву разговаривать столь дерзко с корифеями, я даже не знаю, дерзость ли это, скорее отчаянная ее смелость, лихость.

— Я согласен с точкой зрения Натальи Александровны, — заявляет Роман и оглядывает собрание нежными, заботливыми глазами — все ли его поняли. Его поняли, Затонская с трудом сдерживает себя, но молчит.

Бунт, смеаю я и тихо спрашиваю у Веры Семеновой:

— Восстание рабов?

— Да, — тихо отвечает она, — но не Сатаны.

И эта знает Мильтона. Но в ситуацию и расстановку сил на кафедре меня не посвящает.

Усмехается академик и не усмиряет страсти, которые закипают в душах членов его кафедры.

А заседание движется дальше. Обсуждают диссертацию Пети Свиридова.

Я встречала Петю в отдаленных районах города, в пригородных автобусах с красотками и неизменно восхищалась им. А он каждый раз не узнавал меня. Мне хотелось ему объяснить: «Я Таня, мы с вами на одной кафедре. Я никому не скажу, что вас видела». Но он смотрел сквозь меня, как умеют смотреть такие люди, занятые собой, своими девушками и своими мыслями.

Работа Пети талантлива, и потому члены кафедры немедленно начинают ее критиковать. Слабые работы таких желаний не вызывают, они вызывают чувства бережные и осторожные.

Петя явно не выспался, поглядывает на часы, очередная девушка ждет, он лениво отбивается, и его скоро оставляют в покое.

Только Васильева начинает сердиться и требовать, чтобы он сообщил, какие философские, теоретические работы он использовал в своей диссертации. Это сейчас совершенно никому не нужно и ей тоже, но ответить Петя обязан.

Петя, глядя мимо нее пустыми глазами человека, который если и был в нее когда-то влюблен, то давно, а теперь все забыл, начинает небрежно что-то перечислять. Васильева слушает, кивая кудрявой головой.

Петя обрывает надоевшее ему перечисление. Глаза Васильевой зажигаются синим светом, она начинает выяснять, почему не использованы такие и такие работы.

— Из ее собственной диссертации, — не выдерживает Верочка Семенова.

— Вы пишете научную работу, не эссе для воскресного приложения к газете, — негодует Васильева.

«Почему ее никто не остановит?» — думаю я, видя олимпийски спокойные лица членов кафедры. Что это — воспитание, выдержка, безразличие?

Ирина Меснер сидит неподвижно, по ее лицу нельзя определить, слушает она или нет.

Диссертант Вадим Попов, бледный худенький юноша, слушает, не умеет отключиться. Он морщится, страдает и всегда молчит, чтобы не прибавлять шума, не увеличивать количества децибелов, которое и так намного превышает норму.

А за окнами проезжают троллейбусы, и машины подаются запрещенные сигналы, люди шаркают подошвами по

тротуарам, окликают друг друга, громко разговаривают. И все это мука для Вадима Попова, непосильная нагрузка.

Живет своей таинственной жизнью Ирина Меснер, стараясь никому не мешать своей красотой.

Молча страдает от крикливого человечества Вадим Попов.

Сердится Петя, которому проще написать еще одну диссертацию, чем отчитаться перед Васильевой за эту.

И ничего не может с собою поделаться Васильева, она должна выполнять свое предназначение.

Ласково и внимательно изучает Роман характеры действующих лиц, чтобы потом попробовать прибрать их к рукам.

И все это видит и понимает профессор Мельников, и в этом его беда. Ему нравится смотреть на Васильеву, женщина великолепная. Он улыбается.

Кончается заседание.

Я подхожу к Роману.

— Когда следующее заседание?

— А я почему знаю,— невежливо отвечает он. И он прав. Если я его боюсь и не уважаю, то незачем обращаться к нему с вопросами.

— Заседания обычно бывают один раз в месяц,— объясняет мне Вадим Попов и опускает ресницы, длинные, как у красивой девочки.

— Спасибо,— говорю я.— Какой здесь шум.

— Шум?— благодарно переспрашивает Попов.— Вы от него страдаете?

— Я страдаю от собственного невежества,— отвечаю я с противной лихостью.

— Это проходит или к этому привыкают,— улыбается Попов.— Ну что? Выбрали тему?

— Выбираю...— бормочу я.

Выбор темы диссертации составляет главное содержание моей жизни.

— Вы меня извините,— тихо говорит Попов.— В этом нельзя ошибиться, расплачиваться придется всю жизнь или очень долго. Конечно, всегда можно плюнуть и все

бросить, но вы, кажется, не из тех... У вас такой хороший цвет лица.

Я оценила шепот этого ангела. Разговаривали мы с ним в жизни первый раз.

— А вы правильно выбрали? — спросила я.

— О чем вы? — удивился Попов. — Если о том, правильно ли я выбрал тему диссертации и вообще область научной работы, то — да. Я всегда хотел заниматься Францией, и учитель у меня хороший. А если о том, правильно ли я выбрал жену...

— Нет! — воскликнула я.

— А мне казалось, женщины всегда спрашивают только об этом, — сказал Попов, улыбаясь. — Кто будет вашим руководителем?

— Затонская. Я, наверно, возьму современную тему, — сообщила я.

— Вам кто это посоветовал?

— Из кого делаются музыковеды? — пробую я пошутить, хотя собеседник удивительно не располагает к шутливости. — Из неудавшихся музыкантов. Что я могу? Мильтона я не знаю.

— По Мильтону специалистов хватает. — Попов пожегся, как от сквозняка. — Современностью стоит заниматься так же, как всем прочим, или так же не стоит. Но нелюбимая тема — это так же ужасно, как нелюбимая жена. Честь имею.

Я проводила глазами хрупкую фигуру в темном костюме. Он попросился так, как будто рассердился на меня, а рассердился он на себя. Он был первый тут, кому захотелось сказать мне доброе слово, предостеречь от опасностей, которые поджидают человека на каждом шагу, даже в таком, казалось бы, спокойном месте, как университет. Может быть, он даже не знал про всю эту историю с Мониним. Потому что, если бы знал, наверно, не стал бы со мной разговаривать. В общем-то, со мной никто не хотел разговаривать. Меня просто не замечали.

Когда-нибудь, возвращаясь по набережной из университета домой, я должна была встретить Александра Петровича. Математики могли бы высчитать точно, когда это произойдет. Удивительно, что до сих пор этого не случилось.

Прошла уже половина зимы, и тот далекий москов-

ский день стал таким далеким, что я начала его забывать. Секрет мой за эти месяцы стал легким, туманным, решительно ничего не весил. Все выветрилось, ничего не осталось.

Осталось то, что заполняет каждый день человека.

Рано утром надев тулупчик и шапку-ушанку, я уходила в Публичную библиотеку выбирать себе тему. Это была нелегкая задача. Выбор огромный, века, народы, периоды подъемов, периоды упадков, изученные писатели и неизученные, заманчивые для исследователя белые пятна.

Я шла по знакомым улицам, погруженная в свои мысли, не глядя по сторонам.

В одном месте маршрута я сбавляла ход и поднимала голову, чтобы увидеть крохотный, как игрушечный, балкончик на глухой серой стене дома, выходящего в сад, где я играла в песочек, когда была маленькой.

Когда-то жила больная девочка. Девочка не могла ходить, и для нее пробили кирпичную непробиваемую стену и вывесили балкончик. Как большинство маминих легенд, эта легенда ничем не кончается. Может быть, никакой девочки не было и нет. А есть только этот неожиданный балкончик на пустой огромной стене.

Мой прямой, стремительный, без остановки путь от дома до Публичной библиотеки перебивается встречами. Я пробегаю, оставляя свою любимую толстенькую тетю в районе гастронома. Старого школьного друга, по его словам, создателя отечественной ракетной техники, я оставляю около нашей школы, он там обычно стоит, это его место. Я вижу, как наш участковый врач Фрида Михайловна с негромким пением Баха переходит улицу не на переходе. Вижу еще одну знакомую на трамвайной остановке, недалеко от татарской мечети.

Но вот недалеко от Петропавловской крепости я встречаю мальчика, которого бы встречать не должна, он попал сюда случайно, а мне следовало промчатся через этот перекресток на десять минут раньше, или на час позже, или вообще здесь никогда не проходить, а ему не стоять.

Никакие математики не могли предсказать, что он будет ждать такси в это неопределенное время в этом неопределенном месте. Я даже не знаю, где он теперь живет. Не должна знать и потому не знаю. Он стоит так, словно ждет меня, хотя ждет он кого угодно, только не меня.

И я останавливаюсь с разбегу, мгновенно забыв, зачем и куда я так стремительно летела. Сюда я и летела, к этому заснеженному берегу, к этому пустынному пляжу, где ждал меня мальчик, которого я потеряла, но верила, что найду.

Он обрадовался, испугался, нахмурился, ничего не пытаюсь скрывать. Очередь большая, и машины подъезжают редко,—значит, будет время поговорить. Вот он стоит, можно протянуть руку и дотронуться до его недавно побритой и порезанной щеки. Но я не смею дотронуться до его щеки, мы так договорились. Мы только смотрим друг на друга. Мы договорились.

Приползают две очень тепло одетые старушки, хотя сесть в такси без очереди. Я с радостью смотрю на них и мысленно призываю других старушек, пусть придут еще старушки, пусть заберут все машины, пусть он опоздает, куда ему надо, пусть забудет, куда он ехал. Я ведь забыла, куда я шла. Я больше никуда не иду, а стою и смотрю на него и изумляюсь, что бог его создал таким красивым и таким хорошим, с чувством долга превыше всего. И вот благодаря тому, что у него такое чувство долга, я должна стоять здесь на снегу и ничего не ждать. Могу молчать, могу говорить, могу улыбаться, могу плакать, могу делать все что вздумается. Ничего не поможет.

Старушки ловко хватают такси, в следующую машину садится замерзший, посиневший грузин, и очередь заметно уменьшается.

Мне никогда не казалось справедливым то, как мы договорились. Но я приняла это драгоценное решение, а если бы не приняла, ничего бы не изменилось. Этот самый добрый, самый красивый, самый лучший мальчик был и самым твердым. И все, что со мной происходило и будет происходить, все потому, что он такой.

Я смотрю в его лицо и знаю точно, что это лицо было мне предназначено видеть всю мою жизнь и никогда не устать от этого.

Я медленно вспоминаю, куда я шла, и когда он спрашивает меня об этом, отвечаю весело:

— Если ты думаешь, что аспирантом быть легко, ты ошибаешься, мой милый. Это нудное занятие.

— Уверен, что ты с ним справляешься, я ведь немного знаю тебя.

Господи, уж этого мог не говорить.

— Не справляюсь. Пока еще этого никто не знает. Я тебе первому говорю. Но надо держаться.

— Ты будешь держаться до последнего. А когда рухнешь, окажется, что ты уже президент Академии наук, да, Танечка?

— Нет. Я там не ко двору.

— Разве ты можешь быть где-нибудь не ко двору?

Господи, но ведь я пришла к нему не ко двору. Я улыбнулась, он понял и покраснел, а я хорошо знала, как он краснеет, когда ошибается или скажет что-нибудь неточно.

— Мама довольна? — спросил он и хмыкнул. Вспомнил, наверно, мою маму. Он ее любил, и она его любила.

— Тогда ты ее плохо знаешь.

Но он знал ее хорошо, он все знал хорошо, что имело отношение ко мне. И я знала все о нем. Уже никогда и ни о ком я не смогу так знать все. Но и это мне не помогло.

— Чего она теперь хочет? — засмеялся он.

— Долго рассказывать.

Очередь становилась все меньше, он был уже третьим.

— Ну ничего, — сказал он, посмотрев, как и я, на очередь, — если ты не торопишься....

Я могла стоять здесь до вечера. Но я загнула рукав тулупа и схватилась за часы, как хватаются за голову.

— Торопишься, как всегда, — усмехнулся он.

Я еще возилась с рукавом. Торопилась не я, а он.

«Ну, — сказала я ему мысленно, — последний раз даю тебе такую возможность, позови меня с собой. Это будет правильно, а все остальное — неправильно, это единственный вариант». Он поймет это, когда мы уже будем старичками, мы и тогда будем нужны друг другу, только будет поздно. А сейчас он не понимает, он у нас слепой. Красивый, но слепой, девушки в него влюбляются, ну и черт с ним, я-то не пропаду. Я спасусь, уже спаслась и опять спасусь.

— Да. Тороплюсь. Иду в Публичку, — сказала я. — Обычно я там сижу и ничего не делаю, зыркаю глазами по сторонам.

— Знаю, как ты зыркаешь, — засмеялся он милым своим смехом.

Ну и знай.

— Сегодня мне надо успеть сделать одну чрезвычайно важную вещь, а в два часа начинается кафедра.

Я сблизила события — выбор темы и кафедру, но он этого не знал и поверил. Он верил мне, а я ему. Я уже никогда никому не буду так верить, не смогу, а он — не знаю. А я — никогда.

Слово никогда висело над нами, как небо, падало на нас, как снег, и окружало нас, как воздух. Все было никогда. Поскорее надо было расходиться.

А между тем потемнело. В других географических точках так случается перед грозой, но в Ленинграде это с грозой не связано. И в этой темноте и в снеге надо было попрощаться. Но как попрощаться, мы не знали.

Следующая машина была его, я схватила его за рукав, и машина ушла. Теперь уже все машины были его.

Прямо над ухом бабахнула пушка, стреляющая в полдень глухим выстрелом откуда-то из глубины истории, и темнота после этого выстрела стала рассеиваться, превращаясь в свет и белый снег. И ему наверняка пора было уезжать. Я не спросила, куда и зачем, ибо не должна была знать. Я имела право только на это незнание.

— Прощаемся. Садись в такси, я тебя провожаю, — сказала я и бодро улыбнулась. Но ничего не получилось. У него была своя такая улыбка.

— Я тебя подвезу. Погода... — Он поежился.

— А мне нравится.

Мы сели на заднее сиденье, далеко друг от друга, потому что посадили между нами еще по крайней мере одного человека. И так, втроем, мы доехали до библиотеки и там снова попросились с отчаянной ловкостью, как будто долго тренировались на этих прощаниях.

— Зайди к нам! — радостно крикнула я ему, выпрыгивая на тротуар в расквашенный снег.

— Обязательно, — так же радостно ответил он из машины, — привет маме и Наде. Надя хорошая девочка, я ее очень люблю.

И зачем-то вылез из машины, встал около меня и перешел на невнятное бормотанье:

— Желаю тебе, милая, я тебе желаю... всего самого хорошего, чтобы все удавалось, что ты будешь делать, я в тебя верю больше, чем в себя. Есть еще одна вещь, которую ты должна знать, — если я тебе понадобится...

— Никогда! — весело крикнула я.

— Ты права... я понимаю... но все равно. Ты знай...

Это был опять срыв в прощании, которое сначала удавалось, но потом мы всегда сами все себе портим.

Мы еще постояли у главного входа, теперь можно было и постоять. И девицы, которые направлялись в библиотеку и уже за квартал начинали напускать на себя ученый вид, успели его оценить. Для них, для этих серьезных ученых девушек в коротких юбочках и больших эскимосских шапках, он был как пришелец с других планет. Такие у него были брови и синие глаза, отражающие какие-то иные, знойные и нездешние небеса.

Стоя с ним здесь, в этом тающем снеге, я за три минуты извлекла из глубин своей памяти чувство мучительной неприязни к этим ни в чем не виноватым девицам. Странное, забытое мною ощущение, что город — улицы, троллейбусы, магазины, метро — битком набиты ими. Как будто он высвистывал их из квартир и учреждений, сзывал из разных концов города, сообщал живость, женственность и стремительность движения. И шли они танцуя, все в одном направлении, все к нему, их волосы развевались, и глаза были широко раскрыты, как у слепых, а если были потуплены, то это было еще хуже.

Конечно, он ничего не делал для того, чтобы они шли к нему, и для того, чтобы их было так много, но так было, или так мне казалось, что в сущности одно и то же.

Я это вспомнила сейчас у дверей библиотеки и сразу устала. Я вспомнила, как боролась и не победила, и постаралась отогнать от себя это страдание. Пусть идут, пусть улыбаются, все равно он им не принадлежит, как и мне не принадлежит. И если они не видели никогда таких чистых, светлых и одновременно ярких синих глаз, пусть смотрят.

Я ему ничего не пожелала, конечно, я желала ему только добра, но каких-то там удач особенно не желала. Раз он будет всегда без меня, пусть все будет у него хорошо и пусть судьба его хранит, но что-то пусть останется неиспользованным, невостребованным, как письма, которые приходят, когда адресат выбыл и никто уже не знает, что в них было написано.

Я вошла в прокуренную темноту вестибюля, здесь было пустынно, тихо и темно. И пахло, как от давно не мытой пепельницы, — рядом находилась курилка. Я прошла туда и встала у стены, глядя в одну точку.

Здесь самое лучшее место, уютная пещера для тех, кому не повезло в личной жизни, только, конечно, нужна

папироса, ибо папироса — это отчаяние, которому можно предаваться на людях.

И я купила в буфете маленькую синюю пачку сигарет и закурила. И сказала себе: «Вот и все».

Вот он и уехал в свою жизнь, по виду не очень счастливую, спрашивать мне его об этом не надо было, да он бы и не сказал ничего. Если я с детства знала, как вздрагивают его четкие губы от обиды, если я могла прочитать любую книжку и знать совершенно точно, на какой странице он ее захлопнет и бросит, и от какой шутки он улыбнется, и под какую песню загрустит, и какую девушку проводит одобрительным, ласковым, честным взглядом, и на какой рюмке ему надо остановиться, если я все это знала,— мне его ни о чем не надо было спрашивать. Его неожиданные поступки не были для меня неожиданными, его скрытые слабости были мне открыты, и только одно не поддавалось мне и потому навсегда осталось неожиданным — его душевная твердость, его понимание долга и чести, уходящее корнями к тем нашим предкам, которые, не задумываясь, предпочитали смерть позору.

Когда-то, наверно в шестом классе, он сказал мне то, что говорят все мальчики своим девочкам, что мы не вовремя родились, не будет возможности проявить себя. Видно, эта тоска навсегда осталась в его душе. На деревянном мостике через речку Карповку он поведал мне эту тайну, и я поклялась ее хранить вечно, поскольку он всегда боялся высоких слов и больше никому не мог признаться, что тоскует по подвигу. Сначала он боялся громких слов, потом стал бояться всяких слов и стал очень молчаливым человеком. А телефон он просто не терпел и мало им пользовался. Разве иногда выдавливал из себя что-то совершенно примитивное, односложное и в уныло-приказном стиле: «Выйди через полчаса...» И когда в воздухе пахло ссорой: «Не приду».

Все тайны, которые накапливаются у человека в возрасте от семи до двадцати двух лет, он передал мне, и я их хранила, время от времени перебирала, переставляла местами, стирала с них пыль, пересчитывала и прятала опять. Все, что он забыл, потерял и выбросил, сохранилось у меня, и было обидно, что все это уже никогда ему не понадобится. Но у меня все это будет в сохранности, пока я жива, а потом, конечно, пропадет; эту коллекцию постигнет судьба большинства коллекций. А жаль, там были неплохие экземпляры, найденные давным-давно, на

том мостике, где происходили многие наши объяснения,— и в беседках, и на скамейках Ботанического сада, и в школе, да и везде, где мы открывали мир вместе, мальчик и девочка, предоставленные себе, свободные и счастливые. В той картине мира, которая открылась нам, было много добра. Но и зло там было, и мы его видели своими зоркими глазами. Все же в целом картина была гармоничной, и мы радовались жизни и всему, чему нам полагалось радоваться. Всем книжкам, лыжам, билетам в кино, и капризам погоды, и возможности остаться вдруг на полчаса вдвоем в квартире и посмотреть друг на друга так, как смотрят, когда остаются вдвоем. Да, во всем этом была стройность и ясность и поступательное движение, а неразбериха началась позже, когда мы уже отплясали на выпускном балу и от разглядывания жизни перешли к участию в ней. Тут этих двух, мальчика и девочку, которые так дружно шли рядом по одной стороне улицы, стало раскидывать по разным сторонам. Они стали все путать и делать назло, а оставшись вдвоем, не смотрели друг на друга.

Мы не выстояли, потому что ничего не боялись, а надо было бояться. Мы расстались, потому что это было невозможно, и это невозможное случилось...

Я не так уж глубоко страдала сейчас, по существу я примирилась. Но видеть друг друга нам было нельзя еще много лет, а может быть, никогда. Я сказала себе «никогда», и опять это слово набросилось на меня, как огромная овчарка, норовя сбить с ног.

Сигарета курилась отлично,— значит, я правильно за нее взялась, только голова кружилась и уютная пещера слегка покачивалась. Будто я забралась в глубину старой пепельницы-раковины, которую надо приложить к уху, чтобы услышать, как шумит море. Я стояла и слушала, как оно шумит, и ждала, чтобы он на своем такси отъехал достаточно далеко от Публичной библиотеки. И когда он уже был примерно в Зеленой зоне, вышла из своего укрытия и направилась в буфет.

Решила попить чайку, погреться и поесть.

А все-таки это будет теперь всегда. Всегда я буду знать, что он предпочел мне другую, простую и милую, с серыми глазами, тихую, надежную. Я бы тоже такой могла быть.

Честно говоря, я не могла знать, счастливый он или несчастливый. Что угодно я могла придумывать, чтобы

себя утешить, сочинять любые романы, но правда была одна: ее он любит, а меня нет. И знала я это с самого начала и до самого конца, хотя конца еще не было. Но высшая правда, и этого я еще не знала, заключалась в том, что только так это и могло быть. Она, а не я. Она была лучшая. Он ее выбрал и полюбил, я была тут совершенно ни при чем. Мое место было скромное, я была детская любовь. А она любовь.

На то, чтобы это понять, потребовалось много времени, а тогда я без конца спрашивала себя, почему я его потеряла, какую ошибку совершила. Совершила, и все теперь будет расплатой. И Володя-жених, и аспирантура постылая, перепутались причины и следствия, а жить надо. Аспирантура еще не самый худший выход из положения. Хоть мама довольна. Когда-нибудь она своими маленькими, замороженными ручками перепечатает мою диссертацию на старой машинке «Континенталь». Она так этого ждала.

В библиотечном буфете я посмотрела на ярко-красный винегрет и на песочные кольца, не имеющие спроса даже здесь, где люди не привередничают. Я взяла чаю и съела яйцо — девяноста калорий как не бывало.

За одним из столиков завтракали иностранцы. Они заворожено повторяли названия: «Эрмитаж», «Петергоф», «Петербурх», «Рашн музеум», пили оранжевый томатный сок, называя его джусом, и кофе в маленьких чашечках, издающее запах грибов.

Послушав немного, как они тасуют Русский музей с квартирой Пушкина, я поднялась. Никто не виноват, что мне плохо, и, если мне не нравилось сидеть в буфете, надо попробовать читальный зал.

И сразу на лестнице встретила Бориса Монина.

Он спускался, задумавшись, и не видел никого и, наверно, думал, что его никто не видит. Это было заблуждение, потому что в Публичной библиотеке все видят всех. Он медленно переставлял длинные ноги в бесформенных брюках. Гёттингеном, тенистыми дубовыми рощами, тяжелыми пивными кружками, голубоглазыми слушанками, девятнадцатым веком и не пахло. Он был в обычном своем балахоне серо-зеленого цвета и спускался по лестнице, как усталый рабочий после смены.

Я все время ощущала несправедливость случившегося и стыд, хотя я не была перед ним виновата, перед собою

только. Что не любила филологию, что не любила Володю. Что меня больше не любил тот мальчик.

Надо, наверно, было подойти к Мониному и все объяснить. Но ему это было не нужно.

Монин прошел и не заметил меня.

Иногда я думала, что лучше было бы пойти учиться в медицинский институт. Я держала при себе эту возможность, как выход из тупика, как ампулу, зашитую в воротнике. Изучать пухлый справочник рецептов, назначать горчичники и пирамидон, который всегда пирамидон. Но я не имела права опять становиться студенткой — отец устал тянуть семью, надо было думать о том, как ему помочь.

Я готовила две лекции для Городского лекционного бюро. Если эти лекции получатся, если они понравятся и так далее, то каждая прочитанная лекция — это десять рублей.

Приготовить лекции оказалось много проще, чем выбрать тему для научной работы.

Выбором темы для моей диссертации по вечерам занималась вся семья.

Мама была за Францию.

Она говорила: «Я всегда мечтала туда поехать». Я чувствовала себя виноватой перед нею за то, что она там не была.

— Хотите знать мое мнение? — с чувством спрашивал Володя. — Тогда будем рассуждать логично...

— Только не слишком длинно, — вставляла я.

— Не хотите, не надо, — обижался Володя.

Я говорила «надо», и он сразу переставал обижаться. Я ему подмигивала: дескать, не робей, хотя он понятия не имел, что значит робеть. И начинал поучать:

— Таня жертва обыкновенной человеческой жадности, вполне простительной. Это хорошая жадность, как бывает хорошая зависть. Уместно вспомнить также русскую поговорку: «Владеет городом, а помирает голодом». У девочки разбежались глаза. Она должна сокращаться кругами, по очереди отбрасывая страны и эпохи. Действовать методом исключения, пока не придет к тому, единственному, что нужно ей, но не только ей...

— Умные речи приятно слушать, — хвалил мой дорогой папа со своей простоватой обаятельной усмешечкой, к которой не придерешься.

— Францию отбрасываем сразу, ибо французский язык она знает немного лучше, чем ваш Митя.

А Митя был тут как тут, сидел на столе и все слушал, дьявольский кот, мотал на ус. Я глянула, не обиделся ли он, что про него сказали, будто он не знает французского. А про него так говорить нельзя.

— Митенька, — спросила я, — может быть, ты советуешь мне заняться сямской литературой?

Отец рассмеялся.

— Францию жаль, — сказала мама.

— Не жаль, — ответил Володя. — Кстати, вы сами можете спросить вашу дочь, каких специалистов на ее кафедре больше всего.

— Французских, — ответила я.

— Английских, — сказал Володя. — На всех кафедрах такая картина. И по Союзу в целом англичан уже некуда девать.

— Что вы предлагаете, Володя? — спросил отец. — Неужели Германию?

Мое терпение иссякало, уходило от меня с каждой новой репликой.

Я тихонько встала и вышла из-за стола. В сущности, я им и не нужна была, они прекрасно могли обсуждать все это без меня.

Я заглянула к Наде.

Она и ее черноглазый мальчик сидят тихо.

— Ссоритесь? — спрашиваю я.

— Она, — отвечает мальчик.

— Он, — говорит Надя.

Они похожи друг на друга до странности, только один мальчик, а другая девочка. И на девочке мой острый глаз отмечает знакомую, не так давно мной купленную серую юбку в складку.

То, что происходит с ними, происходило со мной. Они уже взяли в руки ружья и, видно, постреляли всласть, сейчас сидят, считают попадания.

— Пошли бы погулять, — предлагаю я, — без воздуха живете.

— Мы изучаем друг друга,— сообщает Надя.

— Да,— подтверждает мальчик почти беззвучно,— изучаем.

— Перестаньте, вы друг друга давно изучили. Вы сейчас все уничтожаете. Потом будете жалеть.

— Не будем,— шепчет мальчик.

— Еще недавно вы прибегали из школы и плясали в прихожей. Папа говорил: «Двойки пляшут», и это было так хорошо...

— Кончено,— шипит Надя,— это было не так хорошо.

— Это было, кажется, в прошлом веке,— заявляет мальчик с надрывом.— Во всем виновата она.

— Что она сделала?— спрашиваю я, хотя хорошо представляю себе, что она могла сделать.

— Извините,— наклоняет мальчик свою маленькую курчавую голову,— я не хочу об этом говорить.

— А почему?— кричит Надька.— Давай говори. Только все говори.

— Не надо,— прошу я,— я знаю. Не так посмотрела, не то сказала. Улыбнулась или, наоборот, не улыбнулась. Мне неинтересно. Все знаю. Гуд бай.

Все повторяется, и эти похожие друг на друга, как брат с сестрой, тоже сделают все по-своему и как можно хуже. Дай им бог хоть школу окончить.

А в столовой продолжали беседовать.

Володя отъехал от обеденного стола и подъехал к роялю, открыл крышку, приготовился помузицировать.

Говорила мама:

— Холод собачий! Ветер валит с ног. Сегодня было минус десять. Завтра будет еще холоднее. Будет мороз.

Как всегда, когда она говорила о погоде, она была раздражена. Она подошла к окну и задвинула тяжелые старинные шторы на ватине. На подоконниках лежали подушки, перед дверьми были устроены заслоны из старых одеял, половиков и вышедшей из употребления одежды.

— Дует! — продолжала она.— Ранней весной, когда самый холод, противная сырая погода, они начинают экономить топливо. Я звонила в ЖАКТ.

— Припугнула их,— засмеялся отец.

— Я замерзаю!

Володя закрыл крышку рояля, раздумал исполнять «Подмосковные вечера» и «Журавлей», из которых состоял его репертуар.

Теперь он сидел и зевал во весь рот. При его стремлении держаться по-джентльменски, одеваться по-джентльменски, немного отставая от моды, носить грубые коричневые ботинки с круглыми носами и свитер ручной вязки, при таком англоманстве его зевание выглядело странно. Очевидно, это была реакция на то, что он ломал свое естество простого, даже простецкого парня.

Ванная сообщалась узким дверным проемом без двери с маленькой комнатой — темнушкой, где стояли кровать и платяной шкаф.

Раньше ванну топили дровами. Считалось, что вода, нагретая дровами, лучше воды, нагретой газом. Но жизнь шла вперед, и в ванную поставили газовую колонку. А та колонка, дающая мягкую изумительную воду, была продана миниатюрному красавчику, исполнителю эстрадных песен.

С тех пор мы следим за успехами певца и, когда он появляется на экране телевизора, вспоминаем про колонку.

Я сижу в ванной, синий газовый огонек колышется над головой, он никогда не выключается.

На стене висит деревянная полочка с бутылками, лекарствами и мылом. Там же старенький, за всю жизнь единственный бритвенный прибор отца. Коробочка с тугой крышечкой, в которой лежит бритва «жиллет», купленная, наверно, еще до первой мировой войны, предмет зависти Володи, у которого могли быть английские ботинки, и английские поплиновые рубашки, и английское произношение, а такой старой бритвы никогда не будет. Я любила вещи отца еще потому, что их всегда было мало. Но мне хотелось добавить ему разных рубашек и галстуков, всего того, что теперь имеют многие мужчины и без чего он всю жизнь обходился. Пальто он носил, перешитое из военной шинели. Перешивал фронтовой друг отца, портной Меленчик. меховой воротник пришел в подарок. Снять его поэтому было нельзя.

Скрипит старая кровать с шарами и металлической сеткой. Отец пришел в темнушку побеседовать со мной.

— Что у тебя слышно, доча? — спрашивает отец.

— Большие надежды возлагаю на лекции, — отвечаю я.

— За лекции я спокоен. К этому у тебя способности. Помнишь свой доклад о Дизраэли?

Это из легенды, он в этих легендах тоже погряз.

— Когда это было, папочка?

— Было. Тьфу, ч-черт, какая кровать неудобная стала...

— Надо ее выкинуть.

— Да нет, она еще ничего.

Я смеюсь. Все годится, только бы поменьше перемен, поменьше беспокойства.

— Скажи,— спрашивает отец,— чего там Надька плачет?

— Разбитое сердце. Тебе ее не жалко?

— Я вообще не хочу, чтобы мои дочери выходили замуж.

— Мальчика такого хорошего может уже никогда не быть. Тебе не понять. Поэтому не хочется с тобой об этом говорить.

— Я не прошу,— отвечает он,— о любви не говорят, о ней все сказано.

— Во-от вы где спрятались,— слышится голос Володи.

— Володечка пришел! — кричу я.

Я сразу узнаю, когда он не притворяется. Он садится на складной детский стульчик в темнушке, я представляю себе, как он подбирает длинные ноги.

— Секретничали? — спрашивает он.

— Придумал тему?

— Современная Германия. Там богато.

— Не хочу.

— Выучи датский, бери Данию. Бери Норвегию. Это страна! Там все хорошее. Кроме климата. Да и климат не такой плохой. Близкий к нам.

— Я подумаю... насчет климата,— мне сразу надоедает эта болтовня. Я вспоминаю, что Монин поступал в аспирантуру уже со своей темой.

У меня в комнате Володя сказал:

— Я тебя теперь совсем мало вижу.

Я промолчала.

— Мы ведь договорились, что, если один из нас разлюбит, он сразу скажет? — проговорил Володя медленно.

— Ты хочешь сделать заявление?

— Я нет, может быть, ты? — спросил он.

Грустно это прозвучало. Надо было пошутить, но не вышло. Не всегда это выходит.

Первую лекцию меня послали читать на молокозавод. Я ехала трамваем и размышляла о том, что в обеденный перерыв рассказывать уставшим людям о Гоголе совсем не нужно. Да и кто захочет слушать? Я совершенно забыла о десяти рублях, которые станут моими в результате. До сих пор я не думала, как будут доставаться эти десятки.

И вот я стою в проходной завода и протягиваю в окошечко путевку, и мне выписывают пропуск. И приветливая женщина средних лет в белом халате встречает меня.

Женщина спрашивает, бывала ли я раньше на молокозаводе, видела ли, как делают глазированные сырки.

— Мы покажем и угостим, — обещает она.

Восемь работниц сидят, пьют молоко с булками, одна вяжет — мелькают спицы, другая дремлет.

— Николай Васильевич Гоголь родился двадцатого марта тысяча восемьсот девятого года в местечке Сорочинцы, Полтавской губернии, в семье помещика... — начала я.

Похоже на экзамен, страшно только сначала, потом не страшно. Не надо было стараться втиснуть всю трагическую жизнь великого писателя и все его великое творчество в один обеденный перерыв. Это была ошибка.

Только в самом конце я перевела дыхание и произнесла немного медленнее, дрожащим от волнения голосом:

— Умер он в тысяча восемьсот пятьдесят втором году двадцать первого февраля. За десять дней до смерти он вторично сжег часть глав второго тома «Мертвых душ»...

И вытерла платком лоб, щеки и мокрые глаза.

Им было его не жалко, наверно, но некоторые прослезились вместе со мной. Отчего, не знаю. Наверно, от того, что жил такой талантливый и несчастливый человек, от грустных мыслей о неизбежном конце и неизбежных страданиях, на чью бы долю они ни приходились.

Вопросов мне не задавали, одна женщина только спросила, как меня зовут и сколько мне лет. Обеденный перерыв кончился, все заторопились.

Женщина-культработник отметила мою путевку, записала там: «Слушатели остались довольны и благодар-

ны» — и повела показывать завод. В каждом цехе угощали, глазированные сырки были поразительной свежести, пахнущие ванилью и покрытые тонкой сладкой коричневой корочкой.

Потом я перестала бояться слушателей, когда прочитала много лекций в разных аудиториях.

...В ту весну я не отказывалась от самых трудных и невыгодных лекций, ездила в Лугу, в Зеленогорск, в пионерлагеря, в военные лагеря, в самые отдаленные места, которые полагалось обслуживать областному лекционному бюро, но почему-то обслуживало наше, городское, а в нашем их обслуживала я.

Была какая-то странная закономерность в том, что чем больше я читала эти лекции, тем больше их надо было еще читать. Бывало две в день, и в разных концах города. Я носилась с лекции на лекцию, позабыв про университет, шепча в троллейбусе эффектные фразы, ударные концовки, повторяя даты.

Чем-то я стала похожа на своего маленького начальника, моего однофамильца, озабоченного, усталого человека с лысой головой и запавшими, всегда красными глазами. Его нервозность и замученность были очевидны. А между тем это был добрый человек, который всем хотел делать хорошее. Ему было трудно, ибо его подопечные желали получать только самые лучшие путевки, какими в нашем учреждении считались путевки в десятые классы школ, расположенных в центре города. Были и другие любимые объекты, были терпимые, а были такие, которые никто не хотел брать, главным образом из-за того, что далеко ехать. Были лекторы, которые очень нуждались в работе, а иным это было не так важно. Наконец, и сами лекторы были разные. Одних любили, других не особенно. Были самые настоящие любимцы публики, на них приходили персональные заявки. А некоторых просили больше не присылать. Словом, мой бедный однофамилец должен был крутиться. А был он человек мягкий, не умел никому отказывать, на него надо было только немножко нажать, и он все делал, что у него просили, и отдавал то, что имел.

Вижу, как он стоит возле своего письменного стола, а его плотным кольцом окружают любители читать лекции в школах, расположенных в центре города. Он в черном костюме, с черным галстуком, с огромным портфелем, торжественно-беспомощный, и глаза всегда красные от усталости и простуды. Басит:

— Товарищи, товарищи, никому ничего не дам. Не просите. Опять вы просите, хотя я просил вас не просить.

И кашляет натруженным кашлем лектора, у которого не в порядке с голосовыми связками.

Я стою в сторонке и наблюдаю, как самые смелые, решительные и отчаянные отбирают у него хорошие путевки, и он остается у своего непомерно большого стола с заявками, часть из которых будет выполнять сам, часть отдаст мне. Ему неловко, и он произносит тоном приказа: «Вот, вот и вот. Это вам. Это мне. Замечательные заявки в этом месяце».

Я подхожу к нему, и мы начинаем братский дележ — Сестрорецк ему, Репино мне, Лугу ему, Луга мне, ремонтная мастерская на Васильевском острове мне, это повезло, что остался Васильевский остров, просто не заметили, Васильевский остров они берут, а станция Сосново, ремесленное училище,—ему. Туда полтора часа электричкой и там еще на автобусе.

— Вы должны расширять круг тем,— строго обращается он ко мне.— Так дело не пойдет. Кроме Гоголя были на Руси еще писатели. Я бы мог вас гораздо лучше использовать, но у вас ограниченный круг тем.

— Не спорю,— говорю я улыбаясь. И оба мы знаем, что круг тут ни при чем.— Я буду его расширять.

— Устал,— тихо говорит мне мой начальник и хмурится.— Устал, как пес.

Я понимающе киваю головой. Все усталые люди кажутся мне похожими на моего отца.

Я вышла из бюро, в сумке у меня лежала пачка путевок, и я дала себе слово, что выполню то, что набрала, а потом сделаю перерыв и переключусь на науку. Настроение у меня было самое обыкновенное, среднее, которое хуже плохого, потому что в нем ничего нет — ни горя, ни радости, ни запаха весны, ни Невского проспекта, никакой неожиданности, никакого ожидания. Только пачка путевок и два с половиной часа пустого времени до электрички, которая уходит с Финляндского вокзала.

Я медленно шла по Невскому, думая об этих двух с половиною часах, когда поняла, что сейчас, через минуту или две, встречу Александра Петровича. Он уже шел мне навстречу, я уже видела его, но еще не понимала, что это он. А он уже держал меня за руку.

— Это вы? Все-таки вы. Я уже думал, что вы уехали из Ленинграда. Я вас потерял, хотя точно знал, что этого не может быть. Между прочим, я там в Москве еще дожимал с вашей аспирантурой и довел дело до конца. Знаете, какой сегодня день? Особенного значения это не имеет, но все-таки. Потом скажу. Человек слаб. И так приятно получить подарки. Я старый дурак, так я рад, что встретил вас и где, главное? На Невском. Это смешно, дико банально. Давайте сразу выясним, сколько времени в нашем распоряжении.

Я засмеялась — пригодились мои два с половиной часа.

— Дело в том, что сегодня день моего рождения, мне исполнилось сорок лет, чтобы вы знали. Конечно, ни одной душе на свете это неинтересно, никому дела нет. Но то обстоятельство, что именно сегодня я вас встретил... Мои друзья и враги называют меня счастливым. Сейчас я готов с этим согласиться. Господи, как я рад.

Он говорил, я слушала.

— Что-то мне не нравится, как вы молчите, — произнес Александр Петрович. — Идемте.

Он показал рукой в сторону кафе.

— Опять кафе, — заметила я, — только по-другому называется. И в другом городе.

— Между тем кафе и этим прошло несколько месяцев, — сказал он. — Или же лет. Вы успели меня основательно забыть, мадам.

Мне бы поддержать легкомысленный тон, но я молчала.

— Чужая сидит, чужая, — бормотал он, и я припомнила, как прекрасно он читает мысли собеседника, но сейчас и это меня не трогало.

Я и была чужая и все видела, как чужая. Я хотела быть чужой.

С кем-то он поздоровался, промелькнули веселые черные глазки и веселые розовые щечки и зеленое платье, достаточно короткое. «Как странно, — подумала я, — в профессорской среде такие короткие платья».

Он все повторял, что я чужая, разливал коньяк и разрезал парниковый пахучий огурец.

— Ну-с, за что выпьем? — спросил он веселым, ласковым голосом.

«Точно так же спрашивал и тогда. И фраза и голос в точности», — вспомнила я.

— Она все хмурится, и лицо такое, как будто пересчитывает мои грехи, — продолжал он расшифровывать

мои мысли.— А время идет, обидно даже. Ну смотрите, смотрите тогда внимательно, похож я на сукиного сына?

Его голос звучал так, как будто всю свою жизнь я слышала только его и его ждала. Голос сбивал с толку, голос принадлежал родному человеку.

— В Москве вы были совершенно свободное существо, а сейчас не пойму. Но разберусь,— засмеялся он.— Тоста от вас не дожدهшься. Интересно, что вы так на меня смотрите... Хоть бы огурец съела, а то и на огурец смотрит так, как будто он отравленный...

— Я учусь расслаблять мышцы лица,— сообщила я,— это довольно трудно.

— Это совсем не трудно, если не считать собеседника сукиным сыном,— опять засмеялся он,— если считать его порядочным человеком, то мышцы лица прекрасно расслабляются.

— Я вас поздравляю с днем рождения,— сказала я.

— Это я сам себя поздравляю — сижу с вами. Я всегда сам себя поздравляю. На этот раз выпал случай, слепой и счастливый, знак зеро...

Величайшая пустота и бессмысленность пребывания здесь, в этом давно уже нелюбимом мною кафе с переправленным названием и перестроенным помещением, с полужнакомым человеком, с интересным мужчиной, как сказала бы мама, на мгновение приоткрылось мне при этих его словах. Они были произнесены красивым голосом, таким грустно-легким тоном, в духе иронии над самим собою.

Меня пронзила вдруг мгновенная ясность, точное понимание человека, сидевшего напротив меня, посетила мудрость с тем, чтобы потом уже исчезнуть навсегда. В эту сверкающую минуту я поняла и представила себе все как есть и как будет, а потом уже больше никогда не представляла и это все забыла. Я посмотрела на себя и на него трезвыми, насмешливыми глазами той его знакомой в зеленом платье, которая села неподалеку и блестящей ложечкой ковыряла пирамидку из мороженого и печенья, такую воздушную, нежную и фирменную. Женщины, проходящие в это кафе, как правило, любят сладкое.

Я, в своем прозрении, знала, что обаятельный этот человек уже не раз так сидел, влюбленный, и говорил нежные слова и опять сидит, говорит,— он не меняется. Меняются только дуры, которые его слушают. А вот те-

перь гордая дура я, сижу и слушаю, боясь пропустить слово.

Еще я вижу, что он некрасив и стар, по виду ему гораздо больше его сорока лет, еще слышу его настоящий голос, еще могу встать и уйти. И забыть, как звали. Вижу заученное, рассчитанное на эффект движение, которым наливается коньяк из графинчика в рюмку, и другое движение, которым рюмка подносится ко рту.

Слышу:

— Ну, милая, выпейте. Я загадал.

Я узнала старый прием соблазнителя девушек и отказалась.

— Честное слово — загадано, — клялся он, но меня это совершенно не трогало. Мое прозрение еще длилось.

Женщина в зеленом платье решительно отодвинула пустую вазочку, расплатилась, снялась с поста наблюдения, бросив последний взгляд на наш стол.

Я спросила:

— Кто она?

— Эта? — Он пожал плечами. — Бедняга, очень некрасивая.

— Вы с ней поздоровались.

— Но от этого она не стала красивее, — засмеялся он.

«Как, должно быть, трудно иметь с ним дело, — подумала я. — Он способен на ложь, а значит, и на предательство, верен лишь самому себе», — поняла я, все еще видя его точным, незамутненным зрением.

— Некрасивые женщины — это совсем особенные создания, — изрек Александр Петрович, — надо их жалеть. Вам не понять, вы ребенок без комплексов. Да, да, — он опять засмеялся, — напрасно делаете вид, что обиделись, нет у вас комплексов!

— А неуверенность в себе? — спросила я.

— У вас? Не смешите меня. Вот ваши лекции внушают мне подозрение. А может, это не лекции никакие. Сознайтесь. Не хотелось бы, чтобы молодой красивый моряк ждал вас на опушке леса в восемнадцать ноль-ноль.

— На опушке леса меня ждут сорок ремесленников, — ответила я. — Опаздывать я не имею права.

— Занудная, как учительница, но я не боюсь, — сказал он, совершенно уверенный в своем обаянии.

Я подумала, а не слишком ли он много пьет, но, в конце концов, мне не было никакого дела до того, сколько он пьет.

— Свидание — хуже не бывает, — сказал он уже на перроне, где мы ждали электричку. — Следующее должно быть удачнее. Признаюсь, я испытываю опасное желание рассказать вам свою жизнь с самого начала, а это грозный признак. Я сдерживал себя, потому что там была Москва, транзит, а сегодня вам явно не до меня. Но когда-нибудь будет так, что мы встретимся для того, чтобы встретиться. Я прошу вас об этом. Обещайте сейчас, не то подойдет ваша гадкая электричка. И я, несчастный старик, отправлюсь домой.

Я сказала: «Обещаю» — и нахмурилась, словно это согласие далось мне с трудом, а оно далось без всякого труда, вполне легко и бездумно.

— Кажется, что бежал бегом, а увидел ваши прозрачные глаза и остановился как вкопанный. И больше некуда бежать. Знаете, как это называется? Влюбился. Вы меня не слышите, мадам, вы смотрите куда-то мимо.

Я слышала его. Состояние благоразумия уже покидало меня.

— Вы не верите?

Но я уже верила всему, что он говорил, и всему, что он когда-нибудь скажет, каждому слову, каждой улыбке, каждой лжи.

Спортсмены в куртках из материала жесткого как жезл, ранние дачники, груженные продуктами, прыгали в вагон, толкали меня, я им мешала. Я стояла, вперив внимательный и бессмысленный взгляд в окна пустой электрички, смотрела на пустые желтые скамейки.

— Посмотрите на прощанье мне в глаза и скажите честно, похож ли я на соблазнителя?

Я оторвалась от желтых скамеек и посмотрела на него. Он был похож на соблазнителя, он и был им. И еще он был похож на человека, которого каждый открывает для себя. Я открывала его для себя, ничем не примечательного мужчину с усталым, нервным, худым, как будто голодным лицом и грустно-веселыми, умными и тоже голодными глазами. И я, я первая увидела их грустное собачье выражение преданности. Еще не зная, к чему относится эта преданность, я приняла ее на свой счет и потеряла голову. Я восхищалась его коричневым костюмом, его белой полотняной рубашкой, его пего-седыми волосами, всей его некрасивостью, красивее которой я уже ничего больше надолго не видела вокруг. Все это произошло в какие-то не замеченные мною мгновения.

Электричка бесшумно стронулась с места и поехала.

— Телефончик! — крикнул он на прощанье и вытащил сигаретную коробку и толстую шариковую ручку. — Адресочек. Все координаты. Больше я так не согласен.

Он записал на коробке мой адрес и телефон.

— Завтра в семь позвоню, — крикнул он

Назавтра он не позвонил. Я прочитала в вечерней газете, что в составе делегации университета он уехал в Тарту на юбилейные торжества. А через три дня получила телеграмму такого содержания: «Встречайте таллинский поезд везу материалы вагон шесть Федоров».

— Довольно загадочный текст, — сказала мама, разглядывая телеграмму, — везет материалы... в шестом вагоне... Шифровка.

К счастью, ее позвал отец, попросив найти ножницы. Считалось, что мама обладает даром находить пропавшие вещи. Обручальные кольца в песке на пляже, прошлогодние счета за телефон, пуговицы, пепельницы, иголки и вообще любые вещи, которые только что были здесь и бесследно исчезли.

Никогда я не получала таких тайных, превосходно продуманных телеграмм. Так восхищала меня эта изобретательность... Подпись Федоров, хотя он не Федоров, а Федоренко. Такой бесшабашностью веяло от этой депеши, как будто явился в дом обаятельный безответственный гуляка, пришел и встал в дверях, сдвинув серенькую кепочку на затылок. Пришел, зовет меня с собой.

На Балтийском вокзале горьковато пахло эстонским сланцем. Встречающих было мало, и они выглядели сиротливо, как обычно выглядят люди перед поездами и самолетами.

Было мне не совсем ясно, как мы должны встретиться. Если он возвращается с официальной делегацией, то кто тогда я — незнакомка, сестра, племянница. Но человек, придумавший такую ловкую телеграмму, наверно, придумал и все остальное.

Мне ни на секунду не представилась банальность ситуации, вся ее заведомая пошлость, а только прелесть и неповторимость — утро, вокзал, тайная встреча, никто никогда не испытывал ничего подобного.

Он вышел из вагона собранный и важный, как офици-

альный гость, спускающийся по ступенькам под щелканье фотоаппаратов. Он был не такой, как в Москве, и не такой, как на Невском.

Я увидела его сразу, а он меня не узнал из-за темных очков, надетых для конспирации. Я их сняла, и он улыбнулся.

— Пришла,—крикнул он негромко и кинулся ко мне,—я страшно боялся, что-нибудь помешает. Телеграмма опоздает или еще что-нибудь.

— Телеграмма не опоздала,—сообщила я, как обычно, не слишком находчиво.

— Пришла, стоит тут со своими очками дурацкими. Мне было очень важно, чтобы пришла. Я всю ночь заснуть не мог, так ждал,—шептал он почти растерянно, утратив сходство с официальным гостем.—А сейчас я вас познакомлю с моим другом Львом Андреевичем...

Молодой и совершенно седой мужчина, чем-то неуловимо похожий на него самого, пожал мою руку, внимательно посмотрел на меня зелеными, как два свежих тополиных листика, глазами и сказал, что очень рад. От него веяло оптимизмом, терпимостью, здоровьем и хорошим настроением.

— Счастливчиков встречают,—проговорил Лев Андреевич жизнерадостным голосом, голос соответствовал его внешности,—а мне бежать на два заседания. Сожалею. Еще увидимся.

Он свободным, отработанным офицерским жестом приложил руку к серебряным кудрявым волосам.

— Это и есть делегация?—поинтересовалась я, когда он отошел.

— Была еще одна ученая дама, задержалась в Таллине. Пусть бы осталась там навсегда. Пошли?

Далеко мы не ушли.

— Зайдем?—подмигнул Александр Петрович на вывеску ресторана.

И мне захотелось туда пойти, в этот неудобный привокзальный, пропахший поездами ресторан. Сидеть там за столиком и смотреть в глаза своему избраннику в это майское рабочее утро. Я забыла о всей предыдущей жизни, словно ее и не было, предала эту жизнь и всех, кто был в ней. И была поначалу оглушительно счастлива в каждое мгновение своего предательства.

— Мы пойдем с вами в гости к Левочке,—сообщил Александр Петрович.—Великолепный мужик, талантливый

вый, умница. Без недостатков. А достоинств тьма. Очень радушный хозяин. Он нас звал.

Мама могла быть довольна, узнав, с кем я вожу компанию. Тщеславие, честолюбивые видения промелькнули передо мной, пока мы ожидали яичницу и кофе. Я чувствовала себя радостной замарашкой, которую скоро, может быть, призовут в высшие сферы, и надо подтянуться и постараться, чтобы быть на уровне, когда призовут.

— А что мы будем дальше делать?— спросил Александр Петрович.

Я была совершенно свободна, мои наставники и учителя собрались в этот час в восьмой комнате без меня.

Ресторан был пуст и находился как будто на краю земли. Никто нас здесь не встретит, никто не застучает, можем сидеть до ночи, подумала я.

— Придумал!— воскликнул Александр Петрович.— Поедем на кладбище. Вы были когда-нибудь на Литераторских мостках? Отвечайте!

— Зачем?— удивилась я.

— Просто так, погулять. Непонятно?

Да, непонятно. Ведь я была простая девушка, радостная замарашка, что я видела в жизни, откуда мне было знать, что можно гулять на кладбище.

Мысленному взору представились могилы, полуразрушенные плиты, ограды, мелкие белые кладбищенские розочки, шекспировские могильщики. Обелиски-пирамидки с фарфоровыми портретами в овалах, где тот, кто умер старым, изображен молодым и оттого кажется, что все умерли молодыми... В запасе были две новеллы-легенды. Вполне сносная кладбищенская эрудиция, но никогда в жизни я не ходила на кладбище погулять.

Вся изысканность этой затеи открылась мне, когда мы остановили такси у ворот кладбища и пошли, разглядывая памятники, читая надписи и подсчитывая, сколько лет кто прожил, каждый раз удивляясь тому, как мало.

— А на востоке,— сказал Александр Петрович,— поступают мудрее... Там нет нашего разнообразия в памятниках и в принципе отношении к могиле иное. Там могила ничего не отражает, кроме самого факта смерти. А на памятниках высекают одно,— руку, голую руку, как символ того, что ты пришел в этот мир с пустой рукой, так и уйдешь. Сколько бы ни старался, ни делал подлостей, подхалимничал, подкрашивался и перекрашивался, старался накопить побольше добра, денег или почестей. Ан нет, го-

ворят нам восточные могилы, ничего подобного. Как пришел, так и уйдешь, мой милый, с пустыми руками.

Александр Петрович говорил медленно и смотрел на меня, как будто проверяя, благодарный ли я слушатель.

Лучше слушателя ему было не найти. Я и раньше всем сердцем откликнулась на благородные призывы, а уж тут, в электризующей обстановке кладбища, я даже вытянула руку вперед и посмотрела на свою ладонь, сколь она пуста. С некоторым трудом удержалась я от цитаты из Маяковского относительно свежевывытой сорочки. Все-таки я была городской лектор, и подобные цитаты рвались с моего языка. Но я сказала только:

— Какой могучий символ.

— Да, символ,— согласился Александр Петрович с некоторой скукой. Наверно, мои слова показались ему казенными.

— Собственно, я хотел подойти с вами к одной могиле, моей любимой. Вы поймете, когда увидите. Не могу ее найти. Склероз. Но я ее найду, если вы наберетесь терпения. Вы не устали? Вам не скучно?

Я посмотрела на него укоризненно. От могилы к могиле не шла я, а летала, прочитывая имена усопших, и зачем-то еще старалась их запомнить.

Мы шли долго.

Наконец Александр Петрович остановился и сказал:

— Вот эта могила.

Я сразу поняла, почему мы ее искали.

Тихое величие исходило от поросшего старой травой длинного бугра и склоненного над ним дуба. Это была могила Тургенева. Она казалась забытой и давно заброшенной. В этом, наверно, было все дело, весь потрясающий эффект, что даже найти ее было трудно, и она так выглядела, как будто никакого Ленинграда, никакого Петербурга, никакого Парижа никогда не было и в помине,— только тишина, белое небо, порыжелая трава и наклонившееся дерево были всегда. Здесь не люди, а природа хранила вечную память о своем сыне.

— Он был очень высокий, поэтому такая могила,— сказал Александр Петрович.

Я знала, что Тургенев был высокого роста, знала, что он умер в Буживале в восемьдесят третьем году, что незадолго до своей смерти он писал Толстому, и множество

инных фактов были мне известны, лекция о Тургеневе у меня была уже готова, но я сообразила промолчать.

— Ну вот,— сказал Александр Петрович — это всё.

Когда мы подъехали к моему дому, он сказал:

— Сам не знаю, зачем понадобилось нам туда ездить. Просто подумал, а вот на кладбище ее еще никто не возил...

И посмотрел на меня, проверяя впечатление.

А мне во всем чудилась любовь.

— Чтобы меня не выгнали с работы, я должен съездить в университет на лекцию,— сказал он.— Можно?

Я засмеялась.

— После лекции встретимся. Я буду ждать вас, допустим, вот на этом углу.

...Мимо «этого угла» я проходила по несколько раз в день, проходили мои родители, знакомые и соседи. Мои школьные друзья любили тут стоять.

На углу была витрина кинотеатра, где выставляли хорошие кадры из плохих фильмов и плохие из хороших. Тайну рекламы мы разгадали давно.

Это был угол улицы и одновременно угол дома, построенного в мавританском стиле. Дом был украшен балконами, башенками, арочками и стрельчатыми окнами. Давно миновало то время, когда мы считали этот дом очень красивым и очень старинным. Проявляя осторожность людей образованных, мы стали называть его псевдомавританским.

Мимо угла пролегали трассы — «Аптека», «Булочная», «Рыба», «Гастроном».

Четыре дома отделяли угол от моей парадной.

Он стоял и ждал.

Когда я подбегала, он, не глядя на меня, произносил слова, от которых у меня замирало сердце.

— Бежит,— говорил он,— я все думаю: не может быть, чтобы она бежала ко мне. Ну, пойдем куда-нибудь. У нас сорок минут.

Мы теперь встречались два, и три, и четыре раза в день.

— Я хотел только убедиться...— произносил он начало фразы, оставляя мне ее конец.

— Что молчишь?— спрашивал он.

— Я не молчу,— отвечала я шепотом, который слышала вся наша улица, вся площадь и все мавританские балконы.

...Маленькая темноволосая Фрида Михайловна, участковый врач, остановила меня:

— Что ты мчишься как угорелая? Твои здоровы? Мне надо зайти к вам, выписать твоей матери снотворное. Утром встретила твоего отца.— При упоминании об отце ее лицо становилось нежным.— Я твоего отца обожаю. Мать я тоже люблю, однако как врач считаю, что никаких особенных болезней у нее нет. Практически она здорова.

Это было замечательное свойство Фриды Михайловны — считать своих пациентов здоровыми.

— Если тебя интересует, стоит ли у кинотеатра на углу один незнакомец — синий плащ, седые виски, типичный неврастеник, говоря между нами, то он стоит,— закончила Фрида с непроницаемым лицом.

Я попросилась.

Тогда она спросила:

— Слушай, тебе не приходило в голову, что у него есть жена?

И, не дождавшись ответа, запела Баха и ушла с гордо поднятой головой.

Через несколько дней Александр Петрович повторил приглашение Льва Андреевича.

— Просят пожаловать к восьми,— сказал он.

Я решила, что шутливость прикрывает официальность приглашения. И начала волноваться, боясь женщин, которые там будут.

Нас встретил жизнерадостный хозяин.

В кабинете на доске секретера стоял поднос с рюмками, сыр, шоколад. Я поняла, что напрасно опасалась встречи с женой и другими гостями.

Когда хозяин вышел в другую комнату, Александр Петрович сказал:

— Так красиво сегодня моя девочка оделась и причесалась в парикмахерской. И даже это не могло ее испортить.

Было довольно скучно. Лев Андреевич без конца уходил звонить по телефону.

— Создает условия,— улыбнулся Александр Петрович,— милый мужик.

— Давай сюда больше не ходить,— предложила я.

Но мы продолжали ходить, потому что ходить нам больше было некуда.

Однажды, когда мы сидели в том же кабинете, перед тем же подносом, пришли московские гости, муж и жена.

Жена, коротко, по-мужски стриженная блондинка, была одета, как мотоциклистка, во все кожаное. Невысокий и худенький муж, в черных пажеских башмаках на каблуках, в бархатных брюках, с шелковым платком на шее, выглядел рядом с нею хворым мальчиком в маскарадном костюме. Энергичная женщина, войдя, сразу проверила окна и форточки. Форточку попросила закрыть. Изучила места для сидения и указала мужу, куда садиться.

Он сел в кресло, как садятся в президиум, с достойным безразличием, и стал всматриваться в зал — из простого человеческого любопытства.

А жена стала изучать людей — кто тут есть, с кем надо разговаривать, нет ли каких начальников, нужных людей. Пошутила немного со мной, пошутила с хозяином, похвалила Ленинград и по точной системе сигнализации передала, что начинать надо с Александра Петровича.

Муж немедленно задал чепуховый вопросик неживым, но четким голосом. Жена пояснила:

— Николаша смущается в незнакомом обществе.

Этого заметно не было, но она настаивала:

— Застенчив. Рассеян. Вот доказательство.

Она вытащила из сумки перчатки.

— Где ты их оставил? — спросила она мужа.

— В такси, — ответил он.

Несмотря на то что говорили о нем, он скучал. Скучая, отпустил мне вялый комплимент:

— Какая хорошенькая женщина.

Александру Петровичу так же скучно сообщил, что много слышал про его замечательные труды по истории и кое-что читал.

Александр Петрович ответил:

— Ну уж и читал.

Скучающий гость похвалил кабинет:

— Потрясающий кабинет.

— Только в Ленинграде можно встретить такие хоромы, — сразу подхватила жена.

— Где умение скрывать свои чувства? — шепнул мне Александр Петрович.

— Сейчас улыбнусь, как она,— показала я в сторону.

— Мы вас где-то видели,— ответила она на мой взгляд.

— Такую женщину я бы запомнил,— сказал муж.

Покончив таким образом со мной уже до конца вечера, они стали разговаривать между собой. Женщине, у которой была большая решительность, муж казался недостаточно решительным. Она матерински выговаривала ему.

Лев Андреевич ушел на кухню варить кофе, Александр Петрович отправился с ним, и я осталась одна в этом океане решительности, где на меня не обращали внимания.

— Чего ты стесняешься? Ты должен действовать решительно...

— Ты мне надоела, киска!— воскликнул муж.— Посмотреть на тебя— великолепная женщина, а послушать— девчонка.

Его сонные глаза оживились, он погладил алебастровые руки дамы.

А в общем они меня не интересовали. Они не имели ко мне никакого отношения.

Я сказала об этом Александру Петровичу.

Он не согласился.

— Неинтересных людей нет. Я должен сделать из тебя историка. В другом ты права, у нас своих проблем хватает. Проблема номер один, например. Как уехать из Ленинграда...

Я была готова все бросить, ехать куда глаза глядят. Он не мог. И уезжать нам было некуда.

— Я вырвусь,— говорил Александр Петрович веско и спрашивал:— А ты?

— Я вырвусь,— заверяла я его.

— Я обязательно. Подожди еще немного.

Я могла ждать. Мне только не хотелось ходить к нашему другу Льву Андреевичу и встречать там людей, которые ни к чему не имели отношения.

Я помню вечер, много таких вечеров. Отец за письменным столом пишет и вздыхает. Ему не хочется работать, а приходится. Если можно быть ленивым и трудолюбивым одновременно, то он такой.

Медленно он раскладывает на столе потрепанные технические справочники, долго чинит карандаши, перебирает бумаги. Идет попить чайку или к телефону, поднимается с места расправиться с мухой.

Отец по совместительству был техническим судебным экспертом. Что-то построили, и оно упало, кто-то стоял на лесах и сам упал, а для того, чтобы разобраться, кто виноват, судьи нашего района обращались к отцу, который считал, что в этом мире вообще нету виноватых.

Часами отец сидит за столом, исписывает листы четкими и крупными буквами. Закончив, он потягивается, говорит: «Всё, Бобик сдох» — и идет искать простоквашу. Он каждый вечер ищет простоквашу.

Столкнувшись со мной в коридоре, останавливается, смотрит на меня внимательнее, чем нужно, и жалуется, как будто в шутку: «Сколько денег ни дай, к вечеру все равно есть будет нечего. Домик — прорва, господи, твоя воля».

Я говорю: «Вот безобрази», — а сама слушаю, не звонит ли телефон.

Звонит телефон, и я бросаюсь в комнату. Мы договариваемся встретиться, и я начинаю поспешно собираться.

В комнату ко мне входит мама.

— В следующий раз я сама возьму трубку, — угрожает она, — и сама скажу этому гражданину, чтобы он прекратил сюда звонить. В противном случае я знаю, как надо поступить.

— Оставьте меня в покое, — кричу я. — Хватит.

— Знай. Я приму решение, — обещает мама.

Я уйду, оставляя маму принимать решение, которого она никогда не примет, оставляю отца, которого все это мучает и разрушает его сердце.

Он провожает меня до прихожей и говорит бодро:

— Ты знаешь мамку. Надо терпеть. Все равно лучше нашей мульки-дорогульки никого нет. Беги, я ее успокою.

На углу на фоне мавританских переплетов стоит Александр Петрович.

— Ты? Пришла? — спрашивает он. — Все-таки это невероятно.

Он повторяет это часто, я готова слушать бесконечно.

— Есть новости, — сообщает он. — Завтра мы можем ехать в Москву. Ты рада, милая?

Я понятия не имею, как я могу завтра уехать в Москву, но я счастлива.

— Я рад, — задумчиво произносит он, — Москва город, где мы встретились. Доживем до завтра и уедем.

Я стараюсь запомнить его слова.

В подворотне одного из домов стоит мой бывший соученик Леша Моргунов с компанией. Из школы его выгнали после восьмого класса. Парень с красивым, порочным, загубленным лицом смотрит на прохожих, пугает их опухшими холодными глазами.

Дружки, надвинув на лбы буклевые кепки, заложив руки в карманы, стоят тихо вокруг него.

Я здороваюсь с компанией. Александр Петрович догадывается:

— Знакомые уголовники?

Мы ходим по нашей улице, от угла до угла.

Доживем до завтра и уедем.

...Когда мы гуляли, звонил Роман и сообщил, что через два дня заседание кафедры, на котором стоит мой отчет о работе над диссертацией.

Мама, забыв про ссору, смотрела на меня огромными черными глазами и спрашивала, что теперь будет. Мне ее нечем было утешить.

Месяц назад я была у Затонской дома, показывала план будущей диссертации.

Затонская сказала:

— Вы не работали. Откровенная отписка. Это,— она потрясла страничками,— вы накатали за час. Полагаю, вы не будете на меня в претензии, если мы не станем этого обсуждать. Меня не касаются причины, которые помешали вам работать. Такие причины всегда находятся и кажутся нам существенными. Будем надеяться, что дело не в материале или неудачном выборе темы.

К моим изысканиям в области современной немецкой литературы Затонская относилась весьма сдержанно. Я приписывала это снобизму. Поэтому я с тренированно-вежливым видом слушала ее, а думала свое.

«Ладно,— думала я,— тут я поторопилась, признаю. Но в принципе вас отталкивает жгучая современность темы. Все ясно. А также и то, что я не Монин».

Я начинала учиться не уважать своих учителей.

— Нет, темой я довольна,— ответила я, не отрывая взора от табакерки с собачками, выставленной в витрине с фарфором.— Дело не в теме.

— Ну если не в теме,— сказала она насмешливо,— остается пожелать вам начать поскорее работать. Времени мало. Аспирантское время астрономическому не равно, оно особое. Считайте, что катастрофа уже наступила.

«Не проведете»,— мысленно ответила я.

Провести меня действительно не удалось, диссертацию в срок я не написала, я ее вообще не написала.

Я чувствовала неприязнь Затонской. Она должна была меня презирать за то, что я так пролезла в аспирантуру. Наверно, в ее глазах я была ловкой карьеристкой. Я могла стараться изо всех сил, все равно бы я ей не угодила. Но я и не старалась.

Под конец встречи Затонская спросила:

— Интересуетесь стариной?

Я заверила ее, что абсолютно не интересуюсь.

— Очень хорошо,— сказала она,— вам надо интересоваться только диссертацией.

Я попрощалась, пошла по Невскому, чувствуя себя обиженной, даже оскорбленной.

А ведь было еще не поздно и мои добрые учителя еще хотели, еще могли мне помочь.

...— Роман пожелал тебе успеха,— сказала мама.

Я улыбнулась.

— Мне кажется,— задумчиво продолжала мама,— что я была знакома с его матерью или же тетей. Ты случайно не знаешь, они старые ленинградцы?

Это была одна из ее слабостей, искать знакомых среди незнакомых.

— Это имеет значение?

— Он будет тебе вредить.

— Он не может мне навредить больше, чем я сама.

Жестоко, конечно, было так с ней разговаривать.

В дыму неисчислимых папирос темной ночью в спящей квартире она думала только об одном — о моем будущем. Я была ее честолюбием и надеждой всегда, с детства. Довольно трудно быть чьим-нибудь честолюбием.

Она не постеснялась пойти разбудить отца, чтобы спросить, как звали двух сестер, с которыми они познакомились до войны на даче в Сестрорецке и которые никакого отношения не имели к Роману и не могли иметь.

Отец раскричался, как посмели его разбудить, но она его быстро успокоила, убила, что это важно.

— А ты что, забыла?— удивился отец, вдруг совершенно перестав сердиться. То ли успел выспаться, то ли в самом деле вспомнил двух симпатичных женщин. Он даже улыбался. Я стояла в дверях и наблюдала эту сцену.

— Две смешные толстухи, Анечка и Манечка, фами-

лия их была Розенцвейг, у одной большое родимое пятно на щеке, а вторая рисовала светящимися красками абстрактно, недурно пела, тяготела к искусству.

— Ах, ты помнишь такие подробности...— заметила мама.

— Ты тоже помнишь, не знаю, что на тебя нашло. Анечка погибла в Киеве, в Бабьем Яре. Вместе с нею ее муж, он был русский, ученый-химик, он пошел вместе с ней. А сестра жива, я ее иногда встречаю на Большой Пушкинской, совсем старуха стала. Они были хорошие женщины.

— Обаятельные?— спросила я.

— Да,— ответил отец. Он окончательно проснулся.— А зачем вам понадобились сестры Розенцвейг? Анечка была красавица.

— Да,— прошептала мама,— правда. Настоящая итальянка, итальянская камея.

— Насчет камней — точно.

— А он пошел с ней,— проговорила мама взволнованно, с глазами, полными слез. Отец уже сидел на тахте, натянув простыню до горла, и цокал губами, как старый узбек.

— Только зря, милые дамы, вы меня разбудили, я теперь не засну.

— Знаешь, папочка.— Я порхнула к нему и поцеловала в щеку.

— Ну вы хоть скажите, почему вы их вспомнили?— спросил он.

— Не скажем,— засмеялась я.— Секрет. Ты спи давай дальше.

— Может, тогда чайку скипятишь?— сказал отец.— Или не стоит. Разгуляюсь окончательно.

— Я ухожу спать,— ответила я.

Мне хотелось уйти в ту минуту, когда они забыли, что со мной происходит, и разговаривают так, как будто все по-старому. Это было удивительное свойство родителей,— иногда они так чудесно разговаривали, смеялись, шутили, понимали все с полуслова, были полны мягкости и доброты. Они бывали такими милыми, что никого милее я и не знала. И я поспешила ускользнуть, оставила мать вспоминать и горевать о погибшей женщине. И отца, который не сердился, что его разбудили среди ночи; он что-то говорил и смеялся, я еще долго слышала его голос и его смех.

Утром я пошла в поликлинику к Фриде выпрашивать справку, которая ни от чего не спасала. Захотят выгнать из аспирантуры, выгонят со справкой.

Фриду я встретила на дорожке в саду, она бежала в халате и голубой косынке, издали казалась молоденькой,—иногда в человеке проступает его юность, и видно, каким он был.

Я сделала жалобное лицо и изложила суть дела.

— Какая тебе нужна справка, не пойму?—спросила она, поджимая губы, и сразу перескочила из юности в старость: передо мною стояла крошечная суровая справедливая старушка, какую она еще будет.

— Хоть какая-нибудь.

— У тебя свободное расписание, я твой статут знаю. Можешь лавировать.

— Насчет свободного расписания это одни слова. Когда заманивают в аспирантуру, так говорят. А когда заманят, так уже не говорят.

— Ясно, понятно,—оборвала она меня.—Слушай, я ведь его знаю.

Я пожала плечами.

— Я у них дома бывала, жену знаю. Ты выше таких предрассудков, как жена? Жен бросают ради таких девушек, как ты, ты так думаешь?

— Все против меня,—засмеялась я.

Мы получили номера в гостинице «Москва».

«Наш первый дом»,—сказал Александр Петрович, когда мы вошли в восхитительно стандартный маленький номер, пахнувший мастикой для полов и свежеполитой мебелью, предназначенный мне, а затем в такой же стандартный и так же пахнувший, но большой, двойной, его номер.

«Ты все время будешь у меня»,—сказал он, и я по-своему, как мне было надо, трактовала оба высказывания. Если номера в гостинице наш первый дом, то будет и второй, уже настоящий. Так выглядела официальная сторона моего положения. Слова: «Ты все время будешь у меня»,—сказанные шепотом и с улыбкой, я трактовала как любовь.

Александр Петрович был неузнаваем, он вновь обрел ту беспечность, бесшабашность, радость, которые так поразили меня в нашу первую встречу. Это были его мо-

сковские черты, не ленинградские, как будто он здесь получал свободу от самого себя. Так оно и было.

У него были дела (в связи с ними он приехал), и он просил меня:

— Пойди погуляй. Два часа подыши воздухом.

Это означало, что на это время он просит меня исчезнуть, к нему придут, он должен работать.

— Только не задерживайся. Мы с тобой идем в гости.

Вчера я так поддалась столичным соблазнам, что опоздала к установленному часу.

И я полетела по мягким царственно-красным дорожкам коридора, опустилась в лифте, пронеслась по вестибюлю в облаках сигаретного дыма и горького запаха черного кофе. В парфюмерном киоске я купила духи ради удовольствия что-нибудь купить. Положила в сумку плоский пакетик и вышла из подъезда.

Я остановилась, чтобы насладиться тем, что вот я выхожу из отеля, где живу, стою в подъезде, глядя на улицу Горького, вижу людей, идущих на пересечении главных путей столицы. Я тоже гуляла по этим улицам с чувством, что все это мое, все мне принадлежит.

Александр Петрович предупредил:

— Все люди по-своему интересны, договорились? Ты умница.

«Умница» было вставлено как подпорка.

Я ответила:

— Я думала, что тебя окружает академическая обстановка, которая знакома мне по университету. К ней я была готова. Но ты сам в ней не живешь. Тебе нужна отдушина?

— Умница,— повторил он.

Мы подъехали к современному дому, похожему на элеватор, с закругленными углами. Когда мы вошли в квартиру, на нас, рыча, бросилась собачка.

Высокая женщина с распущенными по спине коричневыми волосами выбежала в прихожую, схватила собачку, прижала к груди, посмотрела на нас, как будто мы рычали и лаяли на ее собачку.

Она провела нас в комнату, где уже были гости. Среди них те муж и жена, которых я видела у Льва Андреевича.

Все гости находились в движении, вставали, ходили по комнате, ухаживали в другие комнаты.

На стенах висели картины, такие яркие и беспокойные,

что казалось, они тоже не остаются на местах, а медленно ползут куда-то.

Было очевидно, что этот дом более или менее случайное явление в жизни Александра Петровича, он сам здесь случаен и потому наш визит не имеет никакого значения.

Александр Петрович улыбался безразличной улыбкой туриста, которому интересно что ни покажут. Его собственная настоящая жизнь осталась где-то далеко.

Он наклонился ко мне:

— Обрати внимание на хозяйку. Наталья Ивановна, колоритная фигура.

Я посмотрела — высокий рост, блестящие, как мокрые, волосы, ледяные голубые глаза. Красивая, но лицо странно плоское, лицо хитрого идола, африканской маски с вывернутыми губами, с маленьким приплюснутым носом, но с белой кожей. Она молча ходила среди гостей, не угощала, только собирала грязную посуду и пепельницы с окурками на поднос.

Толстый молодой мужчина ел печеную картошку, поливая ее соусом из красной бутылочки. Она хотела и эту бутылочку швырнуть на поднос.

— Оставь, мать, — сказал мужчина благодушно, но твердо, как умеют говорить толстяки, когда дело касается еды, — жуткая манера.

— Вредно столько есть, — ответила хозяйка, поднимая к потолку свои ледяные глаза, как в молитве. Я была уверена, что она просит всевышнего, чтобы сгинули все, кто здесь находится.

Без всякого вступления она начала рассказывать:

—...я познакомилась с интересным типом. Мне надо было кое-что достать в связи с ремонтом машины... сказали, что есть один, который все может, и сегодня я за ним подъехала в его контору, и вот ко мне в машину садится молодой мужчина... в цилиндре, пиджак полосатый в талию, рубашка с розовым отливом, в руках — стек...

Она замолчала.

— А конец? Конец-то где? — забеспокоился толстяк. — Нечестно. Кто это был? Атташе посольства?

— Граф Кузькин, — мрачно ответила хозяйка.

— Спекулянт, — обрадовался толстяк, — я понял сразу. Правильно, жизнь идет вперед. Спекуляшкин должен подтягиваться, быть на уровне, ушло золотое время, когда он мог позволить себе ходить в ватнике, небритым и попахивать водярой.

— Может достать аб-со-лют-но все,— отчеканила Наталья Ивановна,— денег не берет.

Она смотрела в потолок, где перед ее голубыми холодными глазами проходил, танцуя, спекулянт в цилиндре со стеклом.

Я беспокоилась, не соскучился ли Александр Петрович, но он, пожалуй, даже любовался хозяйкой, ее речью, смелым лицом, одеждой — на ней были мягкие расшитые татарские сапожки без каблуков, короткая зеленого бильярдного сукна юбка и белый свитер.

Она сказала:

— Я иногда думаю бросить все и уйти на какую-нибудь простую, нужную людям работу. Сиделкой в больнице, санитаркой. На такую работу всех берут. Ну, гожусь я хотя бы на то, чтобы мыть в палате полы и носить горшки? Возьмут меня? Что для этого надо?

Она обращалась ко мне, кажется.

— Молчите?— сказала она.— Считаете, что я этого не сделаю. Сделаю. Из Москвы притом уеду, больницы есть везде. Мало ли других городов — Владимир, Углич...

— Суздаль, Ростов Великий,— подсказал толстяк,— Новгород, Псков.

Поднялись из своего угла знакомые муж и жена и двинулись на выход, возле нас затормозили.

— Как Ленинград?— спросила жена развязно.

— О, Ленинград!— воскликнул муж и поднял тонкие руки кверху. Он имел все тот же вид хворого мальчика, которого немного подлечили и отпустили погулять. Но одному гулять не разрешили и эта рослая женщина сопрождает его, не спускает глаз.

— Надолго в наши края?— спросил он меня игриво. В каком-то повороте его щуплого тела вдруг проявилась тренированность гимнаста, выступили мускулы, как из жезла.

Сиделка подхватила его и увела. Слишком много знать ему не полагалось.

И опять, как в Ленинграде, пахло духом блистательного мошенничества. Они прошли передо мною как персонажи плутовского романа, эти двое, маленькая бродячая труппа, где он изображал слабенького и больного, но мог пролезть в форточку и вообще гнул подковы, а женщина, няня, была одета по-спортивному, топала ногами, как солдат, и несла в руках блестящую лаковую сумочку с инструментом.

— Наши милые знакомые,— улыбнулся Александр Петрович.

На самом деле они не были ни знакомыми, ни милыми, но я не спорила и не выясняла, действительно он так думает или только так говорит.

Гораздо лучше было пойти погулять по Москве или остаться в номере. Или пойти к моим или его друзьям. Он говорил, что у него в Москве есть друзья, где ж они?

То место, где мы находились, было похоже на вокзал, на аэровокзал, если угодно, но друзей там не было.

К друзьям мы не ходили. Когда мы уезжали из Ленинграда, я все себе иначе представляла.

Мы жили в Москве уже полторы недели. Каждый день несколько часов он занимался делами — уходил в университет, в издательства, в академию или к нему приходили.

Ему звонили друзья, с которыми он разговаривал так, как будто был один, а меня не было. Я понимала, что его спрашивают о жене. Он становился тогда хмурым, отвечал односложно.

Однажды он сказал мне:

— Сейчас к нам в номер поднимется мой старый приятель. Снизу звонил.

По его лицу я поняла, что это человек, связанный не только с ним, но и с его женой, словом, друг, а не те случайные и необязательные персонажи, которые до сих пор скользили в нашей московской жизни.

Постучав, вошел высокий, худой, с иголки старомодно одетый человек, он, не оглядываясь, поскольку из двери уже все разглядел, сказал:

— Вижу, дамы.

— Познакомься,— быстро произнес Александр Петрович,— моя приятельница, Танечка.

— Вижу. Все вижу,— сказал гость.

— Ну и видь,— засмеялся Александр Петрович.

— А ты считаешь, что все видишь только ты один, а кругом идиоты,— ответил старый друг.

И они начали ловко и быстро перебрасываться шутками, типичными шутками очень старых друзей, которыми можно перебрасываться до тех пор, пока не окажется, что еще одно-два слова — и вспыхнет ссора. Тогда они перестали.

Гость пересел со своего стула ко мне поближе и уставился на меня янтарными глазами рыжего человека, ко-

торый забыл, какой он рыжий, потому что он уже давно седой.

— Меня зовут Иван Сергеевич, позвольте задать вам несколько вопросов.

Он спросил, откуда я, сколько мне лет, кто мои родители, замужем или нет, каких писателей я люблю, была ли я на юге, занимаюсь ли спортом, читала ли я Достоевского или еще не успела как следует прочитать Чехова. Он сыпал своими короткими и насмешливыми вопросиками, как будто играл в викторину и была его очередь спрашивать. Пока Александр Петрович не прикрикнул на него:

— Отстань, прекрати. Не мучай девочку.

— Я вас мучаю, Таня?— удивился он искренне.— Хорошо, я больше не буду.— Он как будто обиделся.— Какие планы?

— Завтракать,— ответил Александр Петрович.

— Ах, я забыл, что ты знаешь только один способ проводить время.

И он опять принялся поддразнивать Александра Петровича, и развеселился.

Когда принесли заказанный завтрак, Иван Сергеевич придирчиво осмотрел стол, накрытый в соответствии с тем набором, который буфеты на этажах гостиницы предоставляли по утрам своим постояльцам.

— А хрен почему не принесли?— спросил он официантку, глядя из-под насупленных бровей. Было совершенно очевидно, что он спрашивает для порядка, чтобы немного подтянуть служащих гостиницы.

— Принести?— приветливо спросила официантка, держась того тона, который у нее установился с этим номером за полторы недели завтраков, кофе и чаев.

— Теперь уже не надо,— сурово ответил Иван Сергеевич.

Александр Петрович, любивший совсем другой стиль отношений, сказал официантке:

— Не обращайтесь внимания, Анечка, он брюзжит, а душа у него добрая.

Официантка засмеялась и ласково посмотрела на Александра Петровича.

— Характер иметь — это все,— сказала она.— Не имей сто рублей, как говорится, но если характер спокойный — это все.

Она, видно, много могла сказать про характеры людей.

За завтраком Иван Сергеевич подробно расспрашивал о ленинградских делах, задавал вопросы, которые показывали, как он хорошо осведомлен о тамошней университетской жизни, и давали ему возможность быть еще лучше осведомленным.

— Что Валентин Григорьевич? Как он сейчас?

— Как всегда над схваткой,— ответил Александр Петрович.

— Настоящий ученый.

— Надо снять три футляра, только там в середине будет он. Но футляры не снимаются.

— Что с его книгой?

— Он не суетился, в конце концов оказывается, что его работы нужнее тех работ, которые сначала кажутся нужнее.

— Ты хочешь, чтобы все были бойцами. А просто порядочный человек, это мало?

Александр Петрович пожал плечами.

— Бережет свое спокойствие.

— А мы не бережем?— вскинулся Иван Сергеевич с такой яростью, что я испугалась, что ссора неминуема.— Эрудированный, талантливый и порядочный человек. Я считаю, этого достаточно,— закончил Иван Сергеевич и посмотрел на меня, призывая в сообщники.

— Вот еще сидит,— засмеялся он.— Левый фланг.

— Танюша,— сказал Александр Петрович,— как ты относишься к нему?

Я не сразу смекнула, что разговор идет о нашем профессоре Мельникове. Своего мнения я о нем не имела, побивалась его иронической улыбки, веселеньких черненьких глазок.

— Не знаю.

— Так не бывает,— настаивал Александр Петрович,— положительно или отрицательно?

— Скорее отрицательно.

— Почему?

— Далек от простого человека,— сказала я, так как он был далек от меня. Употребила прием вполне демагогический.

Александр Петрович меня похвалил.

— Устами младенца...— сказал он.

— Зачарованный кролик,— проворчал Иван Сергеевич. Этот «кролик» очень мне не понравился.

Александр Петрович вступился за меня:

— Ты, Ваня, вечно всех дразнишь.

— Ее учить надо уму-разуму. Мы с ней еще будем друзьями, не беспокойся.

Он так дружелюбно сказал, что наши отношения будут развиваться. Я почувствовала к нему благодарность. Он говорил о каком-то будущем, уж не знаю, что он имел в виду. И пригласил нас к себе, и заверил, что жена его тоже будет рада.

— Кто-нибудь еще придет?— поинтересовался Александр Петрович.

— А тебе что? Подонков у меня не бывает,— отрубил Иван Сергеевич.

Когда он ушел, Александр Петрович сказал мне:

— Ты прекрасно держалась.

У себя дома Иван Сергеевич старался разговаривать на такие темы, которые могли быть мне понятны, интересны и даже полезны. По его мнению, это были вопросы, связанные с проблемами высшей школы, защитой кандидатской диссертации, и разные университетские анекдоты.

Я освоилась, осмелела настолько, что слово диссертация попросила при мне не произносить.

Александр Петрович улыбался.

Когда пришли другие гости, атмосфера изменилась.

Красивая высокая рыжая дама смотрела на меня в точности, как смотрит моя мама, когда решает уничтожить человека взглядом. Дама как бы случайно поднимала глаза и, обнаружив меня, удивлялась, откуда я тут взялась, недостойная, из молодых, да ранняя. На красивом лице читалось: эти нахалки уже в дом стали приходить и за стол садиться.

Вскоре она перешла к открытым действиям и сказала ненатурально:

— Сашенька, расскажи про ленинградскую жизнь. Прежде всего про Катюшу, которую мы очень любим. Мы по ней соскучились, почему ты ее с собой не привез? Вы же всегда всюду бываете вместе. Что за новая манера, оставлять жену дома...

Всем, кажется, было неловко. В мою душу закралось сомнение, не хотят ли меня тут оскорбить. Но я не понимала, за что? Что я им сделала? Просто эта рыжая глупа и не разобралась что к чему. Но рыжая глупа не была. Она отлично во всем разобралась, говорила от имени клана старых жен, давала отпор грядущим новым женам, хо-

рошо зная, как они опасны и беспощадны, потому что сама когда-то была такой. Молодой, дерзкой, бесстрашной, в единственной юбке и единственном свитере, но зато с прекрасной фигурой и ногами, которыми можно гордиться,—и она гордилась. И победила—всех победила старых жен и ту, одну, чье место заняла. Это было давно. Она давно уже была с теми, старыми женами, с которыми когда-то сражалась. И теперь никому не прощала того, что простила себе.

Она продолжала:

— Тогда расскажи нам про нее. Сколько ты ей новых платьев купил? Какого фасона?

Задав такой удачный вопрос, защитница старых жен и гонительница новых победно оглядела присутствующих.

Я старалась не показать обиды. Все это было для меня неожиданно, хотя, наверно, можно было предположить, что среди старых друзей Александра Петровича мое появление вызовет вполне определенную реакцию. Я должна была этого страшиться и этого ждать...

Но я ходила за Александром Петровичем, как коза, и в этот дом явилась, отбросив все заботы нравственного характера. Может быть, я думала, что меня будут приветствовать как будущую новую жену?

Рыжая дама требовала:

— Отвечай.

— Десять,—ответил Александр Петрович, может быть, резко и сердито, но не настолько, чтобы я могла почувствовать, что меня защитили. И задал какой-то контрольный вопрос.

Меня не защитили, просто постарались замять неловкость. Иван Сергеевич поспешил перевести беседу в более интеллектуальное русло.

Иван Сергеевич до конца вечера старался отвлекать даму. Рукописи Мертвого моря ее не интересовали, но комплиментами ее можно было успокоить.

— Ты у нас самая молодая,—уверял ее Иван Сергеевич.

Александр Петрович тоже внес свою долю:

— Никогда не забуду, какая ты была на тот Новый год, плясала на столе.

Она улыbnулась.

В комнате за столом сидели люди, давно знакомые между собой, связанные жизнью, а я была пришлая, незваная, нежелательная.

Напрасно я так стремилась познакомиться с друзьями Александра Петровича. В их глазах я была юная хищница, какая-то там аспирантка, из тех, что бегают за профессором, хотят выйти замуж.

Если бы это происходило не со мной, я бы, наверно, это понимала. Но это происходило со мной...

На следующий день у меня с Иваном Сергеевичем состоялся разговор, оценить который я могла позднее.

Александр Петрович где-то задержался, и я была в номере одна, когда, кашляя и отдуваясь, пришел Иван Сергеевич. Уселся в кресло, стал разглядывать книги. Смотрел выходные данные, критиковал оформление.

— Ну, граждане,— он развернул какую-то книгу,— что хотел художник этим сказать? Вчера небось только узнал, как штриховать и как водить перышком от угла темнее. Вы покупали?— спросил он, показывая на развороченную кипу книг.

Я кивнула.

— Только одна книжка хорошая,— поворчал он,— сколько денег зря выкинула. Давайте, Таня, воспользуемся случаем и поговорим.

— Ох, не надо,— поморщилась я.

— Надо. Я старше вас в два раза, дитя мое. И я его старый друг. Наконец я дважды наблюдал вас за это время и пришел к выводу, что вы не искушенны, хотя пытаетесь иногда изображать искушенность. Но вы не львица, слава богу, а просто хорошая, уменькая, интеллигентная девочка, которой одновременно повезло и нет.

— Не понимаю.

Мне не повезло, что я оказалась в номере одна и этот учитель жизни получил возможность меня поучать.

— Но вы должны знать, что он никогда не бросит свою жену.

— Зачем вы мне это сообщаете?— спросила я. Он в самом деле зря старался. Я была глуха и слепа. И считала, что все мне завидуют.

— А затем,— отвечал он,— вам кажется, что весь мир у ваших ног. Так оно и есть, но жену свою он не оставит.

— Иван Сергеевич,— сказал я, как мне казалось, с большим достоинством,— я вам благодарна за доброе отношение, но в моих личных делах я сама разберусь.

— Конечно,— согласился он,— вам придется разобраться. А за любовь надо быть благодарным судьбе. Он порядочный и благородный человек,— значит, он вас обидеть не может, и в конечном счете вся эта история...

— Для меня это не история,— перебила я,— для меня это все. Все на свете, понимаете, все, что было, есть и будет. Поэтому хватит. Эта книга тоже плохая?

Я ткнула пальцем в сборник пьес.

— Пьесы,— пожал он плечами,— кто ж их читает. Их играют на театре.

Мы замолчали, Иван Сергеевич смотрел на меня с улыбкой, означающей, что он видит меня насквозь. Такая косенькая лукавая улыбка, и повернутая набок седая голова, и сощуренные глаза, все известные бесхитростные приемы добрых людей.

Мы продолжали разговор.

— Не попали мы на балет,— сказала я.

— А он отродясь на балеты не ходил,— засмеялся Иван Сергеевич.

— Хотели еще в «Современник»,— упорно продолжала я.

— А он вообще театры не любит,— Иван Сергеевич тоже был порядочный упрямец.

— Он хотел,— произнесла я со значением. Хотел, потому что я хотела.

— Сомневаюсь,— буркнул Иван Сергеевич, отлично разобравшись в моих интонациях.

Дальше продолжать это «стрижено-брито» было бесполезно, и мы оба засмеялись.

— Ладно, Таня,— сказал он,— приедете еще раз, приходите к нам. Если приедете без него, тоже приходите.

Он записал четкими буквами свой адрес на гостиничном бланке.

— Спрячьте в сумку,— проворчал он,— знаю я манеру хранить автобусные билеты и выкидывать нужные бумажки. Ох, я вашу сестру хорошо знаю.

— Я не такая,— сказала я весело,— давайте дружить.

— Это еще заслужить надо,— ответил он с добрейшей своей улыбкой рыжего мальчика.

Мне всегда казалось, что рыжим можно доверять.

— Заслужим,— заверила я.

Я ведь думала, что умею завоевывать сердца.

А у меня не было таких качеств, какими завоевывают сердца. Это был очередной миф домашнего производства.

Окружающие трезво оценивали мою личность, но прощали меня за то, за что всем прощают,— за молодость.

...Мы прожили в Москве еще два дня и больше никуда не ходили. Мы оставались в гостинице. Сорок восемь часов вне времени и пространства.

Где-то отдаленно, побрякивая боржомными бутылками, звеня звонками, перекликаясь разными голосами, разговаривая на многих языках, жил своей жизнью десятый этаж гостиницы, а за окнами, под балконами, жил своей жизнью большой город. Нас это не касалось. Мы могли выйти на балкон и не понять, где мы.

Наверно, эти два дня были подарены мне за унижение, которое я испытала от его старинной приятельницы в доме его старинного друга, куда мне не следовало ходить.

Мама ни о чем меня не спросила, показывая, что мои дела ее больше не интересуют.

Она ходила, не глядя на меня, только пошаркивала крошечной ногой в крошечной туфле. На ней были серые брюки и неизменный голубой ватник.

Кот Митя пронесился за нею, считая, очевидно, что это игра в родных джунглях.

— Очень хорошо,— сказала я, решив держаться независимее.

«Наша мамулька-дорогулька, ни у кого такой нет. Скажите мне спасибо, что я вам ее нашел. Думаете, легко было ее найти...» Папа любил повторять одно и то же по многу раз. Получалось у него смешно и горько.

— Что происходит? — решила спросить я.

Я заметила в столовой на столе новые чашки.

Потом обнаружила новый телефонный аппарат вместо старого, разбитого.

— Американский дядюшка? Инюрколлегия разыскивает... Теперь тетушки в моде.

— Прекрати,— оборвала меня мама.

Пришла из школы хмурая, растолстевшая Надя, объяснила, что отец получил деньги за изобретение.

— За какое? — спросила я.

— Кажется, люльки.

Точно она не знала.

Железобетон, кирпич, асбестоцементные трубы, оконное стекло, фонд зарплат, земляные, каменные, плотни-

чь работы, сметы, прорабы. Выполнение плана на сто три процента или выполнение его на восемьдесят один процент и вытекающие отсюда последствия. Переходящее красное знамя или головомойки, которые он получал в соответствующих инстанциях. По утрам он надевал чистую белую рубашку, повязывал свой торжественно-похоронный черный галстук и глотал пирамидон,— в эти дни у него начинала болеть голова с утра. Все это составляло жизнь отца, его скучные дела — он про них дома не рассказывал. Иногда жаловался на неприятности...

Проходили годы, строились новые дома и ремонтировались старые, потом ремонтировались новые, росло предприятие, которым он руководил, его подчиненные получали известность и славу, их величали почетными строителями Ленинграда. Но неприятности оставались. Деньгами отец был не избалован, а избалован неприятностями. Иногда лишь получало признание какое-нибудь его скромное изобретение.

Надины глаза на круглом румяном детском лице отражали недетские чувства. Хотя это была всего лишь девятиклассница, которая рассорилась с приятелем девятиклассником.

— Бедная моя сестричка, — улыбнулась Надя.

— Что это значит?

— Ведешь себя плохо, а держишься по-старому. Школьные похвальные грамоты даются на всю жизнь.

Неужели младшие сестры во всех семьях вырастают в таком соревновании.

— Хочешь, познакомлю тебя? — предложила я. — Пойдем со мной на свидание.

— Ты уверена, что это будет правильно?

Она придавала значение вещам, которых я не понимала. Ее волновало то, что меня не трогало, и она имела множество соображений, которые мне никогда бы не пришли в голову. В чем-то она была искуснее меня.

Мне хотелось предъявить какого-нибудь своего родственника.

Про маму Александр Петрович говорил:

— Я ее боюсь. Когда она по телефону говорит «алё», я весь покрываюсь испариной.

— Вы еще подружитесь, она по существу очень добрая, — лепетала я, но он не слушал. А повторял: «Я ее боюсь», найдя, видимо, точную формулировку.

Сестра шла со мною робея, черные космы собрала в хвост. По дороге от парадной до площади я успела ее окончательно запугать тем, что уговаривала не бояться.

— А я и не боюсь,— отвечала она дерзким тоном и тарщила глаза.

— Понятно,— засмеялась я.— Постарайся только ничего не изображать, так как это производит довольно комическое впечатление.

— Сама ты производишь довольно комическое впечатление.

Она всегда старательно следила за тем, чтобы последнее слово осталось за ней.

Мы проходили подворотню дома номер сто шесть, которая выглядела осиротелой без своих живописных стражей, покинувших ее не по своей воле.

— Я еще хотела тебя спросить, какие темы у вас запрещенные? — осведомилась Надя.— О чем с ним не говорить?

— О боже! — воскликнула я, поражаясь тому, как перевернуты ее мозги.

— Весьма странно... — пробормотала она, и мы предстали перед Александром Петровичем.

Тактичная Надя предложила погулять в Летнем саду, но мы, разумеется, отправились в ресторан, в очередной зал с мраморными колоннами и столиками между ними.

Своим врожденным женским чутьем, которого я была лишена, Надя поняла, что требуется помощь, и кинулась меня возвеличивать и унижать себя. К тому же она это всегда с удовольствием делала.

— Она всю жизнь училась на пятерки,— бойко рассказывала она,— а я на двойки. У нее похвальных грамот десять штук, можете себе представить?

Александр Петрович смеялся от восторга.

— Считается,— продолжала Надя,— что она способная, а я нет, она усидчивая, я нет, она серьезная, она знает иностранные языки...

Александр Петрович смеялся:

— Вот прелесть, вот друг-то настоящий...

— Она надежная, она честная, я могу соврать, мне ничего не стоит...

— Это сказка про двух сестер,— восхищался Александр Петрович.

— Мне осталось немного. Одна из них умная, другая глупая. Одна красивая, а другая — нет.

Ни способной, ни усидчивой, ни знающей иностранные языки ей не хотелось быть. Красивой хотелось.

Александр Петрович это понял.

— Вы настоящая красавица,— сказал он и приобрел союзника и друга.

— Чудная девочка,— шепнул мне Александр Петрович, с умилением глядя, как она мотает головой, и хвостик, стянутый аптечной резинкой, прыгает из стороны в сторону. Это была удачная идея их познакомиться.

Александр Петрович посмотрел на часы,— свидание кончилось. Он не мог нас даже проводить, опаздывал.

И то, надо признать, для человека его возраста и положения он имел поразительно много свободного времени.

Мы продолжали видеться каждый день, иногда по два раза. Сколько в Ленинграде ресторанов, кафе, кафе-мороженов,— кажется, мы их все обошли.

— Слушай, моя умница, мы с тобой после Москвы уже не можем так жить, как бездомные, опять ходить в гости к Левочке и есть его сыр рокфор. Надо что-нибудь придумать,— сказал мне Александр Петрович.— Найти бы, кто уезжает на лето и оставляет квартиру, за которую мы же им еще будем платить. Прояви инициативу.

Был у него иногда такой шуточный тон.

Я проявила инициативу, ключи на обрывке бинта лежали у меня в сумке. У нас была крыша над головой, квартира,— как бы это ни называлось, — необитаемый остров или «Одна старушка, знакомая наших знакомых, уехала на дачу и оставила ключи».

Квартира находилась на третьем этаже огромного дома, где был также гастроном, сберегательная касса и аптека.

Подойти к дому и не встретить знакомых было абсолютно невозможно.

В первый раз, когда я шла туда, я встретила нашу соседку, толстую старую Зою Борисовну, которая была учительницей в школе для глухонемых. Она всегда останавливалась со мной и, откашлявшись, спрашивала, как мои дела, как здоровье папы и мамы, то есть задавала те вопросы, которые в определенном возрасте кажутся нам досадливыми, никому не нужными. Довесок к тому, что люди знакомы или живут по соседству. Я отвечала доста-

точно невежливо, достаточно торопливо. Но она неизменно улыбалась и передавала приветы, с которыми я тоже никогда не знала, что делать, и шла дальше в своем длинном до земли сером габардиновом пальто.

Иногда она хвалила меня, но делала это в суровой манере старой учительницы, чтобы тот, кого хвалят, не размагнитился, не решил, что всего достиг, и не переставал работать дальше.

— Кто куда, а я в сберкассу, — сострила она, выплывая из дверей сберкассы и, как обычно, широко улыбаясь. Она проговорила эти слова с залихватской интонацией заслуженного вкладчика.

— Накопил — и машину купил, — ответила я, и расстались мы, как будто впервые заглянув друг другу в душу, люди одного клана, люди со сберегательной книжкой, знающие, что Черное море ждет нас, а лучший вид отдыха — путешествия. Во всяком случае, она весело оглянулась на меня, а я стояла в нерешительности и вошла в темную, пахнущую кошками и валерьянкой парадную, куда вкладчики соседней сберкассы могли зайти только по ошибке.

И вот я отпирала чужую дверь, завешанную табличками с фамилиями живущих за нею людей и количеством звонков, от одного до девяти. Рука моя дрожала, и мне было не по себе. Но это крошечное испытание я должна была выдержать.

Фамилия человека, которому причиталось самое большое число звонков, была Швальбе.

Разболтанная дверь открылась от легкого поворота ключа, и я попала в длинный темный коридор, пахнущий жареной рыбой.

Оставалось открыть высокую дверь цвета слоновой кости и войти в комнату.

Честно говоря, я не представляла себе, сможем ли мы воспользоваться этой комнатой с окнами, выходящими на площадь.

Мое появление в квартире было замечено. Столетняя старуха в капоте и вязаном капоре на деликатный звук открываемой двери выступила из глубины коридора или из книги, прочитанной в детстве, и стала смотреть на меня. В руке у нее была эмалированная кружка. Наверно, она и была Швальбе, девять звонков.

Комната была обставлена гнутой, без единой прямой линии, мебелью. Фарфоровые собаки и фарфоровые коты не имели другого назначения, как только украшать быт

человека. В известном смысле это была музейная обстановка.

Я стукнулась бедром об угол какой-то мебели, не имеющей углов, прежде чем раздернула портьеры из зеленого бархата. В открытое окно ворвалась площадь. Рядом, за углом, был мой родной дом, хотя площадь, которую я никогда не видела с такой точки, казалась незнакомой площадью незнакомого города.

В комнате пахло пылью, лекарствами и одиночеством, количество плюша было выше допустимой нормы, как количество хлора в воде, после чего она становится непитьевой, и вся тайность, вся нелепость и позор моего пребывания здесь, у этих окон на площадь, на которую я смотрела и не узнавала, вдруг обрушились на меня.

Я затянула портьеры — закрыла площадь, заперла дверь, миновала старуху и ушла, чтобы не возвращаться.

Я ошиблась, когда думала, что не имеет значения, где мы будем жить, только бы крыша и стены. Я решила сказать, что хозяйка неожиданно вернулась и квартирой воспользоваться нельзя.

Он так расстроился от этого сообщения, что я сразу призналась, что наврала, весьма путано объяснив причину. Плюшевые шторы... знакомая площадь, на которую надо смотреть... старуха Швальбе...

— Швальбе? — спросил он, смеясь. — В переводе с немецкого ласточка. Но это же прекрасно. Плюшевые гардины? Что может быть лучше? Я тебя обожаю. Ты прелесть. Иметь собственный дом и отказываться от него! Какое нам до всего дело? Идем туда, я тебе докажу. Только купим чего-нибудь в гастрономе.

Мы вошли в подъезд, откуда я недавно сбежала.

— Сейчас мы увидим старую Ласточку, — прошептал он, пока я отворяла входную дверь.

Старуха выступила нам навстречу и замерла у стены, глядя перед собой невидящими глазами, все с той же голубой кружкой.

— Боже, из-за одной этой старухи надо было идти сюда. Ей сто лет, ручаюсь, мы будем ее угощать, — нашептал он, пока я расправлялась со второй дверью.

От комнаты Александр Петрович тоже пришел в восхищение.

— Ты ничего не понимаешь. Надо поработать влаж-

ной тряпкой, чтобы не чихать от пыли, и о такой комнате можно мечтать.

Он моментально отыскал ведро и тряпку.

— Потрясающая комната! — говорил он. — Но знаешь, что в ней самое потрясающее?..

А площадь звенела под окнами, и я все время посматривала на нее, как на живую, старалась привыкнуть к тому, что она так близко.

— Слепая, неумелая аспирантка.

Он сдернул какое-то одеяло, и на мраморном черном столике открылась двухконфорочная электрическая плитка среди всего этого барокко и рококо переходного времени.

— Дом. Постель. Очаг, — смеялся Александр Петрович, — но и это не все.

За платяным шкафом он обнаружил мраморный треснувший умывальник.

— Дворец! — с чувством произнес он.

Ничего не осталось от того чувства, с каким я вошла и вышла отсюда несколько часов назад. Все воспринималось иначе. Возможно, если бы я теперь выглянула в коридор, я бы увидела не старуху Швальбе, а юную красавицу в белой кисее, с розой в блестящих волосах.

Он ушел первым, я осталась убирать комнату, подметать, вытирать пыль, протирать стекла. А так как всю жизнь меня готовили только к Диссертации, то я делала это долго и неумело.

И все время подходила к окну и смотрела на площадь, как будто ждала там увидеть кого-то знакомого, может быть себя. Ведь я столько там ходила, что казалось, если постоять у окна, можно увидеть, как я куда-то иду или встречаюсь на углу с Мариной, и она протягивает мне билет в кино или в филармонию, — у нее страсть покупать билеты, — или я иду домой из университета, или в гастронном за чем-нибудь.

И опять меня охватила тоска. Теперь каждая женская фигура казалась мне мамой, а мужская — отцом. Надо было задернуть портьеры, обмануть себя и запутать, сделать место действия неопределенным, чтобы осталось только: какой-то дом, большая пустая квартира... комната, обставленная старинной мебелью... молодая женщина подметает пол...

...Мы еще несколько раз приходили сюда, и все было по той же схеме. С ним хорошо, без него плохо.

Он называл это «наш дом».

— Кушать подано,— объявляла я, поставив бифштексы на стол.

— На стол надо поставить все, тогда приглашать,— объяснял он.— Ты получила неправильное воспитание.

Под рассуждения о моем воспитании мы обедали.

Дом это или иллюзия дома, все равно.

Он беспокоился, что нас отсюда погонят.

— А будет у нас до июля эта комнатка? — спрашивал он меня.

Я не знала. Знала только, кому отдать ключи, когда они станут не нужны.

В июле мы собирались уехать из Ленинграда.

— Ты бы могла сейчас, не заходя домой, уехать со мной? — спрашивал он.

— Да.

— Это правда,— задумчиво произносил он,— и это меня потрясает.

Александр Петровичу тоже нравилось держать портьеры задернутыми, отгородившись от уличного шума и зноя. Затемненная чужая комната тогда как будто плыла вне времени и пространства.

С помощью этой комнаты нам удалось затеряться в родном городе. Единственный свидетель — старуха в коридоре была не опасна. Стоя у двери, она встречала тех, кто никогда не придет.

В глубине души я боюсь этой комнаты, этого коридора, этой старухи, а главное — боюсь площади.

Мы приходим сюда иногда совсем ненадолго. У Александра Петровича дела, о которых я не спрашиваю.

Однажды он рассказал мне про такую женщину, которая никогда ничего не спрашивала.

— Чудо природы,— сказал он.

По обыкновению он ест мало, кормит меня и смотрит, как я ем. Он любит, чтобы еду хвалили. И я хвалю подряд хлеб, масло, сыр, цыпленка, зажаренного мною.

— Зато научись стряпать! — восклицает он, просит: — Ешь теперь ягоды. Ты любишь эту дурацкую землянику. Можешь съесть всю корзинку?

Он убежден, что я могу съесть корзинку ягод за один присест, а мне хочется отнести ее домой.

Он часто повторяет, что со мною легко. Что это значит, я не знаю точно. Наверно, это и есть — молчать, улыбаться, ни о чем не спрашивать, иметь хороший аппетит, слушать со вниманием, улыбаться, ждать.

Все это не трудно, пока он тут. Труднее, когда он уходит. Но и тогда в моей жизни остается то же самое — молчать, улыбаться, ждать.

Когда он уходит, я остаюсь и все прибираю. Так что, хотя мы бываем в этой комнате и называем ее «нашей», после нашего пребывания остается только легкий запах жареного мяса.

Когда он очень торопился, мы по-прежнему встречались в разных кафе и ресторанах, но знали, что есть «наша комната», и сожалели, что мы не там.

Существовало и «наше кафе», оно называлось «Ландыш». И «наш ресторан» — «Приморский».

Я боюсь встретиться с отцом на площади, когда выхожу из «нашей комнаты». Так и получается.

Я выскакиваю из подъезда прямо на него, решаю сказать, что была в аптеке, но он ничего не спрашивает.

Его красивое лицо затушевано усталостью, как будто зачерчено карандашом. Он идет согнувшись, шаркает подошвами тяжелых, не по сезону, ботинок. Увидев меня, перестает шаркать, расправляет плечи. Нет болезней, нет огорчений, старости нет и не будет.

Я беру его под руку. Мы шагаем вокруг площади, мимо стоянки такси, мимо больницы.

— Голодный? — спрашиваю я.

— Как волк.

У него могучий сильный профиль. В профиль незаметно, что у него широкий круглый нос, в профиль он, когда держится гордо, — римский император.

Я спрашиваю, не опоздает ли он к телевизору. Отца интересуют спортивные передачи и старые фильмы, ибо когда эти фильмы были новыми, он их посмотреть не мог.

В области киноискусства он всегда находил в прошедшем десятилетии и о старых фильмах говорил так, как будто они только что вышли на экран.

— Знаешь, очень неплохой фильм сделали американцы, — говорил он мне.

Сдерживая свою аспирантскую эрудицию, я не начала с ним поучительного разговора о том, что американцы уже давным-давно не делают таких фильмов, голливудское производство находится в упадке.

Отец этого так и не узнал.

— Никто не помнит, какие у нас были замечательные актрисы — Вера Холодная, Анель Судакевич... — вспоминала мама.

— Да, Вера и Анель были серьезные артистки, — говорил отец со своей легкой усмешечкой, которую я так люблю.

Мы приходим домой.

Отец выкладывает папки с бумагами на письменный стол, который я много раз пыталась у него забрать. Предлагала меняться: мне его большой стол — писать труды по литературоведению, а ему мой маленький — писать экспертизы и составлять квартальные отчеты.

На столе лежат книги, я перебираю их: «Справочник мастера сантехника», «Городское хозяйство», «Расследование преступных нарушений правил техники безопасности», «Каменные и облицовочные работы», Дж. Гоутри, «Деньги и кредит», «Анти-Дюринг».

Мы перемещаемся за круглый стол.

— Обед сегодня плохой, — сурово предупреждает мама. Она не из тех хозяек, которые стараются поднять свой авторитет за счет того, что хвалят собственные обеды.

— Ну-с, что новенького? Какие проблемы на повестке дня? — спрашиваю я, когда отец заканчивает есть суп. — Дж. Гоутри, «Деньги и кредит»?

— Вот именно. Уже набрал двести, надо еще. Жаль, что я не умею печатать деньги.

Надя с мамой собираются на Кавказ.

— Дамы так решили, я не возражаю, — говорит отец, — только чтобы они там не сгорели на июльском солнце, в ультрафиолетовых лучах.

— Там влажность высокая.

— Все едут, — вздыхает отец, — им тоже хочется. Они никогда никуда не ездили.

— А Кисловодск, — напоминаю я.

— А-а-а, — улыбается он, — было.

— А ты?

— Я? — Он пожимает плечами. — Прекрасно отдохну. Я люблю нашу квартиру. И северную прохладу.

Я представила себе, как он остается в пустой квартире, в прохладе, включает телевизор и ложится спать.

— Переходим к следующему вопросу повестки дня,— предлагает он и молчит.

Переходить к следующему вопросу не хочется.

— Мне ситуация не нравится,— наконец выжимает из себя отец.— Ты достойна лучшего.

— Ах да, ведь я принцесса.

— Считаю сложившееся положение ненормальным. Почему твой молодой человек...

— Молодой, ха-ха!— раздается смех за нашими спинами.

— Почему молодой человек не придет в дом познакомиться с родителями, поговорить, объяснить свои намерения. Какие бы ни были обстоятельства, порядочные люди поступают так.

— Порядочные! — раздается мрачное эхо.

— Я передам ему приглашение,— отвечаю я.

— Он не придет. Я вижу его стиль, и этот стиль мне не внушает доверия. Получается нехорошо. Вот что я считаю нужным тебе сказать. Это все.

— Нет, не все! — вмешивается мама.— Только когда она прекратит с ним встречаться, тогда будет все! Я этого требую. Не уверяйте меня, что это великая любовь. Романчик. Когда любят, так себя не ведут. Когда любят, идут на все. А из-за такой любви не портят себе даже воскресенья. Этот гражданин нашел себе удобную любовницу, дуру!

— Если выбирать выражения,— осторожно замечает отец,— будет легче жить.

— Я не могу выбирать выражения, я не могу легче жить,— отвечает мама и плачет.

Смотреть на это невозможно, и я выбегаю из комнаты, оставляю ее плакать по мне, как по мертвой.

Отец пытается сохранять самообладание и что-то говорит посеребрившими, трясущимися губами.

До меня доносится его голос и всхлипывания мамы. Что они хотят доказать?

Вместо того чтобы понять, какой удар я им нанесла, какое разочарование они переживают, я сержусь. У меня нет к ним сострадания.

...Я сижу, обхватив голову руками. Перебираю в памяти последние слова и случайные признания, веря в их неслучайность.

Вчера мне особенно повезло, мы прощались на «нашем» углу, и Александр Петрович сказал мне:

— Мне кажется, что я тебя украл. Тебя отнимут, меня накажут. Я старый, некрасивый, усталый — и вдруг ты. В какой-нибудь день ты сама вдруг посмотришь на меня с удивлением и скажешь: что вам угодно, гражданин, я вас не знаю. И я пропал. А я никогда так не любил.

Я задохнулась, затрепетала. Никогда никого...

Конечно, отец и мать ничего не могли понять в этой истории. Она представлялась им банальной интрижкой женатого мужчины и молодой девушки, которая на этот раз оказалась их родной дочерью.

До сих пор в мире неожиданностей другие люди спотыкались и падали на ровном месте, ломали ребра, погибали в случайном уличном столкновении или хорошо организованном туристском походе.

Сколько таких, ледящих душу, историй отзвучало в стенах нашей квартиры, и они их хранят. Если постучать по ним, они начнут отдавать их, как печи отдают тепло. Сколько искреннего сочувствия наш телефон передал во все концы города, сочувствия, в котором «чур нас» было даже не замаскировано никак, а шло открытым текстом вместе со словами «я вас понимаю как никто», «какой кошмар», «этому нельзя поверить» и «этого нельзя так оставлять».

Гнилые веревки, незакрепленные поручни, зараженные шприцы... Ледяные сосульки, как дротики, срываются с крыш, качаются перила, лифты проваливаются в шахты. Уже было ясно, что никуда нельзя ездить, нигде нельзя купаться, люди, прекрасно умеющие плавать, тонут в бассейнах.

Перечень опасных мест: вокзалы и поезда, дворы и подворотни, тупики и переулки, чердаки и подвалы, катки и спортивные залы, шведские стенки, электрички, такси.

Аспирантура считалась сравнительно безопасным местом и университет тоже, но оказалось не так.

Наш телефон посылал сигналы бедствия, и кто-то другой принимал их и отвечал «это невероятно».

Надо было уходить из дома, наступило такое время. Оно всегда наступает так или иначе. Через две недели мы должны были с ним уехать, и я домой не вернусь.

Ни сожаления, ни печали не было в моем сердце. Потом, когда-нибудь, все наладится, установятся нормальные отношения...

Идиллия все же грезилась мне в конце, летний вечер в курортной зоне, теплая земля в лучах заходящего солнца, усыпанная сосновыми иголками, как будто застлана сосновым ковром, кругом сосны, высокие, прямые и величавые, и молодые сосенки, как пушистые зайчики, веселятся тут же. И все мы дружной семьей собрались в этом смолистом тепле и тишине. Мой обаятельный отец, молодой римский император в белой рубашке с закатанными рукавами, лежит в гамаке, веселая мама рассказывает веселому Александру Петровичу одну историю за другой, он слушает, почувствовав главное — юную душу рассказчика. Надя с приятелями играет в волейбол, уверенно бьет по мячу. Все ею любят.

Все всё поняли, простили, забыли, радуются этому вечеру, хорошей погоде, друг другу.

В моей семье только отец умел радоваться и вздыхать полной грудью, выходя на крыльцо. Говорил «до чего хорошо», и это относилось к тому, что в данную минуту у него было — скромная дача, здоровые дети, выходной день. Мама не испытывала благодарности ни к чему такому, не любила дачи, ей было холодно, ветрено, неудобно и всегда хотелось в город. Нам с Надеей тоже хотелось не того, что есть, а того, чего нет.

В картине, которую я себе нарисовала, все были наконец довольны, не стремились никуда уходить, улыбались друг другу, а на переднем плане огромный куст цвел синими и красными розами, листьев не видно, только цветы.

Куда ехать, мы не знали.

Александр Петрович сказал:

— Ты сама решай. Куда ты, туда и я.

Сраженная, как всегда, его формулировкой, боже мой, куда я, туда и он, я была счастлива и бесстрашно глядела в смеющиеся карие глаза.

У меня были друзья в Таллине. Я надеялась, что они все поймут правильно. Это были мудрые люди.

Их мудрость заключалась в том, чтобы смеяться, когда хочется плакать, когда хочется есть, когда нет денег. Радоваться по пустякам. Сидеть в кафе за бутылкой яблочной воды, решая разные проблемы. Любить своих дру-

зей, любить своих родных. Тетушку из Эльвы и тетушку из Тарту и тетушку из города Вильянди. Не забывать их дней рождений, пропахших корицей. Пить их кофе со сбитыми сливками, есть их торты с ревенем-рабарбером.

Рабарбер — замечательная штука. Тайну его приготовления тетушка из Эльвы открывала тетушке из Тарту, открывала, да так и не открыла. Зато тартуская тетушка умела делать так называемую селедку под покрывалом, чего другие не умели. Делали, а получалось не так.

Эти эстонские тетушки тоже умели держаться в невзгодах, носить старое пальто как новое и, напялив на голову твердую шляпу-кастрюлю, сидеть в кафе и не торопясь есть крошечное пирожное с творогом.

Кроме тетушек был один дядюшка восьмидесяти лет, который с утра писал рассказы, чтобы было что почитать вечером. Это были рассказы из окружающей действительности, но конец он придумывал свой и, прочитав их потом со своим концом, спокойно спал.

...Я поехала на день раньше, как порученец, все подготовить.

Все было как всегда, когда подъезжаешь к Таллину. Идеально выбритые эстонцы в костюмах словно сейчас от портного, невозмутимо глядящие в окна, а за окнами озеро Юлемисте.

В озере, по преданию, живет зловреднейший старичок, которого интересует одно: строится ли еще город? Ибо как только город будет построен, он его разрушит.

«Строится ли еще город?» — спрашивает старичок, выснувшись из воды, и, узнав, что город все еще строится, прячется обратно.

Невозмутимые пассажиры смотрят в окна, а за окнами аккуратные дома и подметенные тротуары, за окнами серый цвет, который тает и превращается в жемчужный. Таллин. Острые шпили и силуэты крыш, три дома на улице Рютли и домик палача, Раекоя-платц, и Сайя-канг, и старинные дома на улице Вене, и на улице Лай, улица Пйкк и Дом Черноголовых, и все прочие дома, пахнущие морем, дождем, сланцем.

Из окна вагона я увидела стройную фигуру Анны, ее прическу гейши и улыбку гейши. Держалась она удивительно прямо и выглядела ровно на десять лет моложе

того возраста, какой отсчитывали ей таллинские кумушки. На вид ей было сорок, и это было железно, раз и навсегда, что бы ни говорили в кафе.

Она выхватила мой чемодан. Я отобрала его обратно, и мы пошли пешком через весь город.

Анна ступала энергично, улыбалась накрашенными губами и все время здоровалась.

В Таллине полно знакомых, но не безразличных полузнакомых большого города, а хорошо знакомых. Так обстоит дело еще с тех времен, когда была построена башня-бастион «Кик ин де Кэк» (шестнадцатый век)... Ее высота 36 метров, толщина стен доходит до 3,8 метра... Народное прозвище «Кик ин де Кэк», в переводе означющее «гляди в кухни», объясняется тем, что с шестиэтажной высоты башни можно будто бы заглянуть в кухни соседних домов...

Раньше я шепотом спрашивала «это кто?». Теперь мне кажется, я тоже всех знаю, как будто сама родилась и прожила жизнь в таинственных улочках и музейных домах, разделив с городом все своеобразие его древней и новейшей истории.

Если я кого-нибудь не знаю, Анна дает пояснения:

— ...Видели старую даму? У нее был любимый петух, она водила его гулять на веревочке...

— ...Он сын писателя и решил, что тоже писатель...

— Эта женщина до войны была чемпионкой по прыжкам в воду, настоящая красавица. Теперь закончила аспирантуру, защитила диссертацию...

Я оборачиваюсь — всякий, кто защитил диссертацию, вызывает во мне болезненный интерес. От былой красоты нет и следа.

Мы обмениваемся новостями.

— ...Мы провинциалы, какие у нас новости... Вальтер бросил свою продавщицу... Вио строит дом... Открылась новая выставка живописи, которую вам стоит посмотреть... Эстонское искусство... Мы провинциалы не во всем...

Возле улицы Пикк я сообщила свою новость. Матовые черные глаза Анны были непроницаемы, но я ощутила неловкость.

— Таллин забит приезжими, — сказала она. — Такого еще никогда не было.

Тут всегда так говорят. Свою квартиру она не предложила.

Потом она листала записную книжку, звонила разным людям и говорила:

— Хэлло, здесь Анна, приехала мой молодой друг, талантливый ученый из Ленинграда, с мужем...

— Не совсем,— поправила я.

Она пожимала узкими плечами:

— Так надо. Вы не знаете их психологии. Они чтут узы брака.

Я не знала «их» психологии, как не знала ничьей психологии, ничего не понимала в людях, сохраняла инфантильность и дорого заплатила, чтобы с ней распрощаться.

Своими звонками Анна привела в движение некий могучий городской механизм. Через равные промежутки времени раздавались ответные звонки. Данные были заложены, служба информации выдавала рекомендации, и вскоре выпало то, что требовалось.

— Стоп,— воскликнула Анна.— Как я сама не вспомнила! Спасибо, Герта. Я на прошлой неделе там была, ездила смотреть, как цветут тигровые лилии. Они уже отцветают. Там рай.

— Тигровые лилии,— прошептала я.

Мы поселились в тихом предместье Таллина Нымме, в доме, где кроме нас обитали хозяева — мать и трое детей.

Мы поселились там на две недели, что было совсем немало. Счастье надо, наверно, как-то иначе подсчитывать и пересчитывать, день за месяц, может быть. Потом Александр Петрович смог задержаться еще на три дня. И все это было подарком судьбы.

Дом был весьма примечателен. Простое беленое одноэтажное строение, повернутое к шоссе глухой стеной-спиной, а окна смотрели в сад, и стеклянные двери выходили в сад, где на бурой земле стояли высоченные сосны и цвели ржаво-красные пятнастые лилии.

В доме было четыре просторных комнаты, продуманно обставленных. Дом был замыслен и исполнен как шедевр и признан таковым. Где-то когда-то он получил премию и был изображен в старом журнале, который нам показали.

Вскоре после того как дом был построен, его хозяева уехали с тем, чтобы никогда не вернуться. Хозяева сменились уже несколько раз, а дом остался нетронутой де-

корацей, которая ветшала, как ветшают замки, только гораздо быстрее. Это модное бунгало состарилось так, как хороший замок не состарится за сто лет. Но все равно дом был красив.

Хозяйка, мать трех послушных маленьких девочек, поддерживала в доме величайшую чистоту. Без передышки что-то чистила и мыла, и ее три девочки ей помогали. Это был какой-то нескончаемый субботник. Шла уборка сада, обрывали и уносили сухие веточки, собирали сосновые иголки, собирали шишки и складывали их в кучки. Убирали комнаты, натирали полы пахучей мастикой, чистили и проветривали подвалы и даже пустующий более четверти века гараж. В том исступлении, в каком эта молчаливая женщина с большими руками и большими ногами мыла свой обветшалый особняк, было отчаяние, гордость и негибаемость. Впрочем, гордость и негибаемость были во всем, в том, как были одеты девочки, и в том, как мать учила их играть на рояле, и в том, что мы никогда не видели, как они едят.

Едой в доме не пахло. В идеально чистой крестьянско-го стиля кухне девочки читали вслух английскую «Алису в Зазеркалье», и мать сурово поправляла им произношение.

Мы шли в ближайший продуктовый магазин, обсуждая, что купить.

— С лимонадом мы не ошибемся,— говорил Александр Петрович.— Купим каждой девочке по три бутылки.

— А посущественнее?

— Нельзя. Они тогда вообще ничего не возьмут. Я знаю этот тип. Ты видела ее глаза? Она наладит нас отсюда. Конфеты, печенье детям... А потом поедет на рынок, я буду стряпать, тогда они, может быть, будут есть, чтобы меня не обидеть. Тут нужна большая тонкость.

Поэтическое место было это Нымме. Тихое по-особенному. Не потому, что никого нет и от этого тихо, а потому, что вокруг живут тихие люди и стоят леса, полные зацветающего вереска. Дети тихо играли. Люди тихо разговаривали, тихо смеялись и даже тихо пели и пили.

В одном придорожном буфете мы видели компанию немолодых краснолицых эстонцев, по виду шоферов, а может быть, рабочих с карьера, они пили пиво, осторожно чокались большими кружками, шепотом произносили

«Прозит», глядя друг другу в голубые глаза. А потом пели хором, еле слышно и вместе с тем яростно, сдвинув головы потеснее.

Мы были в Нымме вдвоем, оторванные ото всего и свободные. Был дом и сад, длинные летние дни, запахи теплого северного леса, даже море недалеко, тридцать минут до пляжа Пирита. Мы не выбрали туда.

Не было в нашей жизни одного — правды. Мы постарались запрятать ее подальше, чтобы ее невозможно было достать. Моя спрятанная правда была в том, что я боялась правды и обманывала себя. А его, — он ничего не боялся, но обманывал он не себя. Впрочем, и меня — нет, просто он был такой, каким его создал бог, жизнь, обстоятельства, время, родители, которых он вспоминал почти-точно, но редко.

...Мы просыпались утром в чужой постели с соломенным продранным изголовьем, солнце, как из дуршлага, проливалось на нас сквозь дырки побуревших от времени и атмосферных воздействий элегантных занавесок. Все вокруг было красиво увядающей, умирающей красотой, навевало мысли о ремонте. Хотелось все заштукатурить, побелить, покрасить и остаться навсегда.

Александр Петрович просыпался раньше меня и открывал дверь в сад, оттуда тянуло влажной свежестью.

— Проснулась наконец, — слышался его веселый голос, — завидую, как человек умеет спать. Мне бы так, вся бы моя жизнь сложилась по-другому.

Мы продолжали приносить хозяйкиным девочкам лимонад, в углу гаража выросла порядочная батарея пустых бутылок.

— Девочки к нам привыкли, — говорил Александр Петрович, — но она, — он показал в сторону сада, где хмурая Айно продолжала трудовое воспитание дочерей, — ни разу не улыбнулась.

— Можно понять, — сказала я, намекая на то, что ее оставил муж.

— Это характер.

В значительной мере наше пребывание на вилле было посвящено этой женщине. Александр Петрович восхищался ею и хотел, чтобы она радовалась. Он жаждал устраивать праздники и объявил ближайшее воскресенье моим днем рождения.

— Это очень важно,— говорил он.

— Что? — спрашивала я.

— Ее развлечь.

Девочкам разрешили прекратить уборку, которую мать задавала им, как мачеха трем золушкам.

Старшая, Сельма, принялась рисовать. На ее картинках Александр Петрович был изображен в виде мыши. Мышь жарила мясо на кухне, лежала на диване с книгой на животе, ходила по саду, одетая в загородный костюм — коричневые шорты и тельняшку. Девочки на картинках, как и в жизни, были похожи на Буратино, а лимонадные бутылки на водочные. Сбоку из вежливости Сельма помещала меня в виде декадентской текучей женщины с распущенными волосами — самый невыразительный образ во всей композиции.

Обветшалое бунгало украсили цветами. Детям разрешили лечь спать позже обычного. Их нарядили, трех Буратинок, как ангелов. До сих пор они бегали в джинсах и майках, тут их погрузили в воланы, ленты и кружева почти с головами. Айно надела синее шелковое платье и туфли на каблуках.

В тяжелые кованые подсвечники вставили свечи и вечером их зажгли, как положено на порядочном эстонском празднике.

Приехала Анна, которая знала, что двух дней рождения в году не бывает, но не стала этого говорить.

Буратинки пели хором на эстонском, русском и английском языках.

Айно гордилась дочерьми. Они переходили от одного вида искусства к другому. Была игра на рояле в четыре руки, были танцы, народные и классические, акробатический номер, и, наконец, средняя дочь показала, как она делит и умножает в уме трехзначные цифры. Александр Петрович кричал, что девочка может хоть сейчас ехать в Ленинград и поступать в университет на математический факультет, она гениальный ребенок.

— Ох, эстонцы, одаренные черти,— восклицал он в несколько грубоватой манере.

— Не говорите так, прошу,— просила Айно, но это звучало, как «прошу, говорите».

Александр Петрович безудержно нахваливал девочек, Айно краснела и радовалась его антипедагогическим речам.

Мы выпили вина, попробовали эстонских ликеров.

В этот вечер мы увидели, как смеется Айно, помолодев на двадцать лет. На огрубевшем, суровом, как мужское, лице проступили юность, нежность. Не усталая, побитая жизнью, хотя и несдающаяся матрона сидела за столом, а наивная, доверчивая девушка, спортсменка, хохотушка, участница эстонского хора.

Она несколько раз шепотом спросила меня, любит ли мой супруг хор. Я не знала.

Тогда она принесла большую, наклеенную на картон фотографию, где мужчины были в коротких штанах и в длинных черных кафтанах, а женщины в полосатых юбках и в белых рубашках с тяжелыми серебряными украшениями, похожими на небольшие рыцарские доспехи. Плечистые, светлокожие северные женщины, и одна из них Айно. Найти ее там было невозможно, так велик был хор и мелко его изображение. Она сказала, смущаясь: «Я в третьем ряду, слева».

Александр Петрович весь вечер старался ее смешить.

«Мы любим посмеяться»,— сообщил он, она отвечала: «Правда».

Он рассказывал разные истории, которые мне были известны, но для других звучали впервые.

Айно понимала не сразу, нужно было время на осмысливание, но она смеялась, а разобравшись, смеялась еще.

«Айно этого, наверно, еще не знает»,— говорил он, и в ход шли какие-то полудетские истории, школьные шуточки и пикантные анекдотики с бородой, имевшие в этой аудитории большой успех.

Дети сделали книксены и ушли спать, качаясь от усталости и съеденных конфет.

— Заболеют,— сказала Айно беззаботным голосом.— Я-то знаю точно. Съесть много конфет не件лезно.

— Полезно,— ответил Александр Петрович,— вы не знаете. А я знаю. Я так много знаю, что мне даже тяжело жить.

Это была любимая приговорка, произносимая усталым тоном, потому что все, оказывается, на свете было наоборот, не так, как вы выучили. Например, вы думаете, что конфеты есть вредно, а на самом деле件лезно, вы думаете, что спортом заниматься очень件лезно, а спорт вреден для здоровья...

Айно опять спросила шепотом, любит ли мой супруг

хор, как будто собиралась заставить спеть старую фото-графию.

Я смутилась от слова «супруг».

— Я люблю хороших людей,— ответил Александр Петрович,— а как они поют, хором или нет, мне все равно.

Айно засмеялась, когда поняла, и стала кивать головой, приговаривая «так, так» и глядя на Александра Петровича веселыми глазами.

Его поведение определялось желанием быть обаятельным. Он безошибочно определял, какой тип обаятельности требуется в том или ином случае. Почти всегда это был хорошо известный популярный тип, на который спрос не проходит. Простой малый, веселый, пьющий, денежный, профессор, забывающий, что он профессор, женатый, забывающий, что он женат. Человек-праздник, человек-воскресенье, их днем с огнем ищут. Тому, кто был с ним сейчас рядом, казалось, что ему повезло. Рядом с ним другие тоже становились веселее и удачливее. Он так действовал на всех.

— Айночка, я вам расскажу из времен Великой Отечественной войны историю, но непечальную,— продолжал Александр Петрович.

— Пожалуйста!— восторженно, как юная эстонская школьница, отвечала Айно, и трудно было найти большую неправду и несоответствие, чем эта философия непечальности и трудная голодноватая жизнь одинокой женщины, брошенной с тремя детьми в большом, пустом, чисто вымытом, излишне элегантном доме,— первая премия на конкурсе, бог знает что за конкурс такой, за что там дают первую премию.

Немолодая, трезвая, с цельным сильным характером Айно поддалась сказочке, где действовал уверенный в себе мужчина, друг, покровитель. В жизни Айно такого не было, родители умерли, подруги замужем, единственная тетя жила в Тарту. Он был в сказочке.

Так прошли две с половиной недели для меня, для Айно и трех ее дочерей, Сельмы, одиннадцати лет, Лембе, девяти лет, и пятилетней Айты.

Все это было, происходило в некотором царстве, в некотором государстве, близко ли, далеко, когда-то, а может быть, никогда... В давние-давние времена, когда заклатья еще помогали, жил-был на свете король... а где он правил и как его звали, о том не знает никто... Жил-был

купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу... И жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком...

А еще так:

Как я сел в седло,—
Сказку ветром принесло...

Айно называла меня супругой, и мне тоже стало иногда казаться, что я есть жена этого достойного человека, его, так сказать, супруга.

Как супруга я потянулась на кухню, к очагу, к белым кастрюлям, к черным сковородам, к кухонному золоту и серебру, которое позвало меня.

— Ваш супруг любит рубленую сельдь, приготовленную особо? — спрашивает меня Айно.

— Конечно,— отвечаю я. Человек, который хорошо относится к водке, наверняка неплохо относится и к селедке.

— Я приготовлю,— объясняет она и принимается за дело.

Я стою возле нее, стремясь обучиться.

Уроки Айно прививают быстроту движений, сообразительность, общую собранность, умение считать копейки и планировать.

— С душком,— хвастается Айно, поднимая за хвост благородно ржавую тощую рыбу бочкового посола.— Самая дешевая еще не есть самая плохая. Такую плохую, как эта, трудно найти в продаже. Я сделала запас. У нас она будет хорошая.

Я внимательно слушаю.

— Мамочка делала так,— с грустной улыбкой говорит Айно; погружаясь в пленительный мир искусно приготовленной и хорошо поданной еды, в мир, где женщины с льняными волосами, тихие, но твердые, как скалы здешних мест, властвовали безгранично, где им принадлежали все открытия, где они не знали поражений.— Мама умела готовить,— добавляет Айно застенчиво и краснеет оттого, что позволила себе такое хвастовство. Мое воображение рисует поседевшую и располневшую Айно, только более счастливую, которой удалось поцарствовать среди кастрюль.

А моя Айно, не получившая этого счастья, но дочь своей матери, снимает точными, рассчитанными движениями рыжую кожу с драгоценных селедок и очищенные

перламутровые тушки складывает рядами в чисто вымытую банку одна к одной.

— Рецепт маринада я вам потом напишу,— обещает Айно, и я понимаю, что это милость, формула дружбы.

В ее взгляде, обращенном ко мне, сочувствие и жалость, она провидит мое будущее, что быть мне тоже брошенной. Может быть, хочет предупредить, спасти. Но средств спасения не знает, никто их не знает.

А рецепт маринада таков: виноградный уксус, соль, сахар, перец, корица, гвоздика, мускатный орех, кориандр, лавровый лист.

Идиллия подходила к концу, ничем не омраченная, если не считать одного случая.

Александр Петрович позвонил в Ленинград с Главного почтамта в Таллине. Его разговор отзвучал в зале ожидания явственно, как выступление по радио.

— Катюша, ты? — спросил Александр Петрович. Обращение прозвучало тепло и привычно. Голос отделился от хозяина и теперь из кабины через неплотно прикрытую дверь проникал в зал.

— Что новенького? Какая почта? — расспрашивал Александр Петрович.— Да? Прекрасно! Хорошо. Я приеду. Отвечу сам. Не беспокойся, все успею. А ты ему позвони, пусть он готовит свое выступление, как договорились. За меня пусть не волнуется. Ну-с, так, что еще? Ты здорова?

Последний вопрос прозвучал родственно, заботливо и привычно, с интонацией, какая дается годами тренировки. Человек произнес то, что привык произносить, независимо ни от чего. Это был вопрос наизусть, интонация наизусть, имя наизусть: «Да, Катюша, нет, Катюша. Да. Нет. Нет. Да».

Двадцать лет или больше скрывались за этим междугородным разговором. От меня требовалось только это понять и быть на уровне.

— Я задерживаюсь. Еще дела. Спасибо. Не надо. Ничего не надо. Не беспокойся. Целую. Да.

Он вышел из кабины энергичной, пружиняще-подрагивающей походкой, которая еще больше подчеркивала законность и автоматизм такого разговора. Огляделся, увидел меня, кивнул дружески.

Я дернулась со скамейки ему навстречу и тоже закивала, принимая все условия, принимая «Катюшу», и вопрос о здоровье, и «целую». Мое молодое, без единой

морщинки лицо было спокойно и безмятежно. Я понимала, что позвонить было надо, никуда не денешься, надо, значит, надо.

И с гордо поднятыми головами, держась за руки, мы вышли с Почтамта и пошли по улочкам Суур-Карья, Вейка-Карья и улице Виру, останавливаясь у витрин и восхищаясь эстонским вкусом, который сказывался буквально во всем, от букета гвоздик до композиции сапожного крема, от младенца в вязаном белом платьице до старухи в спортивном костюме и в кедах.

Мы шли и все хвалили эстонцев, а навстречу нам двигались эстонцы, не знающие, как мы их хвалим, и не обращающие на нас внимания.

Возле магазина художественных ремесел мы остановились.

Александр Петрович предложил купить что-нибудь на память. Здесь тоже все было замечательное, со вкусом. Собственно, именно вкус здесь и продавался в чистом виде, и цены были соответственно высокие.

— Очень дорого,— сказала я, опираясь на опыт своей предыдущей жизни.

И, вспомнив уроки Айно, добавила:

— Дорого отнюдь не означает хорошо.

Александр Петрович воскликнул: «Ты у нас философ» — с ударением на втором «о», и мы вошли в уютный sklep, где судьба приготовила нам новое испытание.

В магазине продавались грубые домотканые материалы, темное серебро, выделанное под сталь, черное кованое железо, дымчато-серая и изысканно-голубая керамика. Предметы радовали глаз совершенством формы и сдержанностью цвета.

Продавались подсвечники разных размеров, на одну свечу и на десять, для освещения одинокой кельи и большого зала, подсвечники железные, деревянные, глиняные. Они настраивали на романтический и лирический лад, напоминали о елке, о тихом уюте, когда, потрескивая, горит свеча, капает воск, как слеза, и все так хорошо, достойно, спокойно.

Пока я думала, что купить, в это царство подсвечников откуда ни возьмись вошла Затонская.

Мне показалось, я все время знала, что она появится.

Затонская поздоровалась с Александром Петровичем, они даже обнялись, к моему изумлению. Потом она увидела меня.

— А-а-а,— протянула она,— вот, оказывается, где можно встретить учеников.

А я, как в детском сне или в кошмаре болезни, вдруг оторвалась от пола и куда-то полетела, уменьшаясь в размерах, сначала до Дюймовочки, а потом еще, пока не превратилась в какую-то несчастную синекрылую муху или в божью коровку. И забилась куда-то между рулонами серой знаменитой эстонской веревочной ткани. Но и там меня настигал насмешливый взгляд Затонской, и гремело-грохотало, как в медные трубы, одно слово, аккомпанемент всей моей жизни «ДИССЕРТАЦИЯ». Затонская без труда разглядела меня в моем укрытии и в уменьшенном размере и смотрела вопрошающе, а вопрошать было нечего. Все было ясно.

Затонская держалась дружелюбно, явно не собиралась ничего усложнять и делала вид, что рада встрече.

— Я езжу сюда каждый год,— сказала она.— А вы?

Было непонятно, к кому она обращается.

— Я в первый раз, мне нравится,— довольно угрюмо ответил Александр Петрович.

— Ах, тут прекрасно,— заметила Затонская и занялась подсвечниками.

Я осмелела, вышла из укрытия, приняла свой обычный размер и тоже приблизилась к железу, но оно меня уже не интересовало.

Затонская решительно заплатила деньги за два экземпляра из коллекции, и мы все выбрались на свет божий, на улицу Виру. И там остановились.

Я отошла в сторону, увидев, что Затонская наклоняется к Александру Петровичу и что-то ему тихо говорит.

Вид у него был хмурый и злой, он смотрел на свои ботинки, молчал. Я не слышала, что говорила Затонская.

Мне вдруг показалось, что сейчас он с нами попрощается, пойдет на вокзал, сядет в поезд и уедет в Ленинград. И я его больше никогда не увижу. Все таким образом решится.

— Так вот, мой любезный Александр Петрович, подумай над тем, что я тебе сказала,— закончила Затонская и, перестав шептать, включила звук. Как и академику, она говорила ему «ты», но называла по имени-отчеству.— Ты решай, мое мнение я тебе высказала.

— Благодарю,— буркнул Александр Петрович.

— Ну, слава богу,— сказала Затонская и внимательно посмотрела на меня. Зря я превратилась в человека и

вылетела из теплых серых больших рулонов, где была в безопасности. Затонская крепко взяла меня под руку — не вырваться, не спрятаться, не спастись.

Мы медленно пошли по улице Виру.

— Что же будет? — мягко спросила она.

Я молчала.

— Вы ведете себя совершенно неразумно.

Я не поняла сначала, о чем она — о моих отношениях с Александром Петровичем или о современной немецкой литературе, которую я принялась изучать и описывать, да бросила. А возможно, о том и о другом вместе. Если первое, ради бога — не надо.

— Вы намерены работать или придется вас отчислять?

— Не знаю, — тупо сказала я. — Отчислять.

— Помилуйте, зачем вы тогда вообще шли в аспирантуру? — изумленно спросила Затонская.

— Тоже не знаю. Наверно, зря. Мои родители этого хотели.

— Возмутительный ответ, — сказала она шепотом, потому что не хотела, чтобы нас слышали. — Вы меня подводит прежде всего. Я ваш научный руководитель, я за вас отвечаю.

— Перед вами я виновата, Марина Сергеевна, — отвечала я, — и перед вами мне стыдно. Но так все получилось. И Монин на моей совести. Я ни при чем, но так все считают.

— Прошу вас о Монине вообще со мной не говорить, — резко оборвала меня Затонская.

Бесполезно было оправдываться. Александр Петрович мог вспомнить наше знакомство в приемной замминистра. Но я не обратилась к нему. Я не должна была лезть в аспирантуру. За всякое зло, нами совершенное, приходится потом платить.

Прекрасное лицо Затонской, этой русской интеллигентки, похожей на все с детства знакомые дагерротипы великих женщин прошлого, четко знающей, что есть зло и что добро, что морально и что безнравственно, ее лицо было передо мною. Много лет я буду помнить улочку Виру и это лицо.

— Марина Сергеевна...

— Я вас слушаю, — спокойно сказала она.

— Вы думаете, что у меня нет способностей к научной работе?

Вопрос был глупый, она не сочла нужным на него отвечать.

— Придете ко мне пятнадцатого октября, принесете новый план,— сказала она.

— Ну, дамы, скоро вы там?— спросил, подходя к нам, Александр Петрович. Видно, за то время, что мы разговаривали, он принял решение не убежать и не делать вид, что мы с ним почти не знакомы.

— У нас дела,— ответила Марина Сергеевна.

Мы попрощались и разошлись.

— Неожиданная встреча,— заметил Александр Петрович раздраженно.

Ответить было нечего.

— Что она тебе говорила?— продолжал он все тем же недовольным голосом.

Я хотела спросить: «А тебе?» — но побоялась.

Его раздражение не проходило. Мы уже сидели в автобусе, вяло переговаривались. Я с отчаянием поняла, что он сердит на меня за эту встречу, которую нельзя было ни предусмотреть, ни избежать.

Причины его раздражения так и остались мне неизвестны. Для самоуспокоения решила, что есть, может быть, какой-то секрет в прошлом, которого я не знаю.

И в этот раз я попыталась уверить себя, что ничего не случилось. Он рассердился на что-то мне неизвестное, а не потому, что его приятельница и коллега по университету встретила его в моем обществе в городе Таллине.

...Через два дня он уехал, а я осталась и начала все вспоминать.

И я еще раз увидела, как темнеет его лицо при виде Затонской, как он хриплым голосом спрашивает, скоро ли дамы закончат свой разговор, а потом молчит в автобусе, смотрит в окно и через два дня уезжает. Я опять ехала в том автобусе и видела скучное, хмурое его лицо, и опять сидела в зале ожидания междугородной переговорной и бесконечно слушала легкий, естественный, как дыхание, вопрос о здоровье Катюши, которая там в свою очередь беспокоилась о нем, о его делах и здоровье.

Я могла без конца провожать его на поезд, плакать, просить не уезжать, протягивать к нему руки и слушать, как он говорит, что не заслужил этих слез, этой любви и этого счастья...

Я должна была еще две недели жить у Айно и работать.

Из дому по моей просьбе прислали так называемые «материалы» диссертации, тоненькую бежевенькую папку, на которой было напечатано «Дело №». Из этого «Дела №» должна была со временем получиться диссертация, но так и не получилась.

У Айно я жить не могла. Работать не могла. Могла только вспоминать недавнее прошлое.

Я перебралась в Таллин и там как следует занялась воспоминаниями.

Вечером я ложилась на диван, чтобы вспоминать, и утром вставала, чтобы продолжать вспоминать. Шла на улицу, чтобы вспоминать, и в кафе, чтобы вспоминать. Потом ехала на пляж в Пирита и там, не снимая городского платья, садилась на песок, чтобы, глядя в одну точку, вспоминать.

Вокруг резвились веселые спортивные эстонцы, которые, как все северные люди, безумно любят солнце, море и пляж.

Слышались слова, которые слышатся тут обычно: «юкс, какс... нельи, вис...». Затем слово «палун», которое обозначает и «да», и «что?», и «прошу вас», и «ради бога, не беспокойтесь». Еще какие-то слова и эстонские звучные имена и просто радостные здоровые возгласы. Многие горожане, добравшись до пляжа, непременно что-то восклицают, какое-то благодарение богу. И бегут в море купаться в ледяной воде.

Пляжная жизнь меня не касалась. Я не имела с собою даже купального костюма, я была тут отщепенкой, вроде нескольких стариков и старух, которые пришли и, как я, сели в тень и только портят все неуместным напоминанием о болезнях, суставах, синих жилках на ногах и бледной коже, которая уже никогда не станет иной.

А я бы могла загорать, играть в мяч, кричать и прыгать, и плавать возле буйка с самыми лучшими, самыми бронзовыми. Но я сидела в своем синем платье, в чулках и туфлях и вспоминала. Как мы жили у Айно, что друг другу мы говорили.

«Мне повезло,— размышляла я.— Ни у кого этого нет, только у меня...»

Только у меня было мое счастье и везение. Я часами сидела в Пирита на пляже, и у меня было все, а вокруг меня бушевали, веселились, радовались жизни те, у кого не было ничего.

Мама и Надя были на юге. Отец жил один в городе, скучал, но блаженствовал. Смотрел телевизор когда вздумается, лежал на диване, читал газеты, толстые журналы, слушал по радио сводки погоды. Знание погоды в стране и на всем земном шаре служило ему ключом к пониманию многих явлений.

Он сказал:

— Плюс двадцать восемь в тени, это сколько же может быть на солнце? Жарко, как ты считаешь, Митяй?

Но для Мити не существовало жары и сочувствия к ближним. Для него пусть все хоть сгорело, такова была его жизненная философия. Сам он безумно любил жару, зимою спал на батареях отопления, отдыхал под газовой плитой.

— Что с ним разговаривать, с оборотнем,— сказала я,— я его боюсь.

— Митя замечательный кот,— произнес отец своим чарующим, примиренческим голосом.

— Загубленный Митя целиком на вашей совести,— сказала я.

Мы разговаривали о коте, о литературе, о погоде всех широт, о политических новостях, об ужине, который мы бы съели, если бы кто-нибудь из нас сходил в гастроном.

Разговаривали, ловко обходя три темы — «Диссертацию», «Деньги» и «Эту историю», то есть мои отношения с Александром Петровичем.

Больше всего мы обсуждали, как там наши живут на Кавказе.

— Я все-таки рад, что они поехали. Теперь, когда они уже там, я считаю, что это правильно.

— Ты был против.

— Просто не совсем ясно представлял себе финансовую перспективу. А наша мамка никогда не умела жить по средствам, не умела считать деньги, теперь поздно ее за это винить. Все куда-то едут. Мода. А наша мамка чувствует современные тенденции как никто,— рассуждал отец, стараясь возможно глубже анализировать явление.

— Ты высоко ценишь ее достоинства,— заметила я.

— Отдаю должное. Сам реальнее смотрю на вещи, мне бы не пришло в голову, что можно так легкомысленно поступить. Но как-то мы выкрутились, она оказалась права.

— А там хорошо?

— Не знаю, я один раз в жизни был, как тебе известно, в Новом Афоне, и с меня совершенно достаточно.

Так мы беседовали мирно, и тема «Деньги» незаметно вторгалась в наши беседы. И все остальные темы никуда не девались оттого, что мы их обходили. Мы думали, что даем себе временную передышку, но мы себя обманывали.

Александра Петровича в Ленинграде не оказалось, он уехал.

Так развивалась «Эта история». Об его отъезде я узнала случайно от Фриды: «...а его супруга ко мне заходила за рецептом на снотворное. Люди едут отдыхать и берут с собою мешок снотворного».

О диссертации вскоре напомнила Верочка Семенова.

Она позвонила и долго расспрашивала, как поживает мой отец, моя мать и вся моя семья.

— Как твой очаровательный папа, с которым у нас одинаковые вкусы? Я бы на твоём месте всюду ходила только с ним, мне бы никто не был нужен. Он такой красивый. Передай ему привет, если это удобно. Ты куда-нибудь собираешься? Впрочем... ты уже где-то была... мне кто-то говорил, что тебя встретили... не помню где... это не имеет значения.

Она никогда не помнила таких подробностей, чтобы не оказаться в неловком положении и, главное, не поставить другого в неловкое положение.

И сейчас предпочитала бормотать это «кто-то» и «где-то», боясь выдать, что близка с моим научным руководителем Затонской и та, возможно, довольно подробно рассказала ей про нашу встречу в таллинском магазине. Я не удивилась бы, узнав, что Верочка хорошо знакома и с Александром Петровичем. Скорее всего, так и было, потому что очень смущенно звучал ее голос, в котором угадывалось хорошее французское произношение.

— ...Я, ты знаешь, решила никуда не ехать этим летом. Из-за диссертации, будь она неладна.

Наконец слово было произнесено. Оставалось дожидаться, чтобы Верочка перешла от своей диссертации, с которой все в порядке и будет в порядке, к моей, с которой все не в порядке.

— Бог с ними, с каникулами, они еще будут в нашей жизни, а диссертацию надо писать. Это может быть сделано только как рывок.

Такое пустое философствование было Верочке не свойственно.

Наконец она сказала то, ради чего позвонила:

— Если ты в октябре не представишь план, ты крупно

рискуешь. Я знаю, что тебе грозят неприятности. Ты напиши, что положено, если тебе надо помочь, я могу попросить дядю или маму... через их руки проходит столько диссертаций... Что у тебя не ладится?

— Все не ладится. Пустая голова.

— Пустая голова это именно то, что надо, чтобы написать диссертацию,— продолжала внушать Верочка.— Надо накатать, поверь, что-то совершенно обыкновенное. Диссертация — это результат простых размышлений, положенных на бумагу. Надо сидеть за столом и писать. Еще раз передай мой поклон твоему отцу и твоей уважаемой матушке.

— Тебе привет от Верочки Семеновой,— сказала я,— она говорит, что у вас одинаковые вкусы на соевые батончики.

Отец вопросительно посмотрел на меня сквозь очки, желая узнать, что еще говорит Верочка.

Если бы у меня было хоть немного больше сердца, если бы я хоть попробовала понять, что происходит, я бы, наверно, поняла, что творю и какой удар я наношу ему. Любимая дочь спуталась с развратником, бросила учение, потеряла себя. Потерять себя было самое страшное.

Отец улыбался, разговаривая со мной, и ничего не спрашивал. Ему было нелегко. В безграничном своем эгоизме, в безграничном жестокосердии я ничего не замечала.

Я спокойно продолжала обвинять маму и Надю, считая, что они доставляют отцу огорчения, а я одни радости. Их я обвиняла, что они его не щадят, а себя ни в чем не обвиняла. И где-то в эти минуты нашей мирной жизни в тихой квартире уже начинало погибать его сердце, уставшее от перегрузок, одной из которых была я.

Но пока еще никто ничего не знал о его сердце, пока существовала только легенда о его железном здоровье, ввиду чего он не нуждался в отдыхе и не брал отпуска. Ему, считалось, надо было только выспаться и больше ничего.

— Так ты ложись и спи,— говорила я ему,— а я беру телефон к себе.

Я продолжала ждать звонка неизвестно откуда.

— А ты что будешь делать?

— Спать.

Я целыми днями лежала на тахте в своей комнате.

— Ты не спишь,— улыбался отец,— а только громко

вдыхаешь. Знаешь, каково это слышать? Если бы у тебя был свой ребенок и он бы так вздыхал, ты бы знала.

— Извини,— отвечала я как последняя дрянь.

— Вздыхай на здоровье. Я пошутил. Давай перенесу телефон.

Нам с ним никто не звонил, мы с ним были вдвоем в целом Ленинграде. Прошел август.

И наступил сентябрь.

Все это время я ждала звонка. Прождав его целый август, я ждала его еще весь рабочий сентябрь, каждый день, каждый час, каждую минуту, боясь отлучиться от дома, выйти из комнаты. Домашним я не доверяла, боялась, что не позовут, когда он позвонит.

И дождалась. Он не бросил меня, как легко можно было предположить и каждый бы предположил, а голосом беспечным как сама беспечность предложил выйти к нему на свидание, на наше старое место, осведомившись, не забыла ли я, где оно находится, и не забыла ли я его самого. Я засмеялась.

И побежала на свидание под балконами, забыв о своем ожидании, об измученных родителях, о своих сомнениях. Все исчезло, осталось одно — он позвонил.

Он опять меня ждал на площади... моя верность и вера водворили его туда, теперь он не уйдет.

Подойдя к нему, я сказала:

— А вот и я, вот и ты.

Меня внезапно пронизало какое-то шутовство, я стала улыбаться.

Александр Петрович не заметил, как я улыбалась. Он взял меня за руку и сказал:

— Простишь меня? Прости.

Этих слов оказалось достаточно, чтобы я почувствовала себя счастливой.

Девяносто девять девушек из ста разобрались бы в этом простейшем случае легко, оценили бы ситуацию разумно, но я была сотая. Я стояла потрясенная, все слышала слово «прости».

— За что прощать?

— За то, что так получилось,— ответил он голосом, в котором только одна из ста могла услышать раскаяние.

— Не будем об этом,— попросила я, но улыбка опять легла на мое лицо и не сходила долго, несколько месяцев.

Это были те самые месяцы, которые ушли на то, чтобы я все-таки разобралась и осталась жива. Улыбка мне помогала.

Но когда я начинала так улыбаться, я еще этого не знала. Я думала, что это просто новая привычка нервного происхождения и скоро пройдет. Я пробовала снять эту улыбку с лица, но она не снималась. Я трогала лицо рукой и нащупывала улыбку.

Мы побрели по Кировскому проспекту.

— Ты работала?— спросил он.

Я улыбнулась и бойко ответила:

— Да. И сильно продвинулась вперед.

— Ну?— воскликнул он.— Я рад. Это над тобою висело, и я чувствовал себя виноватым.

— Бог с тобой,— запротестовала я,— при чем же ты.

— Я рад,— повторил он профессорски-солидно.

Мне захотелось побольше наврать.

— Я нашла ключ. Наверно, я ее скоро всю напишу, эту диссертейшн. Дело в методике.

— Звучит несколько общо,— сказал Александр Петрович.

Может быть, и в самом деле он чувствовал себя ответственным за мою академическую успеваемость, ведь он помог мне стать аспиранткой.

Я не знала и не могла знать.

Я посмотрела на него. Он наконец заметил улыбку.

— Ты какая-то странная, улыбаешься странно,— сказал он.

— Очень может быть,— ответила я, довольная действием улыбки.

— Разберемся,— продолжал он шутить.

И опять мы пришли в ресторан.

Я попробовала на официанте свою улыбку.

Александр Петрович спросил:

— Ты хотела его загипнотизировать?

— Я хотела, чтобы он быстрее принес еду,— сказала я.

— Он уже несет.

Все было как всегда. Оживление, тосты, угощение, шутки и вопросы.

И все-таки не так, как всегда. Это можно было приписать влиянию долгой разлуки, но, пока мы обедали, шутки и вопросы становились все реже и к концу обеда пропустили большие паузы.

Я сидела, боялась шевельнуться, в первый раз, может быть, восприняв происходящее правильно, паузу как паузу и конец всему.

— Почему мы молчим как немые?— лучезарно улыбаясь, спросила я.

— Наверно, потому, что давно не виделись.

«Может быть, еще все обойдется»,— подумала я с тоской. Поверить в катастрофу равносильно тому, что ее накликаешь.

В зеркале я обнаружила, что улыбка по-прежнему плотно сидит на моем лице.

— Два месяца прошло,— изрекла я и сразу сообразила, что об этих двух месяцах лучше не вспоминать.

А времени было мало, обед двигался к концу, надо было что-то говорить. Но опять наступила пауза.

Потом мы еще немного пошутили.

Александр Петрович расплатился, потом поймал такси, отвез меня домой, обещал на днях позвонить.

— Позвоню,— пообещал он.

— Когда?— спросила я.

— Обязательно,— заверил он меня.— Обязательно. Ск-коро.

Иногда он вдруг начинал заикаться.

Он сел в машину и уехал.

Другие люди знали, что так будет. Только я не знала. Это меня и спасло. Теперь надо было никого ни в чем не винить и себя не жалеть. Слова «любовь была» можно сказать почти так же нечасто, как «любовь есть».

А мне осталось то, что было у меня всегда. Моя серая каменная улица, мои родители, моя сестра и то дело, которому я когда-то посвятила свою жизнь. В какой-то день, в какой-то час своего легкомыслия я его выбрала, исходя из тех соображений, что математика трудна и непонятна.

Мне осталась тоненькая бежевенькая папка и несколько стопок книг, из которых можно было сделать диссертацию, а можно было, подержав их на столе, собрать и спрятать в шкаф. Или, увязав в ровные пакеты, заложить в тахту, где хранились зимние вещи и пахло нафталином.

Осталось время, которое я еще могла безнаказанно лежать на тахте, пока в университете не решат меня выгнать и надо будет трудоустроиваться. Если бы можно было еще

раз поменяться с Борисом Мониным. Он бы стал тем, кем должен был стать, а я бы работала лаборанткой, вела протоколы заседаний кафедры, распределяла нагрузки, отвечала на запросы деканата, ведала бы всей этой кафедральной бумажной бюрократией, которая сейчас, наверно, была не в лучшем виде, потому что Монины старались не затруднять. Обреченный мною на то, чтобы носить журналы на заседания, он слышал только «спасибо» и «пожалуйста» и «ради бога, извините». Но поменяться все равно было нельзя.

Мне оставалась возможность встретиться когда-нибудь с его матерью. Хотя достаточно было того, что я встречалась с ним.

ВСЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС ЕЩЕ ДВА ЧАСА

1

Ео мной поступили так: отдали в мою лабораторию две темы, по всем признакам совершенно безнадежных. Тема номер один давно переходила из плана в план. Она значилась в другой лаборатории, в той, от которой отделилась наша. Понять это сразу я не могла, а когда поняла, было поздно. Обе темы, номер один и номер два, висели на нас. Предстояло с ними тонуть. Выплыть невозможно.

Лабораторию я получила внушительную. Пять комнат и кабинет с моей фамилией на дверях и опытная установка. Лаборанты..

Из окна кабинета видно, кто идет по двору. А по двору идет весь институт—тридцать лабораторий, опытный завод. И толпы командированных.

Командированные к нам не ходят: у нас им нечего делать. У нас пока стадия стекла, какая будет дальше стадия — неизвестно.

За окнами территория. Некоторые здания в кажущейся небрежности поставлены поперек двора, некоторые затиснуты в угол. Строилось по плану, но что-то привольное, бесшабашное есть во всем этом. Вдалеке завод у каменной ограды, легкое современное здание склада в центре двора, четыре скучных лабораторных корпуса по одному проекту, как четыре брата, а впереди всех—добротный, в традициях русской усадебной архитектуры, административный корпус, дом с колоннами. Все это выросло за последние пять лет, после майского Пленума.

Кругом на многие километры тянутся заборы и проволока — заводы, заводы и ТЭЦ. Молодые сотрудники много говорят о том, что было бы лучше жить среди сосен, на

берегу реки, без индустриального пейзажа. Наверно. Другим отраслевым химическим институтам, также родившимся после майского Пленума, повезло больше. Но это мелочи. Важно, кто лучше работает, у кого больше отдача. Отдача — вот что. Остальное не главное — дырчатые навесы у подъездов, окна без переплетов, пластики. Но об этом у нас тоже много говорят, мы как раз те, кто создает эти пластики, синтетические волокна...

Я не была здесь с самого начала, не вкалывала со всеми, не мерзла, не ходила по грязи с мокрыми ногами, а приехала на готовое. И все-таки... Мы — НИИполимер, большая химия, боевое направление. Хочется, чтобы вокруг были яркие краски. А наши краски — коричневый цвет кирпича, серый цвет бетона и никакой — снега.

От дома с колоннами к лабораторному корпусу тянется широкий асфальт. Проходит группа девушек в комбинезонах, поворачивает в сторону завода, потом мужчины с желтыми и черными папками. Потом школьники с учительницей.

А вот идут двое, у них есть еще третий друг — это физики, отличные ребята. Если бы переманить их в нашу лабораторию, они обеспечили бы физический фронт работ. Тогда, может быть, можно было бы что-нибудь сообразить с темой № 2. С темой № 1 ничего не придумаешь никогда, даже если бы к нам в лабораторию пришел сам Менделеев, сам Штаудингер, сам Петров, сам Эйнштейн и сам папа Байер.

Надо намекнуть этим ребятам, что, работая во вспомогательной физико-химической лаборатории, обслуживая весь институт, они погибнут, выродятся. Будут выполнять чужие заказы. За физиков я бы отдала пять девочек, вполне хороших девочек-лаборанток, которые нам, однако, не нужны.

Вон идут эти ребята, со здоровыми, веселыми, спортсменскими лицами. Завтра в обеденный перерыв пойду и поиграю с ними в пинг-понг. Они говорят, что их «учили» атомным бомбам и чему-то еще, но они любят полимеры, если дело будет поставлено правильно. В теме № 2 кое-что заложено, но тема № 1 — смерть.

Они могут не согласиться из-за того, что я женщина. Женщина-шеф — это покажется им унижительным. И ненадежным. И без того для физика работать в химической лаборатории — падение. Даже стыдно сказать, что он, физик, герой века, работает в химической лаборатории. На

фоне своих громадных установок, весь в электронных лампочках, он героичен. А тут химическая лаборатория, женщина-шеф. Трудно будет их уговорить.

Пять лаборанток я бы отдала, двух оставила. Одна — Регина, высокая девушка с глухим, низким, как будто пропитым голосом. Выглядит она несколько мрачно, густые кофейно-коричневые волосы нависают над лицом. В столовой около нее крутятся пижоны, обслуживают, относят поднос, приносят компот, а она молчит, смотрит из-под волос. Все это мы, руководители, не любим. Но я видела, как она работает. Видела ее руки, сосредоточенность у опыта и ее записи в журнале. Работает красиво, чисто, у нее ум в пальцах. Вторая лаборантка, Аля, тихая девочка с металлическими брошками на халате, на платье и на пальто. На брошках изображены города, рыбы, детские головы. Аля краснеет, когда видит меня, что-то хочет спросить, но не решается. А берет скальпель и начинает резать бумагу на столе или ногти или строгать карандаш. Я нервничаю, жду, что она порежется.

Аля удивляет своей кротостью и спокойствием, переходящим в медлительность. Задача — заставить ее двигаться быстрее. Ровно в четыре ее уже нет в лаборатории и в институте, нет как не было. Только синий халат с брошкой висит на стене.

А Регина не убегает и не бросает работу. С вопросами она ко мне тоже не обращается. Не из-за робости — какая там робость! — она меня не признает. А мне она нравится.

Многие мне нравятся. Но часто настоящими людьми оказываются те, кого я не заметила.

Я слышу в коридоре голос моего старого друга. Он идет ко мне. Начальник отдела кандидат наук Роберт Иванов, без пяти минут доктор, восходящее светило. Мы дружны с ним давно, домами; друзьями были еще наши родители.

Кажется, совсем недавно, в Ленинграде, он был длинным худым студентом, уезжал на картошку с потертым рюкзаком. И недавно он был аспирант, носил ковбойку, обедал мороженым, брился не каждый день, имел привычку работать ночами и говорил: «Я все могу». Роберт — человек талантливый и блестящий.

Теперь на нем замшевая куртка с серебряными пуговицами, красная шерстяная рубашка и графитово-черное пальто на бело-розовом меху. И пальто и куртка кажутся

случайными: ковбойка с закатанными рукавами шла ему больше. Теперешний Роберт хотя и худ по-прежнему, но гладко выбрит, пахнет одеколоном, носит кожаный портфель на молниях.

— Привет, Маша, как дела?— Он швыряет свои розовые меха на диван и разваливается на стуле.

— По-моему, я горю,— говорю я.

— По-моему, да.— Он смеется.— Тебя предупреждали.

— Смеешься. Ты не знаешь, каким образом я так влипла?

— Знаю. Интриги товарища Тережа. Теперь никуда не денешься. Делай, авось.

— Не могу, Роб. Это липа. Мономера нет.

— Глупышка, будет. Будет. Пока вы делаете, подоспел мономер. Побольше оптимизма. У меня есть идея.

— У тебя всегда есть идея,— кисло говорю я.

— Не хочешь — не надо.

Он смеется. Он неунывающий человек. Мне повезло, что он здесь. Собственно говоря, и я здесь, потому что он здесь. Он первый приехал в это благословенное место.

— Плюнь на гостиницу, переезжай к нам.

Дело в том, что я до сих пор живу в гостинице, квартиру мне пока не дали, обещают со дня на день дать.

— Живя в гостинице, человек учится ценить домашний очаг. Наверно, зря я уехала из Ленинграда.

— Все образуется, Маша, все будет хорошо.

— Еще как.

— Перестань. Сделаешь ты свой полимер!

— Нет.

— Хорошо. Не сделаешь.

— Ты какой-то баптист,— говорю я. Но разговор меня подбодрил.

— Баптист?

— Ладно. Какая у тебя идея?

— У меня их много.

— Ты мне скажи, директор — порядочный человек?

— Дир? Очень. Но он директор.

— Значит, ты считаешь, что бесполезно просить его нам помочь?

— Абсолютно. Он ничего не может. На институте твои темы висят...

— Я и говорю, надо снять с института.

— Ты очень умная, Маша. Даже мудрая какая-то.

— А что ты делаешь, Роб, когда видишь, что работать бессмысленно?

— Работаю.

— Ну и как, Робик?

— Все нормально.

Многие так работают в науке, заранее зная, что ничего не получится. Отрицательный результат — это тоже положительный результат. И я должна. Почему я считаю, что вижу лучше других?

— Что ты делаешь, Роб, когда видишь, что работать бессмысленно? Повтори.

— Работаю. Или делаю вид.

Я вижу в его волосах раннюю седину, слышу нервозность в голосе. Он и раньше был нервным, постоянно крутил что-нибудь в пальцах, отстукивал дробь, много смеялся, торопился, острил. Пожалуй, он стал нервнее.

— Ты обедала?

Два часа. Весь институт уже пообедал. В это время обедают начальники: начальники лабораторий, отделов, главный инженер, главный бухгалтер, директор.

В коридоре мы встречаем Алю со скальпелем. Как обычно, у нее такой вид, как будто она хочет меня о чем-то спросить. Соседняя лаборатория заставила коридор ящиками с заливкой. На их улице праздник, внедряются в промышленность. Все возбуждены, куда-то едут и жалуются на шум, который устроили сами. Ах, реклама, пресса, ах, корреспонденты, не умеют писать и в химии не смыслят и все опешляют! Пусть они к нам не ходят! Если так говорят, значит, дела идут хорошо.

Худенький мальчик в очках взваливает на спину ящик с пенопластом, похожим на взбитые сливки, и бежит по лестнице вниз, показывая, как легко тащить этот ящик, он огромен, но не имеет веса. Кто-то кричит:

— Старик, попроси его пластинки бандеролью послать. Привет Москве!

— Внедряетесь! — говорит Роберт в сторону дверей, откуда кричали про пластинки. — Молодцы!

— Что делать? — спрашиваю я.

— Прежде всего надо разрезать институт на несколько частей, — говорит он. Мне представляется, как мы режем наш бедный институт на части. Я смеюсь. Реорганизовать и профилировать — это нам всегда требуется. — Смейся. Только запомни этот смех.

Я знаю, что смеяться нечего. Но мы смеемся.

В вестибюле дома с колоннами запах ванильного теста, яблочного пирога с корицей. Кажется загадочным, почему так прекрасно пахнет в вестибюле и так неважно в столовой.

Столовая помещается в подвале. Надо пройти через бетонные бункера, и попадешь в просторную конюшню с низкими потолками. Само по себе это вполне современно и могло бы даже нравиться, если бы не мокрые столы и мягкие ложки и вилки. В ноже и вилке все же должна быть какая-то жесткость и надежность, а эти гнутся от прикосновения и потому имеют странные формы.

Надо взять поднос, положить на него странные ложки и вилки, поставить поднос на металлические рельсы и ехать с ним от раздатчицы к раздатчице. Порядок получения блюд обратный порядку обеда. Кофе, бефстроганов, суп.

Некоторые толкают свои подносы весело и просто, не придавая особого значения этому обряду.

Роберт читает меню, говорит комплименты кассирше, старушке, которой никто не говорит комплиментов.

А вон физики, берут в буфете минеральную воду.

Некоторые словно стесняются того, что все-таки приходится обедать каждый день. Серьезные люди должны стоять с подносами, и это им нелегко. Другие стараются подчеркнуть ничтожность происходящего, шутят, но с оттенком язвительности. Например, начальник лаборатории, в прошлом директор различных заводов, «домов, пароходов», бывший министр мистер Твистер, Иван Федотович Терез.

Увидев меня, Иван Федотович кричит:

— Ах, какая девица бесподобная! Мне бы годков двадцать сбросить, даже пятнадцать, и то уже было бы в норме. Не шучу.

Он все шутит. Рассказывают, что в прежние времена он был суров и крут, но шутил. Даже, говорят, любил пугать. И сейчас все шутит.

Это Терез спихнул на меня тему № 1 и тему № 2 с феноменальной ловкостью, это были его темы.

— Помню, стояли мы в Рейхенбахе, паршивенький такой городишко...— Будет очередная «дамская» история Тереза из военных воспоминаний. У него их не счесть. Я дергаю поднос, проливается суп.

— Осторожнее на поворотах, гнедиге фрау,— смеется Терез.

За столом в одиночестве сидит наш подкупающе мо-

лодой директор и демократично хлебает борщ. К нему подсаживается Терез, говорит громко:

— Ну что это все такое, скажите вы мне. Где белоснежные скатерти, где фужеры с минеральной водой, где цветы, где, понимаешь, хрусталь, где культура? Нет, товарищи, товарищи, как хотите, а я враг самообслуживания и сторонник обслуживания. Мельчаем.

Шутит Терез. «Мельчаем» — лейтмотив его шуток.

А директор, обычно не расположенный шутить, подает серьезную реплику:

— С завтрашнего дня буфет будет открыт с утра и до вечера.

За другим столом сидят две женщины. Одна из них — маленькая, с мягкими начесанными на лоб волосами, с яркой седой прядью — ученый секретарь. Она тихо и старательно выговаривает слова:

— Садитесь с нами, Мария Николаевна, мы обсуждаем планы на лето. Это такая приятная тема, что, хотя до лета еще далеко, поговорить об этом и то большое удовольствие.

Очень грамматичная, любезная и важная женщина, выговаривает все точки и все запятые.

— Садись с нами. — Роберт пожимает мне руку и шепчет: — Внедряйся.

— Как вы устроились, довольны ли вы своей квартирой? — спрашивает меня ученый секретарь Зинаида.

— Благодарю вас, я пока еще живу в гостинице, но в скором времени перееду, — отвечаю я, мгновенно впадая в грамматический стиль. Теперь буду так говорить весь день.

— В нашем институте стало традицией вручать ключи от квартиры вновь прибывающим товарищам, — продолжает Зинаида все в том же духе.

— А мне не вручили.

— А мне вручили, — говорит вторая женщина, Нинель Петровна. — Я, когда приехала, поставила чемодан, села, огляделась и как начала реветь! Вот оно, одиночество в малогабаритной квартире. Все комнаты из каких-то кусков. И квартира новая, а кажется, что в ней уже кто-то жил. Везде подтеки, все обшарпанное. Такая тоска, господи, думаю, куда меня занесло! Еще прошлась по старому городу, эта старина чертова так на меня подействовала, могу только реветь. Ну чего тебе здесь надо, чего ты не

видела, ведь работала в Ташкенте, город-красавец, виноград, абрикосы ведрами!.. Реву и реву.

— Наш город также очень своеобразен, в нем надо пожить, чтобы его полюбить, и старина и родные березы,— Зинаида обводит рукой стены столовой,— всегда будут дороги русскому сердцу.

— Самое главное, чтобы был на высоте институт,— говорю я внушительно.

— Институт, институт,— бормочет Нинель Петровна, женщина-загадка.

Она ничего не делает, и не год, не два, а со дня основания института, как приехала из Ташкента. На нее даже не сердятся, с интересом наблюдая, что будет дальше. Своими крепкими белыми руками она отшвыривает всякую работу, какая только попадает на нашем научном пути. Если о ней вспомнят: вот поручим Нинель Петровне,— она поднимается, солнечно-рыжая, румяная, в пуховых кофтах, с крутыми, сильными плечами, и начинает отбиваться.

— Вы что?— говорит она, нисколько не стремясь к научно-академическому стилю.— Я вам девочка здесь? Вы что думаете? Кто это будет делать, я?

Директор сердито скажет:

— А что, я?— И замолчит. Он человек деликатный, перед наглостью он пасует.

Ну, может быть, скажет укоризненно:

— Нинель Петровна, Нинель Петровна, мы можем не только попросить, мы еще можем приказать.

А она обведет собрание немигающими, несмеющимися серыми глазами, пожмет плечами и сядет на место. Она все сказала. И проходят эти дешевые номера, вот что удивительно.

— Вчера в обувном были хорошенькие кларки,— замечает Нинель Петровна.

— Мои вишневые с пупочкой сносились за месяц, вот вам, пожалуйста, англичане,— говорит Зинаида,— один вид.

— Поэтому я перестала покупать кларки,— заключает Нинель Петровна.

Мне бы поддержать разговор, у меня тоже есть что сказать по этому поводу, но тема исчерпана раньше, чем я сообразила, что речь идет о туфлях английской фирмы «Кларкс».

Директор пообедал и ушел. Терез ушел, пошутив что-

то насчет женского клуба и трудовой дисциплины. Роберт, уходя, помахал портфелем и незаметно мне подмигнул. Выхала уборщица с железным ящиком на колесиках и собирает посуду. Это почти цирковой номер: посуду кидают об железо, и она не бьется. Летят изогнутые вилки, летят тарелки и граненые стаканы.

Мы поднимаемся из-за стола. Зинаида бросает лозунг: — Надо браться за работу. Работы всегда много.

Нинель Петровна розовеет, даже такое напоминание о работе бесит ее.

— Рвут на части,— говорит она.

Я улыбаюсь.

— А что у вас на ногах, ну-ка, ну-ка? — спрашивает вдруг Зинаида и пристально смотрит на мои туфли.

— Кларки! — радостно отвечаю я.

...Но уж если я не могла работать по-настоящему из-за тем № 1 и № 2, то, во всяком случае, могла делать все остальное. Остального было немало.

Во-первых, оборудование, во-вторых, бумажки, в-третьих, деньги.

Я вошла в свой залитый солнцем кабинет с пустыми, ничем не украшенными стенами и решила заняться тремя этими делами. Стены кабинетов других начальников лабораторий украшены выставочными стендами. Стенды демонстрируют успехи и достижения, выполняют роль рекламную и отчетную. У меня не было на стене стенда. Нет, вернее, стенд был — деревянная рама, поделенная красными крашеными рейками на мелкие квадраты. В каждом квадрате должен помещаться образец рожденного в лаборатории продукта. Квадраты моего стенда были пусты и чисты, цвета серого с рябинами — прессованные опилки. А в институте были лаборатории, где не хватало одного стенда и рядом с ним приколачивали другой и в каждый квадрат находилось что прицепить. У меня на стене висела периодическая система Менделеева.

«Сейчас пойду на склад, потом займусь посудой», — подумала я и увидела записку, написанную четким почерком Али, выполнявшей в нашей лаборатории обязанности секретаря: «Вас вызывает директор».

Это было совершенно естественно. Раз поручили невыполнимую работу, ее будут строго и неукоснительно спрашивать.

Слишком долго Терез доказывал, что темы № 1 и № 2 перспективны, слишком много государственных денег было в них всажено. Комитет не снимет с нас этих тем.

2

Из окон номера гостиницы видны древние стены маленького кремля в свете зимнего туманного рассвета. Оперная декорация, от которой щемит сердце.

Что заставляет человека уходить из родного дома, который не был плохим и был родным? Что заставляет уезжать, когда можно оставаться на месте и жить, прилаживаясь к привычным и понятным условиям, ходить пешком через Марсово поле и Кировский мост, по Кировскому проспекту, мимо памятника «Стерегающему», с которым связана юность? И работать. Не совсем по специальности, но все-таки по специальности. Встречаться с друзьями. Однако я уехала искать свое счастье.

В этом городе, правда, у меня есть старые друзья — Роберт Иванов и его жена Белла. Еще нескольких человек я знаю; химики знакомы между собой: все они Менделеевка, Карповский, Ленинградский технологический, Ленинградский тонкой технологии. Ленинградский — это марка. Я из Ленинградского университета.

Здесь директору института тридцать шесть лет, заму по науке тридцать три и всем остальным соответственно. Маститых почти нет, но есть энтузиасты. И дело поставлено с размахом. Нет тесноты, как в крупных центрах. Строят по-современному, можно работать не на голове друг у друга.

Институт молодой, а город старый, музейный. Это Россия. Кремль, крепостные стены, гостиные дворы, подворья, церкви, иконы. «Интурист» возит сюда иностранцев. На рынке грибы, лук, сплетенный косами, клюква, мед. Резные деревянные бадейки, ложки, лукошки.

Надо подумать, как провести длинное, одинокое гостиничное воскресенье. Нельзя раскисать. Надо вскочить со странных казенных пуховиков, принять душ, позавтракать в буфете на втором этаже — и что? Что делать? Пойти на рынок меду купить. Можно было бы купить яиц, но их негде варить. Плитка у дежурной на этаже все время перегорает, а неловко таскаться с кастрюлькой через холл, где полно физкультурников и цыган. Областным физкультурникам бронируют лучшие номера, их кормят

по талонам калорийной пищей и следят, чтобы они вовремя ложились спать. По вечерам они смотрят телевизор в холле. И цыгане из ансамбля смотрят телевизор. Цыганята школьного возраста в отцовских тапках бегают по коридору, гремя бутылками кефира и лимонада.

В буфете сверкающая никелем стойка, батарея вини коньяков. А на фоне пестрых наклеек и рубиновых, зеленых, благородно темнеющих бутылок бучетчица Фая режет черный хлеб, раскладывает гуляш и разливает водку. Физкультурники уже уехали на тренировки.

За столами, покрытыми прозрачной пленкой, сидят офицеры, едят гуляш, пьют водку и кормят маленькую девочку пирожным с красным кремом. Девочка тихо и послушно ест пирожное, а офицеры наклоняются к ней и гладят ее мохнатую серую шапочку. Уборщица водит тряпкой по столам, где стоят граненые стаканы с салфетками и чайные блюда с горчицей.

Буфетчица Фая налегает всем телом на ненадежную ручку венгерского кофейного агрегата.

А за окном все та же сказочная декорация, что стояла тут четыре или пять столетий. Она все та же, но она изменилась, вдруг позолотилась, поголубела и придвинулась ближе. Белая зубчатая кремлевская стена теперь совсем рядом.

Я медленно пью черный кофе и ем пирожок с кислой капустой, который дала мне Фая. Фая — добрая душа, в лиловой кофте, в серьгах и бусах, с малиновым полупившимся маникюром на широких коротких пальцах. Она жалеет всех: и меня, и девочку, которую привели за ручку офицеры, и тех мужчин, которые заходят сюда с улицы в пальто, в ушанках и в валенках, и отпускает им сто граммов, хотя это запрещено. В пальто — запрещено, без пальто — не запрещено. Она оставляет для меня пирожки с капустой и большие мокрые куски пирога с повидлом, особенно ценимые жильцами гостиницы.

— Ну ладно, спасибо, — вздыхаю я, — сколько с меня?

— Как всегда, — меланхолически отвечает Фая, — семь плюс девять.

— Шестнадцать, — говорю я, — недорого. Так жить можно.

— Голодная будете, — говорит Фая, — быстро схудеете. Хоть бы ряженку взяли.

Я одеваюсь и выхожу на главную улицу. Последние запоздавшие лыжники садятся в троллейбус. Главная

улица, называемая Шаталовкой, Шалопаевкой и Бродвеем, немногочисленна. По Бродвею озабоченно идут женщины в пальто с воротниками из чернубурки и хозяйственными сумками.

За поворотом на косогоре открывается собор невиданной красоты. К нему ведут дорожки со стендами антирелигиозной пропаганды. Идя к обедне, можно прочитать, как церковники поносят женщину и мерзко к ней относятся, призывают к братоубийству и человеконенавистничеству, отрицают прогресс и науку.

В соборе людно. Сырым жаром веет из решеток, вделанных в каменный пол. Идея преисподней отлично материализована в этих черных горящих решетках. Запах чего-то, что здесь жгут и называют благовониями, сечет дыханье.

Я протискиваюсь сквозь толпу молящихся старых женщин. Впрочем, не все здесь старые и молятся тоже не все. У стен стоят парни и девушки с блеском интеллигентности и туристской любознательности в глазах. Всем своим отстраненным, снисходительным и спортивным видом они говорят: «Мы это презираем, нас это все смешит, но, с одной стороны, немного жаль этих темных старух, а с другой, мы интересуемся искусством, русским зодчеством и иконами. Где знаменитые иконы, на что надо смотреть и любоваться?»

Знаменитые иконы недоступны, центральный неф и подходы к нему заняты молящимися. Идет важная служба, служит архиерей. Все мрачно, торжественно, серьезно.

У задней стены собора располагается торговая сеть. В киосках продают свечи, просфоры, нечто вроде фотоикон и нечто вроде сувениров. Старухи продавщицы переговариваются между собой, ругают отца Вячеслава за непомерную лень.

— Ничаво отец не жалуется делать,— говорит одна старуха.

— Совсем разленился,— отвечает другая, сверкнув острым черным глазом.

А рядом за столами сидят церковные канцеляристки и делают записи в книгах, а нечесаный старик красными дрожащими руками связывает в холщовые мешочки монеты — доход сегодняшнего дня. Получаются крепкие, толстенные мешочки вроде детских новогодних подарков. «Хватит,— говорю я себе,— на сегодня довольно».

Испарилась моя любовь к искусству — ах, икона, ах,

Рублев! — и наслаждением кажется выйти на морозный воздух.

В голову лезут слова-штампы — церковные крысы, религиозный дурман, поповский обман, опиум и почему-то расстрига. «О, расстриги, расстриги», — повторяю я про себя. Хотя знаю, что расстриг там как раз не было. Галерея лиц, виденных в церкви — русских, суровых, изможденных, щемящих, — стоит перед глазами.

Возле рынка покупаю два горячих пирожка с вареньем. Я съедаю их, спрятавшись за телегу с сеном. Было бы некрасиво, если бы кто-нибудь увидел, как я ем на улице пирожки. «О, мещанка», — говорю я себе, вытирая губы. Конечно, мещанка. Человек, если он никому не вредит, может делать все, что хочет. Кому плохо, что я съела пирожки? Только мне. Я растолстею.

Поворачиваю назад, не заходя на рынок. На рынке нечего покупать. Что там есть? Мед. Меда полно — три рубля кило. А кроме того, сушеная рябина, скрюченные ягоды шиповника, кривые палки хрена, горы клюквы и большие черные ушастые соленые грибы.

У ворот рынка стоит начальник четырнадцатой лаборатории Леонид Петрович Завадский, задумчивый, как всегда небритый, в боярской меховой шапке, и смотрит на пирожки. Я хочу пройти мимо, чтобы не смущать его, но он замечает меня и приветственно поднимает руки. Он большой, как два человека, и растерянно радостный. Добрый великан в очках. Классический тип ученого, неумирающий, неувядающий образ; если бы его у нас не было, его бы пришлось выдумать. Мне кажется, что я знаю его давным-давно.

Сейчас, увидев его на рынке, я вдруг понимаю, что мы с ним похожи.

«Он мой двойник, — думаю я, — да, да, этот смешной толстый человек — мой двойник. На первый взгляд абсурд, но это так. Я узнаю себя. Это я».

— Мария Николаевна, привет. Куда наострили лыжи?

«О боже, это я. Это я острою, разговариваю, как петрушка. От смущения и неловкости. Это я».

— В гостиницу.

— Пошли вместе. По дороге будем интенсивно обмениваться информацией. Перехожу на прием, слышу вас хорошо. Как вы себя чувствуете?

— Кто? Я?

— Снимаю вопрос — как вы можете себя чувство-

вать? Но не падайте духом. Вначале я тоже чувствовал себя ужасно. Сперва, когда мне дали лабораторию, бац, я был счастлив, я был бог, но потом... когда прошел первый шок, ох несладко... Вообще перемена пе-аш среды... Но не расстраивайтесь, будьте мужественны, но будьте бдительны. Дир здесь сам талантливый администратор и хочет сделать из нас маленьких администраторов.

— Моя лаборатория обречена работать вхолостую...

— Моя лаборатория не работала два года. Первые две зимы мы только оснащались. Сперва вообще ничего не было, не было стаканов, лапок, клянчили посуду. Это называлось — Период позорной нищеты. Потом пошла другая жизнь, называлась — Честная бедность. Опускаем подробности. Следующий период — Умеренный достаток. И наконец — ля ришесс. Это сейчас. Два года как один миг. Зато теперь... Ля ришесс, — повторяет он, — это уже, знаете ли, нечто.

— Ну и...

— Ну и теперь потихонечку, полегонечку начинаем. И поверьте моему слову, скоро и вас перестанут ругать. Нас уже перестали... почти...

Боже мой, это я, просто я. Я так говорю, я так думаю. Во мне сидит такой же вот беспомощный, совершенно неприспособленный толстый Завадский — все хочет, ничего не может, боится перемены пе-аш среды, боится Дира-администратора и всех тридцати начальников лабораторий, всех лаборантов, всех аспирантов, тщательно скрывает свои комплексы неполноценности и думает, что скрыл тем, что не скрыл. Ужасно!

— Хотите, я вам помогу? — Голова у Завадского наклонена набок. И я так наклоняю голову.

— А можно помочь? — спрашиваю я.

— Еще как! — восклицает он. — Можно сократить состояние, используя мой опыт. Не повтóрите моих ошибок, уже хорошо. Пойдете сами — проплутаете, сделаете лишние семь верст и придете черт знает куда, и вас волки съедят. Если вы свободны, я приду к вам вечером в гостиницу потрепаться. К себе не приглашаю: в моем холостяцком жилище немного не того. То есть для меня там прекрасно, но дама... Даме может не понравиться.

— Договорились. В семь жду вас.

Я смотрю на его пижонски распахнутое пальто с раздробленными пуговицами, жеваные штаны и доисториче-

ский вязаный жилет, незнакомый с химчисткой. Потом смотрю ему вслед, на его широкую, но неспортивную спину в дорогом ратине.

Завадский был первым, кто мне встретился, когда я приехала сюда на постоянное местожительство. Роберт и Белла были в отпуске, я вышла из вагона и отправилась искать машину.

На привокзальной площади было полно такси, но никто не соглашался везти меня и мои чемоданы в гостиницу «Интурист». Все желали заполучить дальних пассажиров. Шоферы кричали: «Эй, кому в Петров, кому в Покров, граждане, налетай!» Шоферы подмигивали, хохотали, предлагали рейс до Москвы, почесывая в затылке, тягуче говорили: «Не-е».

«Печальная ситуация», — сказала я себе.

— Не могу ли я быть вам полезным? — спросил меня мужчина с большим добрым лицом.

— В каком смысле?

— Например, донести ваши чемоданы.

— Таксисты далеко везут, но до гостиницы не везут, — сказала я.

— Увы, это так.

— Чемоданы тяжелые. Тащить их в гору невозможно.

— Ладно, попробуем уговорить какого-нибудь деятеля, — ответил небритый и стал ходить от одного шофера к другому. Потом помог мне сесть в такси и вежливо сказал: — Видите, а вы уже решили, что вас волки съедят. Вы в гости? Жить? Работать? Институт, завод? Химия? Биология?

«Помог», — подумала я.

— Институт, — ответила я, — НИИ Полимер.

— Я сам оттуда. Разрешите представиться: Завадский, начальник лаборатории номер четырнадцать.

— Я из Ленинграда, новый начальник десятой лаборатории! — крикнула я и умчалась на соседний пригорок, где располагалась гостиница, знакомая мне еще по первому разведывательному приезду сюда, в старинный русский городок, каких много в Советском Союзе.

...Простившись с Завадским до вечера, я захожу в гастроном. В гастрономе, как в буфете гостиницы, большой выбор вин. Продаются также конфеты и шоколад.

Сахар в синей обертке, какой подают к чаю в поездах, продается под названием «ресторанский».

До семи много времени. Вполне достаточно, чтобы пойти и принять душ, стоя на склизкой решетке в холодной камере, именуемой ванной, пообедать в ресторане, почитать и использовать телефонный талон — поговорить с Ленинградом.

Разговор по телефону с Ленинградом, как всегда, разворотил душу, принес знакомое ощущение неблагополучия. При этом он не был чрезвычайным. Обычный междугородный разговор с мамой, к которому я, как всегда, оказалась неподготовленной.

— Мамочка, привет! Это я, Маша!

— Слава богу, что ты позвонила. Я уже думала, что что-нибудь случилось.

— Ничего не случилось. Звоню, как обещала. Сегодня воскресенье.

— А я уже не знала, что думать. Я думала, что ты заболела. Я решила ехать к тебе.

— Все у меня в порядке. Как твои дела, мамочка?

— Какие у меня могут быть дела?

— Ну все-таки. Как?

— Никак.

— То есть?

— Никак и никак.

— А здоровье?

— Тоже никак.

— Что это значит?

— Никак значит никак. Ни хорошо, ни плохо. Не живу, не умираю.

— Прекрасно. А деньги?

— Деньги мне не нужны. Чем ты болела?

— Я не болела, мамочка.

— Ты меня не переубедишь.

— Абонент, время,— говорит телефонистка. — Кончили, абонент.

Мама не хотела меня огорчать. Повесив трубку, она будет терзать себя, что плохо разговаривала. Но в следующий раз будет разговаривать так же. И опять возникнет впечатление нависшей беды, более зловещее, чем сама беда. Предчувствие, недоговоренность, дым неблагополучия поплывут над сотнями километров. Это достига-

ется не словами, а тоном и молчанием. Мама — классическая мучительница, она мучает только тех, кто ее любит и кого она любит.

Если я испытываю беспричинную тревогу, я всегда знаю, в чем дело. Моя тревога — мама, она во мне всегда. Допустим, можно купить еще талон и позвонить. И даже будет удачнее, чем было сегодня. Если повезет, можно неожиданно услышать совсем молодой мамин голос, даже смех или шутку. Правда, шутка будет особенная, невеселая. Но все равно это будет мамина шутка, а мне больше от нее ничего не надо, только пусть она пошутит. Как умеет.

Я представляю себе, как она сейчас сидит в комнате, глядя перед собой в одну точку, сжав папиросу, как оружие, из которого она стреляет в себя. Окружена дымовой завесой. Она сидит в какой-то необыкновенно неудобной позе, одна нога поджата, другая вытянута вперед. Не знаю, кто и на чем может так сидеть, — она так сидит на стуле, и ей удобно.

Ела ли она сегодня что-нибудь? Или только пила чай и курила? Уехав из Ленинграда на самостоятельную трудовую жизнь, я проявила силу воли, характер, самостоятельность и бросила ее.

Теперь звоню по телефону. И все стараюсь представить себе, как оно все есть и как будет дальше, и почти никогда не думаю о том, как было.

А было так. Всегда, всю жизнь, всю ту ленинградскую юную далекую жизнь, я была единственной дочерью любящих родителей. Это очень хорошо до тех пор, пока ты ничего не понимаешь и живешь, имея перед собой простые задачи — учиться, читать, гулять, дружить, расти, не болеть. Но потом в какое-то мгновение все опрокидывается, резко меняется, и твои родители становятся твоими детьми. А ты пропала. Я уже не помню, когда и как это случилось, знаю, что давно, и, хотя мама продолжала и до сих пор продолжает давать советы на все случаи жизни и говорить о плохой погоде и теплой одежде, теперь я отвечаю за нее, а не она за меня.

Внешне все оставалось по-прежнему. По-прежнему я должна была отчитываться, куда иду и с кем и когда вернуться, звонить по телефону, если задерживаюсь, и по возможности не задерживаться, выполняя тот свод правил поведения, которые родители изобретают для своих детей. Хороши эти правила или плохи, не мне судить. Сна-

чала их выполняешь, потому что мир открывается тебе вместе с ними, а потом просто выполняешь. Тебе это нетрудно, а родителям важно. Им это страшно важно, может быть, важнее всего на свете. А в один прекрасный день берешь и уезжаешь.

Для того чтобы уехать, потребовалась вся жестокость. Как я сумела это сделать, не знаю. Но сделала. Повторить это было бы невозможно.

Я посылаю маме деньги, звоню ей, пишу письма, зову приехать. Но она не приезжает, не может. Теперь дома она одна. Все там осталось на своих местах, только нет тех, кто там жил. А рояль стоит, и буфет красного дерева стоит, и письменный стол отца, и его рабочее кресло, картина на стене — японская гравюра невыясненной художественной ценности, книги на полках и в шкафах.

И все книги читанные, хорошо знакомые, как и чашки в буфете. Уютная квартира, но темная, окна во двор, и потому всегда горит электричество. И в окнах напротив тоже всегда горит электричество.

Давным-давно научилась я страшиться за благополучие родного дома. Да и не благополучие, его не было вовсе, а за само существование его. Давно поняла его невечность, его слабость и его боль...

Я поставила на круглый стол стаканы, шоколад и ресторанный сахар. И не стала переодеваться к приходу гостя, осталась в брюках и свитере, вспомнив раздробленные пуговицы и вязаный жилет.

В первую секунду я, как говорится, не поверила своим глазам. Так безупречно элегантен был человек, которому я открыла дверь. Повеяло Москвой и Ленинградом, университетом в торжественные дни и филармонией в вечера знаменитых концертов. Я уперлась глазами в неслыханный по своей изысканности мраморно-серый галстук с красными рапирами и сказала:

— Прошу.

Нет, этот пижон — это уже была не я при всей моей спортивности и стремлении быть модной. И мужская элегантность выше женской.

Мой гость плюхнулся в хилое креслице «модерн», а я села на бархатный диван с валиками. Обстановка гостиничного номера отражала общее положение в городе, на транспорте, в институте — везде новые, современные формы жизни наступали, а старые отступали.

Мы закурили и посмотрели друг на друга с удовольствием.

— Итак, мадам, что вас интересует? — спросил Леонид Петрович. — С чего мы начнем? Ваш ленинградский опыт вам пригодится, но у нас, разумеется, есть свои нюансы. Начальство твердит, надо профилироваться, надо специализироваться, а, с другой стороны, держим четыре института в одном. Тогда надо четыре замдира по науке. А то получается глубоко ненормальная вещь, которая ведет к глубоко ненормальным последствиям.

С первыми словами этого чудака, тайного моего двойника, я услышала про то, что меня интересовало. Я так любила это святое недовольство существующим положением вещей. Наш институт, все в нем, конечно, неправильно и не так, хотя он на прекрасном счету в Комитете, он выдает продукцию — пластики, синтетическое волокно, он внедряет, он один из самых внедряющих институтов, молодой, растущий, современный. Сейчас мы выработаем программу реорганизации института. Каждый институт нуждается в такой программе — московский, ленинградский. Неплохо сказано — четыре замдира по науке. И я представляю себе, как четыре замдира дерутся между собой. На экране телевизора нечто вроде ринга, одновременно выступают две пары боксеров. И никогда нельзя понять, кто победил, пока не скажут.

Я пошла в маленькую комнату, где дежурные восьми этажей день-деньской пили чай с булками и хлебом. Плитка была не сломана. Я поставила греться здоровый артельный чайник. Мой гость предупредил, что пьет много чая. Физкультурники и цыгане одобрили мои короткие клетчатые брючки деликатным свистом.

Завадский попросил разрешения снять пиджак, и мы продолжили нашу беседу.

— Что получается? Науку с меня не спрашивают, зато очень строго спрашивают побочные вещи. А меня, черт подери, интересует наука, а все эти посторонние дела, они мне вот где, — он сжал себе горло и показал, что задыхается.

— Ладно, — сказала я, — посторонние дела тоже нужны. Без них не проживешь. Наука наукой, но институт отраслевой, кто-то должен обслуживать промышленность. Кто-то должен внедрять.

— А-а, внедрять, — зарычал он. — Академик Арбузов

в тысяча девятьсот пятом году открыл реакцию Арбузова. Пятьдесят лет прошло. Тоже внедрение.

— Аа-а,— сказала я,— Чаплыгин в том же году рассчитал крыло сверхзвукового самолета, а понадобилось в сорок пятом. И так далее.

— Все ясно,— сказал толстяк.— Как там чай?

Я притащила чайник и заварила чай.

— Кому-то надо давать материалы, в которых нуждается страна,— сказала я скрипучим голосом фразу, более пригодную для публичного выступления, нежели для частной дружеской беседы. Я убеждаю себя не бояться таких фраз хотя бы потому, что многие мои товарищи их боятся. И Завадский посмотрел на меня с удивлением. Теперь мне уже будет труднее объяснить, что я, как и он, верую свято — из ничего чего не получается. Без науки можно делать только примитивные вещи. В программе записано: наука станет производительной силой. А с нас требуют работы, которые как пробки вылетали бы из института. Нужна галочка — внедрилось, внедрилось, внедрилось. Нас торопят, толкают, ругают, подстегивают, подгоняют... Мы нервничаем, спешим, начинаем халтурить, у нас получается плохо. И мы это знаем, но ничего не можем поделать. В химии вся быстрая работа от лукавого. Если бы можно было быстро и хорошо!

— Ладно,— сказала я,— я пошутила. Все всё понимают. Бессемер, Чаплыгин, Арбузов, Циглер, Натта.

Все-таки я сумела сделать так, что мой гость замкнулся в себе. Со мной так часто получается, что я сбиваю человека с толку, создаю о себе превратное впечатление. Неосторожным словом, или репликой, или неожиданной резкостью. В конце концов Завадский меня еще мало знал, а может быть, я дура, может быть, намерена не работать, а зарабатывать, а моя диссертация — липа, классическая химическая компиляция, результат не моей дружбы с наукой, а моей дружбы с начальником науки. Все это, пожалуй, промелькнуло в синих глазах, внимательно посмотревших на меня. Ох, я знаю эти пытливые взгляды честных трудяг, не умеющих разбираться в людях. Мой гость, безусловно, принадлежал к этой породе. Теперь он не захочет говорить со мной. Я хотела, чтобы он рассказал мне о Тереже. Но его интеллигентность не позволила ему говорить со мной о Тереже.

— Хороший чай?— спросила я.

— С женщинами вообще трудно разговаривать. Хотя

и приятно,—сказал он. И после этого замолчал надолго.

О чем он думал, глядя мимо меня в окно на зубчатую стену кремля, я, естественно, не знала. Он улыбался дружелюбно, но какая-то неловкость поползла, поползла между нами. Теперь уж поможет только то, что нам предстоит вместе работать и вариться в одном котле. Друзьями так быстро не становятся, попробовала я себя утешить. Ничего. Неловкость возникла, я сама виновата, но это ничего, так и должно быть, он хороший человек, а я дура. Кажется, ему просто скучно.

— Я была сегодня в церкви,—сообщила я.

— Потрясающие фрески.

— Я их не видела.

— А зачем вы ходили? Молиться?

— Было много народа. К фрескам было не подойти.

— Жаль, жаль.

Мы пили чай.

— А помните ваш приезд,—засмеялся он,—с клетчатыми чемоданами...

— Если бы не вы...

— Моя роль была скромной.

Из холла послышался рев толпы.

— Наши забили гол,—сказала я.— Размочили.

По телевизору показывали международный матч. Завадского это не интересовало.

Он налил себе третью чашку чая, я протянула ему ресторанный сахар. Разговаривать нам было не о чем. Ну и пускай. Чем я была виновата, и что я могла поделать. Все это тоска. Не разговаривать тоска. А разговаривать тоже тоска.

3

Белла Иванова считает, что подъем большой химии неразрывно связан с успехами ее мужа Роберта Иванова, совершается при его участии и в какой-то степени под его руководством. В химии полимеров ему, несомненно, принадлежит почетная роль. Она считает, что Роберт удалился сюда из Ленинграда для совершения великого открытия или по сверхзаданию. Все, что больше похоже на действительность, обычно ее мало интересует. Но иногда вдруг начинают интересоваться мелкие подробности и кто что сказал и как посмотрел. Она начинает спраши-

вать, что сказал директор Роберту, и что Роберт на это ответил, и что потом сказала секретарша.

Она отворяет мне дверь со словами:

— Ну скажи, откуда я знала, что ты придешь!

Я смотрю на ее голову.

— Можно перекрасить, но, по-моему, не стоит. Ничего получилось? Идет? Что? Нет?—говорит Белла.

— Ужас,— отвечаю я.

— Предыдущий цвет был лучше?

— Н-не знаю.

— Раз не знаешь, значит, хуже,— говорит Белла.—

А по-моему, хорошо. И все-таки я знала, что ты придешь. Даже хотела приготовить роскошный ужин.

— Не приготовила?

— Я бы приготовила, если бы были деньги.

— Купила чего-нибудь?

— А-а, деньги... Значит, голова плохо? Недорыжила?

— Этого бы я не сказала.

— Деньги будут и очень много. Я тебе тогда дам.

— Вот будет хорошо.

— Нет, серьезно. Робик кончает книжку. Это, конечно, не «Война и мир», но солидное исследование, которого давно ждут химики.

Я прохожу в комнату. В комнате одна стена ярко-лиловая, на ней висят железные и деревянные цепи, иконы и глиняные тарелки.

— Все надо выбросить,— говорила Белла, перехватив мой взгляд.

— Где Роберт?

— В обкоме.

— Зачем?

— Не знаю,— отвечает она с улыбкой, означающей, что в обкоме без Роберта не могут обойтись.— Придет, расскажет.

— Радуешься?

— А что, ведь приятно, конечно. Хочешь позвонить в Ленинград? В кредит.

— Хочу принять ванну.

— А я пока сварю кофе,— говорит Белла, глядя в зеркало на свои волосы.

В ванной на стеклянной полке под зеркалом цветы в горшке и батарея банок с кремами.

— Мажься,— раздается голос Беллы.— Хочешь, я тебе все подарю? Все эти банки можешь забрать. Они твои.

Я молчу. Ей, конечно, надо идти работать. Или родить. Все это уже говорено, и ничего нового не прибавишь. Она могла бы работать переводчицей у нас в институте, она знает английский язык. Или в школе. Детей бы учила. Дети как раз таких любят.

Белла за дверью говорит:

— Бери все. Я тебя очень люблю. Я тебе еще что-нибудь подарю.

И уходит на кухню варить кофе, по дороге запускает магнитофонную ленту.

Я знаю, почему Роберт в обкоме, его хотят сделать заместителем директора по науке. Хорошо это или плохо? Кто знает! Для института, наверное, хорошо. Молодой, энергичный, смелый, прогрессивный. Блестящий ученый. И вообще здесь дают двигаться молодым. Если Роберта сделают замдиректора, мне-то будет лучше. Он поможет нам. Я и сегодня пришла к нему, чтобы он нам помог. Я решила открыто заявить, что Терез обманывал руководство института и Комитет, расписывая перспективность своих тем и докладывая о том, что им сделано. Им ничего не сделано и не могло быть сделано, ибо у нас нет чистого сырья для этих полимеров, и в ближайшие годы его не будет: У американцев сырье есть, но они отказываются его нам продавать именно потому, что понимают: у нас оно будет не скоро. У нас еще нет технологии, нет методов очистки. Нашим сырьем являются достаточно сложные химические продукты.

Я понимаю, что вступаю в борьбу, которая может мне оказаться не по силам, но что делать? Другого выхода нет, я все обдумала и выбрала. А если Роберт будет замдиром, он поддержит нас.

Но когда он приходит домой, я начинаю его пугать:

— Ничего хорошего из этого не получится. Ты не тот тип. На таком месте требуется человек-жертва. Талантливый эрудит-дилетант, ученый администратор.

— Это я,— смеется Роберт.

— Пусть сам он ничего не создаст, не изучит, не будет формулы его имени, но он объединит, направит, раскидает свои мысли и идеи, а сам останется ни при чем. Он должен делать тысячу дел в день, из которых девятьсот он делает за других.

— Это я.

— Под его руководством напишут кучи кандидатских

и докторских, а он не напишет ничего. Безымянный ученый, человек-жертва.

— Это я.

— Ты тот, кого благодарят в конце. А еще разрешите принести мою искреннюю благодарность Ивану Ивановичу, чьи любезные советы, без чьих любезных советов этот скромный труд...

— Откажусь!

— Правильно! Зато сможешь потом говорить, что сам не захотел. А то тебя снимут раньше, чем ты успеешь обойти тридцать лабораторий.

— А я и не собираюсь их обходить. Руководить надо в общем и целом. Ты этого не знала?

А Белла ликует:

— Смешно, Робик — и вдруг это самое. А ему пойдет. По этому поводу надо выпить.

— В том-то и дело, что Робик не это самое, — уже вяло договариваю я.

Все дело в Белле, ей хочется, чтобы Робик стал это самое. Она поджигательница, ей хочется шума, почета, поездок в Москву, командировок за границу, ей это надо, ему нет. Ему не надо становиться научным руководителем института, я понимаю.

Но могу только сказать последний раз тихо:

— Откажись, Робик. Зачем тебе?

Не эти слова сейчас нужны, и Роберт их не слышит.

— Ну, тогда поздравляю. Тогда все здорово! Ты молодец!

Это он слышит.

Раньше Роберт говорил «я все могу», но это не к тому относилось, чтобы стать замдиром и сидеть в президиуме.

Белла говорит:

— Если я правильно понимаю, замдиректора — это больше, чем директор.

— По этому поводу надо выпить, — замечает Роберт и вынимает из портфеля бутылки. — Беллочкина идея... как всегда... правильная... выпьем за Беллочку.

— А что ты думаешь, — обращается Белла ко мне, — вот мы к нему привыкли, знаем его недостатки, нам он не кажется выдающимся. Обыкновенный парень, но эти-то обыкновенные парни...

— Беллочка... — ласково говорит Роберт.

— Или вот... — Белла выбегает в другую комнату и

возвращается с толстой растрепанной рукописью и делает несколько танцевальных движений.— Наша книга, наша книга,— поет она.

— Беллочка, ласонька, положи,— просит Роберт.— Перепутаешь страницы.

Она кидает рукопись ему на колени.

— Держи,— смеется она,— я спущусь в гастроном, куплю чего-нибудь пожевать.

— Ну, а как ты будешь жить с Диром?— задаю я вопрос. От того, как они поделят власть, зависит очень много для института и для Роберта, у которого нет так называемого опыта руководства.

— Это очень важно, очень важно,— шепчет Белла, не отрывая продолговатых ореховых глаз от лица мужа.

— А Дир сказал мне так: «Когда вас нет, я делаю все, когда меня нет, вы делаете все. А когда мы оба, то я не знаю, что мы делаем».

Роберт хохочет. Все это и правда выглядит весело, смешно и хорошо. Это может оказаться плохо только для Роберта, для него, потому что он не человек-жертва и не захочет бросить свою лабораторию, у него там рождается интересный процесс, и докторскую он пишет. Хотя писать диссертацию у нас в институте считается стыдно, это «для тебя», и многие талантливые ребята считают более честным сейчас диссертации не писать, а работать, выполняя заказы промышленности. Проблема отдачи — проблема номер один для нашего института. Все это довольно тяжело примиряется: сегодняшние нужды страны, подлинно научная исследовательская работа, проблема отдачи и пресловутые диссертации. А главная непримиримость заключена в двух словах — быстро и хорошо. Вот чего мы никак не можем. Мы можем быстро и плохо, хорошо и медленно. Медленно, чтобы как следует подумать. Годы там, где мы сейчас считаем месяцами. А этого нам не могут позволить.

— «А когда мы оба, то я не знаю, что мы делаем», — смеется Роберт.

— Очень смешно, очень смешно, блеск,— шепчет Белла и бежит в гастроном.

Роберт звонит, зовет Завадского. Мы все живем в одном доме, или в соседнем, или через пять домов отсюда. И я переезжаю на следующей неделе. Одинаковые дома, одинаковые лестницы, одинаковые квартиры, обставлены одинаково. Наши квартиры наполнены магнитофонами,

телевизорами, проигрывателями, транзисторами, холодильниками.

Завадский входит с видом человека, который смеялся на лестнице и намерен смеяться весь вечер.

— Он еще станет бюрократом, клянусь. Это не шутка, перемена пе-аш среды. Я уже вижу на его лице отблеск чего-то такого.

— Вы, ребята, на первых порах будете мне помогать,— просит Роберт, пожалуй, чуть серьезнее, чем ему бы хотелось.

— Это ты будешь нам помогать,— говорит Завадский, укладываясь в кресло.— Заявляю официально, что я решил пойти по пути хулиганства. Буду хулиганить, не ходить, не писать. Все кончаю — заседания, бумаги, все. Точка. И потом, мне нужен зам по технологии и бюрократизму, ты мне его дай.— Завадский потирает руки и заглядывает нам в глаза.

— Должен дать,— говорю я,— ты теперь все всем должен.

— Молчать! Знайте свое место! — отвечает Роберт.— Я вас вызову через секретаря.

— Глупенький,— говорю я,— жизнь сенсаций коротка. Пользуйся.

— А письмо сегодня было?— спрашивает Роберт Завадского.

Тот краснеет: одна ленинградская девушка пишет ему письма чуть не каждый день. Сегодня письмо было.

— Тогда женись,— смеется Роберт.

Появившаяся в дверях Белла мгновенно подхватывает:

— Правда, почему вы не женитесь?

— Она испортит весь мой порядок. Я тогда ничего не найду. Я знаю. Я пробовал. Я был почти женат.

— Это так плохо?— спрашивает Белла, глядя на Роберта.

— Все лежало не на месте. Клянусь. Это было ужасно! И она все время напевала.

— Та была другая.

— Звали ее так же,— смеется Завадский.— Ира. Все они Иры. Клянусь.

— Письма она пишет изумительные,— говорит Роберт.— Женись на ней, старик.. Хорошая девочка. И влюблена. Если бы мне писали такие письма.

— Хватит, ребята, хватит. Seriously прошу,— молит Завадский,— вступитесь за меня, Маша.

Я знаю, как ему неловко. Знаю, что ему неловко, даже когда он видит в почтовом ящике конверт с синими и красными полосками — авиа, хотя и приятно. Я знаю это так, как будто сама по утрам вынимаю из ящика пестрые конверты с чьей-то надеждой, которую я обману.

Я говорю:

— А директор? Надо разделить функции обязательно.

— С директором надо поступить так,— говорит Завадский,— посадить его за столик, константочки какие-нибудь снимать. Пусть у него будет свой столичек.

Химик-фанатик готов посадить всех за столичек. Беспокоится, что руководители науки все дальше отходят от науки.

— Ребята,— говорю я,— благословите меня, я написала бумагу, убедительно доказывающую, что мои темы, обе притом, на данный момент всего лишь красивая сказка.

— Не связывайся с Тережем, прошу тебя, Машок,— быстро произносит Роберт,— его голыми руками не возьмешь. Начнется канитель. Лучше не лезь в это дело.

— Я же сказала: убедительно доказывающую.

— А я сказал, не лезь. Оставь. Ты не знаешь, как к нему относится Дир. Тереж для него персона грата. Причины мне абсолютно непонятны и неизвестны, но факт. Умный Дир доверяет Тережу. А Тереж... это Тереж...

— Неужели!— восклицаю я с насмешливостью, которая ни до кого не доходит.

— Понимаешь, миленькая моя,— продолжает Роберт,— все, что ты скажешь, будет верно, а выглядеть будет так, что ты плохая. Полимеры, которые Тереж наобещал Комитету, очень нужны. Как хлеб и воздух. Он их обещал, он их расписал, у Комитета глаза горят, он их почти сделал, на словах, во всяком случае. А ты являешься и доказываешь, что все не так и полимера не будет. Ты же окажешься плохая, ты, ты...

— Пусть,— отвечаю я туповато.— Подумаешь!

— Нет, не пусть, ты не хуже меня знаешь, что не пусть.— Роберт смеется.— И вообще не спеши. Поработай. Годик-другой. Поработай, поломай мозги. Может быть, и сделаешь. Тогда грудь в крестах.

— Ты что, репетируешь новый стиль? Мне не нравится.

— Хочешь совета? Не связывайся. Не трать силы понапрасну. Не пиши своих грозных бумаг, плюнь, перетерпи, спусти на тормозах. Будь мудрой и спокойной, и ты

победишь. А все остальное ерунда, само засохнет и отпадет. Потерпи, время работает на нас, ты будешь делать настоящее дело. Но до настоящего дела тоже надо прийти, и по нелегкой дорожке. Будь умницей, верь в меня, твоего руководителя.

Отличная тронная речь. Ладно. Он не хочет быть сегодня серьезным. Простим его. Раз он сегодня именинник.

— Это глубоко ненормальная вещь, которая ведет к глубоко ненормальным последствиям,— говорит Леонид Петрович Завадский.— Уйма вашего времени и сил уйдет— на что? Жаль? Очень. А что делать? Я с Робертом не согласен. Надо ввязаться в драку. Очень неохота, я понимаю, я-то понимаю. А выхода нет. Мой отец всегда говорит: «Скупой два раза заплатит, ленивый два раза сделает». Но трудно вам будет, ох.

И смотрит на меня печально, уныло, рукой подпер подбородок, пригорюнился. Уже видит, как от меня остались рожки да ножки. Такой, значит, страшный Терез. Поддержали меня друзья. Да, боже мой, я ведь знаю, что такие вещи все равно решаешь одна и делаешь одна.

Приходят физики, мы наливаем рюмки, и начинается обычный застольный шум, где все серьезное, составляющее смысл нашей жизни, выражается в шутливой форме. Недаром в институте, на ученых советах, на отчетях, на летучках самым главным кажется, кто кого перешутит. Великое дело — перешутить. Перешутил — победил. Шутить надо на тему. Мы всегда шутим на тему.

— Давай, Роб, развивай кипучую бездеятельность!

— Да, я читал. Работа непонятная, очевидно, хорошая.

— ...А что химфизика...

— ...В химфизике нахалы, но не дураки.

— Не робей, старик. Будешь замдир хоть куда. Только ставь на правильную лошадку и добивайся независимости.

• К сожалению, даже из таблицы умножения можно сделать неправильное употребление.

— Задача начальства — защищать своих подчиненных от происков вышестоящего начальства, я на тебя надеюсь, Роб,— говорю я.

Ни на минуту не прекращаю я думать о темах № 1 и № 2, даже если мне кажется, что я думаю о другом, сплю, смеюсь и пью вино за здоровье нового замдира. Все мы так.

Всем нам сказали: встань в угол и не думай о белом медведе, а мы стоим и думаем только о нем.

Я поднимаюсь и говорю с волнением, глядя на физиков, которые держатся изумительно дружно, умеют веселиться, умеют работать, у них золотые руки, светлые головы...

— Переходите в нашу лабораторию!

— Этот маленький тост произнесен с большим чувством,— смеется Роберт.

Все-таки он благородный парень и друг, физики ему самому нужны, но он готов их уступить.

— Переходите,— прошу я,— и мы начнем интересную работу. Вам будет предоставлена самостоятельность, переходите, ребята. И выпьем за нашего нового замдира.

— А я хочу стать замом себя по науке,— грустно говорит Завадский,— и больше мне ничего в жизни не надо, клянусь.

Я думаю о девушке, которая пишет ему письма каждый день. Нет, с письмами у нее ничего не получится, тысяча километров — надежная гарантия. Ей надо приехать и не тронуть ни одной бумаги, не двинуть ни одной вещи. Говорят, у Леонида Петровича дома все здорово устроено, называется — порядок беспорядка или, наоборот, беспорядок порядка. Все перевернуто, почти нереально, предметный мир висит в воздухе. Но весь этот хаос подчиняется своему хозяину.

За столом продолжают обсуждать дела института. Беда, что мы ни о чем другом не можем говорить.

— Почему мы такие отсталые, почему мы не танцуем твист? — спрашивает Белла.

— Мы танцуем,— отвечают физики.

«Они танцуют», — думаю я.

— Все старухи в Чехословакии танцуют твист,— говорит Белла.

— Твист обеспечит вам великолепный брюшной пресс. Это спорт, подкрепленный музыкой и неутомительными тренировками. Три месяца тренировок — и вы в полном порядке,— говорит Роберт.

— А что же ты? — спрашиваю я.

— У меня нет как раз этих трех месяцев, старушка,— отвечает он.— У меня нет даже трех дней...

Это правда. Казалось бы, что, живя в провинции, мы должны иметь свободное время, но его нет у нас. Мы бежим в том же темпе, что и наши коллеги в столичных го-

родах, и мы бежим быстро, а надо бежать еще быстрее.

— Беллочка,— говорит Роберт ласково,— восполняет все мои просчеты и недоделки. Она моя художественная часть.

— Больше я не буду твоей художественной частью,— заявляет Белла,— поступлю на службу и выработаю себе новую линию поведения. Буду учиться смотреть в окно, когда мне не хочется разговаривать. Как Маша.

— Молодец!— восхищается Роберт.

Темы № 1 и № 2— это химия, моя профессия, но за всем этим стоит седой краснолицый человек, который с самого начала внимательно смотрит на меня, пошучивает, ждет. Он ждет открытого боя. Вряд ли он рассчитывал на то, что я буду молчать. А может быть, он как раз на это рассчитывал.

— Маша! Маша!— смеется Роберт.— Ты за меня не рада? Почему старые друзья всегда такие зануды? Всем недовольны и только умеют портить настроение! А помнишь, как мы ездили в Новгород и цыганка нам нагадала? Отличная была цыганка. Мне она нагадала тогда Белку с ходу, вот, пожалуйста, моя Беллочка. А тебе? Мне она нагадала казенный дом, дальнюю дорогу и Беллочку-шатеночку. Все точно.

— Почему мы никогда не зажигаем свечи?— восклицает Белла.— А свечи есть.

Она приносит увесистую пачку пахнущих керосином свечей, рассовывает их по стаканам, зажигает.

— Замечательно!— восхищается Роберт.— Красиво!

— Очень мило, очень мило,— бормочет Леонид Петрович,— только жарко. Прямо скажем, нечем дышать.

— Свечи придадут,— шепчет Белла,— но все равно, я должна работать. Товарищи, устройте меня на работу, я же вас прошу, но все-таки на такую работу, которая была бы хоть что-то.

Горящие свечи плавают в ее ореховых глазах, красивое белое лицо презрительно-печально, она разговаривает сама с собой:

— Все-таки такая работа, на которой я была бы хоть что-то, а не полное дерьмо. В институт я не пойду, потому что я ненавижу химию. В районную библиотеку! Хоть книжки выдавать! В газету! Статьи писать. О ходе хлебоуборочной. Я должна работать. Всем на это наплевать, буду я работать или не буду и кем я буду.

Мы привыкли к тому, что Белла считает нас виновато-

тыми в том, что она не работает. Когда она заговаривает о работе, всем нам делается неловко, а она еще долго говорит и сердится, что мы молчим.

— Почему вы молчите? Не достаиваете меня! Вы выше. Интересно, почему вы молчите? Вы не хотите, чтобы я работала? Скажите честно, вы считаете, что я ничего не могу делать для пользы общества? Но вы напрасно так считаете. Вы убедитесь в этом.

4

Потихоньку все-таки мы как лаборатория формировались, и я росла как начальник. Прежде всего мы научились делать запасы. Научились меняться, брать ненужное сегодня в расчете на туманное будущее. Мы научились делать «заначки». В лаборатории накопились неплохие запасы — приборов, реактивов, посуды. Конечно, нам было далеко до других, но и у нас наступила эпоха Умеренного достатка. Мы перестали побираться и могли как равные участвовать в грандиозных институтских обменных операциях, проходивших под лозунгом «Сменяем все на все!» и «Я тебе — ты мне!».

С помощью универсального катализатора — спирта и личного обаяния — мы наладили приятельские отношения со стеклодувами, и тот главный дядя Вася, который есть в каждом институте, человек, способный подковать блоху, уже не отвечал нам ледяным тоном: «Сделаю через месяц». Дело в том, что мы стали втихомолку заниматься темой № 3, которая не проходила по планам Комитета, не значилась в планах института и вообще нигде не значилась, словом, не существовала. Она родилась в таинственных глубинах нашего подсознания.

У нас идеями не хвастаются. К идеям относятся с предубеждением и боятся, когда их много. В лаборатории Роберта висит плакат: «Идеи, не мешайте нам работать!» Роберт может сыпать идеями, у него цепная реакция.

Даже хорошая идея — это очень мало, почти ничего. Практически ничего. Так мы говорим. На самом деле мы любим идеи.

Идея может родиться рано утром, на рассвете, а уже в полдень умереть в коридоре у ящика с песком, где трое химиков соберутся покурить. Смерть идеи может быть бесславной. Она умрет, воткнутая с окурками в песок, под смущенный смех того, кто ее родил. Она может уми-

рать тяжело, в хриплом споре, под непарламентские реплики сторон. Иногда она может показаться слепяще гениальной одному или даже троем, пока к ящику не подойдет четвертый. Попросит закурить, осведомится, о чем речь, и просто, как прикуривал, закроет открытие.

Хуже, если идея осталась недобитой. Проскочила и осталась жить, нахальная, манящая, но фальшивка и дешевка. Она все равно умрет, но перед смертью наделает дел.

Моя идея осталась жить. Роберт раскрошил спичечный коробок, выкурил несколько сигарет. Я ждала, «скрытая волнение». Он спросил, не получится так, что мы будем возиться, а папа Байер давно уже это сделал. Но я была в патентной библиотеке, патентной аналогии нет. И мы оставили идею жить. Тайную, незаконную, ненадежную.

— В кого ты у нас такая умная,— пробормотал Роберт.

Мимо нас проходили сотрудники. Лаборанты думали о несправедливости, мы можем стоять и трепаться, а они не могут. В эту минуту они забывали, что они треплются не у ящика с песком в коридоре, а прямо в лаборатории.

Мы совещались с Завадским, химиком очень тонким, надежным, стоящим всегда у опыта, как бывало это в хорошие старые времена.

Я пришла к нему в лабораторию. Он что-то делал у «миланского собора». «Миланскими соборами» мы называем металлические конструкции, решетки, установленные у стен от пола до потолка с различными приспособлениями. Эти решетки дают возможность использовать вертикали. Они удобны, здорово выглядят, сурово и по-деловому.

Завадский работал под потолком, а я ждала, глядя на то, как он налаживает дозеры. У него была спина человека, который боится, что с ним заговорят. Ботинки были сброшены на пол, он стоял на лестнице в носках. Ему, наверно, неловко было передо мной, что он в носках. Я видела, как он покраснел там, под потолком, а мне почему-то теперь было неудобно уйти, и я села на высокую табуретку посреди комнаты и стала ждать.

Давно, по-моему, можно было сделать все с дозерами, но он не слезал. Я незаметно поставила ногу на нижнюю перекладину, уж очень он был громоздкий и тяжелый для этой тонкой белой лестницы. Я боялась, что он упадет. Он сопел там и пыхтел и не торопился.

— Помочь?— спросила я.

— Тысяча извинений, помогать не надо, я скоро кончу. Я буду медленно торопиться,— ответил он.

Эти «миланские соборы» — хорошая штука, удивительно, как мы раньше не додумались. День сегодня весенний, пахнет талой водой. Широкая спина, обтянутая зеленым свитером, стала казаться спокойнее и веселее.

Завадскому приходилось теперь спускаться по лестнице, чтобы посмотреть вниз, как капает, и опять подниматься, чтобы регулировать наверху. Делал он это на редкость легко и радостно.

И вообще Завадский в своей лаборатории — это зрелище, достойное внимания. Он колдун и колдует над каждым синтезом. Что-то шепчет, прислушивается, наклоняя голову, нюхает, дует. Любит честную работу. Наконец он прыгнул, обулся, убрал лестницу, вымыл руки.

— Вы похожи на жену моего бывшего шефа,— сообщил он мне.

И я это запомнила. Я всегда запоминала всю чепуху, которую он говорил. А он как будто каждый раз ждал минуты и удобного случая, чтобы сказать мне что-то вроде того, что я похожа на жену шефа. Я могла думать что угодно. Это все равно ничего не значило, но иногда мне начинало казаться, что это самое хорошее вообще из всего, что у меня есть.

Он пришел к нам в лабораторию, все внимательно посмотрел, задал вопросы, не торопился, вел себя как комиссия, которая хочет найти недостатки. Он их нашел, золотой человек, показал нам. Задумываясь, склонял набок бо́льшую голову. Виски у него были седые.

Не сказал ни да ни нет. Сказал:

— Айн ферзух ист кайн ферзух¹.

Сказал:

— Бейте в эту цель.

Потом учил меня, как бороться и добиваться разрешения на тему № 3. Учил спокойствию, твердости, пробойной силе, неуязвимости, всему, чему хотел научиться сам.

— Пусть публика улюлюкает,— говорил он,— вы невозмутимы, холодны как лед. Улыбаетесь, думаете о своем и делаете свой полимер. Вы идете к цели. Да поможет вам бог.

Я шептала слова благодарности.

¹ Одна попытка — не попытка (нем.).

— Да поможет он и мне тоже. Меня сейчас одна заумная вещь интересует. Я ее сделаю во внеурочное время. Как вы думаете, получится у меня что-нибудь? В вас я уверен, в себе нет.

Формально мы продолжали работать с № 1 и № 2, то есть тратили время и государственные деньги, ставили серии опытов и писали отчеты. А по-настоящему занимались № 3.

Полимеры создаются в огромном количестве. Лепкой бестолковых полимеров занимаются во многих почтенных научных учреждениях. Каким получится полимер, предсказать нелегко. Хотя наука стремится уйти от опыта к предсказанию, и математик Петя у нас в лаборатории сел считать, собираясь кое-что предсказать с № 3.

Полимер надо знать. Надо знать, как он будет себя вести, надо чувствовать нюансы. Втихую многие ученые варят свой полимер в надежде осчастливить человечество. Достают грамм сырья и варят свой полимеришко. Задача у каждого скромная, он соревнуется с господом богом.

Тема № 3 начиналась в нашей лаборатории с тайным и глубоким энтузиазмом. Дело в том, что физики перешли в нашу лабораторию. Это была крупная победа. Роберт сказал одобрительно: «Сумела. Очко в твою пользу». И подписал приказ об их переводе.

Как это случилось, не знаю. Я, конечно, сделала все что могла для этого, но могла я мало. Это удалось потому, что в институте происходили очередные реорганизации. Из чего-то делали что-то, лаборатории делили, сливали, переставляли местами, вводили новый корпус, одни расширялись, другие плакали, что им не дали расшириться, и физики, поддавшись этой инерции движения, перешли. И рвались к работе над темой № 3. Если бы она нам удалась, был бы получен новый полимер громадной термостойкости. Такой полимер нужен для ракетной техники. Он нужен для самолетов, в машиностроении, в медицине.

— На вашем месте,— говорил нам Леонид Петрович Завадский,— я бы сам себе завидовал.

Потом он спросил:

— Разрешите сегодня побаловаться у вас под тягой. В нашем корпусе сейчас какие-то упражнения с водой, такие, что три-четыре раза в день воды не бывает. Хлоп — и воды нету. Разрешите?

Лаборатория Леонида Петровича была раскидана по

всей институтской территории, ему достались самые неудобные помещения, и он часто приходил к нам работать.

Мы придумали нашему будущему полимеру название. Мы называли его ласково коробочкой, звездочкой, стеклышком, рыбкой, пока не остановились на фонарике. На фонарик похожа его формула. Мы называли его еще по-разному, соревнуясь в глупости и радости, теперь нам было кого любить, о ком заботиться, над чем ломать голову. Мы сразу поверили в наш полимер, и, думается, не напрасно.

Сырье для нашего полимера у нас было. Один мономер мы получали из Харькова, другой изготовляли сами.

Становилось понятно, для чего мы живем на свете. Теперь надо было медленно торопиться.

Конечно, я должна была все это честно и подробно рассказать директору. Тема № 3 — фонарик — была нашим тылом.

— Сергей Сергеевич,— скажу я спокойно,— выслушайте меня.

— Слушаю вас, Мария Николаевна...— ответит он мне с тем ледяным спокойствием, прикрывающим нетерпение, с каким руководители выслушивают своих подчиненных. У них есть чутье, они сразу угадывают не простое дело. А дело все-таки было непростое, хотя я себя уверяла, что ничего подобного, дело простое.

— Слушаю вас, Мария Николаевна...— скажет Дир. Он умеет быть вежливым с сотрудниками, которыми недоволен. Впрочем, откуда я знаю, каким он будет.

Роберт предупреждал меня неспроста, во всей этой истории есть что-то подводное, и это подводное — Тереж.

Тереж... Он похож на человека, который осознал, что времени мало и если он сейчас не схватит свою порцию славы, денег, почета, то может опоздать. Поэтому он торопится. Говорят, что он некогда был большим человеком, и сам он любит намекать на это. Но что нам до его прошлого... Иногда он разговаривает много и фатовским тоном, а иногда тяжело молчит, полуприкрыв глаза, и я начинаю его жалеть. Он утверждает, что у него уже было три инфаркта.

Но думать надо только о деле, только о том, чего стоили темы Тережа, эти его неосуществимые идеи, навязанные коллективу. Чего они стоили, я не знаю. Знает Тереж, но он не скажет. Из его лаборатории люди бежали, и что-

то там еще было, люди не могут долго работать впустую. Но меня это все не касается.

Роберт пугает нас:

— Не связывайтесь с Терезем...

А я и не собиралась с ним связываться.

— Есть тысяча возможностей не переть на рожон,— благоразумно советует Роберт, друг, мое непосредственное начальство.

А я не вижу ни одной. Правда о темах № 1 и № 2 означает разоблачение Тереза, но эту правду нельзя не сказать.

И все это в конце концов обычная наша, не безоблачная, ни плохая, ни хорошая наша жизнь, которую мы себе сами выбираем.

Что стоит директору поддержать меня?

— Мария Николаевна,— может быть, скажет мне директор,— все ясно. Я буду поддерживать вас. Дорожа честью мундира, я сам постараюсь все уладить перед Комитетом, а вы идите и спокойно работайте. Полимер ваш перспективен. Хотелось бы удержать первенство, японцы работают в этом направлении... Надо торопиться. Идите и работайте, моя дорогая.

5

В пустой приемной секретарша директора ест конфеты, вызывая безнадежный коммутатор.

Дверь в кабинет заместителя директора по научной части товарища Иванова распахнута настежь, его самого нет. Он мало сидит на месте. И пока не понять, хорошо это или плохо. Он по-прежнему пропадает в собственной лаборатории или в тех лабораториях, куда его затащили наиболее настойчивые из нас.

Когда Роберт говорит, слова энергично торопятся, пляшут, мечутся, не поспевая за еще более быстрыми мыслями. Наговорит, наговорит массу всего, с ходу назовет, и если у собеседника хватит ума и терпения разобраться в этой куче мыслей и слов, он найдет для себя, что ему требуется. И можно считать, что замдир по науке выполнил свое назначение, осуществил руководство, дал ценные советы, указал пути, помог. А если собеседник не поспет, не схватит на лету, тогда плохо. Роберт не умеет возвращаться к пройденному, ведь он, гениальный импровизатор, не повторяется. Повторяется, если одержим идеей, но и тогда варианты бесконечны.

Он любит сидеть на столе или на подоконнике, любит мчаться по коридорам и останавливаться в дверях. И курить у ящика с песком или там, где написано «Курить запрещается».

Только в конце дня он вспоминает, кто он такой, и с государственным лицом медленно и устало проходит по тем же коридорам, спускается по лестнице, проплывает через вестибюль, кивает вахтеру, выплывает на улицу и садится в машину, чтобы проехать небольшое расстояние от института до дома.

Сейчас двери его кабинета распахнуты, и уборщица выносит оттуда ковровые дорожки, в которых завелась моль.

Появляется Зинаида, осматривает приемную, осматривает меня.

— К начальству?

Она подходит к окну, от окна идет назад и удаляется со словами:

— Иду. Дела.

Кроме того что она ученый секретарь, она работает в лаборатории. И с большим успехом. Она гордость института и любимица вышестоящих организаций. До института она работала на химзаводе.

Работы, которые она делает, нужны. Однако в нормальной заводской лаборатории их сделали бы не хуже. Если результаты Зинаидиной деятельности оценивают недостаточно высоко, она плачет. Но это случается редко, и редко ей приходится плакать.

Дело у нас с ней одно. Но мы в разных местах пишем слово «конец». Нам дана одна дистанция, надо бежать четыре круга, а она пробегает один и вскакивает на пьедестал почета и раскланивается, и все кричат, что она победитель. Можно начать все сначала, нам объяснят про четыре круга и свистнут в свисток. Она опять пробежит один и поднимет руку, и все будут кричать, что она выиграла.

Зинаида ушла, а я сижу и о ней думаю. Она здесь давно, еще в войну работала на заводе, в километре отсюда, в городе всех знает и ее знают. А я что? Новенькая. Долго еще буду новенькой, и очень возможно, что я вообще зря все это затеяла, в Ленинграде-то я была не новенькая, надо было там оставаться и не бросать маму. Вот сейчас, в данную минуту, я, пожалуй, не могу сказать, что мешало мне остаться в Ленинграде. Все туда стремятся, а я отсюда. Почему и зачем? Это была ошибка.

— Давайте быстренько,— говорит мне секретарша,— пока никто к нему не поперся. А то ведь без конца ходят, за каждой ерундой! Термостат надо — к директору, термометр надо — к директору, сто рублей — к директору...

Уловить прозрачный смысл ее слов нетрудно: все к директору, никто — к замдиректора. Так, видимо.

Я иду.

Сергей Сергеевич сидит за столом и нажимает на кнопки селектора.

На нем белая рубашка, галстук, и пиджак отлиывает металлическим блеском.

Он любезно улыбается мне. Так улыбается он тем работникам института, которые на данном этапе далеки от внедрения. Такие улыбки, если бы могли, убивали. Ибо Дир в одном искренен несомненно: заводской человек, он не желает работать без практических результатов и не имеет права...

Улыбка Дира! Расшифровывается так: на заводах по-другому работают, не так, как вы тут работаете, кандидаты и кандидатки. Развели кандидатов, а с ними цацкайся! Они не от мира сего, а нужно быть от мира сего и технику знать.

Маленькая чистая сильная рука нажимает на кнопки селектора. Блестящие кремовые кнопки, красные лампочки таинственного, утробного света. Поединок голосов.

— ...Зайдите в час... передайте... отгружайте...

— ...Есть.

— ...Свяжитесь с заводом.

— ...Отдача... Слушайте, слушайте, закон-то сохранения материи должен соблюдаться...

— ...Да, недаром за рубежом говорят: русские химики очень изворотливые и талантливые, на любой дряни работают.

Лампочки загораются. Дир отвечает, вызывает сам.

Наконец говорит:

— Слушаю вас, Мария Николаевна.

И я начинаю. Все это время мы работали, приняв из рук товарища Тережа горсточку белого порошка и кучу документов, писем, отчетов, рассказывающих об этом порошке. Мы работали. Полимер в малых количествах получался неплохой, но, заколдованный круг, наработать мы его не могли. И никто бы не мог: нет мономера. Не секрет, что госдепартамент США не разрешил его про-

дать нам. Затем — очистка. Грязный полимер разлагается, а метода очистки нет. Он есть в бумагах Тережа, но в действительности его нет.

— Ясно, — говорит Сергей Сергеевич.

— Абсолютно, — радостно подтверждаю я.

И тут я увидела, что лицо Дира изменилось. Но я не могу остановиться и несусь дальше, излагаю тему № 3, описываю наш фонарик. А Дир подобрался и порозовел.

Уже несколько раз приоткрывалась дверь кабинета и показывались ноги и головы тех, кто стремился войти целиком и сменить меня. Надо было торопиться, успеть все сказать.

Один человек вошел. Это был Роберт Иванов, он сел в кресло и сделал вид, что ему до меня нет дела. Я была ему очень благодарна, что он пришел.

Потом вошел еще один человек. Это был Тереж. Каким образом и почему он тут очутился, не знаю. Но я уже, собственно, закончила. Я перечислила наши робкие просьбы, связанные с темой № 3, и, собственно, я кончила. Кажется, я не могла бы больше добавить ни одного слова.

Сергей Сергеевич чиркнул спичкой. Сердце мое обвалилось, когда я увидела, как он чиркнул спичкой и кинул ее на ковер. Я увидела, как он курнул, пригасил сигарету и встал.

— Выходит, я дурак? — вдруг начал кричать директор. — Я дурак! Я дурак!

С каждым новым «Я дурак!» он сердился больше и больше. Он покраснел и охрип. Казалось, что уже нельзя больше сердиться, но он, помолчав, находил в себе силы крикнуть еще «Я дурак!» и сердился все больше и больше.

Я замерла, боясь поднять голову, от страха, от неловкости, от того, что в кабинете находились люди. На мгновение я подумала, что «Я дурак!» вовсе не ко мне относится, потому что Дир не смотрел в мою сторону. Но это относилось ко мне.

Я ничего не хотела, только чтобы эта сцена кончилась. Человеку лучше всего жить там, где он родился, где его дом, и друзья, и мама. Даже если это такая мама, которой не рассказывают о своих неприятностях.

Роберт, как мне показалось, слегка улыбался. Тереж был взволнован и красен, как будто это он кричал. А во-

обще откуда он тут взялся? Его присутствие удивляло меня больше всего.

— Я дурак! — крикнул Дир в последний раз и замолк так же неожиданно, как начал.

А дальше ничего не последовало. Дир сел, закурил и спокойным, официальным голосом объявил, чтобы я шла и работала как полагается. С нас эти темы спросят, с меня спросят и с него спросят. На слове «спросят» показалось, что его опять заело и через это слово будет трудно перескочить, но он с ним справился, повторив несколько раз, что с нас спросят, с нас товарищ Смирнюк спросит, а с товарища Смирнюка тоже спросят. Он сказал, что тема № 3 пока еще есть ноль, очередная гениальная идея и очередной фук, от которых лихорадит научно-исследовательские институты в нашей стране. А те две темы записаны в важнейшие, их с нас спросят и будут правы.

— Будут правы, — машинально повторила я за Сергеем Сергеевичем. Я не понимаю, как это получилось, что я явственно сказала: — Будут правы... — Что я этим хотела сказать, не знаю.

Сергей Сергеевич понял меня так, как было надо.

— Конечно, — проговорил он прежде, чем я успела объяснить вырвавшиеся у меня слова.

Безнадежно теперь было объяснять, что я не то хотела сказать, что это у меня случайно вырвалось. Да и как объяснишь? Теперь лучше молчать.

Я посмотрела на Роберта. Все это время он сидел с таким видом, будто знает средство, как все можно уладить. Это средство он мне сообщит позднее, а пока не надо волноваться, выше голову и так далее, как обычно. Сейчас он одобрительно кивнул головой, показывая, что я молодец, сделала умный тактический ход. Правильно, так и надо было. Все это было предательство, которого я не ожидала.

Директор совершенно успокоился. Невозможно было представить себе, что это он только что кричал так. Он сидел за столом, сверкающий и безупречный, как дипломат.

— Я остаюсь при своем мнении, — сказала я негромко.

Роберт передернул плечами, встал и вышел из кабинета. Сергей Сергеевич не услышал. Повторить?

Тереж услышал. Я поймала на себе его взгляд, выражавший настороженность и усталое презрение. А вообще

он смотрел мимо меня, как будто меня тут не было и не могло быть. Он был похож на старого спортсмена, на пожилого тренера. Директор спросил его почтительно:

— Чем могу быть полезным?

Тереж вынул из потрепанного портфеля бумажки и подал их Сергею Сергеевичу. Бумажки, принесенные на подпись, были доказательством того, что он пришел по своим делам, а не потому, что Зинаида ему просигнала.

Мне тут больше делать было нечего, я пошла к дверям.

И вдруг Тереж засмеялся, не сумел сдержать смеха. Он сразу же спохватился, поджал губы и стал похож на толстую старую женщину.

6

Если бы моя правота была только моей правотой, но одновременно она была еще чьей-то неправотой. Надо было кидаться в пучину интриг или капитулировать.

Я вернулась к себе от директора оглушенная, оупелая, несчастная и ничего не могла сообразить. Я бы кинулась в интриги для пользы дела, но где мне было тягаться с Тережем!

Дир располагал ложной информацией, и эта ложная оказалась сильнее моей точной. Бред, а факт.

— Ну-с? — спросил мой помощник Григорий Веткин, личность весьма незаурядная.

Спросив: «Ну-с», — Веткин, во-первых, показал, что уже знает о результатах моего посещения Дира, во-вторых, — что ничего другого не ожидал, в-третьих, — что жизненный опыт даром не дается. Последняя мысль подтверждалась еще сочувственным взглядом его рыжих твердых глаз.

Положение Веткина как моего помощника было особым. Когда организовывалась наша лаборатория, в нее воткнули одну группу, которая была слишком мала, чтобы стать самостоятельной лабораторией. Группа эта работала давно и успешно в составе разных лабораторий и, будучи автономной, прибилась к нам, потому что когда-то занималась чем-то отдаленно похожим на то, чем занималась эта группа. Или по другим причинам, бог его знает.

Это было государство в государстве, лаборатория в

лаборатории. Группа имела своего начальника, он считался моим заместителем. Главного работника группы звали Петя-Математик.

Григорий Веткин носил очень узкие брюки, лохматые пиджаки и маленькую шляпу с круглыми твердыми полями. Его щеку пересекал глубокий кривой шрам, у него была привычка при разговоре кашлять в кулак и смотреть собеседнику неотрывно в лицо светлыми рыжими глазами. Григорий Веткин никому не мешал работать, напротив, поощрял работу своих сотрудников и обеспечивал их всем необходимым, снабжал свою группу так, как всем остальным и не снилось. И рекламу давал на весь Союз.

Шрам на его веснушчатой роже навевал мысли о поножовщинах, и татуировка на руке у него была какая-то странная: у Веткина на руке были вытатуированы часы, которые показывали половину двенадцатого, и женское имя Варя.

Веткин был грамотный химик и смыслил в том, что делает у него в группе Петя-Математик, а руководить не лез, с советами не лез, уходил из института в половине четвертого, надев клетчатое короткое пальто, маленькую шляпу и перчатки из желтой кожи.

Веткин говорил:

— Делаем свое дело хорошо? Подсекаем с ходу? Всё. Таков был мой заместитель.

Он занимался только своей группой. Петю-Математика опекал и оберегал, как родного сына, от мелочей и забот о хлебе. Ладно, мы его прокормим, пусть учится, раз он такой способный родился, а потом, когда он встанет на ноги, он нас отблагодарит. Уж не забудет поднести рюмочку.

Поощряя Петю-Математика к серьезной и затяжной работе, Веткин одновременно ставил работы быстрые, практически эффективные, идущие на внедрение, прикрывал тыл. Это были небольшие работы того типа, что делаются не в научно-исследовательских институтах, а на заводах, в цезеэл. Этими работами Веткин рапортовал со всех трибун. Они были нужны, их рвали из рук.

Веткин говорил: «Рвут с руками»,— если речь шла о лабораторной продукции такого рода. И: «Рви с руками»,— если давал распоряжения хозлаборанту и что-нибудь было нужно его группе.

— Рви с руками!— и впивался в собеседника светлы-

ми рыжими глазами. Потом кашлял в кулак. Из-под золотых часов на веснушчатой руке виднелись вторые, татуированные.

И все Веткин делал ровно до половины четвертого: давал, нажимал, обеспечивал, организовывал, внедрял, позировал перед корреспондентами радио и газет. И все происходило на большой сцене в свете юпитеров, под оркестр, а на малой сцене в это же время в тиши трудился Петя-Математик со своими юными понятиями совести и чести.

Что касается Пети-Математика, то в каждом институте бывает один такой, про которого говорят: «Этот — да. Самый лучший парень». Все ему сочувствуют, и никто не завидует.

Петя-Математик оставался самим собой всегда и при всех обстоятельствах.

С лицом студента-спорщика он мог высказывать самые резкие суждения и самую сентиментальную чушь, и все у него получалось хорошо и правильно.

Петя-Математик был серьезен, понимал, что жизнь не развлечение, и не состязание, и не бокс, и не пресловутая лестница, и ничего из того, чем она порой кажется молодым людям с лицами студентов-спорщиков. Когда его сверстники, молодые спецы, приехавшие, как и он, в наш институт по распределению, еще валялись на кроватях в общежитии, крутили магнитофон и раздумывали, в какую аспирантуру отсюда смотаться, он уже бегал в консультацию за молочной смесью для сына и подрабатывал анализами в биологическом институте, расположенном в двадцати километрах от нас, и делал переводы с английского, чтобы содержать семью.

Он считался почему-то счастливчиком, хотя иногда ходил белый от усталости и напряжения, и худой он был такой, какими счастливчики не бывают.

Петя был маниакальный мальчик, намеренный все посчитать, все предсказать. Если бы химики знали математику так, как ее знают физики, химия развивалась бы много успешнее, говорил он и смотрел на вас ясными, умытыми глазами, в которых плавали интегралы и логарифмы.

— ...Ну-с,— сказал Григорий Веткин, который уже все знал, ибо всегда все знал.— Что будем делать? И что в таких случаях делают умные люди? Первое и основное: не поднимают шума. Не плачут, не психуют и подчиняют

себе обстоятельства. Надо идти на обман. На маленький, хорошенький обман. Без этого не проживешь. Я знаю жизнь. Не так плоха, как кажется. Надо сделать вид, что выполняешь, что тебе приказано, а в действительности... Все решает исполнитель. Кто победил, тот генерал.

— Невозможно, — ответила я доброму Веткину, — с нас спросят, спросят. Понимаете, спросят...

Меня тоже чуть не заело на слове «спросят».

— А я на что? — спросил Веткин, подмигивая всеми пуговицами своего пиджака. — Мною отчитаемся. Есть на примете одна темка, оторвут с руками.

— Не спасет, — ответила я.

Веткин посмотрел на меня и пожал плечами. Если бы он знал, как я идиотски повторила конец фразы директора. Как бессмысленное, почтительное эхо. Мама иногда так повторяет за собеседником концы фраз. Это означает, что она не слушала или, наоборот, слушала внимательно и согласна.

Веткину было меня жаль, он бескорыстно хотел мне помочь. Его мои неприятности непосредственно не касались, в половине четвертого он уйдет домой, после половины четвертого у него голова не болит об институтских делах. И вообще он сам по себе, а другие сами по себе.

— Петю отдать не могу, но пару людей берите, берите, — сказал Веткин, морщась оттого, что вступал на скользкий путь сочувствия ближнему. — Даю — берите. Посадите их на анализы, а ваши будут продолжать начатое Терезем. Что и требовалось доказать.

Подумав, он предложил еще, что будет доставать нужный нам для темы № 3 мономер. Он будет его выписывать для себя, никто ничего не узнает. Его влекли незаконные действия.

Должно быть, он рисовал себе фантастическую картину. Деятельность института в его воображении выглядела так: занимаются все не тем, чем положено. В тайне же делают настоящую работу. В тайной своей, незаконной деятельности институт создаст грандиозные полимеры. Внедрять их будет сам Веткин, он один возьмет зонтичные патенты, потеснит итальянских химиков, завоеует мировой рынок, посыплются деньги, награды. А Веткин будет обеспечивать, снабжать, прикрывать, держать связь с прессой...

— Все сделаем втихаря, не горюйте, Мария Николаевна. Вот вам билетик в театр.

Веткин вынул из внутреннего кармана прозрачный бумажник с картинкой — сувенир каких-то мест, где он побывал, а он любил заграничные командировки. И протянул мне билет на концерт эстрады.

Дав мне полюбоваться блестящей картинкой с площадью Навоне в Риме, Веткин удалился.

Еще недавно я испытывала к нему настороженное, опасливое чувство. А сегодня он меня пожалел и пытался поддержать как мог с его кодексом чести и товарищества. Я была ему за это благодарна. Он предложил мне всех обмануть и перехитрить, я не могла этого принять, но повеселела. Все равно ведь надо жить дальше и продолжать то, что начато.

7

В фойе Дома офицеров я увидела Тережа и его жену. Они стояли, оба рослые, большие, красивые, стареющие. Оба курили и рассматривали фотографии выставки «К двадцатилетию победы над фашистской Германией». Они смотрели на эти фотографии с внимательной грустью, с какой смотрят люди на то, что связано с их молодостью, пытаюсь найти себя в этих окопах, и в этих землянках, и на этих улицах с чужими готическими домами, и на дорогах среди машин и прочей техники. Дороги, бездорожье, переправы, дороги... Не на этих ли дорогах жена Тережа стояла регулировщицей, молоденькая, в короткой юбке, в русских сапожках?

Она была красоткой, она и сейчас еще видная женщина, крашенная блондинка с голубыми глазами и тонкими бровями. Она задумалась, вспомнила, наверно, себя и его, тоже молодого, кудрявого, в чинах, в орденах, какой он когда-то был смелый, отчаянный и решительный, пил спирт и гонял на трофейных мотоциклах и машинах, на этих «опелях» и «хорьхах» и как они жили тогда. Ночевали в охотничьих замках, играли с жизнью и смертью. И наша армия наступала, и они входили в Берлин.

А что осталось от всего этого? От той славы и яркой, опасной жизни? Что сбылось? Постарели, расплылись, живут тихо в маленьком провинциальном городе, на скромной работе, на скромной зарплате.

Когда война кончилась, Терез стал опять директором

завода, потом комбината. В Москве у него осталась первая семья, теперь там уже взрослые дети, а новых детей не было.

— Анюта, это Польша,— говорит Терез.

— Вижу,— отвечает Анюта, не отнимая от губ папиросы.

Терез, заметив меня, приветственно улыбается — добрый коллега в нерабочей обстановке, в нерабочее время. Ах, все ерунда, мелочи жизни, внушает его улыбка. Надо легче смотреть на вещи. Ссоры и раздоры оставим там, за стенами дома с колоннами, за дверью директорского кабинета. Там мы друг друга недопоняли, но здесь мы сейчас будем слушать цыган и смотреть их огневые пляски.

— Люблю цыган, чертей! — говорит Терез не то мне, не то в пространство.

У буфетной стойки Веткин, рядом с ним невысокая женщина в очках. У нее вид строгой учительницы, которая плохо воспитала своего ученика. Она внимательно смотрит, как он пьет пиво.

Зинаида подходит ко мне.

— В войну, помню, в этом зале выступал Эренбург, что делалось, любили его военные! Я, как сегодня, помню этот вечер. И теперь иногда бывают неплохие концерты. Вот Коган был. Но все-таки редко, Москва нас не балует.

— А я думала, вы в командировке,— говорю я.

— Правильно. В командировке,— отвечает Зинаида энергично,— только мне там делать нечего, там на заводе главного инженера черт унес на курорт. А без него никто не решает. Он у них солидный дядечка, мы с ним находим общий язык...

Взрослая дочь Зинаиды стоит со скучным лицом, ждет, когда мама кончит разговаривать. Зинаида не обращает на нее внимания. Она спрашивает меня шепотом, знаю ли я, что Терез собирается в Москву, и что Москва за него, и будет за него и директор тоже.

— Не знаю,— говорю я. Но, кажется, я знаю.

— Вы много чего не знаете, про Мирского, например. Его уже у нас нет, он теперь в Рязани. Толковый товарищ был, сильный товарищ, он, в сущности, работал над вашими темами. Кончилось это инфарктом. Проходит первый год — с нулевым эффектом. Проходит второй, конец каждого года — нуль. Как и почему, не будем вдаваться.

Но люди начали уходить. И Мирский сперва заболел, потом ушел. И ушел, у нас не любят о нем вспоминать.

Это называется предыстория. Я Зинаиду ни о чем не спрашиваю, а она говорит. Незаметно, втихую предает Тереза, с которым давно связана, работала у него на заводе. Зачем это ей надо? Непонятно. Низачем. О Мирском я раньше слышала, и имя его попадалось мне в литературе.

— А Мирский был славный дядечка,— сообщает Зинаида особенным голосом, значение которого мне пока неизвестно.— Мы с ним дружили.

— Зинок, где ты пропадаешь? — говорит жена Тереза и подходит к нам.

Зинаида нас знакомит.

И Тереза подходит.

— Так что, дамы? Цыган послушаем и по домам? Никто кутить не собирается?

— Если вы серьезно,— говорит жена Тереза,— то у нас в холодильнике телятина есть и выпить есть. Все можно устроить. Что вы по вечерам делаете? Скучаете? Что здесь можно делать, скучать?

Это она меня спрашивает. И разговоривает, как старая знакомая. Что-то компанейское, товарищеское, простое есть в ее помятом красивом лице, в веселых неспокойных голубых глазах, в прокуренном негромком голосе. Она не знает о служебных делах своего мужа, не вникает, не интересуется.

— Люблю экспромты, но именно экспромты! — рассудительно восклицает Зинаида.— Здесь рано кончится. Вечер большой. А повеселиться хочется. Соберемся, я — за.

— Молодцы дамы,— хвалит Тереза,— хорошо рассудили. Решение правильное.

Нет, думаю я, я с ума не сошла, я к вам в гости не пойду. Жена Тереза зовет меня, потому что ей скучно, надо сколотить компанию, хочется выпить, время провести. А Тереза что-то еще затевает, изображая свойско-го. Предлагает договориться. И я должна быть свойская и заниматься его темами.

— А то мой хозяин либо делает свой вечерний одинокий моцион, либо идет к своим дружкам-забулдыгам и учит их, что не надо пить,— сообщает жена Тереза, оживившись.

— Встречаемся у раздевалки,— говорит быстрая Зинаида и берет свою дочь под руку.— Идем, поколение!

— Договорились,— соглашается Терез.

— Я должна извиниться,— говорю я,— я не смогу.

— Жаль,— веско произносит Терез, — жаль. Решение неправильное.

Я вдруг ощущаю страшную усталость и тоску, пустоту и страх, как бывало в детстве во время болезни, когда вдруг начинал шевелиться в комнате большой черный рояль и медленно наезжал на меня.

— Извините меня, я вдруг вспомнила, что договорилась после концерта...— начинаю я бормотать и обрываю, не докончив. Звучит неубедительно, лучше ничего не говорить. И все-таки говорю: — В другой раз.

Какой другой? Зачем я это сказала? Зачем, спрашивается? Но теперь плевать. Сказала. Все это вежливость, робость моя и дурость. Зачем же я так сказала?

Терез поджимает губы и сразу становится похожим на толстую старую женщину. Он все понимает. Видит мою слабость, понимает мой страх и неуверенность. Считает меня дурой. Он думает про меня: куда ей, ей не справиться, поэтому она поднимает шум. Одно преимущество у меня есть: я химию знаю лучше. Но шума он все равно не допустит, Терез. Раньше не допускал и теперь не допустит, химия там или не химия. А про меня он знает, что я храбрая. Храбрая, а что-то все не то. Он со мной справится, он меня отсюда вообще выкинет скорей всего. Он не хочет, чтобы ему мешали. В любую минуту, когда Комитет решит назначить его директором института вместо нынешнего, которого пора двигать дальше, он готов. Пусть назначают, наверно, думает Терез, это будет решение правильное.

Жена Тереза смотрит мимо меня с гордой и грустной улыбкой, раньше от ее приглашений не отказывались. И шумной толпой садились за стол. Их шофер говорил, что так, как она накормит, никто так не накормит. Как она мясо зажарит...

Звонок кладет конец переживаниям, пора в зал.

— Идем, старичок,— говорит жена Терезу. Она его жалеет.

И я иду, разыскиваю свое место, сажусь, удивляясь тому, что пошла на этот концерт. Такова сила билета, лежащего в кармане. Билет есть — идешь. А зачем — неизвестно.

Веткин через два ряда от меня что-то рассказывает своей жене, а та внимательно слушает, как будто решает, какую ему поставить отметку.

В первом отделении эстрада. Зрители добры, аплодируют каждому, кто пробует петь или подбрасывать вверх мячи и кольца, танцевать неумирающие испанские танцы, грохоча кастаньетами.

8

Белла позвонила мне и попросила пойти с ней в кафе. Она несколько раз настойчиво повторила: «Я тебя умоляю». Она могла сто раз повторять одно и то же. Роберт был в Москве.

Мы договорились встретиться в два часа дня.

У нас недавно открыли новое кафе с деревянными палками-рейками на стенах и с лампами, которые свисают с потолка в неожиданных местах.

Беллы еще не было, я пришла, и села за столик из серого с черным пластика, и стала разглядывать тех, кто был здесь в этот час. Отцы и маленькие дети, матери и дети пришли обедать. Рослые девушки с офицерами. Старухи с их последней слабостью к сладкому пирогу и чашке кофе со сливками. Шоферы, командированные.

И, конечно, тут были молодые люди, которых я не взялась бы определить, кто они и что делают в жизни, потому что сейчас многое перепуталось и физики радуются, если им удастся походить на фарцовщиков. Они занимали два столика, девушек с ними не было. Среди них был один главный, самый худенький и маленький, с маленьким скуластым лицом. К нему обращались, его слушали. Мне ничего почти не было слышно, кроме многократного повторенного слова «старик» и коротких, громче других произнесенных фраз, которые были примерно одинаковы:

— Старик, ты прав... бу-бу-бу. Старик, ты неправ.— Опять бу-бу-бу. И:— Ты неправ, старик. Ты прав, старик.

Появилась Белла. Она остановилась в дверях и поискала меня глазами, хотя искать меня не нужно было: я сидела перед ней. Она помахала рукой молодым людям и подошла ко мне. Веки и углы глаз у нее были намазаны серебряной краской. На ногах черные чулки и мушкетерские длинноносые сапоги. А костюм — нечто

среднее между одеждой средневекового рыцаря и рабочим платьем мойщицы автомобилей.

— Я могла бы тебя убить за этот вид,— сказала я.

Она была довольна, что произвела на меня впечатление. И на других посетителей кафе она произвела впечатление. В довершение всего она закурила, на ее лице появилось философское выражение. Я знала это выражение.

— Смотрю я на вас,— сказала она,— на тебя, на Роберта, на Завадского, и думаю, вы живете в искусственных условиях, ограниченных средой...

— Что?

— Вы не знаете и никогда не знали жизни, хотя вы и то и се, и в Комитете вас слушают, и в обком приглашают, и назначают, и выбирают, и делают вас материально ответственными. Все как будто очень серьезно. Химия, промышленность! А на самом деле вы давным-давно ушли от реальной жизни. Звучит, может быть, парадоксом.

— Звучит идиотством и пошлостью, но я тебя умоляю пойти в уборную и смыть с себя хотя бы часть краски.

— Да честное слово, что смыть невозможно. Это химия. И я тебя, в свою очередь, умоляю об этом не говорить, чтобы не отравлять мне жизнь.

К нам подошла незнакомая высокая девушка в огромной шапке и сказала:

— Общая сумма двести.

Белла ответила:

— Большое спасибо,— и подобострастно посмотрела на девушку.

Девушка бросила:

— Договорились.

И отошла.

— Спекулянтка? — спросила я.

— Почему обязательно спекулянтка? Если не работает в лаборатории синтеза, то уже спекулянтка. Как раз наоборот. Не спекулянтка.

— А за что двести?

— А за пальто.

— Какое? Интересно.

— Мы меняемся. Я отдаю ей старое платье, синий плащ, туфли и всякую ерунду. На сумму. А она мне пальто. Обмен проходит без живых денег.

— Выгодный, наверно, обменчик.

— Все люди считают себя очень практичными. Она — себя, а ты — себя. А мне нужно пальто.

Белла и раньше, в Ленинграде, меняла свои платья, резала их, дарила, давала подругам поносить. Я понимала, что Беллу обдерут, но уж тут ничего не поделаешь. Мы молча стали пить кофе.

Молодые люди за соседними столиками иногда смотрели в нашу сторону и махали нам рукой. Теперь с ними сидела неспекулянтка в шапке.

— Мы пришли сюда для встречи с этой дамой? — спросила я.

— Нет.

— А их ты знаешь? — Я кивнула в сторону молодых людей.

— Этого я не могу сказать. Но я с ними дружу.

Мне стало смешно, фокусы ее и ломанье дурацкое.

— Жалко Роберта, — сказала я, — он хороший и нормальный человек.

— Даже слишком, — ответила Белла. — В том-то и беда.

Она отодвинула чашку и посмотрела на меня без улыбки. Нахмурилась. Опять фокусы, подумала я. Но это были не фокусы. К нам шел тот невзрачный главный мальчик из компании молодых людей. Он подошел, поклонился, взял Беллу за руку и сел на стул боком. Он был худощав, мал ростом, глазаст. Лицо его имело почти треугольную форму, узкое внизу, оно несоразмерно расширилось в верхней части. Главным, почти единственным в этом лице были глаза.

«Похож на гипнотизера», — почему-то подумала я.

— Что-нибудь изменилось? — спросил он приятным, глуховатым, тоже гипнотическим голосом.

— Не знаю, — тихо ответила Белла. — Познакомься с моим старым другом Машей.

Он встал, еще раз поклонился и опять сел.

— Я как вас увидел, сразу понял: друзья, — сказал он мне. — Вы страшно непохожи. Это — важное условие для дружбы. Так как же? Едешь с нами?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, — тихо и виновато произнес он. — Тебе решать, что нам делать.

— Я подумаю. Подумаю и решу.

— Ты подумай, — обрадовался он. — Когда ты говоришь «Я подумаю», я уже знаю, что ничего хорошего не

будет. Новая наука бихевиоризм, которая изучает поведение и слова человека; ты для этой науки совершенно бесполезный предмет. Нуль. И для любой другой тоже. Тебя нельзя изучать, милая.

— И не изучай,— ответила Белла.

— А с другой стороны...— сказал он и надолго замолчал.

— Что? — спросила Белла.— Скажешь наконец?

— Я тебя вижу насквозь.

— Все меня видят насквозь, в том-то и дело,— усмехнулась Белла,— все. Маша, например, тоже. Правда, Маша?

Теперь они смотрели друг на друга, и я опустила голову. И ждала, когда отойдет этот треугольный гипнолизер в потрепанных джинсах. Он скоро отошел.

Можно было платить и уходить. Больше, наверно, Белла сюрпризов не приготовила.

За наш столик уселся упитанный старик с молоденькой девушкой. Он громко ел, громко пил и громко спрашивал девушку.

«А они что?» — громко кричал он, наверно оттого, что сам плохо слышал. Девушка отвечала тихой скороговоркой: «А он тогда взял свой чемодан и ушел». — «И правильно сделал! — кричал старик. — А она?» — «А она ничего, продолжала работать в нашей организации». — «Правильно делала! — кричал старик. — А вы что?»

И официантки разгневались и стали у стены совещаться, нарушает старик порядок или нет тем, что так громко кричит.

— Он тебе понравился? — спрашивает Белла, когда мы выходим из кафе.

По правде говоря, он мне чем-то понравился.

— Нет.

— Ты его не знаешь,— говорит Белла кротко. Она хочет разговаривать. Я спрашиваю, чем он занимается, и узнаю, что он реставратор икон.

«Как странно, что реставратор икон так молод», — думаю я, но скорее всего она врет, никакой он не реставратор, а астроном, агроном, аптекарь, артиллерист. Она всегда легко и бессмысленно врала. Филолога называла философом, артиста режиссером, незнакомого знакомым.

— Ты с ним дружишь? — спрашиваю я.

— Нет, я с ним живу.

Ну, хватит! Ей надо бунтовать, пожалуйста, пусть бунтует на здоровье. Хотя это называется другим словом, и я на мгновение задумываюсь, не произнести ли мне его.

— Я надеюсь, что ты неудачно сострила,— говорю я.

— А это для тебя типично, ты надеешься на лучшее. Плохого как бы не было. Это твоя позиция и защитная реакция. Гораздо удобнее,— говорит Белла зло,— спокойнее! Это вообще характерно для научных деятелей. А я и не думала остричь.

— Раз ты меня позвала, ты рассчитывала...

— ...выслушать лекцию о женской чести, конечно! О том, какая должна быть спутница жизни у кандидата наук и заместителя директора института. Скоро он будет доктором. Ах, чуть самое главное не забыла — у талантливого молодого ученого, у... у гения!

— Он не гений,— говорю я,— это ты дура. Он и не изображает из себя гения. Но он действительно одаренный человек, который хочет нормально жить и работать, и тебя любит, такую дуру, и верит тебе абсолютно. Вот что самое в этом деле ужасное, если хочешь знать, что он тебе так верит!

— А не надо так уж верить!

— Довольно,— тихо говорю я. Если хочешь, чтобы тебя услышали, надо говорить тихо.— Надоело.

— Никогда не достается тот, кого любишь,— говорит она.— А жизнь все проходит и проходит. Пусть бы уж скорее проходила!

Я останавливаюсь у троллейбусной остановки и смотрю, как она почти бежит по улице, невысокая, в черном пальто и черном вязаном шлеме. Люди оборачиваются ей вслед.

9

Начальник лаборатории должен присутствовать на ученых советах, на коллоквиумах, на совещаниях у Дира, на совещаниях у замдира, на совещаниях у начальника отдела, на совещаниях вообще. Присутствовать надо по субботам на оперативках, где происходит разбор претензий к вспомогательным лабораториям, к начальнику снабжения, к главному инженеру, к директору, к Комитету, друг к другу и ко всему свету. Называется «Субботнее кино».

В конференц-зале рассаживаются начальники лабора-

торий. Кроме начальников здесь их заместители. И отдельные заинтересованные лица.

Те, у кого нет претензий за истекшую неделю ни к кому, не хотят здесь присутствовать: полдня пропадает зря. Те, у кого есть претензии, сердятся на тех, к кому у них претензии. Те, у кого нет претензий, стараются сесть подальше с учебниками английского языка и со своими тетрадками. Те, у кого есть претензии, тоже стараются сесть подальше.

Ждут. Перекрикиваются:

— Обсчитали экспериментальные данные?

— Получили цифры, близкие в пределах опыта...

— Помните насчет мушек-дрозофил? А кого первыми послали в космос? Так что пусть меня не трогают!

— ...Май хасбанд из э сайнтифик воркер. Ин саммар ви шел го ту визит Булгэрия. Ви лайк Булгэрия. Булгэрия из э бьютифул каунтри¹.

— Я в Комитете поругался, меня из важнейших работ сняли, а я помирюсь пойду, меня опять вставят.— Голос Тережа.

— Это будет самое правильное, соломоново решение.

— Какое, какое будет самое правильное, соломоново решение?

— ...Старик, дай мне немного на шлифах, я тебя за это...

— А ты, старик, стал просто попрошайка. Я тебе уже давал. Где фамильная гордость?

Входят те, кто занимает первый ряд. Начальник снабжения. Главный инженер. Главный химик. Главный бухгалтер. Главный механик. Главный энергетик. Все главные. Роберт Иванов, наш новый замдир, с таким выражением лица: ребята, я ваш, я с вами. Я за вас. И за ваши претензии. Сейчас все устроим. Побольше оптимизма. Но поскольку от него мало что зависит, то он нам ничего не устроит.

Входит Дир, безупречный, как дипломат. От него зависит не все, но кое-что. И он почему-то очень любит «Субботнее кино». Сколько мы его просили придумать другие формы работы с нами, он стоит на своем.

— Проходите, проходите, товарищи, ближе, ближе! — настойчиво приглашает Дир со своей свежей, радостной

¹ ...Мой муж — научный работник. Летом мы поедем в Болгарию. Нам нравится Болгария. Болгария — красивая страна (англ.).

улыбкой. В институте все, кто способен на светлые чувства, любят Диру. Общее мнение, что он невредный. Но в моем вопросе он ведет себя странно. Что заставило его так поддержать Тережа?

«Субботнее кино», наверно, тем дорого Диру, что он тут может показать свои человеческие чувства, в обычное время надежно закрытые костюмом из немнущейся шерсти.

Дир начинает выкликать лаборатории, от первой до тридцатой.

Первая лаборатория говорит:

— Претензий нет.

Кивок гордой маленькой головы. Дир доволен. Приятно, когда претензий нет. Понято. Принято. Садитесь. Но уходить нельзя. Надо оставаться и слушать остальных. Зачем? Дир объяснял нам:

— Один раз в неделю хочу видеть всех. И слышать всех. Вы мой штаб.

— Вторая!

— В порядке.

Между прочим, тут не всегда говорят правду.

— Третья.

— Ол райт.

В зале смешок. Все знают, что у третьей куча претензий, но третья отругалась на прошлой неделе и сегодня пропускает. Решили через раз.

— Четвертая... Шестая... Десятая!

Внимание. Это мы.

Я скажу, что все хорошо. Не буду задерживать моих товарищей, поехали дальше, в конце концов мы все выбиваем, что нам бывает нужно. В целом институт снабжается неплохо. Можно в рабочем порядке... А наши дела — это наши дела и никому не интересны. А что нам надо, то нам надо по теме № 3, а по темам № 1 и № 2 нам ничего не надо, нам их не надо.

Я встаю, уронив крышку пюпитра, а с крышки небольшую кучу хлама, который я вытащила из сумки и от нечего делать перебирала и перекладывала. На пол летят образцы пластмасс, круглые, белые, черные, прозрачные, блестящие колобашки, и среди них одна, самая некрасивая, мутная, серо-коричневая, без блеска, величиной с пальтовую пуговицу, — наш полимер. Наш будущий полимер.

— Пусть катятся. Еще наварим этого добра, — не-

брежно говорю я, проследив взглядом, куда покатилась моя серо-коричневая, самая некрасивая.

Сидящие рядом со мной Завадский и Веткин принимают ползать по полу и собирать колобашечки. А! я стою думаю.

Дир поворачивает ко мне свое бесстрастное свежее лицо. Хорошее, радушное, терпеливое лицо.

Тереж у стены с видом старого тренера потягивается, разводит плечи. Надо размяться. Иногда в нем проглядывает глубокая старость, даже дряхлость, а иногда он выглядит крепким, железным, полным сил. На «Субботнем кино» он молод, любит, наверно, всякие собрания и заседания, не устает от них, подает реплики, шутит, внимательно слушает, всегда в курсе всего. Сейчас он что-то сказал и засмеялся.

Завадский держит на ладони наш еще такой несовершенный, такой несчастный образец, подносит к глазам и разглядывает, какие в нем пузыри и точки, царапает его ногтем, трет. И все понимает, чувствует полимер.

Я говорю:

— Нам нужен ящик-бокс, чтобы работать в атмосфере инертного газа. Кроме того, нет резиновых пробок 27. Перебой с сухим льдом. Нет химически чистой щелочи. И, как всегда, мешалки. Термометры. Термостаты.— Я слышу собственный голос, он долетает до меня странно высокий, какой-то механический.

Ящик для работы с радиоактивными веществами нужен нам по теме № 3. Если я его сейчас добьюсь, вот так открыто, нагло, на «Субботнем кино», это все-таки будет что-то означать. Несколько месяцев работы.

Директор смотрит на меня хмуро, он знает, для чего нужен ящик. И распоряжается: дать. С оборудованием он привык не жаться. Оборудование берите, получайте ящик, но все остальное остается по-прежнему.

Ящик — это еще несколько месяцев работы. На ладони Леонида Петровича наш полимер, способный выдерживать большие ударные нагрузки. Физики испытывали предел прочности при сжатии, предел прочности на разрыв, термостойкость — неплохо. Скромно говоря, неплохо.

Итак, ящик. Но я еще не села на место. Термостаты нам нужны.

И я говорю:

— А термостаты, Сергей Сергеевич?

— Термостаты! — кричит хор голосов.— Термостаты!

— Товарищи! — Дир стучит тонким карандашом по графину с водой.

— Термостаты! — поет античный хор.

— Автоклавное хозяйство, — говорю я, распоясавшись, — автоклавы должны быть герметичны, а они имеют обыкновение пропускать.

Из первого ряда поднимается начальник снабжения, медленно разворачивается всем корпусом, потом отдельно поворачивает голову, как будто снимает ее с шеи и устанавливает на нас. Долго, презрительно нас рассматривает. На лице его ясно написано: не могу передать, до чего вы все мне противны.

— Термостаты? — спрашивает он. — Термостаты. Правильно, термостаты. Так. Вот заявка. Двадцать штук. Чья заявка?

— Моя, — заявляет Веткин. — А что?

Смех. Тоненький карандаш звенит, звенит.

— Еще три заявки. — Начальник снабжения взмахивает бумажками негодуя. — Товарищ Иванов заказал пятьдесят. Товарищ Веткин заказал пятьдесят. А товарищ Терез заказал сто пятьдесят градусников.

— Считаю безответственным, товарищи, такие астрономические цифры, — говорит Дир. Он уже розовый. «Субботнее кино» — бодрящая процедура.

Терез, чемпион запасливости, тоже побагровел, терпеть не может, когда его задевают.

— Значит, было надо, — говорит он голосом, которому малы размеры конференц-зала.

Роберт Иванов пишет, уткнувшись в папку. Он из породы счастливых, которые умеют работать в любых условиях. Мы ему не мешаем.

Главный бухгалтер крутится на стуле, озирается, как будто хочет нам сказать: ну только попробуйте придите за командировочными, ничего не получите, раз вы такие. Хапуги! Банк денег не дает.

«Субботнее кино» продолжается. У кого-то нет катушек. У кого-то нет труб диаметра 125. У Завадского нет фарфоровых трубочек. А у меня их много. Я делаю знак рукой насчет трубочек, что могу дать.

Вдруг среди трубочек, и пробок, и сухого льда возникает проблема человека, проблема науки, проблема одного аспиранта. Он в лаборатории у Завадского, ходит зачем-то к Терезу, а тот не любит, когда к нему ходят, ме-

шают, и непонятно, откуда взялся и что намерен писать. И кому он нужен со своей теоретической темой!

Дир задает коронный вопрос: «Каков будет практический результат?»

И разгорается бой. Он принципиален, этот бой, этот спор, мы ведем его каждый день и каждый час и отдаем ему свои жизни.

— Для чего работа? — резко спрашивает Дир. — Процесс известен. Для чего работа?

— Работа теоретическая, — тихо и яростно отвечает Завадский. — Прекрасная тема. Честная, настоящая.

Главный инженер:

— Наш институт прикладной, все работы должны иметь практический выход.

Дир:

— Мы строим промышленность. Это вообще недиссертательно. Тем более что процесс известен, с хлором. Англичане передали нам его методику.

Роберт Иванов невыносимо небрежным тоном:

— Ах, что нам англичане! Мы сами с усами.

Поднимается шум.

— Выдача!

— Наука!

— Для науки есть Академия наук! — кричат сторонники практического направления института.

— У А-эн чистая наука! Там чистые ученые!

— А я горжусь, что я грязный ученый!

Встает аспирант, похожий на всех аспирантов, немного затюканный, и вякает что-то насчет американцев. Мы их, они нас, в конце концов мы их. В защиту своей темы. Тема остается за ним.

Директор не против аспиранта и его темы, но не пропускает случая, чтобы напомнить нам о задачах сегодняшнего дня. Сказать: «Поторапливайтесь, ребята. Жмите. Потом наука».

Последние шутки дошучиваются в коридоре под доской Почета, здесь же доделываются те дела, которые не доделались в зале.

— Зайди, старик, взгляни на моностат. Опять не работает.

— Метод личных контактов наиболее продуктивен не только в политике, но и в науке. С тебя поллитра.

После «Субботнего кино» всем хочется быть вежливыми, тихими и уступчивыми.

Я подхожу к директору.

— Сергей Сергеевич, все-таки поддержите меня перед Комитетом, чтобы с нас сняли эти темы. Помогите.

Дир задумывается. Отвечает спокойно:

— У нас сейчас работает компетентная комиссия. Учтите.

Дир, он часто так, про что ему ни скажи, отвечает серьезно и вдумчиво — про другое. Что я должна учесть?

— Комиссия? — говорю я. — Какая комиссия? Пусть эта комиссия проверит меня.

— Что передать Тимакову? — спрашивает Терез, появляясь из-под земли. — Опять он, черт лысый, тянет, я ведь Тимакова тридцать лет знаю, повадки его. Что передавать?

— Да вроде ничего, — отвечает Дир, — я на той неделе сам там буду.

— Ай Москва, Москва! — бормочет Терез. — Москва, Москва!

И смотрит на меня.

Да и что Дир, и кто нам поможет, если мы сами себе не поможем! Но хоть ящик будет. Это еще несколько месяцев работы по теме № 3.

10

В нашем микрорайоне есть все, что надо человеку. И даже расположено по странной случайности в известной последовательности. Вначале родильный дом. Поблизости детские ясли и детский сад. Две школы, гастроном и еще гастроном. Булочная-кондитерская. Овощи — фрукты. Мясо — рыба. Кулинария. Ювелирные изделия. Мебель — подарки новоселам. Электротовары. Книжки. Одежда. Аптека. Ларьки «Пиво — воды». Кинотеатр. Загс. Дворец культуры. Поликлиника. Больница. Кладбище.

Я иду по улице, минуя свой дом и иду дальше, мимо новых домов и окон с листьями и шторами, с банками огурцов и свеклы на подоконниках.

Улица пахнет рыбой и сосной. Удивительная особенность наших мест: пахнет тем, чего нет.

Иду, а завтра десять человек спросят, почему я так долго в одиночестве в темноте гуляла по улице, был сильный ветер.

Белла думала, что я иду к ним, и сказала об этом Роберту. Он махал мне из окна, но я не заметила.

— Куда это вы шествовали, кто вас за углом ждал, признавайтесь! — спросила Зинаида, грамматическая женщина.

— Выхожу вчера с тренировок, вижу, вы идете, и так мне вдруг захотелось выпить с вами за удачу, а где здесь выпить, в шалман вы не пойдете все равно, — сказал Веткин. — А может быть, и пошли?

Вот так у нас можно побродить вечером в полном одиночестве по проспекту, по необжитой и ветреной нашей улице.

Я бы обрадовалась, если бы мне помешали гулять. Одиночество — хорошая штука, мне его хватает. Так тоскливо бывает вечером и утром, так чисто и тихо в квартире, которая вдруг перестает казаться уютной и даже нужной. Затихает улица, умолкает двор, только ветер шумит, бьет в крышу, а она над самой головой. Ветер плещется волнами, набегаёт, откатывает. И наступает минута, когда ты никому не нужна и никому до тебя дела нет, только телевизору. Он с тобой разговаривает, обращается к тебе с неизменной вежливостью, с казенной приветливостью, и садишься ты перед телевизором и начинаешь с ним общаться. Здравствуй, дорогой, все-таки ты живой!

А иногда я делаю так: включу на кухне телевизор, а в комнате запущу приемник и хожу — то там послушаю музыку, то там посмотрю, что делается. Так хорошо!

Но если ляжешь на диван, будет плохо.

В эту субботу я жду гостей. Первым приходит Завадский.

— Мне сказали в семь, я пришел в семь, — говорит он. — И принес подкрепление.

Он вытаскивает бутылки.

— Где-то у меня еще было поллитра, ей-богу, — бормочет он, ощупывая себя.

— Я вас, оказывается, совсем плохо знаю, — говорю я. — Носите в кармане поллитра и называете это подкреплением.

— И хорошо, что вы меня не знаете. Это дает вам возможность думать обо мне лучше, чем я есть, — скромненько отвечает Леонид Петрович и идет по квартире, оглядывая стены и потолки.

Моя квартира. Комната — двадцать три метра. Кухня — девять. Ванная, уборная, стенной шкаф, антресоль.

В комнате блестящий, как будто из стекла, письменный стол, диван с красной обивкой, два кресла с синей

обивкой, теплые декоративные пятна, чтобы их черт побрал, от них устают глаза, журнальный столик в форме утюга — пустоватая и безликая обстановка современного гостиничного номера, смягченная корешками книг на полках вдоль стен.

— Мило, мило,— расхваливает Леонид Петрович то, что уже видел и хвалил.

На балконной двери занавеска, похожая на шитые флаги. И гостиничная чистота. И, может быть, гостиничная тоска.

— Маша,— говорит Леонид Петрович,— посидим, пока гости не пришли. Поговорим.

Мы садимся в комнате на диван, улыбаемся и молчим. И я немного пугаюсь этого молчания, мне неловко, но не могу придумать, о чем говорить.

— Почему вы молчите, Маша? — спрашивает Леонид Петрович.

Что-то есть между нами, что мешает говорить о неважном, что-то, значит, есть, отчего мы молчим. Мы это оба знаем.

— Давайте говорить,— просит Леонид Петрович.

— Давайте. Говорите сперва вы.

— Бесполезно. Сейчас придут Белла с Робертом и все равно помешают, так что лучше не начинать. У меня такое чувство, что они сию минуту придут.

— У меня тоже.

— Хотя я их люблю.

— Можно считать, что мы уже разговариваем.

Леонид Петрович улыбается.

— Иногда, Маша, мысленно я разговариваю с вами, все вам рассказываю, а вы внимательно слушаете. И никто не мешает. Хорошо, правда?

Я молчу.

— Вы умеете слушать. Ценное качество. Некоторые женщины совсем не умеют слушать. Они все сами знают. Но зато умеют напевать. А я совершенно не выношу домашнего пения, должен признаться. Видите ли, Маша, у каждого есть свои пунктики. У меня есть. А у вас?

Я молчу и молчу. Пунктики — это неважно.

— Смешно то, что я люблю не только, когда вы слушаете, но и когда вы не слушаете. А вы здорово умеете не слушать. Правда, Маша?

— Правда,— соглашаюсь я.— В данном случае была причина: я думала.

— Вы, конечно, не скажете о чем. Я и не спрашиваю. Хотя, признаться, хотел бы знать. Но когда-нибудь вы скажете?

Не знаю, скажу или нет и надо ли говорить. Просто раз от разу, что мы с ним видимся, я привыкаю к нему, и начинаю его понимать, и начинаю радоваться этому пониманию, и волноваться, и о чем-то жалеть. А о чем мне жалеть? Иногда мне кажется, что я в жизни пропустила свое счастье и свою любовь и больше уже ничего не будет. А если будет, то это не Леонид Петрович, того бы я теперь сразу узнала, мгновенно. А Леонид Петрович — никого здесь больше нет, он хороший человек, мне близкий, даже разговаривать не надо, все ясно, все известно. И это, между прочим, страшная сила. Что он там говорит, не знаю, не слушала, а оказывается, знаю, все слышала, все запомнила. Удивительно. И привыкаешь, начинаешь это ценить, но все равно жаль чего-то, и грустно, и непонятно. Хорошо, что звонят в дверь Белла и Роберт.

— Пришли, — говорит Леонид Петрович.

Белла объявляет:

— Самое лучшее место у нее в квартире — кухня.

Она идет на кухню. На широком крашеном подоконнике стоят листочки в горшках. Их много, и они падают вниз на слабых стеблях, похожих на картофельные ростки, перепутываются, и эта хрупкая светло-зеленая неразбериха тянется почти до пола.

— Эти умирающие от недостатка влаги листки придают, — замечает Белла, — весьма эффектно.

— Нравится? — спрашиваю я.

— Их бы полить, — говорит она и вдруг кричит: — Робик!

— Что, детка? Что ты орешь? — Роберт появляется в дверях.

— Посмотри листики.

— Очень, очень мило, — хвалит пришедший следом Завадский.

И к голосу его я привыкла, голос хороший, что бы он ни говорил, даже это свое «мило, очень мило».

— А чем мило? — спрашиваю я. — Что мило?

— Все-все, — отвечает он скороговоркой, — все-все.

Роберт молчит. А Белла продолжает:

— Сделать из листьев всю стенку в комнате, около стены поставить скамейку...

— Ей-богу, пахнет цыплятами-табака,— произносит Завадский своим радостным голосом.

— Постаралась,— говорю я, — начальство в гостях.

— А что, между прочим, когда Робик не был замдиром, его так не угощали,— говорит Белла в какой-то странной запальчивости.

— За такой воздух все отдать!— Леонид Петрович подходит к открытой балконной двери.— Чем это так пахнет?

— Персидская сирень с кладбища,— объясняю я.

— Пахнет рекой,— говорит Роберт и кашляет, как больной, и хлопает себя по груди.— Сыровато.

— У тебя кашель, милый!— восклицает Белла паническим голосом жены, которая больше всего боится болезней мужа.— Будешь пить молоко с медом. Проклятая химия! Ненавижу ее! Маша, у тебя, конечно, нет молока?

Я вынимаю молоко из холодильника, но она уже забыла про него.

На некоторое время жареные цыплята заслоняют привычный круг наших тем.

— Эх,— вздыхает Роберт,— не хватает в нашей жизни «Арагви»! Вот теперь, когда есть деньги. А было «Арагви» — не было денег. Все так устроено, клянусь честью! Я ошибаюсь? Поправьте меня.— Теперь ему хочется покурить, побеседовать, пожаловаться на жизнь.

— Тебе только этого не хватает? — спрашивает Леонид Петрович добродушно.

— Не будем, старик, — миролюбиво отвечает Роберт.— Никто из нас не стремится к сладкой жизни. Я вообще отгулял, мое честолюбие в другом. Но старушке моей, может быть, и хочется чего-нибудь. Помимо, так сказать, здоровой жизни на природе.

Роберт закуривает новую сигарету и кашляет, как больной.

— Молоко с медом,— шепчет Белла.— И я вам скажу чистую правду,— произносит она тоном мучительного признания,— мне ничего не надо. Пусть только будет то, что у меня есть. Я понимаю свой долг и свое место. Я должна мыть посуду и улыбаться. Мне должно быть хорошо там, где мой муж. Столица, провинция — все равно. Там, где он. И если я хоть немного облегчаю его путь...
Всем, как всегда, неловко ее слушать.

— Тебя опасности подстерегают со всех сторон,— говорит Роберту Леонид Петрович.— С одной стороны, че-

столюбие плюс слишком преданная жена. С другой — ты пошел в чины. Все мы усвоили точку зрения Эйнштейна по этому поводу, — мы должны быть водопроводчиками. Тогда, может быть, удастся что-нибудь сделать. Правда, Маша?

— Однако сам Эйнштейн прожил свою жизнь Эйнштейном, — замечает Белла. — И в конце концов вам платят деньги не за руки, а за головы.

— Я вам объясню, Беллочка, — мягко отвечает ей Завадский. — Пусть будет лаборант, но лаборант-соучастник. А ты стоишь рядом. Потом, много позже, вдруг видишь в памяти руку лаборанта, эта рука медленно движется. Память занесла опыт, и он потом много раз проходит перед глазами, как в замедленной съемке. А ты идешь по улице, принимаешь душ, заходишь в гастроном и в аптеку, читаешь газету. Не обязательно все делать самому, но — присутствовать обязательно.

— А вы делаете, — смеется Белла, — я же знаю. У вас лаборантки ни черта не работают. Вы все делаете за них. У них санаторий!

Мы смеемся. Это правда. Недавно я заходила по делу к Леониду Петровичу и застала такую картину. Девчонки, его лаборантки, сидят на табуретках, как в парикмахерской, причесываются, красятся, а он тихо стоит у раковины, моет посуду. Я сделала вид, что вошла по ошибке, и закрыла дверь. Не хотела, чтобы он видел, что я видела.

— А вообще, ребята, даю слово, что на заводе работать лучше, — говорит Роберт. — Я никогда не был счастливее, чем на заводе. Сменным мастером. Обязательно на восьми этажах что-нибудь случается. То насос не качает, то еще что-то. Ты крутишься как бешеный. Ты мастер, должен видеть все неполадки, все дырки в аппаратах.

Белла включила транзистор, разговор о заводе был ей неинтересен.

Эфир веселился:

...Кто в небе не был, ни разу не был...

...Се ля ви, се ля ви... Угроза турецкого вторжения на Кипр...

...Твердила мама, забудь о небе...

Белла стала подпевать. Леонид Петрович посмотрел на меня, как смотрят на единомышленника.

Эфир разрывался от бодрых песен, криков, смеха и шепота. Весь мир пел и танцевал в этот субботний вечер.

«Ну и пусть они танцуют,— подумала я,— а я скажу то, что хотела сказать весь вечер, хотя это неприятно».

— Роберт, почему все-таки у директора, когда меня обсуждали, ты сидел и молчал? Я много над этим думала и ничего не надумала.

— В твоих интересах, Машок, и для твоей пользы,— ответил Роберт.— Уж поверь ты мне.

— А что он, по-твоему, должен был делать? — моментально вскинулась Белла.— Ты, значит, считаешь, что он вел себя не по-товарищески? Так тебя надо понимать? Я понимаю и протестую. Ты не тактик, ты новый человек, ты не учитываешь влияния Тережа, его авторитета у директора, в Комитете. У товарища есть имя, есть в прошлом заслуги, это не мальчик. Твоя позиция — позиция начальника лаборатории, а у Роберта сложное положение, и у него может быть другая позиция...

— Однако,— произнес Леонид Петрович громко,— однако...

Все это время он пил чай и молчал, и лицо у него было отсутствующее. Казалось, он не слышал нашего разговора. Но он так сказал «однако», что Белла растерялась.

Я подумала, что, застенчивый и тяжеловесный, он никогда не вел бы себя так, как Роберт. Он был гораздо надежнее, хотя казался иногда слабым. Но он не был слабым.

Белла продолжала свою защитительную речь. Роберт хмурился и делал вид, что обижен, а Леонид Петрович пил остывший чай.

Я вышла на балкон. Чужие окна были красными, желтыми, белыми, некоторые голубели марсианским светом телевизоров. Все, казалось, было хорошо и спокойно. Но мне не было спокойно.

Прощаясь, Леонид Петрович сказал:

— Мы еще поговорим, Маша? Можно вам позвонить? Он всегда спрашивал разрешения позвонить.

11

Между тем тема № 3 двигалась. Потихоньку, незаконный, получался наш полимер, но понадобилось поехать в Ленинград, на Охтинский комбинат, а по этому поводу командировку не дадут.

Веткин сказал: «Сделаем» — и быстренько сообразил, как мы сделаем.

Тут как раз в Ленинграде должна была состояться конференция. И было решено, что я выступлю на этой конференции с коротким сообщением. По теме № 2. Была там одна деталь, которая представляла интерес сама по себе. Так бывает: в целом работа не получается, а отдельные куски получаются.

Мне выписали командировку, богато снабдили документами по всей теме № 2, и я подумала, что в этой презируемой нами казенной, бумажной стороне жизни есть своя притягательность. Хорошо составленные бумажки с печатями создают прочное, защищенное настроение. А в нашей лаборатории по темам № 1 и № 2 бумажки были знаменитые. Их писал на протяжении длительного времени Терез, мастер этих дел. В бумагах описывалась государственная важность тем и рассказывалось, как много сделано. Это были бумаги-знамена. Они мне были не нужны. Но я взяла их с собой.

Надо было идти к главному бухгалтеру. Он скажет свой девиз: «Банк денег не дает». И тогда я буду думать, у кого занять на дорогу.

Но главный бухгалтер не сказал: «Банк денег не дает», а, подперев рукой выбритый докрасна подбородок, некоторое время смотрел на меня и выдал полновесный аванс под отчет, сказав при этом: «Наплявать». Я подумала, что он совсем не тот человек, каким его считают в институте. Это гусарское «наплявать» и деньги в оба конца, которые он мне метнул, изменили мое представление о нем.

Меня никто не провожал. У нас так часто ездят в командировки, что никто никого не провожает и не встречает, за исключением тех случаев, когда надо привезти из Москвы продукты, или реактивы, или радиоприемник, или дедушку с бабушкой.

Это естественно, что меня никто не провожал. Некому. Не имеет значения. Я сижу одна на скамье в зале для транзитных пассажиров и жду дальнего поезда, который домчит меня до Ленинграда. Справа ресторан второго класса, слева аптечный ларек, газетный киоск и буфет. Люди спят, едят, сторожат свои чемоданы, прислушиваясь к голосу радиодиктора, который только одно слово произносит отчетливо: «Внимание...»

Все слышат это слово, поднимаются и устремляются к выходу, а там узнают у дежурного, какой поезд объявили.

Объявили мой, и я выхожу на перрон. Странная штука — вокзал, печальное место, особенно ночью в маленьких городах.

У фонаря вижу знакомую широкую фигуру. Из карманов пиджака торчат газеты, как всегда, он начинен ими, сверкающая белая рубашка и галстук с рапирами, и видно, что только что побрился.

Пришел. Я обрадовалась. Я очень обрадовалась и растерялась. Когда я там сидела на скамейке в зале, я не думала о нем и не думала, что он может прийти. Но он пришел. Пришел со своими газетами, стоит под фонарем. Спасибо, конечно.

Леонид Петрови́ч берет у меня из рук чемодан и говорит скороговоркой, которую я научилась хорошо понимать:

— М-м-м, я подумал, что это м-м неправильно, вот так одной уезжать. К черту одиночество! Как это так, поздно вечером, а вы одна на вокзале, паровозные гудки, тусклое освещение. Вам будет грустно, вам покажется, что у вас нет друзей или еще что-нибудь в этом роде. И у вас сделается гнусное настроение.

Я отвечаю:

— Все так и было.

— Охотно бы проводил вас до самого Ленинграда. Наконец бы мы поговорили. А я с детства люблю поезда. Особенно электрички. Как бы я хотел сейчас сесть с вами в поезд и ехать тысячу километров в сторону юга!

Мы подходим к вагону.

— А хорошо ехать в Ленинград,— продолжает Леонид Петрови́ч.— Приехали, вжик, вжик, наглоотались суперинформации. Человек должен так жить. Одно «но» меня лично беспокоит: вдруг вы захотите там остаться, притом навсегда?

— Нет. Я очень люблю Ленинград, но я всегда хотела уехать оттуда.

— Да? — удивляется он.— Я тоже. Странно, правда? Я тоже люблю Ленинград безумно, а хотел уехать.

«Даже это совпадает,— думаю я с благодарной нежностью.— Ничего особенного, может быть, но даже это. И правда странно, родиться в городе, любить его и хотеть уехать».

Леонид Петрови́ч раскланивается с проводницей, говорит, что погода благоприятствует и, надо надеяться, поезд прибудет без опоздания на станцию назначения, и

он нам завидует, тем более что скоро мы будем пить чай.

— Вы же будете пить чай,— настаивает он.

Проводница смотрит на него с улыбкой и приглашает ехать с нами. Люди часто улыбаются Леониду Петровичу, я заметила.

В последний момент он вытаскивает из кармана кулек.

— Купил вам пряников в буфете.

— Пряники! — смеется проводница.

— У меня к вам просьба,— говорит он.— Зайдите к моим старикам. Зайдете?

На кулке Леонид Петрович записывает адрес и телефон своих родителей.

— А что им сказать?

Он шагает за вагоном, подняв руки, улыбается, потом бежит.

— Что хотите, то и скажите! До свидания, Маша!

Он еще что-то кричит, но я уже не разбираю слов.

Уплывает перрон с темнотой и фонарями, уплывает город с окнами... И, сколько я ни ездила, все равно каждый раз испытываешь тревогу и счастье оттого, что поезд повез тебя куда-то, хотя ты прекрасно знаешь куда.

Я долго стою в коридоре, и ощущение тревоги не проходит, а становится сильнее.

Потом ложусь спать в темном, погруженном в синий свет купе и не засыпаю. Поездная постель мягка, пахнет мылом и дымом. Я боюсь, что совсем не засну. И оттого, что я этого боюсь, действительно не засыпаю. Все время ищу положение, при котором засыпаю, подгибаю ноги, верчу подушку, натягиваю одеяло и смотрю на часы, зажигая лампочку в изголовье.

Я ворочаюсь на узком, слишком мягком диване. Чтобы заснуть, надо заставить себя не думать. Но это невозможно, сейчас по крайней мере. Сейчас все мысли тревожны. Надо думать о Ленинграде. А что значит думать о Ленинграде? Теперь, когда мне исполнилось тридцать, я за все радости своего детства и юности расплачиваюсь жалостью. Мама — жалость. Старая тетя Вера — жалость. Двоюродный брат, мальчик-школьник, есть у меня такой, — жалость. Кто-то когда-то подарил большой глобус, который мне нравился тем, что он такой большой и голубой, и он стоял у меня в комнате на полу, — жалость. Глобус давно пропал, но кроме глобуса было другое — билет в театр, первая опера, первые туфли на каблуках. Все это первое я оплачиваю теперь жалостью. Раньше я

спорила, ругалась, обижала, теперь не могу, теперь меня душит жалость. Все, чего я в детстве не понимала, а теперь поняла, я должна оплатить. И надо торопиться. Иначе можно не успеть. Отвлеченно думать об этом бессмысленно, но когда раз в год видишь тетю, которая, кстати, и не тетя, а так только называется,— думаешь. Ты знаешь, что она тебя качала, и купала, и потом ходила с тобой гулять, и покупала в гастрономе сливочные тянучки, и отдавала тебе все черные тянучки, а потом все белые, и дарила большие красивые книги, а позже просто так давала тебе рубль, а позже уже ничего не могла для тебя сделать, только спрашивала, как делишки. Интересовалась, как у тебя все складывается с твоими мальчиками и твоими учителями. Теперь она расспрашивает осторожно, не знает, что есть, чего нет в твоей жизни, боится огорчить вопросом. Спросит, хорошие ли товарищи по работе, не устаешь ли ты, не очень ли опасна твоя химия в смысле здоровья и есть ли у тебя кто-нибудь. Предложит десять рублей в долг или сколько надо, потому что ей хватает пенсии, а пенсия ее — сорок рублей.

Завтра буду в Ленинграде. Я заставляю себя ни о чем не думать, насылаю слепоту и немоту, но не выдерживаю, начинаю бормотать, разговариваю с Леонидом Петровичем: я тоже люблю электрички, едешь себе и едешь тысячу километров в сторону юга... Но я-то северная и люблю север, северные лесочки. «Идемте, покажу вам лесок, вы такого еще не видели». Он скажет: «Глупости, я видел все». Я скажу: «Я знаю, что вы видели все, но все-таки...» — «Это? Лесок? Какой же это лесок? — скажет он. — Что это за размер? Даже видно шоссе, даже видно, как идут машины. Это не лесок». — «Но это лесок, — скажу я. — Он находится на расстоянии шестидесяти километров от Ленинграда, я вам его покажу».

Я прекращаю борьбу, просто лежу на спине и жду, когда наступит утро.

Поезд приходит в Ленинград днем. Я выхожу на ленинградский перрон и остаиваюсь. На этом перроне всегда стоял папа, когда я откуда-нибудь приезжала, встречал меня.

Смотрел в свои большие очки, рассеянно-ласково улыбался, а когда видел меня, распрямлял плечи и выставлял грудь вперед. Я так ясно помню это движение.

Возвращаясь откуда-нибудь, я должна была увидеть, что он не чувствует себя старым. Он не был старым никогда.

И я ему говорила то же самое.

— Ты на машине? — спрашивала я его.

— Конечно, — отвечал он, — как раз только что вышла из ремонта. Как угадали для тебя. Покрасили. Не узнать — красавица!

У него был старый газик. Утепленный, с печкой. Не знаю, что это была за печка. Папа уверял, что тепло, как в «Победе», и спасает его старые кости, — иногда он притворился старым.

— Прокати мою дочку с ветерком, — говорил папа шоферу Виктору, красивому парню, которого все время приходилось выручать. То у него брата сажали в тюрьму, то жена попадала в больницу, обварившись кипятком, то самого Виктора надо было вызволять из милиции, куда он попал за драку.

— В праздничек, в праздничек, — объяснял он, глядя на папу обожающими нахальными глазами.

И с квартирой его надо было выручать, не говоря уже о бесконечных столкновениях с гаишниками. Где бы он ни ехал, находилось место, где он сбавлял скорость и объяснял:

— Вот тут. Тут он меня задержал, мент. Придрался, что я без номера ехал.

— Вот тут, Мария, — показывал мне Виктор, — на углу Кировского и Максима Горького, на прошлой неделе мы чуть-чуть не... Целы остались не знаю как. А женщина с нами ехала, инспектор, в больницу попала. Когда я затормозил, ваш папа смеется: «Слезай, приехали». Но белый был.

— Виктор — водитель прекрасный, — говорил папа, — хотя лихач. Тут была бы неминуемая авария, если бы не он. У него быстрая реакция.

Теперь меня никто не встречал. На площади у стоянки такси была длинная очередь, и я в нее встала.

Странно ехать по Невскому — знакомы парадные, окна, вывески, даже фотографии, выставленные в витринах фотоателье. Незнакомы лишь люди, идущие по улице. Раньше казалось, что знакомы. Все из твоей школы, из твоего дома, с твоей улицы, из университета, из Публичной библиотеки, из филармонии. А сейчас кажется, никто не учится в университете, не сидит в Публичной библиотеке до закрытия.

Сейчас самое главное — сохранить юмор. Отнестись с полным юмором ко всем воспоминаниям, ко всем мелким фактам того тоже довольно мелкого факта, что ты здесь когда-то существовала.

Скоро начнется кусок нашей улицы, от площади до дома, где я часто встречала отца. Он приходил домой обедать, пешком от площади в тех случаях, когда его персональная машина находилась в ремонте, а она часто находилась в ремонте.

Он шел по улице, немного горбясь, с каким-нибудь кульком в руках, с газетой в кармане своего немодного пальто. Увидев меня, останавливался, распрямлялся моментально этим особым, усталым и молодцеватым движением и спрашивал, кто ему звонил, куда я иду, не опаздываю ли я. Я отвечала достаточно небрежно и нетерпеливо. Я его любила, но иногда отвечала по-хамски. Он удовлетворялся любым моим ответом, скрывая и недовольство, и тревогу, и все то, что испытывает отец по отношению к взрослой дочери. Казалось, его беспокоило только одно — чтобы я не опоздала.

Он говорил:

— Ну беги. Не опоздай.

По утрам он приходил ко мне в комнату рано: в семь он уезжал на работу — и спрашивал, не опоздаю ли я.

Он говорил:

— Не хочу, чтобы ты опаздывала.

А я никуда не опаздывала.

Он никогда не сердился на меня, если ему что-нибудь не нравилось, не показывал вида. Помню, я перекрасила волосы в рыжий цвет, сделала себе несколько нижних юбок по тогдашней последней моде и купила лиловую пелерину. Отец увидел мой наряд, засмеялся, спросил своим ласковым и насмешливым голосом:

— Ты, оказывается, стилига?

Тогда «стиляга» было новым словом. Я уже забросила эту нищенскую лиловую пелерину, вернула волосы к натуральному цвету, прекратила все поиски на этом пути, а он, приходя с работы, все спрашивал: «Где моя дочь-стиляга?» Его голос слышу я и до сих пор, красивый, низкий, добрый голос, и, наверно, буду слышать всегда.

Вот по этой улице он ходил, мимо этих висячих часов и темных подворотен много лет подряд, почти всю жизнь, за исключением двух войн.

Улица, лестница. Звучит слабый, давно испорченный,

ненадежный звонок. У него у одного такой звук. Вот мама, отворившая дверь, она тоже непрочна и ненадежна, потерялась среди высоких стен, окон и мебели. Ей бы надо отсюда уехать куда-нибудь, где все пониже, и поменьше, и посветлее. Обязательно надо уехать.

— Мамочка,— говорю я,— это я.

К счастью, и она, поплакав, умеет смеяться. Через два часа она уже говорит, что я должна делать, куда пойти, кому позвонить и что сказать. Нет, я неправа, в ней есть прочность, хотя на вид она не богатырь. Она весит сорок один килограмм и носит туфли номер тридцать три. Как говорил один мой школьный товарищ, такая мама — это несерьезно.

Мою маму не беспокоит, что я не замужем, ее не волнует мое пока еще действительно неплохое здоровье и не особенно интересует мой так называемый быт. Она всегда хотела одного: чтобы я в черном костюме и белой кофточке стояла на кафедре и читала лекции студентам. К этому она вела меня всю жизнь и делала все что могла для этого. Я пробовала увлечь ее романтикой лаборатории. Она соглашалась из вежливости — это тоже интересно. И я всегда чувствую себя немного виноватой за то, что не исполнились ее мечты.

— Мамочка,— говорю я,— мне предлагают курс лекций в нашем пединституте. Соглашаться?

— Конечно! — живо отвечает она. — Ничего нет благородней педагогической деятельности.

«Что бы ни было,— выражает ее маленькое, измученное, табачно-смуглое лицо,— я останусь при своем мнении. Вы меня не переубедите».

Недаром она часто начинает разговор с этих слов: «Вы меня не переубедите...»

Вечером я звоню своему старому другу. Он из тех, кто выше всего на свете ценит школьную дружбу, для кого «наши» — это навсегда те, кто пачкал руки одним куском мела у одной доски.

— Машка, ты? Здорово, Машка. Откуда ты? Когда приехала? Надолго? Я думал, насовсем. Теперь пусть другие едут вкальывают. А девчонки из нашего класса пусть живут в Ленинграде. Хочешь, я тебе скажу по секрету, Машенька? Ты сидишь или стоишь? Я, Машка, месяц провалялся с инфарктом, с почти инфарктом, который хуже даже, чем инфаркт. Ни пить, ни курить, ни за девоч-

ками — ничего. Ну как, Маша, понравился тебе мой секрет?

— Не может быть,— отвечаю я. Он всегда любил приврать.— Наверно, был легкий спазм, а вы тут уже решили, что инфаркт.

— Правильно, месяц лежал с легким спазмом. Ты все знаешь. А ни пить, ни курить, ни...

— Не верю. С чего это в таком возрасте у такого здорового...

— Япоха такая. Темпы-то ноне какие. Не такие, как зарплата.

Я все равно не верила.

— Надо только трое суток не выходить из цеха, выкурить полную норму сигарет, сварить кофе для бодрости, и если потом развязался шнурок на ботинке и ты нагнулся завязать и... «Ай, яй, яй, как нехорошо, молодой человек!..» И тебя увозит «скорая».

— Ну а теперь? — спрашиваю я.

— Курить обождем. Но скажу тебе еще новость. Даже смешно, ты не поверишь, но Мишка тоже лежит с инфарктом. Он еще и сейчас в больнице.

— Все врешь! — говорю я, уже поверив, что он ничего не врет. Чушь какая-то, им по тридцать, по тридцать три, спортсмены, ну водку пили, правда, могли бы и поменьше пить. Этот Мишка — самый лучший мальчик в нашем классе.

Я совершенно отчетливо представляю себе больничную палату, где лежит наш Мишка, молодой и красивый, и что-то шутит. Ему, наверно, стыдно, что у него инфаркт... «То я должен делать, и то я должен делать, и никакой личной жизни», — смеялся он, у нас это считалось остроумно. Когда звонили его жене и спрашивали, что делает Миша, она отвечала: «Миша лежит на диване и сосет лапу».

Так отвечают жены тех, кто в тридцать лет дорабатывается до инфаркта. А жены тех, кто на самом деле лежит на диване и сосет лапу, так не отвечают, они отвечают серьезно: «Работает. Пишет за столом».

Позвоню-ка я тем, кто сейчас пишет за столом. Среди них тоже попадаются неплохие люди, но это уже другая порода.

Оживает старая записная книжка, говорит веселыми, давно знакомыми голосами. А ты, как в поезде, мчишься, проезжаешь полустанки, платформы, большие, залитые

светом города, темные леса, белые сады и думаешь, что все это осталось далеко, ты все проехала, а ты ничего не проехала. Вернуться назад ты не можешь, это правда, но ты не проехала. Проедешь тогда, когда уже проедешь все совсем.

Поздно вечером приходит моя подруга Лена.

— Я на минуту,— говорит она,— только посмотрю на тебя. Я, конечно, не перестаю жалеть, что ты уехала, но ты поступила правильно. Ленинград — прекрасный город, но надо иметь характер. У меня его нету. Единственное утешение — хорошие сыновья.

— Как я по тебе соскучилась,— говорю я грустно. Такая она хорошая, красивая, добрая, моя подруга, и несчастливая.

— И я. Ну, как ты?

— Даже не знаю. Вчера меня никто не провожал. Но в последнюю минуту на вокзал пришел один человек. Он ленинградец, зовут его Леонид Петрович Завадский, хотя это тебе еще ничего не говорит...

— Говорит, — улыбается Лена, — и я очень рада, Машка. Значит, он пришел на вокзал... И что?

— Пришел на вокзал, — отвечаю я поспешно, — больше ничего.

— Я рада,— повторяет Лена.

...Приходя на кладбище, я вспоминаю, как выбирала место для папы. Я думала о том, чтобы ему было хорошо лежать, сухо и тепло. Думала этими словами — сухо и тепло.

Объясняли: «Тут летом зелено, как сад, можно приходить и гулять». Гулять? Тогда я еще не понимала этих простых человеческих слов.

Летом сад, правильно, но могилы близко одна от другой, это старая часть кладбища, здесь давно хоронят.

Из нескольких мест, которые показал директор кладбища, находя у каждого свои преимущества («Близко...», «Сухо...», «Тихо...», «Наоборот, оживленно, вблизи большой дороги, люди здесь ходят утром на работу, вечером с работы...»), мне понравилось одно. Просторное, светлое, сухое, на возвышении, прогретое солнцем. В эту землю его опустили. Мне часто кажется, что это происходит сейчас, сейчас его опускают в эту землю.

Памятники вдоль дороги, плиты, стелы, кресты.

Я знаю имена людей, здесь лежащих, иногда их должности и профессии и сколько лет они жили на земле. На этом кладбище похоронено много знакомых. На некоторые могилы я захожу после того, как побываю у папы. Захожу на могилу матери моего школьного друга, она умерла молодой, от туберкулеза, уже давно. Я подхожу к ее могиле, я хорошо помню эту красивую черноглазую женщину, талантливого врача, и думаю о том, что человек не может понять смерти.

Памятник на папиной могиле простой. Высокая черная гранитная плита. Буквы его имени, освещенные солнцем.

Раньше, в детстве, казалось, что на кладбище страшно, жутко. Позже казалось странным, отчего некоторые люди проводят на кладбище много времени. Тем, кто там лежит, это все равно не нужно. Теперь я так не думаю. Когда ходят на кладбище, на могилу, все еще продолжается жизнь. Она кончится, когда никто не будет ходить. Брошенные, забытые, оставленные, одинокие могилы — смерть.

В гостиных старинного здания, где проходит наша конференция по высокомолекулярным соединениям, выставка любительских картин, организованная Домом ученых. На картинах сплошь бабушки и внуки в сарафанах. Ученые и их родня любят рисовать. Все картины называются «Портрет» и «Пейзаж».

Вот стоит в фойе и разговаривает с иностранцем ученый-химик Щепкин. Оба рассматривают картину, где изображена бабушка в сарафане.

С Витькой Щепкиным я училась восемь лет. Такой был на факультете мальчик, потом аспирантик, всех прорабатывал. Но потом, по слухам, Щепка стал приличным человеком. Он был не без способностей, приналегал на науку. Щепка быстренько стал кандидатом и перебрался в Москву и теперь, как я понимаю, в Москве молодец.

Мы обмениваемся приветствиями, улыбаемся светлыми банкетными улыбками, и Щепка тащит своего иностранца к следующему полотну.

Конференция, конечно, серьезная, но все толпятся почему-то в фойе.

А из зала доносится восхитительный голос профессора Белковской, гортанный, поющий голос, который чарует химиков многих поколений.

— ...Трудность заключается в том, что не было мето-

дов исследования. Нужно было изучить этот газообразный продукт. Мы начали. Известно вам, что писал Парацельс? Поступай со благо-размышлением и не приступай ни к какие ручные работы прежде, доколе не будешь иметь полного разума и значения вещи...

Этого беднягу Парацельса она цитирует всю жизнь. Я, наверно, слышала сто раз.

— ...Естественно, мы любим, чтобы полимер не боялся кислоты, не боялся высокой температуры и низкой температуры, и вообще чтобы он ничего не боялся...

В зале смеются. Приятно, что старушка Белковская не меняется, тот же голос, завитые седые волосы, та же энергия в лице, та же негибаемость, та же интеллигентность. Она идеал моей мамы.

Полимеры, полимеры, полимеры... Нас уже называют веком полимеров, а это знаем мы, как даются полимеры.

И я выступила. Потрясла почтенное собрание нашим скромным наблюдением. Впрочем, оно не лучше и не хуже других, таких же честных рабочих сообщений. Эта цифра, которую я даю. Пусть она будет хуже, но она должна включать в себя всю точность. Скромно, зато надежно. Главное, честно. Никакой липы, никакой рекламы, но можете спокойно брать мою цифру и делать с ней что хотите.

Этого я не сказала почтенному собранию, но этим я себя утешала, когда уходила с кафедры, пробыв на ней так недолго. Старушка Белковская мне аплодировала.

Кулуары, как известно,— это то место, где встречаются нужные люди. Я встретила начальника цеха Охтинского комбината. Ради этой встречи я и приехала в Ленинград.

Мы с ним обо всем договорились. Они нам сделают то, что нам нужно, а мы у себя на экспериментальном заводе должны им сделать одну штуку, которая им нужна срочно, сверхсрочно, без нее... и так далее.

Он спрашивает меня, сделаем ли мы железно. И если сделаем железно, то когда железно они ее получат.

Он объясняет:

— Потому что с нас спрашивают по-железному. Понимаете?

Понимаю. Я каждый раз понимаю, когда встречаюсь с ребятами с завода. Понимаю, что мы им мало даем и мало помогаем. А нам с них тоже надо получить по-железному.

А этот охтинский говорит с улыбкой:

— Консультативный орган нам не нужен. Мы в рекомендациях не нуждаемся.

И улыбка не особенно любезная. Я понимаю, что она означает. Я тебя уважаю, наука, означает улыбка, но плохо, что ты не умеешь работать по заказу. Вы же должны работать на промышленность, а не на самих себя, черт вас дерит! На кой вы тогда существуете, если не можете делать железно?

Он рослый парень, они почти все рослые парни, мое поколение, ребята, которым не хватало еды в войну и после войны.

Он предлагает мне показать Ленинград и прокатиться в курортную зону на его самосвале.

— И я буду за вами ухаживать,— сообщает он и смотрит, понимаю ли я, что это именно то, что мне нужно.— Там ресторанчик есть, кабачок,— говорит он,— будет очень хорошо.

Загорелое лицо, ясные твердые глаза, все несколько крупновато и грубовато.

— Время? Место?

Я молчу.

— Производили впечатление такого решительного товарища,— говорит он.

— Решительного, но не в том смысле.

Он пожимает плечами.

— Ну? Так как?

Я отвечаю:

— Нет. Не обижайтесь — нет.

Выражение растерянности, просьбы и доброты на секунду появляется на этом крупном, гордо утверждающем себя лице и исчезает. Потом он кланяется, встряхивает стриженной головой: зачеркнуты! — и удаляется. Я должна понять, что в Ленинграде и в курортной зоне найдется немало девушек. И, надо полагать, не хуже меня.

Между прочим, охтинский товарищ подал правильную идею. Хорошо бы прокатиться на залив. Там, за Дибунами, начинаются горячие от солнца молодые сосновые лесочки с вереском, с зацветающей брусникой и кустами шиповника по обочинам дорог. У шиповника зеленые блестящие листья, густо-красные цветы пахнут медом. Запах лесочков этих я помню отчетливо. Там, где мой дом теперь, нет таких лесочков и такого запаха. Сначала я этого не понимала, не думала об этом. Сначала

думаешь: все пустяки, не имеет значения. Хочешь только уйти из родного дома, из родных мест на новое, незнакомое место. Уходишь. И все правильно, все было правильно, только не хватает сосны, той, что была в детстве, а она была, была, где-то она всегда была. Прямая, коричневая и упирается в небо. Иногда кажется, что она плывет, тихо движется, словно уходит, но не уйдет никогда. Сосен много, они высокие, никому нет дела, что они такие высокие. Но тебе есть до этого дело. А когда они стоят все вместе на поляне, на них вообще невозможно смотреть — такие они. А другие сосны маленькие, как кустики, еще мягкие, плавятся от солнца. Липкие, пахучие сосновые капли остаются на руках и на платье, они отмываются и отстирываются, но пока они не отмыты, ходишь, нюхаешь руку. И потом еще долго остается запах.

Поеду, один раз пройду по тропинке, засыпанной бурыми иголками...

12

В последний день я поехала за билетом и вместо билета на поезд купила билет на самолет, увидев на Невском агентство Аэрофлота. На стене плакат, а на плакате Ласточкино гнездо и синьковое Черное море. Рядом висящие таблицы предлагают сравнить время, сколько идет поезд, сколько летит самолет. До Алма-Аты, до Хабаровска, до Симферополя... Тысяча километров в сторону юга... Пользуясь воздушным транспортом, вы экономите время.

— ...Самолет успеет только подняться и сразу приземляется в Москве...— произнес женский голос.

«И я приземлюсь в Москве»,— подумала я.

Потом я пошла по Невскому, и мне повезло. В одном магазине на витрине я вдруг увидела платье, такое, как мне хотелось. Это было платье из яркой материи, похожей на холст, о который художник вытирает кисти. Очевидно, художник сознательно мазал по одной краске другими красками, и все ему казалось мало, и он мазал еще и еще небрежными мазками, пока не получилось вот так, и тогда он прекратил мазать. Я купила платье. Рядом висело еще одно, похожее на форменное, с погончиками, без рукавов, цвета песка, и я его тоже купила. У меня когда-то было подобное платье.

С платьями я пошла в гостиницу, в парикмахерскую. Там надо было ждать, а сколько, неизвестно. Это особое ожидание в дамских парикмахерских, когда видишь только двух женщин в очереди, народу нет, но тебя все равно причешут только к вечеру.

Понимая это, я поднялась и вышла на улицу. А улица — Невский. И завтра уезжать.

Оставалось еще одно — выполнить просьбу Леонида Петровича.

Почему-то мне не хотелось идти к его родителям, хотя было интересно посмотреть, какие они. Но неловко: пришла, зачем пришла? Поэтому я и тянула до последнего дня. Но все-таки надо было пойти.

По телефону-автомату я довольно коряво объяснила, кто я такая:

— ...Работаем с вашим сыном в одном институте... Он просил... Конференция кончилась, я улетаю...

Вежливый голос и вежливые слова: «Милости просим» — увеличили мою неуверенность.

Я пошла пешком, чтобы подольше идти.

Наверно, у него милые родители, добродушные ученые-старички. Воображение рисовало... воображение ровным счетом ничего не рисовало. Какие там старики, бог их знает, старики... Леонид Петрович просил, посижу и уйду.

«...Мои предки,— говорил Леонид Петрович,— все еще боятся, что меня, бедного мальчика, волки съедят, тогда как я сам могу любого волка съесть. Я, Маша, окреп в борьбе за независимость. Нет больше той робости, той привычки молчать. Знаете, Маша, какая это гнусная привычка? Я прав, знаю, что прав, что правое дело защищаю, и молчу. Терплю поражение за поражением... Гордо молчу, гневно молчу, молчу, как идиот...— Я помнила его голос со всеми интонациями.— Но теперь я становлюсь другим. Помните последний ученый совет, где директор накричал на меня, а мне уже было наплевать? Я свое сказал, тихо и внушительно. Внутри ничего не дрогнуло, значит, выковывается характер бойца. А раньше? Вы представляете себе, что бы со мной было раньше? Я бы месяц был больной. Закаляемся. Если так пойдет, Маша, из меня получится что-то. Я, наверно, буду такой, знаете, как вам всем нравится: немного суровый, немногословный, совершенно бесстрашный человек...»

Родители Леонида Петровича жили на набережной

Невы в большом новом доме. Дверь квартиры была солидно обита черной клеенкой. Я робко позвонила в эту дверь.

Мать Леонида Петровича, Мария Семеновна, не показала мне старую. Это была представительная, румяная, улыбающаяся, но явно занятая женщина. Было неловко отнимать у нее время, хотелось извиниться и сказать, что я ненадолго.

Она спросила, давно ли я в Ленинграде, что успела посмотреть и легко ли я их нашла.

Я ответила, что я ленинградка.

— Это очень хорошо,— похвалила она меня и представила вошедшему в комнату мужу: — Познакомься, Петр Федорович, эта милая девушка — коллега нашего сына.

— Очень рад,— ответил Петр Федорович.— Легко нас нашли?

Было видно, что день их распределен и я их задерживаю. Но, наверно, я должна была что-нибудь рассказать им о сыне. Наверно, надо было хоть сказать, что он здоров, хотя меня об этом никто не спрашивал.

Меня спросили об очистке того продукта, которым занимался Леонид Петрович. Я ответила.

— Так-так,— покивала головой мать и поинтересовалась, как подвигается диссертация аспиранта Леонида Петровича.— Совсем недавно он сам еще был аспирантом,— улыбнулась она.— Так растут наши дети. У вас нет детей? — спросила она.

Раздался телефонный звонок. Мария Семеновна, извинившись, взяла трубку. Она разговаривала, держа трубку далеко от уха.

Телефон звонил часто. Создавалось впечатление, что Мария Семеновна управляет большим штатом людей, находящихся у телефонов. Она говорила: «Петр Федорович будет» или «Петр Федорович не сможет»,— а Петр Федорович в это время улыбался светлыми глазами и с товарищеским любопытством поглядывал на меня. Я в жизни не видела лица красивее и добрее. Но все равно я их боялась, его и Марию Семеновну. И жалела, что пришла. Зачем? Никому это было не нужно.

— Петру Федоровичу надо идти к себе,— сказала Мария Семеновна,— а мы с вами посидим.

И посмотрела на большие мужские часы на своей руке. Я сказала, что и мне пора, но она заметила, что еще

есть время, голосом человека, привыкшего назначать и прекращать аудиенции. Хотя было ясно, что времени нет.

В конце концов, подумала я, может быть, она хочет расспросить меня о сыне, это было бы естественно, но она ничего не спросила. Возможно, она считала, что я ничего не могу о нем знать.

Она сидела величественно в кресле и расспрашивала меня о монастыре, который я не видела, хотя давно туда собиралась. Бывал ли там Леонид Петрович?

— Если не был,—сказала она, покачала головой и посмотрела на меня так, как будто я была виновата, что он там не был,—пусть обязательно съездит. Пешком можно прийти.

Монастырь находился в двадцати километрах от нашего города.

Она сказала, что надо внимательно изучать и хранить ту изумительную русскую старину, которая нас окружает. Надо знать Псков, и Новгород, и Киев, и нашу Архангельскую область, которая не хуже Италии. Надо посмотреть Самарканд, Хиву, Бухару. Интересно все: Алма-Ата, Тобольск, Дальний Восток, Крым... Мы молоды, можем пользоваться всеми видами транспорта, а главное, ходить пешком.

Из окон большой полукруглой комнаты, где мы сидели, была видна Нева, Петропавловская крепость, Эрмитаж. На стенах висели картины, но я стеснялась их разглядывать: я плохо знаю живопись.

Как будто ничего неправильного я не сделала и не сказала, но мне было не по себе. Я не сумела ни разу улыбнуться даже. Человек сжимается от таких вещей.

Я встала и попрощалась до конца аудиенции.

— Завидую вам,—сказала Мария Семеновна,—увидите церковь...

И назвала церковь, о которой я никогда не слышала.

Она предложила, что их шофер отвезет меня, но я отказалась.

Я шла домой мимо Зоологического сада и Народного дома, мимо рынка, по Кировскому проспекту. У киностудии остановилась посмотреть фотографии. Школьницами мы часто ходили сюда. Сейчас это показалось неинтересно. А что такого, собственно, произошло, думала я, ну что? Я не понравилась. Даже не это — меня не заметили, пришла не вовремя, чужой человек к чужим людям. А мне, например, не понравилось, что шофер сидит в

прихожей, читает газету. Они не мы, думала я, идя по улице, где я знала каждый дом. Они не мы. Не нужно было Леониду Петровичу просить меня к ним ходить. Никакие они не старики, думала я, а картин у них слишком много. Потом я стала думать, что мама опять останется одна в своей большой, давно не отремонтированной квартире.

Я просила не провожать меня на аэродром. Тяжело уезжать и видеть, как мама остается стоять за деревянным барьером, такая маленькая, такая одинокая. Ей всегда холодно, на аэродроме ветер.

Пусть все носит обычный деловой характер: улетать, прилетать придется не раз.

И я беру свой легкий чемодан, надеваю плащ болонью и иду к стоянке такси. Мы договорились, что мама летом приедет ко мне, а уже лето.

И вот уже раскачивается стрелка на больших весах, взвешивающих багаж. Идет регистрация пассажиров, вылетающих рейсом таким-то по маршруту Ленинград — Москва.

Еще есть время позвонить маме. Подходы к телефонной будке заставлены высокими железными ящиками с деревянными ручками. Я начинаю их отодвигать. Когда остается два ящика, появляется высокий, утомленного вида деятель.

— Я хотел лишь сказать, что это мои ящики,— говорит он вежливым, ироническим голосом.

— Довольно тяжелые,— замечаю я.

— Еще бы!— В голосе гордость за ящики.— Не предполагалось, что вам захочется их таскать.

Я показываю на телефон. Он ударяет себя по голове, смеется, кидается к ящикам.

Потом он сообщает:

— Я из вычислительного центра, из Новосибирска. А вы?

— НИИполимер.

— Рыбак рыбака...

По узкому залу со стеклянными стенами идут летчики, механический женский голос объявляет посадку на Новосибирск.

— Чертовы ящики надо тащить в кабину,— радостно говорит деятель из вычислительного центра и развешивает на себе ящики.

Чем-то он напомнил мне Леонида Петровича. Может быть, голосом, а может быть, тем, как он потащил на себе свои ящики.

Следующий рейс — на Москву.

Самолет поднимается в воздух, красная надпись: «Пристегнуть ремни — фастен белтс» — зажигается и не гаснет.

13

Я пробыла в Ленинграде недолго, но так это устроено: несколько дней тебя нет, и что-то меняется.

Дом с колоннами большой и гулкий, в коридорах никого не видно, сидят по комнатам, двор жаркий и тоже пустынный, и все, кого я встречаю, похудели, по-другому одеты, загорели за одно воскресенье на реке и в лесу.

И улыбаются как-то приветливо и отчужденно — вот вы где-то там были, а мы тут оставались, а вы уезжали.

В лаборатории все на местах. Тихо. Пахнет реактивами, нагретым металлом. Сильные необычные запахи издает наша кухня, где мы разнимаем вещество и синтезируем его, нарушая гармонию природы и создавая свою гармонию. Шутим с богом, хотим его перешутить.

Тихо. Я люблю эту тишину. Только гудят вытяжные шкафы, как ветер зимой за окнами. Под моими ногами скрипят осколки битого стекла. Непорядок. На окне в авоське висят красно-синие бумажные треуголки с молоком, и зеленый плющ выползает из горшка на подоконнике.

Я произношу начальственную шутку:

— Не вижу накала. Не слышу стука наковальни.

Но я его слышу.

В реакторе ведут синтез Регина и Аля. Рядом стоит мой новый второй зам, Валентин Губский, спокойный, краснолицый, совершенно седой в тридцать пять лет человек.

Реактор он сделал своими руками. Работа некрасивая, нешикарная, но точная. По-нашему, она шикарная.

Губский паял сосудик, точил мешалку, точил фланцы. Мотор без кожуха, может давать от 300 оборотов до 14 тысяч в минуту. Наша реакция экзотермична. Нужно отводить большое количество тепла.

Глядя на представительную фигуру Губского, я ду-

маю, что иногда мне в жизни везет. Случилось так, что этот надежный, знающий человек очутился у нас. Он знал Веткина. Веткин нахвалил ему тему № 3. Хвалил тему и не ругал меня. Этого оказалось достаточно, чтобы Губский, со своим лицом охотника и рыболова, теперь стоял, прислонившись к столу с банками мономеров, и смотрел, как идет синтез.

— Будем переходить на непрерывный,— говорит Губский негромким, надежным, как он сам, голосом и продолжает смотреть на реактор, где из щепотки весом 7,7 грамма, из двух бесцветных порошков получается третий, который будет обладать невиданной термостойкостью.

Американцы как-то дали рекламу-картинку — пластмассовая чашечка, вроде тех, что употребляются для бритья, а в ней льется расплавленная сталь. Рабочая температура — 1500. Может быть, это преувеличено. Но мы топчемся где-то близко. Если оставить ненужную скромность, то наш полимер хорош, невероятно, сказочно хорош. Это мы уже знаем. Даже пусть бы он был немного похуже. Мы бы меньше нервничали. Полимер хорош, но процесс очень капризен.

Я смотрю. Все опять повторяется сначала. Момеры в растворе, один заливаем, а второй, при включенной мешалке, приливаем. Худые руки Регины, тонкие и точные. И Губский смотрит на ее руки, удивительный человек, который никогда никуда не торопится.

Регина оборачивается и здоровается со мной, как обычно, дерзко глядя из-под волос. Она одета в черную поплиновую рубашку и кажется бледной.

Коротко и очень толково она докладывает результаты своей работы, отвечает на вопросы и отходит сушить колбы сжатым воздухом.

Я киваю головой и не шучу с ней, не могу шутить с ней и никогда не спрашиваю ни о чем постороннем. Я теряюсь перед ней. Знаю, что это так, надеюсь, что никто больше этого не знает.

Регина подходит к Губскому и протягивает ему китайскую авторучку с просьбой набрать чернил. Она так попросила его набрать чернил в ручку, как просят о помощи, о спасении. Слабая женщина, беспомощная перед мужской технической работой. Это был жест полного доверия, признания своей слабости и его силы. Так можно протянуть ребенка мужчине, но она так подала Губскому авторучку. Не имело значения то, что каждый день в ин-

ституте она справлялась со сложнейшими приборами, часто обходясь без помощи механика.

— Вы можете это сделать?

— Да, конечно,— хрипло ответил он и склонился над пузырьком чернил.

Лабораторное стекло издает тихий звон, а металл аппаратов излучает сияние. Аля, вооруженная скальпелем, выскальзывает за дверь, и я, третий лишний, должна поскорее уйти.

Вот как оно бывает, думаю я с грустной завистью, так бывает, и у меня когда-то было так.

Петю-Математика в следующей комнате я застаю в той позе, в какой оставила его, уезжая в Ленинград. Припав к столу, он крутит ручку счетной своей машинки, шепчет цифры, пишет цифры, и в глазах его, окруженных нежными длинными ресницами, плавают цифры. Он в клетчатой рубашечке с закатанными рукавами, в джинсах и кедах.

На фоне «миланских соборов» располагаются мальчишки — студенты, практиканты, аспиранты. Один с бородой, один с косым боксерским носом, один с большим лошадиным лицом, где в модной пропорции большая часть принадлежит подбородку. Имеется тут и двухметровый аспирант из Грузии, откормленный на винограде.

Я говорю:

— Здравствуйте, друзья.

Петя-Математик шепчет:

— Потрясающие результаты. Я посчитал. У вас ничего не получится. Зря бросаем тему № 2. Она получится.

— Она не получится.

— В А-эн бы не бросили,— бормочет Петя,— продолжали бы. А мы бросаем. Красивый процесс. Такой процесс, ах, боже мой!

— Вовремя бросить — надо иметь такое же мужество, как продолжать,— изрекаю я.

— Давайте сами сделаем мономер,— просит Петя.— Я готов принять участие, давайте работать дальше.

— На ста граммах — это не работа. Вернемся потом, когда будет мономер.

— Айн ферзух ист кайн ферзух. Если бы химики знали математику хотя бы так, как ее знают физики...

— Мы вернемся, Петя, и, подбадривая друг друга...

— Японцы уже делают, уже получают. Их метод хуже, наш лучше.

Мы разговариваем с Математиком на старую тему: до каких пор вести работу, которая не дает результатов.

— Все ли мы сделали,— яростно твердит Петя,— чтобы иметь право оставить?

В дверях появляется Регина, сообщает:

— Привезли циклогексанон, десять литров.

— Нам не добить до результата. Немцы тоже отказались. Японцы тоже,— говорю я.

— Японцы! — восклицает Математик и, наклоняясь ко мне, шепчет: — Делают. Де-ла-ют.

— Но мы не можем. Очистка...

— Дюпон знает, как чистить.

— Но он этого не говорит.

— Что Дюпон! — орет Петя-Математик.

Он увидел в теме № 2 некоторые возможности, он посчитал. Правильно, иначе Терез не мог бы так долго держать всех под гипнозом. Петя — молодец. Но всегда есть то, чего не считаешь. Мы не готовы к такой работе. Химия мстит за то, что с ней слишком долго, слишком плохо обращались.

А Петя, значит, занимался тут нашими темами и отвлекался от своей работы.

— Вот погоди, придет Веткин, — смеюсь я.

— Что Веткин! — затихая, говорит Математик.

Я прошу:

— Петя, отнеси циклогексанон в гараж.

— Это еще зачем?

— Ну, я прошу.

Циклогексанон нам сейчас не нужен, и это горячая жидкость, ей место в гараже.

— В А-эн бы не бросили,— бормочет Петя, поправляет арифмометр и перекладывает свои листки с цифрами. На его щеках красные пятна, а в глазах его блеск, и смех, и бред. Да, вот еще один фанатик, из тех, кто украшает нашу землю.

Ему, кстати, давно пора пересесть поближе к окну, но он считает, что окно отвлекает, и остается сидеть в углу, в темноте. Циклогексанон он нести не хочет, потому что мы заказывали его для темы № 2. И всем нам непременно надо нарушать тэбэ (технику безопасности). Гусарство химика. Кто не горел, тот не боится, потому что не знает, что это такое. А кто горел, тот тоже не боится, он

уже горел. В институтах мы упражнялись, прикрывая колбы рукой, когда загорался спирт. Мы все горели в студенческие годы. Большинство из нас ничего не боится — ни отравы, ни пожара, — и это плохо. А некоторые всего боятся, это еще хуже. Мы считаем, что гибнет обычно трус. Мы считаем, что если сотрудник наливает синилку и у него дрожат руки, — ему лучше уйти из института.

— Иду. — Петя-Математик удаляется, неслышно ступая кедами.

А через мгновение неизвестно откуда, словно он прополз пол, возникает Веткин, обнаруживает Петино отсутствие и грозит:

— Сейчас я ему сделаю втык.

— Он исполняет мое поручение, — объясняю я Веткину.

Веткин галантно кланяется и разводит руками:

— Тогда молчу. Как съездили? Договорились?

И смотрит на меня с усмешкой сообщника. Дело движется. Вначале ему казалось, что я не научусь жульничать, но я ничего, научилась. Лаборатория продолжает работать над темой № 3.

14

— Здравствуйте, Маша, — говорит Леонид Петрович, — рад вас видеть. Я без вас скучал.

А я? Скучала ли я без него?

— Ну как, хорошо было в Ленинграде? Вам не захотелось там остаться? В спокойном институте университетского большого города?

— А вам хочется остаться, когда вы бываете там? — спрашиваю я.

— Я вас так ждал, а вы приехали сердитая.

Он наклоняет голову, смотрит на меня слепыми, пыльными очками-глазами.

— Нет, нет, — говорю я, — все в порядке.

— А у меня сейчас блаженное время, публика разъехалась по отпускам, я могу работать своими руками и быть один. Никто не улюлюкает. Ношу условное название «Государство — это я». Но надо, как всегда, медленно торопиться. Посидите, Маша, пять минут.

Я сажусь и смотрю, как он движется. Это почти танец, движения его исполнены легкости и изящества. Он

красив и лукав. Разговаривает сам с собой и с окружающими предметами.

— Куда, куда?— кричит он взбунтовавшейся смеси.— Ах я идиот, ах болван, что я наделал, будь я проклят, если я не последний идиот... Давайте сформулируем проблему, давайте сформулируем идею. Будем исходить из химической логики. Аааа!— Бормотание переходит в рычание.— Наука вам не нужна, вам нужны килограммы. Я вас знаю. А надо возиться, господа. Мы идем по снегу. Хорошо идти по снегу. Машенька, хорошо идти по снегу?

Отвечать не обязательно.

Леонид Петрович бормочет стихи.

— Мне нравится, когда мне кто-то нравится... Я еду в пыльном кузове, с котомками, арбузами... Что у меня получается, Маша? Или ни хрена у меня не получается, и всех нас ждет тупик, тупик перерабатываемости...

А как он моет посуду! Ах, как он моет посуду ловкими толстыми пальцами, и как он тщательно сушит ее, и как он тогда уверен, что посуда чистая! Он торопится и не торопится. В этом-то весь фокус.

Во время опыта он ест печенье, вафли, разные конфеты. Вон лежит шоколад на подоконнике. Нельзя есть столько сладкого, думаю я.

Он постоянно проверяет старые синтезы, они надежны, красивы, всегда прекрасно воспроизводятся.

В старых Берихте писали: «Взял банку и поставил ее на две недели на окно...» Старая, милая химия! А у нас на окне бутылки с молоком. На вредность. Иногда вместо молока выдают сметану.

В старых Берихте писали: «...Бутылка из-под шампанского, она держит давление...» Мир был прост и понятен...

На столе у Леонида Петровича, на полу кучи журналов. Читать химическую литературу... Кто не читал, не знает, что это такое. «Хемише Централблатт», «Эржеха», «Кэмикл Эбстректс», «Бейльштейн», «Хандбук дер органише Хеми»... Эти тонны печатных страниц мы называем информацией и без нее не можем существовать.

— Секунду,— говорит Леонид Петрович.— Я переоденусь.

Сейчас он в халате, надетом на майку, и похож на банщика. Вообще вид у него неважный, он выглядит бледным и еще потолстевшим. Или мне это кажется?

Леонид Петрович отправляется в свой кабинет, где

держит только одежду, больше ничего, сам там никогда не сидит и заявил, что сидеть не будет.

Возвращается он в костюме странного красновато-лилового оттенка.

— Каково? Сильное впечатление? Цвет, линия! Сшито у местного портного, между прочим. Будете искать дефекты — не найдете.

Он страшно доволен.

— Буду теперь одеваться. Пора. С возрастом мужчина должен украшать себя. Принято решение сшить еще пальто, пока портного не забрали в Москву шить дипломатам. Пальто деми, а какой цвет?

— Серый,— говорю я.

— Серый! Серый мне пойдет, вы думаете? Пойдет. Я про него забыл.

А я смотрю на него и думаю, что его отец красивее, чем он.

Мы уходим из института. Леонид Петрович шагает рядом со мной в своем новом костюме и молчит, потом спрашивает:

— Ну как там мои, видели их? Там, наверно, все по-прежнему. Картины, фарфор. Старик служит науке, а мама в своем репертуаре — руководит. Да?

— Да.

По моему лицу он понимает, что было что-то не так, и меняет разговор.

— Вы потом расскажете, когда вам захочется. Сейчас вам не хочется. А я тогда расскажу о себе, похвастаюсь. Маша, у меня пошла карта. Карта идет к утру. Видите, сколько понадобилось времени? Почти два года. У вас тоже так будет. Нет, у вас будет в тысячу раз лучше.

Какая я дрянь, думаю я, ведь слышу от Леонида Петровича только хорошие и добрые слова, а я — ничего, улыбаюсь, слушаю, отвечаю односложно. Называю его Леонидом Петровичем, а он меня — Машей.

— ...Опыты идут на грани с хулиганством, вы сегодня сами видели. А наш полимер ведет себя неплохо. Его подвергают очень суровым испытаниям, и, если он и дальше выдержит их достойно, клянусь честью, я буду считать, что оправдал свое существование в институте и свою неприлично высокую зарплату. Моя беда знаете какая? Что я впадаю в панику на три дня. Надо свести до пяти минут. Вы на сколько впадаете в панику, Маша?

— Тоже на три дня и даже больше.

— Надо сокращать, надо воспитывать в себе характер бойца, это наша задача. Теперь деловое предложение. Едем в Коктебель. Не пожалеете, клянусь честью. Как вам объяснить?.. Все эти бухты, каньоны и голые скалы ничего общего не имеют с тем тривиальным Крымом, который вы знаете.

— А кипарисы?

— Нет кипарисов! Это призрачно и прозрачно. Это необыкновенно. Это антимир. Вам он нужен?

Что ответить ему, моему двойнику? Сказать, что не нужен антимир,— это было бы неправильно. И я говорю:

— Нужен.

— Другого ответа не ждал. Едем. Роберт и Белла на своем самосвале. Я за то, чтобы лететь. Есть вариант поездом. Выбирайте.

Я знала людей, которые целый год жили мечтой о Коктебеле, о синем море, о лунных пейзажах и крымской беспечности. Там можно носить легкую рубашку навыпуск, сандалии на босу ногу, рваные тапочки. А всю зиму этого нельзя. Они ездили в Коктебель много лет подряд, знали уйму коктебельских историй, и песен, и обычаев, и преданий, были обладателями камней под названием куриный бог, розовых дымных сердоликов, знали наизусть стихи поэта Волошина, были знакомы с вдовой поэта, посещали его могилу. Они и зимой объединялись по этому летнему коктебельскому признаку. Делились коктебельскими воспоминаниями и коктебельскими планами. Те, кого я знала, были тихие, скромные люди. Один старый коктебелец, доцент Ленинградского университета Мартын Капорин, был тихий, осторожный человек в обычной жизни, а летом в Коктебеле становился чуть ли не вождем и предводителем коктебельского племени.

— Вы не представляете себе, как вам понравится,— продолжает Леонид Петрович. Я вспоминаю Мартына Капорина.

— Давайте будем оригинальны и никуда не поедем. Обследуем окрестности,— предлагаю я.— Здесь тоже все есть. Например, монастыри, ваша мама советовала...

— Но Коктебель-то лучше.

— А чем он лучше?— тяну я.

— Ладно,— говорит Леонид Петрович,— оставим этот разговор. Когда у человека неважное настроение, не надо лезть ему в печенки. Знаете, что я сделал один раз, когда у меня было неважное настроение, очень и очень неваж-

ное? Поехал в Спасское-Лутовиново. Там сохранился покой души. Клянусь. Не знаю, как насчет Мелихова и Ялы. Боюсь, что нет. Чехов — другая эпоха.

И я раньше так думала, что обязательно надо отправляться куда-нибудь. Ехать, ехать, быть не там, где ты есть. А Тургенев из Спасского-Лутовинова уезжал в Париж, тоже, наверно, в полной панике мчался из своего красивого дома со старинной мебелью. Тогда она не была старинной, тогда она была современной.

— Я никуда не могу ехать, — говорю я. — Кто будет работать?

— Ну, тогда никто никуда не поедет, — отвечает Леонид Петрович своей внятной скороговоркой, — бог с ним, с отпуском. Будем работать, работа пошла, нельзя бросать. В конце концов, можно отдыхать зимой. Люди отдыхают зимой, и как хорошо! Засыпанная снегом деревушка в горах, лыжный спорт, тихие долгие вечера у телевизора... Или просто валяться с книжкой на койке в заштатной гостинице заштатного городка, в доме колхозника. Вы не пробовали? Я пробовал, клянусь, это неплохо.

И, как всегда, я не слушаю его бормотания и запоминаю все, что он говорит.

15

...— Ааа, кто приехал! Анята, смотри, кто приехал, узнаешь? Салютуем! — приветствует меня на улице на следующий вечер после моего возвращения из Ленинграда Терез. Они с женой совершают променады, дышат воздухом, сгоняют вес. Рослая Анята идет с мрачным лицом, которое становится приветливым, когда она улыбается.

— Где были? Что видели? Как на белом свете люди живут? — шумит Терез.

Я не умею отвечать в таком же духе, это целая школа — так разговаривать.

— Как Ленинград? — спрашивает Терез, не требуя ответа, и смеется, приглашая смеяться остальных. — Да, красавец, чудо-город. А помню, послали меня на один ленинградский завод. Охо! А время какое? Прихожу, сидит Воловик, под стулом узелок. Он теперь большой человек. Воловик, старый друг, все его теперь знают. А тогда обрадовался Воловичок, хоть будет с кем работать, говорит. Ну, я не остался. Ушел не знаю как. И ничего. Пронеслись

все бури. А Ленинград стоит. Невский проспект, Марсово поле, белые ночи! Как там ноне, доложите обстановку.

— Да хорошо, конечно.

— Отлично, стало быть. А вы не горюйте, еще вернетесь туда. Сделаете вы свой полимер, и чихать вам на всех. Можете мне верить.

Я посмотрела на него. Любезен, весел, доверителен, даже странно. Но я его не боюсь. Почему я должна его бояться? Потому, что он тертый, а я нет? Потому, что он всем известный Терез? Или потому, что он, не зная химии, ее делает? Почему?

— Про какой вы полимер говорите?

Имел ли он в виду те полимеры, которые спихнул на нас, или он разведал про тему № 3?

— Какой?— Терез подморгнул мне, его крепкое лицо с густыми бровями было добродушно и клоунски непроницаемо.— Такой. Еще вернетесь в Ленинград победительницей,— утешает он меня.

Это говорит человек, который спустился к нам с больших высот и рассматривал свое нынешнее положение как ссылку.

А зачем ему меня утешать, зачем вообще нам разговаривать, прогуливаясь по улице, а не идти каждому своей дорогой?

Приветливые лица Терезей выражали намерение меня не отпускать.

— Вы лучше скажите, как вы добываетесь такой талии?— продолжал Терез.— Мы с супругой стараемся, но у нас не выходит. Калорийная пища, стало быть. Дом у нас хлебосольный, гостей любим, традиции храним. Захотите проверить — просим.

Меня охватило явственное предчувствие беды. Такого Тереза мне еще не приходилось видеть, такого простого, такого приветливого.

— За бутылкой хорошего коньяка похоронили бы старую обиду на бедного Тереза. А чем бедный Терез виноват, ей-богу, не знаю. Пора уж нам мирно жить, одно дело делаем. А то все полимеры-полумеры. Чего нам делить!

Предчувствие беды сменяется предчувствием схватки. Но, не умея сопоставлять слова и факты, разгадывать тайные ходы, я не могу понять, в чем тут дело. Хотя понимаю: что-то произошло. Может быть, в Москве, во время визита в Комитет, может быть, здесь.

Анюта Терез задумчиво смотрит перед собой. На ней блестящий стеганный ватник из китайской парчи и короткая белая юбка, веселый наряд, но лицо мрачное, если она забывает улыбаться. А она иногда забывает.

К нам приближается немолодой плотный мужчина, чем-то неуловимо похожий на Тереза, как брат.

— Салют, как Москва! — приветствует его Терез и берет меня за руку, чтобы я не удрала. — Это наука, — показывает он на меня. — А это — производство. — Он показывает на мужчину.

— Когда едешь в Москву на мордобой, не знаешь, сколько времени придется пробыть, может, сутки, а может, неделю, — говорит подошедший.

Терез:

— Раньше бывало и месяц, бывало и два.

Мужчина:

— Я как получу вечерграмму, ну, все...

Терез:

— А я однажды Александру Ивановичу сказал, знаешь, Ляксандр, я ему прямо сказал: «Я тебе не мальчик, не ори на меня». А ему орать надо, его работа такая. Ну ори, черт с тобой. А он орет, чудила, что я опоздал. Не я опоздал, самолет опоздал.

— А я в этот раз получил вечерграмму. Полетел. Прилетаю. Сплошной футбол. Никто не решает. Кабинеты, приемные, телефоны эти. Ну, я обычно не сижу, прохожу. А какой толк? Не решают. Футболят. Ходил, ходил по этажам. Мне надоела эта жизнь. Людмилочка-секретарша, ну, эта Людмилочка славненькая, кто ее не знает, любительница трюфелей, пропустила меня к Федорычу. Уж Федорыч — это Федорыч, царь и бог, а между прочим, тоже не решает. Уж ежели Федорыч не решает, тогда кто и решает. Я ему говорю, выручайте. Он говорит: ладно, помогу тебе, только я тебе ничего писать не буду, а ты садись и сиди. Я сперва не понял. Но сел, сижу. А к нему на доклад идут, на подпись, один, другой, — я сижу. Мой Панечкин идет, заклятый друг, бумаги несет, — сижу. Другой приходит, все мои футболисты. Сижу. Часа, наверное, два сделал, потом Федорыч мне говорит: теперь иди. Все. Сделано твое дело. Теперь тебе сделают. Я пошел. Ведь сделали, умники. Ха-ха-ха!

— Ну ясно, они как тебя увидели, что ты в кабинете сидишь, значит, решили: все. Свой. Надо сделать, — хохочет Терез.

— Вот Федорыч, понимаешь, какие номера умеет. Умный мужик, обаятельный. Все знает, но не решает.

— Не решает. Наш Семеныч тоже не решает. Также мужик замечательный, мы с ним в войну душа в душу жили. Замечательный мужик, простой, свой. Все в голове держит до подробностей. Но не решает.

Разговор повторяет себя, но его не хотят кончать, мне он надоел, но он сладостен Тережу, и его другу, и даже Анюте, которая усмехается, по-прежнему глядя перед собой невидящим взглядом.

Тереж приглашает меня посмеяться с ними, понять, оценить. То была его настоящая жизнь, не сейчас. Тот блеск, смех, шум, высокие двери, медные ручки, батарея телефонов, запахи дорогой мебели в кабинетах, та Москва, какую она была раньше и какую мы ее не знаем теперь.

— Слушай, дочка,— Тереж простецки кивает в мою сторону,— мы в прошлом практики, бедолаги. Но когда-то мы делали химическую промышленность. И головы свои клали. В тепленьких местечках не отсиживались, вперед на Ташкент это не мы. Мы все больше на передовой. А теперь, стало быть, даешь науку, на повестке дня химия полимеров. Поиск, но так, чтобы сто процентов удачи. Когда нет хлеба, думают о хлебе. Когда все есть, можно думать о пельменях. Такой сейчас голод в стране на полимеры — что ни дай, все сгодится.

Странная, темная речь, полная намеков, которых мне не разгадать.

— Нельзя, чтобы в армии каждый брал ружье и стрелял куда хочет. А в науке можно,— говорит старый Тереж, и мне видится нестарый Тереж.— В науке все можно.

Звучит угрозой эта речь...

— Смотрите, какая машина,— показывает жена Тережа.— У нас такая была, верх поднимается, внутри все из красной кожи. Мы ее потом просто подарили нашему шоферу Илье. Осчастливили человека. Он на ней, наверно, до сих пор ездит. Мотор был хороший.

— До свидания,— говорю я.

— Не хотите с нами гулять,— говорит Тереж,— зря. А моя мечта — выйти на пенсию, купить дом с садом и целый день с лопатой на воздухе. А вы без нас тут варите свои полимеры-полумеры.

Врешь все, думаю я. Но я не боюсь. Не знаю, чего ты добиваешься, я завтра в последний раз поговорю с Диром и отправляю докладную в Комитет.

— ...Где загычка — хима пришлют. Одни химы в тылах окопались, портянки считали, а других, как меня, посылали в самое пекло. Один раз послали меня, рядом батальоны стоят, при них пушчонки, голыми руками...— Голос Тережа заполняет улицу.— Да Анята помнит, помнишь, Анята?

Что отвечает Анята, я уже не слышу.

16

Я люблю покупать продукты вечером в пустом гастрономе, я вечерний покупатель. Продавщицы стоят у стены, ждут, когда можно будет закрыть двери, смотрят с уставшими лицами.

Вечерних покупателей знают, им иногда говорят: «Заплатите в кассу еще рубль пятьдесят» — и дают в туго завернутом пакете то, за чем утром была очередь утренних покупателей, например сосиски, воблу и так далее.

Не оборачиваясь, я знаю, что входит Леонид Петрович, вечерний покупатель. Он кланяется продавщицам, как королевам. На нем черный свитер-балахон, а горло обмотано шарфом. Вечер теплый, но, наверно, он устал, и оттого ему холодно и зябко, и его надо накормить супом и напоить горячим чаем.

Я гоню от себя эти первобытные мысли, нету у меня никакого супа, где я возьму суп.

— Пошли ко мне,— зову я,— накормлю, напою и скажу участливое слово.

— Надо бы отказаться,— бормочет Леонид Петрович,— но это выше моих сил. Такая тоска разбирает, тоска вечернего одиночества. А вы, Маша, вы, как бы это сформулировать... Ангел в форме сержанта милиции.

Это про мое платье с погонами.

Мы покупаем сыр и что-то завернутое в тугой пакет, рубль семьдесят в кассу, и выходим.

— Дивный вечер,— говорит Леонид Петрович и сдергивает шарф, достойный по своей турецкой яркости украшать шею более крупного пижона. Он твердо решил стать франтом.

На ступенях гастронома расположился частный сектор. Продают связки зеленого лука огородной свежести, большие светло-желтые помидоры и пупырчатые ровненькие огурцы, которыми славятся наши места.

Чуть в стороне прямо на тротуаре худой, загорелый

беззубый дед выкладывает на газетный лист дары леса: кучки белых грибов — четыре гриба пятнадцать копеек. И здесь тоже ждут своего вечернего покупателя.

В нынешнем году грибов много, сегодня даже в вестибюле института продавали грибы ведрами и корзинами.

Мы покупаем товар деда. Дед бегом бежит в гастром, а мы забираем помидоры, огурцы, лук, укроп и идем ко мне.

— Будет что-то вроде пира, да, Машенька? — говорит Леонид Петрович. — Стопинг, допинг, поворотинг. Яма! — сообщает он.

Мы обходим свежую траншею возле моего дома. Все кругом разрыто.

Поднимаемся по лестнице, пахнувшей краской и штукатуркой. Раз, два, три, четыре, пять...

Надо почистить грибы. Леонид Петрович садится напротив меня на табуретку в кухне, и я всовываю ему газеты в руки.

— В ожидании ужина он читает газету, — говорю я.

— Газеты я всегда могу читать, — говорит Леонид Петрович. — Я лучше буду на вас смотреть.

Он сбрасывает газеты на пол.

— Любите грибы собирать? — спрашиваю я.

— В жизни не нашел ни одного гриба. Они от меня прячутся. Мне объясняли, когда я был маленьким, что к одним людям грибы выходят, а от других прячутся. Мне кажется, не только грибы...

Ну вот, пожаловался на судьбу. Конечно, обидно сознавать, что грибы к одним выходят, а от тебя прячутся. Но разве в этом дело?

Что-то надо сказать, а я не знаю что. Леонид Петрович молчит. И я не знаю, что сказать.

Стою у плиты, смотрю, как грибов делается все меньше, и когда их станет совсем мало, они будут готовы. Тогда возьму кофейную мельницу... Как странно и нелепо, что мы все время собираемся поговорить, а оставаясь вдвоем, молчим!

— Когда я был аспирантом, — говорит наконец Леонид Петрович, — помню, возился с холодильником Либиха, а мой шеф, проходя мимо, посоветовал сделать рубашку поуже. Гораздо выгоднее узкая рубашка. Это замечание меня потрясло: это было так просто. Это было то самое, ради чего я собирался жить. Я влюбился в своего шефа и замучил его вопросами. Он бегал от меня. Он не был ге-

нием, но он был что-то, что почти так же хорошо, как гений.

— А теперь?

— Не то. Он остался таким же. Я изменился. У него была жена.

— Это естественно.

— Похожая на вас.

Это он мне уже говорил. Я все помню.

Я ставлю на стол грибы.

Из окон пахнет свежими яблоками незначительных сортов, маленькими мягкими летними яблоками местных названий. Бадаевские, чулановские, лимонные, серкины, зуйки, пчелкины, колескины. Самые вкусные, кажется, чулановские.

Со двора доносятся голоса, и, если прислушаться, узнаешь, чьи дочери и сыновья там кричат.

Я выхожу на балкон. С балкона смотрю, как Леонид Петрович, морщась, пьет кофе.

Два мальчика, возраст — шестнадцать-семнадцать, кричат Рите — дочке главного бухгалтера и ее подруге, возраст тот же:

— Кинуть тебе яблоко, а, Рита?

— Может, вы спуститесь? (Смех.)

— А там дождь. (Смех.)

— В том-то и дело, что дождя нет. (Смех.)

— Надо поговорить!

— Поговорить о жизни!

— Дождь!

— У магазина «Готовое платье» без пятнадцати девять.

— Девять ноль-ноль. (Взрыв смеха.)

— Может быть.

— Не может быть, а точно.

Голоса рвутся от радости и смеха. Слова, простые и детские, кидаются вверх и вниз, как мячи. И изумляются собственному крику и смеху. Можно крикнуть еще громче, можно запеть. Я слушаю и завидую им, они счастливы ни от чего.

Я возвращаюсь в кухню. Леонид Петрович тихий, тихий. Газеты лежат на полу, я постеснялась их поднять.

— Скучаете по Ленинграду? — спрашивает Леонид Петрович.

— Иногда.

— Но не в том смысле, чтобы вернуться?

— Не в том, мы уже говорили.

— И я.

Кажется, мы это сто раз уже говорили.

Очень тихо становится в квартире. Умолкли голоса во дворе, девять ноль-ноль, смех перенесся к магазину «Готовое платье». Слышен только дальний шум поездов.

Леонид Петрович поднимает с пола мои новые тапки.

— Какой у вас номер ноги? — Он внимательно разглядывает цифры на подметке. — Тридцать пять, одна вторая. Я так и думал. Значит, в Коктебель никто не едет?

— Нет.

— Ну и правильно.

Что-то с ним происходит, но ведь никогда не знаешь, это с ним происходит или со мной.

Он уходит. Мне делается грустно и пусто. Неприкаянные должны держаться вместе, но они как раз и не держатся вместе. Они разъезжаются в разные стороны, расходятся, молчат, говорят не то и не так, не могут договориться и не могут быть счастливыми. Не могут понять друг друга и себя тоже.

Вот ушел Леонид Петрович, почувствовав напряженность. Грустно. Я понимаю, что я виновата. Моя глухота и немота.

Леонид Петрович нисколько не напоминает Сергея. Он лучше, надежнее, благороднее, честнее, чище. Наверно, такого, как Леонид Петрович, я искала и ждала. А то все было другое. И того я не искала, не ждала, он отыскался сам, свалился в мою жизнь, ворвался, и ровно десять лет я не могу его забыть. А жить надо, счастье дается не всем.

...Десять лет назад... Лена, моя подруга, говорила мне о нем давно, он был, по ее утверждению, самый замечательный и беспутный из всех беспутных друзей ее мужа, но мы с ним не встречались. То он уезжал в Афганистан на год, то безумно влюблялся и исчезал на неопределенное время, и ближайшие друзья не знали, где его искать. И работал он так же — запоем.

И все-таки в один зимний холодный ленинградский день мы встретились на мансарде, где жила моя Лена и куда я пришла после Публичной библиотеки. Зашла просто так, по пути. Мне понравился не он, а его товарищ. Это был внушительного роста чернобровый красавец журна-

лист, который пел песни под гитару и рассказывал о своих путешествиях. «Замечательно поет, замечательно рассказывает!» — подумала я.

Лена заваривала кофе в своей маленькой кухне и выпрашивала, как мне понравился Сергей.

Надо было всмотреться, чтобы увидеть силу и необычность этого лица. Сергей был некрасивым: нос велик и глаза малы, — и его портило скучающее выражение, а в тот вечер он был скучным. Потом я видела его другим и уже не замечала его некрасоты. Он был невысокого роста и с тенденцией к полноте. И у него были некрасивые маленькие руки. Некрасивые руки у хирурга, когда мы знаем: у хирурга они должны быть красивыми. Но он вообще был как опровержение всему, что я выучила в жизни до той поры.

«И к тому же сильно пьющий товарищ», — подумала я.

Когда были прослушаны песни и рассказы его друга, Сергей поднялся и сообщил, что пойдет меня провожать. Мне этого не хотелось, и я об этом сказала Лене, но он уже натягивал куртку все с тем же настойчивым и мрачным лицом.

— Он в тебя влюбился, — шепнула мне Лена.

«Ничего подобного», — подумала я.

На лестнице он мне заявил:

— Тургеневская девушка, через этих тургеневских мы погибаем.

На улице он стал ловить такси. Я сказала, что до моего дома близко, он ответил, что не любит ходить пешком.

— Покатаемся по городу, — попросил он, когда мы сели в машину.

И я согласилась, вспомнив при этом преувеличенные рассказы Лены о его обаянии и о том, что все всегда делают то, что он хочет. Я согласилась, уже подчиняясь его стремлению и движению, уже понимая, что он живет в каком-то ином темпе, чем я и все мы.

Было интересно понять, что он за человек. Но я этого не поняла никогда. Сначала, когда он рассказывал мне свою жизнь, я представляла его по-одному, а потом, когда я стала в его жизни участвовать, все уже было другое. И я тогда ни в чем не хотела разбираться. Только быть с ним, и ничего больше не надо.

Он дважды был женат и разводился. С одной женой

он прожил год — ушел. Вторая ушла сама. А что мне было до этого, до того, что было в его жизни? Многое там было, меня это не касалось.

Сначала мы встречались часто, по несколько раз в день. Он ждал меня на лестнице, стоял на улице, дежурил около университета. Писал мне письма, присылал телеграммы, без конца звонил по телефону. Я не знала и не могла угадать никогда, что он сделает, что скажет.

Он разговаривал с незнакомыми как со знакомыми. И люди отвечали ему охотно и легко. С ним было весело, и не только мне. Без него делалось скучно и неинтересно. Он был добр, щедр, суеверен, беспечен, горяч, талантлив во всем.

Он любил рестораны. Деньги были, он получил их за какое-то изобретение. Ему нравилось кормить меня дорогой едой и нравилось, что его знают официанты и метры и он у них слывет порядочным человеком, а они, как никто, разбираются в людях, утверждал он.

Несколько месяцев было так, что бедные люди все как-то там жили на земле, но счастливы были мы.

Работать он умел бешено, помногу оперировал, делал сложные операции, делал любые — он не мог не оперировать. Здоровье у него было отличное, сила и большая выносливость. Все это была его одаренность. А потом он начинал гулять с многочисленными дружками, и я должна была их кормить и обращаться с ними приветливо и радостно, как он. Среди них попадались совсем странные. Он был их кумиром, он был центром всего этого вращения, но если ему хотелось работать, никто и ничто не могло ему помешать. Сначала не было никаких друзей, он всех забросил ради меня. А я — я уже не училась и не работала, каким чудом я удержалась в университете, не знаю. Меня должны были выгнать. Пусть бы выгнали, мне было все равно.

Дома было ужасно: мама плакала, устраивала скандалы, отец пытался мне что-то внушить, но они видели мое каменное лицо — разговаривать со мной было бесполезно. Я ничего не слышала, ничего не воспринимала. Иногда я не приходила домой ночевать.

Мы виделись часто, но бывало так, что он не появлялся три дня, мог не прийти неделю и даже не считал нужным извиняться. У него не было этих навыков цивилизо-

ванного человека. Культура, ум, талантливость были, а цивилизованности не было.

Ожидание было главным смыслом моей жизни, главным моим занятием. Он любил меня, но он был совершенно свободен. И я понимала, что так будет всегда. Мы поженимся — так будет.

Ему я даже не могла сказать об этом. Он смеялся:

— Брось! Не придавай значения. Тебя же тоже иногда не бывает дома.— Я всегда была дома.— ...Я думал только о тебе... Имей в виду, никто из мужчин вообще не хочет жениться. Никому это не нужно. Но я готов. Хоть сейчас. Такой, какой есть, ты меня теперь немного знаешь...— говорил он со смехом, а потом перестал говорить.

Кроме многочисленных друзей и девушек, нередко появлялась его бывшая жена — балерина, с которой у него сохранились хорошие отношения.

Я все старалась выдержать, хотя это было очень трудно. И я понимала, что нельзя вечно стоять на улицах, и ждать у парадных, и шляться по ресторанам, и ездить в такси, рассказывая таксистам про нашу жизнь. Мне это и не надо было, ему это было надо, и пока он хотел, он это делал, а потом перестал.

А я все так же сидела у телефона и ждала, стараясь не слышать маминых слов, не видеть папиного лица. Но все-таки я видела и слышала... А он забывал позвонить.

Так бы и было, так бы и было всегда, хотя, наверно, я прожила бы с ним настоящую жизнь. Но я так не могла.

Помню, после какой-то ссоры я поехала к нему в клинику, ждала его в коридоре и слушала из-за двери, как он на кого-то орет, ругается матом. Он вышел из операционной потный, красный, маленький, в белом халате, как снежный ком, заряженный током, прошел не глядя мимо меня.

Он был личностью, сейчас имя его известно, и тогда было понятно, что он из своей жизни сделает что-то. Но я чувствовала: нам лучше расстаться, другая женщина станет его третьей женой...

Потом-то мне было плохо, гораздо хуже, чем я могла себе представить. Десять лет прошло. За десять лет можно забыть. Надо забыть, чтобы жить дальше.

Дети, мальчик и девочка, трех и четырех лет, лежали на ковре и строили гараж и зоопарк из стройматериалов, их папа лежал тут же и просматривал газеты. Их мама накрывала на стол.

Ужин семьи состоял из винегрета, хлеба, сыра, варенья, молока и творога — простая, здоровая пища.

Дети, одетые в аккуратные и удобные комбинезончики, не дрались, не кричали — они играли.

Мальчик бубнил:

— Шоферы — гонщики, перегонщики и обгонщики. И мы на гонке работаем.

Он строил гараж.

Девочка говорила:

— У зайца ноги вылупляются. Третья уже вылупилась.

И поднимала над головой зайца без единой ноги. Она занималась зоопарком.

Мальчик объявил:

— Я могу какого-нибудь врага зарезать и подбавить кулаком.

Петя поднял голову и прислушался. Что-то, видимо, назревало. Но продолжал читать газету.

Мальчик сказал:

— А лев, царь зверей, разорвет тебя на части.

Девочка схватила кубик, основу несущей конструкции гаража. Мальчик ей подбавил кулаком. Девочка заревела и закричала:

— Жадина-говядина, будина и гадина!

Петя отложил газеты, посмотрел на жену. Все ничего, выражал его взгляд, но вот «гадина». Как быть с «гадиной»?

Мальчик ответил:

— Сама будина и гадина!

Пока Петя раздумывал, подошла мама и нашла преступничков. Теперь ревели оба, но не громко, не печально, только чтобы показать родителям, что, если их будут шлепать, они с этим никогда не согласятся. Они ревели, объединившись, предупреждающе, условно, без интереса. И скоро затихли.

Потом они страшно расшалились, и опять возникли небольшие разногласия, но ничто не могло нарушить прочную идиллию. Дети все равно оставались здоровыми,

чистыми детьми. Петя-Математик оставался многообещающим молодым ученым, его жена — образцовой женой и матерью, а вся квартира — нормальной трехкомнатной интеллигентской квартирой с книгами и игрушками. Правда, в нашем доме наши дети игрушками мало играют, они играют плашками из пластика или кусками поропластов, которые мы приносим из лаборатории.

Когда дети заснули, мы сели поговорить.

— Кажется, уже пора Веткина придушить, — сказал Петя.

— Ты так считаешь? — спросила я.

— Вы слышали вчерашнее интервью? Опять звонил, что мы на пороге... Ну гад! — засмеялся Петя, но в этом смехе железо царапнуло о железо.

— Поговори с ним как мужчина с мужчиной, — посоветовала жена.

— Придется, — сказал Петя. — Сегодня фотографировался для «Недели»... Ну тип... Руки сложил на животе.

— Человек любит фотографироваться, что тут такого? — заметила я.

— Я ему все сказал, что по этому поводу думаю, — проговорил Петя.

— А он?

— Кашлял. А когда корреспонденты удалились, он мне объявил, что это он все для меня делает. Корреспондентов, говорит, я вообще не уважаю за то, что они в химии не смыслят. Они думают, что вообще никакой химии нет. Но необходимо паблисити.

— Тип, конечно, — вставляет жена, — будь с ним по-строже.

— Он еще сказал, что моя беда и единственный недостаток — что мне не хватает денег.

— А тебе хватает, — говорю я.

— А денег не хватает всем: и мне, и вам, и академику, и моей маме, которая тридцать шесть рублей получает.

— Мы с Петей научились правильно относиться к деньгам, — говорит жена, — мы их не замечаем.

— Точнее будет сказать: они не замечают нас.

Это видно: квартира пустовата, не хватает кучи нужных вещей, а холодильник собственной конструкции сделан из кухонного шкафчика руками Пети. Холодильный агрегат взят из настоящего холодильника, герметичность достигнута с помощью прокладок, изготовляемых в нашей лаборатории Веткиным для славы института. Петя

носит старенькие сатиновые брюки, простроченные красными нитками, называемые джинсами, и демисезонное пальто, служащее зимним в нашем далеко не южном климате. Нужды, пожалуй, уже нет, но есть постоянная стесненность и неудобство. Когда приходится думать: идти в кино или купить два лимона. Лимон — витамин це, а кино — что ж кино? Устаешь от этого.

Петя из тех мальчиков, их немало у нас в институте, которые ничего не хотят делать для себя.

— Диссертация — индивидуальное творчество, — говорит он. — Откройте Большую Советскую Энциклопедию на слове «Диссертация», прочитайте-ка, что там написано. Смех.

— Напиши диссертацию, которая нужна не только тебе, — советует Петина жена.

— Защищаются для карьеры, — отвечает Петя, — и это нечестно.

— Это нечестно? Нечестно, что ты делаешь черную малую работу, которую мог бы делать другой, и не делаешь той работы, которую можешь сделать только ты.

— Нет, — отвечает Петя, — я должен делать любую работу и не хочу прикрываться словами о собственной избранности. Я хочу делать работу, нужную моей стране сейчас, и хочу быть честным перед самим собой каждую минуту.

— А я иногда боюсь, что ты в конце жизни оглянешься назад и увидишь, что ничего не сделал, все пропустил сквозь пальцы вот так. — Она растопыривает пальцы, измазанные чернилами. — То, что ты делал, протекло между пальцев. Я твой друг...

— Вообще ты друг, — отвечает Петя, — но в этом вопросе ты мой друг-враг, ты мой идейный противник.

Действительно, только в этом единственном случае Петя и его жена спорили. Вообще же они были единомышленны, они были как чашка и блюдце, как стена и крыша, как то, что никогда не взаимоуничтожается, только взаимодействует.

— Мария Николаевна...

Петя что-то мнется. Я смотрю в его юное лицо студента-спорщика, с взъерошенными волосами и серыми добрыми глазами с длинными ресницами, которые летают над лицом, как крылья. Лицо жены выглядит старше, хотя они ровесники, на нем отпечатались вечерняя усталость.

— Веткин всегда все знает, Мария Николаевна, и он сегодня дал такую информацию, что в Комитете вами здорово недовольны. В том смысле, что вы заваливаете важнейшую тему № 2, она проходит по важнейшим, и что в армии невозможно, чтобы каждый брал ружье и стрелял куда хочет, а в науке можно. Вы знаете, чьи это речи про науку и ружье?

— Знаю.

— Тережа. Вас еще здесь не было, когда он носился с этой темой, прокричал-прокукарекал на весь Союз. И завалил. Вам дали расхлебывать. Математически она решается, но базы для нее нет. Я много думал, что же это такое. И понял: это химическая мечта, красиво завернутая в научную бумажку. Это гипноз, которому все хотят поддаться. Был у нас такой здесь Мирский, вы, наверное, слышали, он чуть не умер из-за этих тем. Работал-работал, зашел в тупик, начал протестовать, плюнул и ушел. А теперь Тереж капает на вас в Комитете, и меня это возмущает. Вот такая информация. Товарищ Веткин знает точно, он всегда все знает точно. У него это дело поставлено на научную основу — знать точно. Он сообщил мне это сегодня в конце дня. А товарищ Тереж, видите ли, коварен. Опасен. У него всюду друзья.

— А что нам Тереж? Мы его не боимся.

— Да ничего, — соглашается Петя. — Конечно, не боимся.

Я улыбаюсь и начинаю острить, показываю друзьям, что происки Тережа и его жалкое коварство для меня — тьфу.

Мне не страшно, что треплют мое доброе имя. Противно, что Тереж предлагал мировую, звал в гости, был любезен.

И я ничего не могу сказать даже Пете, товарищу своему, который ждет боевых слов о моей боевой готовности. На меня наезжает странное, тупое затмение, черный рояль. Старый черный кабинетный рояль фирмы «Дидерихс», который стоял у нас в столовой. У него, как говорила мама, был хороший номер и треснувшая дека. Он становился вдруг огромным и наезжал на меня. У меня всегда был один и тот же бред во время болезни, вот этот.

Мы стоим в маленькой прихожей, полной крошечной обуви, и я смотрю на эти невероятно маленькие стоптанные галошки, сапожки, сандалики на полу и думаю,

что это, наверно, должно дорого стоить — такое количество маленькой обуви.

— Вы огорчились? — спрашивает Петя-Математик.

— Абсолютно нет, — отвечаю я, — что вы! Не такая я идеалистка и не первый день живу на свете.

Что-то еще и еще я произношу, стремясь показать, что я тертая и бывалая и человеческая подлость для меня в порядке вещей.

Ребята смотрят на меня с состраданием, а я продолжаю говорить, острить, прощаюсь и не ухожу. В эту минуту я выгляжу чудачкой.

Мне всегда казалось, что во мне что-то есть от чудачки, от той, которая забывает заправить блузку в юбку, оставляет непогашенную сигарету, роняет хлеб на пол, рассеянно мотает головой, говорит много раз «да-да», «нет-нет», «извините», «спасибо».

Сейчас в прихожей я говорю «спасибо». И все не ухожу и не ухожу. Наконец говорю:

— Ребята, я совсем забыла. Ведь мне должен звонить Ленинград.

Поймав сострадательные, понимающие взгляды, добавляю:

— И Москва тоже.

На лестнице вспоминаю голос Леонида Петровича: «Моя беда знаете какая? Что я впадаю в панику на три дня, а надо свести до пяти минут. Вы на сколько впадаете в панику, Маша?»

18

Докладную я отослала в Комитет. Но с директором еще раз поговорить не смогла: он уехал в Италию. Во главе института остался Роберт, для которого отъезд начальства был очень некстати: ему надо было пропадать у себя в лаборатории, там налаживали процесс секретный и срочный, как все там у них.

Я хотела посоветоваться с Робертом, как защищаться и как действовать на тот случай, если события примут для меня грозный характер. Кто его знает, ведь это все была та область, где Терез был опытным генералом, а я необстрелянным лейтенантом.

В институте Роберта не поймать. Его главная шутка теперь заключалась в том, что он брался научно доказать, что его не может быть ни в одном определенном месте.

«Я тот,— говорил он,— который только что был и сейчас будет»,— и смотрел на вас затравленными, злыми глазами.

Поэтому я пошла к нему вечером домой. Дома оказалась одна Белла.

Она выглядела неплохо. Выражение лица как у человека, который взялся за ум.

В квартире натерты полы, цветы в горшках. Все стоит на местах, как прибитое. На лиловой стене аккуратно висит вся эта дикая мура — цепи, иконы, веретено. Музей народного быта, довольно живописный.

В кухне накрыт стол, расставлены фаянсовые чашки на красных салфетках, в молочнике молоко, сухари в корзинке, яблоки.

Последний раз, когда я была здесь, все находилось в запустении, холодные угли стыли в очаге.

— Отварить тебе сосисочки? — спрашивает она и снимает с белого крючка игрушечную голубую кастрюльку. — Яишенку?

На буфете в деревянной миске лежат яйца. Это натюрморт, но можно зажарить из него яичницу.

Белла ждет, чтобы я сказала, что никогда в жизни не видела я такого порядка и уюта. Я говорю:

— Никогда в жизни не видела такого порядка и уюта!

— Правда? — радуется она.

Она двигается по кухне так, как можно двигаться по такой кухне, по такому гнездышку. Танцует на зеленом линолеуме.

— Роберт звонил? Скоро придет? — спрашиваю я и не удивлюсь, если она спросит, какой Роберт. Само легкомыслие пляшет на линолеуме с чайником.

— Боже, как Робик вкалывает! — восклицает она. — Это уму непостижимо. Кто так работает? Гении или идиоты! Общая постановка дела неправильная. В институте должно быть две-три крупных проблемы...

Никакого гипнотизера с треугольным лицом нет в помине.

— ...Институт разбрасывается, и замдир по науке тоже. Развели тридцать лабораторий. У Форда один мотор делают пятьсот человек. А у вас в одной лаборатории пять проблем. А вы призваны загружать заводы. — Она несетя во весь опор. — А Робик увлекается — это «А». Робик очень добросовестен — это «Б». Он сам говорит: «Каждый пункт можно выполнить десятью опытами, а я

могу тысячью». Наше последнее увлечение ты знаешь? Катализ. На грани наук и загадочно. Мы влюблены в катализ. Может быть, это хорошо? Я не знаю. Робик талантливый, так все говорят. Это налагает на меня обязательства...

— Ну, а...

Белла сразу понимает, о ком я хочу спросить.

— Все! Кончено! — кричит она. — Они мне надоели. Подонки! Ненавижу! Все врут, все представляются, шмотки, коньяк, бесконечные встречи там, и там, и там, и никогда нельзя понять где. И потом, что это, скажи? Дружба? Товарищество? Компания? Общество? Не знаешь? И я не знаю. У каждого из них есть профессия, работа, должность. Свое честолюбие. Все растущие, если хочешь знать. Неплохие ребята каждый в отдельности, но все вместе это лишено смысла. Они сами разбредутся скоро. Вот увидишь. И у меня своя судьба.

— А реставрация икон?

— Кончено! Я не встречаюсь с ним. Зачем? Он мне не нужен, и я ему не нужна. Я не вижу его больше и живу, видишь, живу прекрасно, по-моему, гораздо лучше, чем раньше. А Роберту я нужна. И точка. Кончено! Если хочешь знать, то ничего не было.

Белла закуривает, кося на меня ореховым глазом.

— А почему ты не хочешь родить ребенка?

— Рожу. Это не фокус. Рожу.

Белла тяжело вздыхает.

— Но он был изумительно интересный человек. Я ничего похожего больше не встречала. Теперь я имею право это сказать, раз я его не вижу. Я не хочу, вернее, не должна изменять Робику. Тогда надо уходить. А тот и не зовет. Он сам не знает, чего хочет. То есть он знает. Но я не хочу. Не могу. Вот такой текст.

Я так и думала, что дело плохо. И не поверила ни на тертым полам, ни всей этой муре насчет катализа, которую она мне преподнесла.

— Он сложный, может быть, не совсем понятный. Конечно, неврастеник. У него было трудное детство. Без отца. Он навсегда обиженный и от этого гордый. Трудный характер. Нервы это, или распушенность такая, или обстоятельства, я так и не знаю. Тебе этого не понять.

— Где уж мне! — говорю я грустно.

— Ты считаешь, что нет нервов и нет обстоятельств. Но ты глубоко ошибаешься.

— Ничего не изменилось,— говорю я.

— Ты видишь, я сижу дома, хожу только на рынок, никого не вижу, не встречаю, не говорю по телефону. Телефон молчит. Значит, изменилось.

— Ну что изменилось?

— Ах, отстань. Он уехал на Север, вот что. Чтобы все было честно. Это уже поступок. И я не вижу его больше, не слышу его голоса. Никогда не думала, что голос может так много значить. Голос и слова. Пусть сидит на своем Севере, там икон хватит реставрировать на всю жизнь. И я бы туда поехала.

— Что бы ты там делала?

— Люди везде нужны. В нашей необъятной стране...

— Что бы ты там делала?

— Не все ли равно! А что я здесь делаю? Была бы где он и все делала, что надо. Белье стирала, щи варила. Печь топила. Дрова запасала. Грибы собирала бы и сушила. На зиму.

В этом не больше правды, чем в рассуждениях об институте и в натертых полах. А все, что я ей скажу, для нее скучные, прописные истины. Она хочет попробовать свои варианты. Попробует, и к чему же она тогда придет, к какой опустошенности, к какому неверию и цинизму, как она будет несчастна, тогда уже по-настоящему!

И я, не сдержавшись, кричу:

— Дура ты, дура!

— Жалеешь Роберта.

— Тебя!

Она начинает плакать. Я пытаюсь ее утешать.

— Ну, не плачь. Ну о чем ты? Ведь все хорошо. Ну, чего тебе?

— Не знаю,— отвечает она и продолжает плакать.

Приходит Роберт, оживленный, как всегда, энергичный. Вот человек, который мчится на предельной скорости.

Сейчас у него нет того выражения лица, с каким он пронесит последнее время по институту: «А пропадите вы все пропадом!»

Наш странный замдир, таких больше нет. Сейчас он ласковый, размякший.

— Как хорошо, девчонки, что вы обе дома! Как хорошо дома! Я вас люблю. Давайте выпьем, устал, как собака. Еще придется ночью работать. Эх, жизнь наша! Ну как ты сегодня, малышка?

— Неважно,— отвечает Белла.

— Надо лечиться,— говорит Роберт,— покажись врачам. Где опять болит?

— Сегодня болит под ложечкой.

— Где это под ложечкой? — спрашивает Роберт, улыбаясь, но спохватывается: улыбаться нельзя.— К врачу! Завтра же к врачу, киса! Я не хочу тебя потерять.

Все-таки удержаться от иронии ему трудно.

— Врачи! — восклицает Белла.— Какая чушь!

— Ты не веришь в медицину?

— Что они понимают, врачи? Здешние, я имею в виду, из районной поликлиники. А бюллетень мне не нужен.

«Неужели она преследует какие-то дальние цели?» — приходит мне в голову, но не хочется так думать.

— Идея! — восклицает Роберт.— Санаторий! Я думаю, санаторий — это то, что нам надо.

Он ничего не думает по этому поводу и не хочет думать, но он должен с ней считаться, она его жена. Он думает так: пусть поедет, проветрится, потанцует, позагорает. Пусть ей будет весело, а у него куча работы, ему и так весело.

Перед нами молодая женщина с яркими ореховыми глазами на очень белом лице и темными, как будто ржавыми волосами. Сейчас, когда она врет и возбуждена, она еще красивее, чем обычно. Роберт любит ее. Она продолжает валять дурака, изображать болезнь, которую даже не потрудилась выдумать как-нибудь поскладнее.

— А есть такие санатории? — спрашивает она слабым голосом человека, далекого от всех дел на этой грубой земле.

— Найдем тебе, крошка, все, что пожелаешь. А сейчас ужин на скорую руку.

Я откладываю свой разговор.

За ужином переходим от пункта первого — болезни,— оставшегося нерешенным, к пункту второму — трудоустройству,— который также не будет решен.

— Я хочу идти работать, вы можете это понять! — Белла говорит это так, как будто мы ее не пускаем.

— Ласонька, иди! — улыбается Роберт.— Я не против.

— К вам в институт я не пойду.

— Не надо,— с готовностью отзывается Роберт.— Мудро.

— Тогда куда?

— Маша, посоветуй.— Роберт встает, он почти не ел, выпил стакан чаю и пошел к себе.

Немного погода он зовет меня.

— Понимаешь,— говорит он усталым голосом,— конечно, ей скучно, бедняге. И работы для нее интересной нет. Мне что? Мне знаешь, как говорил Чернышевский, мне бы в какой-нибудь Саратов и на сто рублей серебром книг, и никакого университета не надо. А ей... надо.— Он горько усмехается.

— Не люблю Чернышевского,— замечает Белла, подходя к нам. Взгляд у нее несчастный и подозрительный.

Полки в кабинете перекосило от непомерного количества книг, которые туда напиханы. Книги по специальности.

— Я зулус,— вздыхает Роберт,— на художественную литературу меня не хватает. Беллочка читает.

Серая канцелярская лампа на его столе имеет такой вид, как будто ей свернули шею. Это удобная для работы лампа, но в ее серебряно-серой самолетной окраске и в ее форме что-то беспощадное, от нашего века, признающего только одно — работу.

— Робик,— говорю я, понимая, что ему не до меня и моих дел.— Разведка донесла: Терез орудует в Комитете против меня, я, дескать, запорола перспективную тему и самовольно взялась за другое.

— Ну да, он недавно ездил в Москву, я ему командировку подписывал,— рассеянно говорит Роберт.— Почему-то я еще должен все командировки подписывать.

Мукой стало с ним разговаривать.

— Как ты все-таки считаешь: надо мне что-то делать или плевать?

— Для тебя будет в миллион раз лучше наплевать. Включаться в такие штуки обходится много дороже. Разве ты этого не знаешь?

Я это знала, несмотря на свой малый опыт. Интриги можно только презирать, участвовать в них — ни в коем случае.

И все-таки Роберт чересчур спокоен, чересчур рассудителен и ограничивается общими советами. Я рассчитывала, что он предложит свою помощь. Он не делает этого. Ведь он мог помочь, поддержать меня, нажать в Комитете, не знаю что еще, ему виднее.

— Мудрость и спокойствие,— говорит Роберт,— не поддаваться. Я знаю не только людей, но целые институты, которые лихорадит от склок. Мы с тобой современные деятели, дорогая, хотим работать, а склочничать не хотим.

Он сочувственно смотрит на меня энергичными блестящими глазами и призывает быть на высоте, но я понимаю, что он хочет только, чтобы я ушла, оставила его одного. Вон на столе под беспощадным светом лампы ворохи исписанных листов его книги, с которых он не снимает руки, и часы — они показывают катастрофу, лихорадку, сумасшедший дом.

«Уйдите, замолкните, исчезните!» — молит душа в худом теле друга моего Роберта, одетого к тому же заботами жены в черную куртку с красными полосами, на серебряных пуговицах с гербами. И куртка эта велика ему, длинна, широка в плечах, кажется, одно неосторожное движение — и он из нее выпадет.

— Пока, старик, — говорю.

— Будь здорова, старушка.

Черно-красная рука поднимается в приветственном жесте и, как магнит, опускается на листы.

«Он зашивается», — думаю я, стараясь быть справедливой, и вдруг понимаю, что он всегда будет зашиваться.

Белла идет меня провожать. Берет мой чемоданчик, в котором я таскаю свою канцелярию. Когда мы выходим из квартиры, она закрывает дверь с таким лицом, как будто закрывает ее навсегда. А я считаю проценты. Сколько надо положить на кривляние, сколько на желание, что-то доказать мне и всем, сколько на стиль, на моду, на плохой характер? Тогда сколько процентов остается на треугольного гипнотизера? Процентом десять, не больше, на этого странного паренька с его странной профессией и невыясненной ролью в ее жизни. Но общая ситуация от этого не становится лучше. Какая здесь нужна мудрость, что сделать, что сказать.

А она идет по улице с чемоданчиком и представляет себе, что уезжает и наш постылый городишко сразу превращается в далекое воспоминание. А она женщина, которая бросила все и едет куда-то на Север, к любимому человеку, чтобы разделить с ним трудности его необыкновенной жизни. Там-то уж она будет работать, и, кроме того, будет собирать и сушить грибы, только одни белые, и одеваться будет в мех нерпы.

Недалеко от моего дома Белла вдруг обнимает меня, и целует, и начинает отворачивать лицо.

— Не плачь, девчонка. Он того не стоит, — говорит проходящий мимо сержант.

— Не плачь,— молю я,— не плачь, ради Христа. Ну что ты? Поезжай в Ленинград. Для разрядки.

Опять не то я говорю, при чем тут куда-то ехать?

— Или в Спасское-Лутовиново.

— А ты видела того сержанта? — больше не плачет, смеется Белла.— Феноменальный рост. Да? Я иногда думаю, что, может быть, вся моя беда, что я маленького роста. И никаких способностей к языкам.

19

Раньше события катились мимо меня с потрясающей быстротой, мчались — не успеешь оглянуться, пронеслись легко, и я участвовала в них легко, естественно, почти незаметно для себя и, разумеется, почти незаметно для событий. И была спокойна. Теперь иначе. Каждая мелочь задевает, надолго лишает покоя. А если это не мелочь, если это дело моей жизни, тогда... Тогда знакомые люди спрашивают: «Что с вами?» Я им отвечаю: «Нездоровится, простудилась, бессонница, голова болит». Ах, болит, тогда понятно. А честно надо было бы ответить: мне теперь все тяжело дается, самое простое, обыкновенное, ежедневное требует таких усилий, что я и не знаю, может быть, я просто никуда не гожусь. Все мне трудно: ждать серьезного разговора, обращаться по делу к начальству, отвечать на вопросы, если это вопросы не о погоде, а, например, вопрос Регины о том, когда она получит комнату.

Я вижу, как шагает по утрам в институт Петя-Математик — естественно, уверенно. Вижу, как летит Зинаида на высоких каблуках, как идет Леонид Петрович. Леонид Петрович мне ближе всех и понятнее, и он идет совершенно спокойный, смотрит по сторонам, выскикивает знакомых, чтобы поклониться, останавливается у витрин, раздумывая, что купить и зачем, толкает ногой камушек, улыбается. А я? Со стороны, может быть, никто и не видит, как я иду в институт после бессонной ночи, нервничаю, не понимая, что с нами будет, снимут с нас головы или простят, ведь дела наши все вправду не шуточные, а крупные, государственные. И если мы каждую минуту не думаем так, все же мы хорошо знаем, чего от нас ждут. Стране, родине нужно получить это от нас, и быстрее, как можно быстрее, дешевле и лучше. А химия — медленная наука. От нас требуют быстро, потому что пластмасса наша — это самолеты, суда, вагоны, дома, ав-

томобили, холодильники. Это одежда и обувь, это медицина, теплоизоляция, и звукоизоляция, и многое другое, о чем так скучно рассказывает наша Зинаида, разъезжающая с лекциями по району. Я думаю, нет такого жителя, который бы не слышал, как Зинаида рассказывает про пластмассы. Впрочем, все мы читаем лекции, дело не в лекциях. Дело в том, что временами я теряю уверенность в своей правоте.

— Что с вами, миленькая? — спрашивает Зинаида; мы вместе возвращаемся из института. — Беденькая, несчастная, нахохлилась. Кто обидел?

Я отшучиваюсь, почти готовая открыть душу Зинаиде: у нее симпатичное лицо, достойная седина и добрый голос. Белла утверждает, что она злой гений. А чем уж она такой злой гений, не знаю.

Зинаида продолжает:

— Вчера приехал один мой старый знакомый. Солидный стал дядечка, шикарный, работает в СЭВе. Пошли ко мне, поговорили, повспоминали. Ненужное занятие. Что было, то прошло.

Какую тут подать реплику?

— Это верно, — говорю я.

— Проверено на личном опыте, — смеется Зинаида.

Мы подошли к дому.

— Про комиссию все знаете? — спрашивает Зинаида.

— Нет, не знаю. Какая комиссия?

— Вас и Тережа обследовать.

Я говорю:

— Отлично. Пора давно.

И про себя я повторяю то же: «Отлично, отлично, давно пора».

— Ах, ах, ах, — говорит Зинаида, — а я бы на вашем месте распахивалась.

Нет, думаю я, это к лучшему.

— А Тереж нервничает, — сообщает Зинаида, — прямо жаль его, честное слово. Ему трудно. Не привык. Конечно, не те нервы, далеко не те. А раньше у него были нервы.

То раньше, думаю я тупо. Значит, комиссию назначили. Из Комитета или институтскую? Зинаида, наверно, знает. В общем, все скоро кончится в ту или другую сторону, можно будет спокойнее работать. Спокойно нельзя будет никогда, но спокойнее — можно. Весь тут вопрос в нюансе. Интересно, что еще знает Зинаида?

— Завтра Сергей Сергеевич всех созывает, меня в том

числе, беденькая я Зиночка, некому меня пожалеть,— продолжает Зинаида.

Значит, директор уже вернулся из Италии. Значит, комиссию составят институтскую. Ну, отлично, прекрасно, превосходно. Мне надо пойти домой и подумать. Спокойной ночи.

И ночь в самом деле наступает спокойная, далекая наша ночь. В Ленинграде не бывает таких ночей, в большом городе ночью очень тихо, и в таком, как наш, масса звуков: лают собаки, кричат паровозы, возятся какие-то зверюшки и стрекочут букашки. Все мне слышно с моего пятого этажа, как ночью в поле: и какие-то далекие шорохи и верещанье, и чей-то приглушенный голос, позвавший «Маша». Не меня, другую Машу. А может быть, послышалось. Ночь ведь, глухая ночь.

...Через два дня меня вызвал Дир.

«Главное, не волноваться,— сказала я себе очень спокойно.— Все серьезное и настоящее уже произошло, оно происходило на протяжении всего этого времени, и не здесь, в главном здании, а в лабораторном корпусе. А это пустяки, формальности, это как экзамен: если ты занималась — выдержишь, не занималась — провалишь. Сам экзамен — это только то, что было раньше, и свобода, которая будет потом. Все уже сделано там, в лаборатории, головой Губского, и физиков, и Пети-Математика, и Рeginиной головой, и ее руками, и Алиными».

Пока я шла через двор, по лестнице и по коридорам, я успела подумать, что может быть самого плохого. Снимут с начальника лаборатории? Обидно, но от этого не умирают. Выгонят из института? Не выгонят. Теперь за это не выгоняют. А выгонят — могу уехать в Ленинград. Сейчас главная моя задача, если начнут меня рубить на части, не молчать с чувством собственного достоинства, а быть собранной, отбиваться, отвечать.

За большим письменным столом наш молодой директор под стать своему свежему кабинету, настезь раскрытым окнам, линиям передач и яркому выставочному стенду.

— Прошу вас, Мария Николаевна.

Я смотрю на лицо Дира, четкое, маленькое, загорелое и непонятное. Как он сейчас ко всему относится, в чем он разобрался, что решил или решит, понять нельзя. Но мне уже все нипочем, у меня внутри соскочили тормоза, исчезло чувство страха, неудачи, обиды, ушло волнение...

— Сейчас еще товарищи подойдут,— говорит Дир своим бесстрастно вежливым голосом.

— Отличная сегодня погода,— замечаю я.— Солнце какое.

— Это верно, строительство бассейна возмутительно затянули,— отвечает Дир, как всегда немного не на тему. Но если вдуматься, то он от темы только слегка отходит в сторону.

Сегодня утром Дир косил траву перед институтом, перед домом с колоннами, в своей снежно-белой рубашке, закатав рукава, в тот час, когда сотрудники шли в институт.

Он хороший человек, Дир, но ясно одно — наша лаборатория не стала его любимицей, его слабостью. У него нет слабостей.

На беленых стенах кабинета портреты знаменитых ученых — Ломоносов, улыбающийся Курнаков, презрительный, явно недовольный нами Зелинский, Лебедев, Менделеев, Бутлеров, Фаворский, Зинин. Всю жизнь и на всех стенах вижу я их портреты.

Входит наш веселый главный инженер, сообщает:

— Я как Нельсон. Перед битвой он очень долго сомневался и колебался, но, приняв решение, уже действовал смело и твердо.

— Нельсон? — спрашивает Дир и неожиданно хохочет.

— У Нельсона был один глаз,— замечаю я.

— Один глаз? — переспрашивает Дир и обращается к главному инженеру: — Мне Завадский был нужен.

— Он в столовой. Съел суп, потом съел гуляш и хотел еще чего-нибудь съесть, но не нашел чего и съел еще один гуляш.

Директор смеется.

Главинж своей уверенной походкой, прилепывая римскими сандалиями, подходит к столу и веером выкладывает бумаги на подпись. Директор подписывает, не читая. А я принесу бумажку — он будет ее разглядывать, и разговаривать по телефону, и хвататься за селектор, чтобы подольше не подписать.

А этот Нельсон собрал свои бумажки жестом, каким собирают счастливые игральные карты, сел в кресло напротив меня и сказал:

— Мы еще пересовеуемся с Гипропластом по этой части.

Дир энергично кивает, давайте действуйте, я на вас полагаюсь.

— Хотелось подождать еще Роберта Ивановича, но раз его нет, значит, ждать не будем,— обращается директор ко мне.

«А Роберт, значит, опять подводит,— думаю я,— Роберт, Роберт».

— Неважно. Детали уточним позднее. Я хотел вам сказать вот что. По вашему письму в Комитет принято решение создать компетентную комиссию, которая разберет ваш затянувшийся конфликт с лабораторией товарища Тережа, окончательно выяснит реальность тем, порученных вашей лаборатории и занесенных, как вы знаете, в государственный план. А также ознакомится с вашей новой работой, которую вы стали делать, мягко говоря, явочным порядком. Комиссия обследует работу лаборатории товарища Тережа. С этого и начнет, с истории вопроса, так сказать. Если не ошибаюсь, такая постановка дела соответствует вашему желанию.

— Да,— отвечаю я,— соответствует.

— Я председатель комиссии, будь она неладна,— говорит главинж.

— Товарищи собираются,— сообщает секретарша из дверей.

Я встаю, чтобы уходить.

— Может быть, у вас есть какие-либо пожелания по составу комиссии? — спрашивает Дир.

— Нет.

— Ко мне у вас есть вопросы?

За дверью собираются товарищи, они скоро превратятся в комиссию, которая решит нашу судьбу. Здесь сидит председатель. Есть ли у меня вопросы к директору? Да, есть. Комиссия комиссией, конфликт конфликтом, а вопросы есть. Солнце бьет в раскрытые окна, горит на стеклах витрины, на лице Дира. Плывут золотые пылинки.

Мне надо пожаловаться на главного механика. Надо закупить хроматограф стоимостью тридцать пять тысяч в старых деньгах. Нужен никель или высоколегированная сталь «ЭИ943»... Нужно футеровать аппарат никелем или серебром. Нужны две квартиры, на худой конец квартира и комната. И это не все. Нужны аппаратчики.

Не время сейчас все это выкладывать. И все же я не своим голосом, стоя, невежливо, нервно перечисляю свои требования.

Мне кажется, что Дир втягивает в плечи маленькую лаковую причесанную голову и поеживается.

Тишина. Только беснуются золотые пылинки в воздухе. И главинж не находится как пошутить.

— Сергей Сергеевич, нам срочно нужен хроматограф. Три с половиной тысячи,— настаиваю я.

— Четыре. По-старому — сорок.

— Разве это много для нашего богатого института? — спрашиваю я лъстиво.

Скрытая в моем вопросе ирония до директора не доходит. Он счастливый человек, на иронию и юмор своих подчиненных он плюет.

— Хорошо, я подумаю,— отвечает он. Это почти означает — да.

Вбегает Роберт. Окидывает присутствующих смеющимся взглядом, в котором сквозит легкое отчуждение,— заседаете, все обсуждаете, все решаете. На посту замдира ему полагалось стать человеком-жертвой, но он им не стал. Не стал ничем из того, чем он мог стать.

— Сейчас освобожусь,— заявляет он и скрывается. Взгляд, который директор послал ему вслед, ласковым не назовешь.

В приемной оживленная Зинаида машет мне рукой. Она торжественна, как всегда, когда что-нибудь происходит.

— Как дела? — спрашиваю я механически.

— Выхожу на внедрение.

— Поздравляю.

А ей что? Она всегда выходит на внедрение.

— Плюс ко всему эта комиссия,— жалуется она мне.

В приемную входит Веткин.

— Меня звали? Зачем звали, ума не приложу. Зачем я понадобился в это святое время, конец рабочего дня. Что, зачем, почему? — говорит, округляя рыжие глаза, человек, который, позови его сам господь бог, и то знал бы, зачем его позвали.

Веткин садится на диван, поправляет носки и не глядя начинает изучать обстановку.

Появляется Леонид Петрович.

— Что опять случилось? — спрашивает он. Он трогает свой подбородок, на его большом грустном лице написано: «Помешали». На бывшем белом халате нет пуговиц, на рубашке, видной из-под халата, тоже оторвана пуговица. Он не знает, зачем его позвали. Узнает — удивится.

— Сергей Сергеевич просит,— объявляет секретарша.

— Идемте, товарищи члены комиссии,— говорит Зинаида склочно-победоносным тоном, направляясь к дверям. На ней новое платье.

— Ты моя хорошенькая, чтоб ты у меня всегда была здоровенькая,— бормочет Веткин, поднимаясь с дивана.

— Маша, а вы? — спрашивает меня Леонид Петрович, заглядывая мне в глаза.

— А я — нет,— отвечаю я.— Без меня.

20

Последнее время у Ивановых часто бывают гости. Белла развлекается, чтобы не умереть с тоски, как она говорит с неясной улыбкой. Роберт тоже развлекается, потому что она развлекается.

Только что звонил Роберт. Мне идти не хочется, нет настроения. Я поднимаю телефонную трубку. Коммутатор общий для двух институтов и завода. Если скажешь: «Пожалуйста, город»,— не дадут, ответят: «Занято». А если гаркнешь «Горр-од!» без «пожалуйста»,— дадут.

Всегда забываю не говорить «пожалуйста».

— Почему тебя до сих пор нет? — спрашивает Роберт. В трубке музыка и смех.— Обидимся, если ты не придешь. Иду открывать тебе двери.

Сегодня суббота, дома тоскливо. Все-таки одиноко, хоть я стараюсь уверить себя, что мне прекрасно. Пойду. Может быть, там будет Леонид Петрович.

Роберт встречает меня в дверях в белой рубашке с закатанными рукавами, показывает штопор, называет его: «Спутник химика». Развлекается.

Незнакомцы, двое мужчин и женщина, танцуют под громкую музыку. Принадлежность их к миру науки и техники выражается лишь в умении обращаться с магнитофонными лентами.

— Кто они? — спрашиваю я Роберта. Он смотрит на меня отчаянно-веселым взглядом человека, у которого плохи дела.

— Москвичи,— отвечает Роберт,— ей-богу.

Белла тоже танцует в своем костюме мойщицы автомобилей.

— Подружка, иди к нам танцевать! — кричит она.— Все старухи в Чехословакии танцуют твист!

Незнакомцы восхищенно смеются, глядя на нее. Они перекидываются репликами и кого-то все время хвалят.

— Изумительный парень...

— Танцуем мамбо! — кричит Белла.

— А есть там один человечек, Сергей Иванович Ляпкин, это еще более изумительный парень. Занимается водными лыжами.

— Господи, кто? — спрашивает Белла, продолжая отплясывать.

— Серега Ляпкин.

— Ляпкин, Ляпкин. Он занимается водными лыжами.

— ...Как у этого столба-а нету счастья никогда-а... — запекает Веткин.

Он поет выразительно, с той хулиганской выразительностью, с какой он все делает и говорит, а также и поет. В его песне мало слов, только эти:

— ...Ка-ак у этого столба-а нету счастья никогда-а-а.

— Что мне делать, — говорит Роберт мне тихо, — я влюблен в свою жену.

— Ка-ак у этого столба-а... — поет Веткин.

— Хорошо я танцую? — спрашивает Белла. — Ноги у меня не толстые?

— Эмансипе, — говорит Веткин.

— А она в меня не влюблена, — говорит Роберт.

Белла рассказывает громко:

— ...на двадцатом километре повернете и поедете по проселочной дороге. Дорога неважная, это честно.

— А ты что грустная? — спрашивает меня Роберт.

— ...Зато какой там лес. Не задумываясь, поменяла бы эту квартиру на избушку в лесу, — продолжает Белла.

— На избушку в Москве, — говорит Роберт, — она бы поменяла.

— Мы обязаны больше ездить, ходить пешком. Прежде всего это нужно моему Робику. Правда, милый?

— Робик — изумительный парень, — восклицают танцующие незнакомцы.

Веткин смотрит в окно.

— Безобразие, у Петьки, у Математика, свет. Ну, что ты скажешь! Ему давно пора спать. Такая голова должна знать режим. Пойду позвоню ему по телефону.

— Петечка, — кричит он в прихожей, — ложись спать скорей, время! Тебе надо отдохнуть. Не мое? Как это не мое? А чье? Именно мое. Я за это зарплату получаю и ем свой хлеб с маслом. Ложись, ложись, а то завтра твоя голова будет как пустой котел. Так ведь не раз уже бывало, мы-то знаем. Ох-хо.

— Ну, что он? — спрашиваю я, когда Веткин возвращается.

— Чувства юмора нет, — отвечает Веткин, — сам не знаю, почему я его так люблю. Он меня терпеть не может.

— Не-ет, мне деньги нужны почему? Я умею их тратить, — веселится Белла.

Москвичи перестали танцевать и пьют холодный чай.

— Я знаю, почему ты грустная, — говорит мне Роберт, — Леонида Петровича нет.

Я почти не видела Леонида Петровича последнее время, и он мне не звонил. И сюда не пришел сегодня. А я думала, он придет.

— Хотите, сейчас отвезу вас в лес, какого вы в жизни не видели! — кричит Белла. — Давайте! Только у меня права отобрали. Не имеет значения. Я без прав езжу.

— Я его звал и упрашивал, — продолжает Роберт, — он — ни за что. Не хочет. Не может.

— Значит, так.

— А брось, только мне не ври. Я же не спрашиваю, в чем дело. И ничего не хочу знать, кроме того, что мне хотят сказать. Но будь грустной. Тебе идет. Я бы хотел быть таким грустным.

— Ты тоже грустный, — говорю я, — еще какой.

— Каждому свое, — отвечает Роберт.

«Каждому свое, — думаю я, — что мне? Видно, я сделала так, что Леонид Петрович избегает меня, потому что, господи, куда он провалился? Исчез, как будто его нет в городе и нет в институте, умудряется даже случайно не встречаться со мной. Отрубил, покончил. Я ведь надеялась, что сегодня он придет, мне хочется его видеть, но он не придет, это ясно, он решил. И я должна теперь что-то сделать, а что я могу и что вообще можно тут делать? И пусть так».

Мы идем провожать москвичей до гостиницы. Останавливаемся у подъезда.

Гостиницу строили молодые архитекторы. Она стоит над обрывом, из окон видна река. Луга за рекой и старинные церкви вдали, золотые маковки-луковки.

На площади перед гостиницей стеклянный газетный киоск, пестрый от обложек журналов и фотографий артистов кино, висящих гирляндами. На углу булочная с выщербленными каменными ступенями. Утром здесь пахнет горячим хлебом, а в пять вечера продаются белейшие пироги с повидлом, вытекающим на бумагу.

К гостинице примыкает ресторан, его строили те же галантливые ребята. На стенах дымчатая мозаика — картины нашего древнего и вечно юного города. Ребята уверенно работали на контрастах, работали наверняка, особым формализмом не грешили. Мозаика — город в дымке. На самом деле дымки никакой нет, город наш ясный, четкий как рябина в осеннем воздухе.

— Постоим немного, — предлагает Роберт, — подышим воздухом. Вечер дивный. Эти черти уедут, а мы тут остаемся вкалывать.

— Едем с нами в Калинин, там тоже требуется начальство, — говорит один из москвичей.

— Шутить изволите, — отвечает Роберт, — а я... не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в профессора. Клянусь. Я хочу делать то, что лучше всего умею. Сапожник шьет сапоги.

Этого сапожника, который шьет сапоги, у нас часто вспоминают.

— Так едем! Наша фирма расширяется. Дело для тебя найдется.

— Куда я поеду! — Роберт машет рукой с безнадежным видом. — А ведь я говорил директору и в обкоме говорил: до двенадцати я в лаборатории, потом — ваш. Берите меня. Рвите. Рвите на части.

Все смеются.

— Никто меня не понимает, — вздыхает Роберт.

— Бедненький, — говорю я несочувственно.

— Робик сказал, значит, все, — вступает Белла.

— Только Беллочка меня понимает, — бормочет Роберт, — вот возьму все брошу, подам заявление, завтра подам.

— Правильно сделаешь, — говорю я, — подавай. Завтра уже наступило.

— Нет, неправильно, — смеется Белла, — я хочу иметь мужа-деятеля. У меня есть свое честолюбие.

— Господи, — говорю я, — неужели это тебя так волнует, Роберт? Я имею в виду добровольный и своевременный отказ от должности. Что, честолюбие? Гордость? Понравилось представлять и руководить? Помоему, ты этим не особенно увлекался. Сидеть в президуме? Но и так там будешь сидеть. Тебе идут засученные рукава! Для тебя будет лучше, если ты уйдешь с поста, и для института тоже.

Становится тихо. Сердце начинает у меня стучать где-то в горле.

Один из москвичей говорит:

— Крепко сказано.

Я и сама знаю, что крепко. Но я так и хотела.

Белла отходит в сторону, разглядывает фотографии артистов кино. В раскрытом окне гостиницы покачивается на плечиках белая мужская рубашка. В другом окне стоит человек, курит.

Но я на самом деле думаю, что для Роберта будет лучше, если он уйдет с поста, он не может на два фронта. Не получается, надо иметь мужество признаться. Я могу судить по себе, мы друзья, а как он вел себя в моем деле — совершенно равнодушно. Не может он, не для этого создан. Пусть каждый делает то, что он лучше всего умеет. Сапожник шьет сапоги.

Я решаю пошутить:

— Робик, ведь я твой друг. Я за тебя. Хочешь быть замдиром, на здоровье, будь им. Ты изумительный замдир.

Московские товарищи немного удивлены и смотрят на меня с живым интересом. Белла в стороне изучает фотографии.

А шутки тут вообще ни при чем. Я добавляю громким, каким-то простуженным голосом:

— Но тогда брось лабораторию. Лабораторию брось к шуту!

21

А мы были настроены на рабочую волну. Хотя над нами висела комиссия, работали. Никто из нас не подумал ни разу: надоело, хватит, буду работать на успех. Конец был где-то далеко, и далеко впереди были еще последние проценты, самые трудные, как у бегунов и прыгунов.

Мы знаем, что комиссия заканчивает у Тережа, но наша жизнь идет своим чередом.

Аля, тихая лаборантка, выполняющая обязанности секретаря, старательно печатает бумажку, в которой я призываю работников десятой лаборатории соблюдать технику безопасности. Аля перестала меня стесняться и время от времени произносит что-нибудь доверчивое и неожиданное.

— Мечтаю поехать в международный лагерь «Спутник».

Или:

— В будущий понедельник знаете у кого день рождения?

Я не знаю.

— У Регины. Купим торт.

В лаборатории, когда у кого-нибудь день рождения, покупают торт с кремовыми розами и пьют чай.

Алина голова повязана платком, под платком накручены бигуди. Она готовится пойти вечером на танцы.

— Повесь на видном месте,— прошу я, подписывая бумажку.

Аля напоминает о премиальных. Надо делить премиальные. Да, правильно. Задача такая: работали три человека. Их работа завершилась успешно. Как разделить заработанные ими премиальные на всех, кто не работал? Я этого никогда не знаю.

— Что вы сказали? У меня насморк,— говорит Аля.

Я отвечаю:

— Распишу.

Беру палку и бью что есть силы по трубе отопления, вызываю Петю-Математика. В ответ раздается страшный стук, раз-два-три, это означает: занят.

Петя-Математик, в синем халате с продранными локтями, в кармане логарифмическая линейка, действительно занят. У него сидят приезжие товарищи, которые хотят заключить с нашей лабораторией хоздоговор по Петинной работе. А Веткина нет, он занят в комиссии.

Математик говорит приезжим товарищам:

— Я знаю, вас это пугает.

Товарищи торопливо отвечают:

— Нет.

— Пугает,— настаивает Математик,— и правильно, что пугает. Процесс не готов, материал не отработан. А что, если он окажется токсичным? Что тогда?

— Не окажется,— уверяют товарищи,— нам очень надо.

— Всем надо,— отвечает Математик, пощелкивая ногтем по линейке.

Я тактично отрываю Петю в коридор.

— Что ты делаешь, Петенька?

— Не извольте беспокоиться. Это есть реклама. Они теперь мечтают о хоздоговоре. Мы не навязываемся.

— Это верно.

— Хотите посмотреть, какая у нас там красота на промывке? Пузыри не лопаются, не пробулькиваются. Очень красиво. Я сейчас освобожусь, — говорит он и уходит, чуть кренясь набок, в застегнутом на черные пуговицы халате и в спортивных тапочках на шнурках.

— Петя, конишь, приходи ко мне, — прошу я.

Он оборачивается и смеется.

— Не понимаю, чего вы так переживаете? Чего тут переживать! Правда все равно наша. Подумаешь, комиссия!

Математика комиссия не волнует, и вообще Математик правильно смотрит на жизнь.

В лаборатории Тережа комиссия работала два дня. Больше не понадобилось. В своих выводах обследования работы лаборатории номер такой-то комиссия не написала слово «липа», но написала много других слов, более научно и технически грамотно обозначивших то же самое.

Никто не предполагал, что картина окажется такой неприглядной. У сотрудников лаборатории не было даже журналов. Тережу было нечего показывать, он мог только говорить.

Он и говорил, рисовал перед комиссией перспективы. И все было липой. Вначале он еще смеялся своим полновесным смехом человека, уверенного, что, если он засмеялся, другие обязательно засмеются. Смех Тережа был как бы не смехом, а сигналом к смеху.

Потом он перестал смеяться и звать к смеху.

Вначале у него, видимо, еще была надежда, что комиссия сможет написать: «Наряду с указанными недостатками следует отметить...»

Потом, сославшись на нездоровье, он ушел, и комиссия заканчивала работу без него.

Комиссия встала перед необходимостью покрыть или разоблачить Тережа. Покрыть было невозможно. А разоблачать кого-либо — это довольно трудная штука.

Леонид Петрович был членом комиссии. Я из гордости не хотела обращаться к нему и идти к нему, но к кому еще я могла пойти?

Я ждала, может быть, он сам мне позвонит, ведь он понимал, что я волновалась. Но он не позвонил, и я позвонила ему сама. Он сухо сказал, что, кончив опыт, зайдет ко мне в лабораторию.

Я сидела среди по-прежнему чистых стен своего ка-

бинета, и волновалась, и уже не понимала, почему волнуясь, все перепуталось. Комиссия это или я хочу его видеть.

Леонид Петрович вошел непривычно подтянутый, чужой, поздоровался, не глядя в глаза. И сел на стул, как человек, который скоро встанет и уйдет.

Но все-таки он пришел, и я обрадовалась. Я спросила его мнение о комиссии.

— Не знаю...— ответил он скучно.— У старика сейчас трудная ситуация. Мне его жаль, стихийно жаль.

— Значит ли это,— спросила я,— что, если понадобится выбирать, бороться или не бороться, вы выбираете...

— Работать,— ответил он почти с бешенством. Таким я его еще не видела.

— Это честно?

— Да, понимаете. Да, да! Это единственное, что я умею и хочу. А все время давит что-то еще и что-то еще. Однако у меня сложилось мнение. Я буду его защищать. Но, видит бог, на душе у меня гнусно.

Наступает молчание. И это молчание как осуждение мне. А за что?

Леониду Петровичу неприятно быть членом комиссии, я понимаю. Никто не виноват. Я не виновата.

Из коридора доносятся голоса:

— А по технике безопасности сюда стул ставить нельзя.

— А по технике безопасности дышать тут можно?

— Правильно, надо думать о людях, пока они еще не горят!

— Ах, какая сознательность!

— А по технике безопасности можно мне уже идти домой?

Там ознакомились с моим приказом.

Леонид Петрович наконец выдал из себя:

— Терез — алхимик совершенный. Сколько они там опытов поставили, не замеряя температуры. Пятьдесят. Сто.

И, как бывает с мягкими и добрыми, начал он говорить довольно спокойно и рассердился, пока говорил. Вспомнил свое плохое сырье.

— Алхимик! И сырье у них есть.

— Сейчас есть, но тогда не было.

— Все равно,— ответил Леонид Петрович,— научные сотрудники на уровне лаборантов. Ведь не случайно от-

туда все поуходили. Вся партия старых дев — одиннадцать человек — в прошлом году снялась и ушла. Хоть и старые девы, но явно талантливые.

Он закурил, и некоторое время мы еще молчали.

— У них даже приличное сырье было, — опять проговорил он. Этого сырья он им никак не мог простить. — У меня лично Терез отобрал помещение, это ставит меня в особенно неловкое положение. Все знают, что он цапнул у нас три самые лучшие комнаты с окнами на юг. Три свеженькие, с кремовыми стеночками, как игрушечки, комнаты, в которых мы уже мысленно расставили нашу новенькую чешскую лабораторную мебель. Но — ладно. Если бы он просто пришел к нам и по-товарищески все объяснил, я бы ему и так их отдал. Бог с ними. Это все не существенно, это все не беда. Химии не знает, вот беда. Быть начальником лаборатории труднее, чем быть директором. Но если бы он захотел, я думаю, мог бы подучиться. У него есть какое-то образование, кажется...

— Это нелегко, — заметила я.

— Ну и что же? Знаете, как говорит Гёте: «Вначале человек делает просто и плохо. Потом — сложно и плохо. Потом — просто и хорошо». А Терез рассматривал свою должность как синекуру. Что-то высокооплачиваемое за свои прошлые заслуги.

— И вы жалеете его? — спросила я.

— Да, — морщась, недовольно ответил Леонид Петрович, — да. Не оставляет меня чувство жалости... к старости. Старый. На сердце пожаловался. А когда-то был блестящим генералом. И молодым. Воевал...

Леонид Петрович помолчал, потом сказал решительно:

— Вы, наверно, думаете, что я выступал и защищал вас, как лев. Так вот, знайте, я не сказал ни слова. Он уже лежачий — Терез. И мне еще один гвоздь вбивать не хотелось. Не могу я подбавлять. Не могу, и все. Все и так ясно. Все в вашу пользу. Вы, наверно, хотели, чтобы я выступил против Тереза. Но ведь лежачего не бьют. Не так ли?

Он встал, закинул за плечо свой зеленый спортивный мешок, который носил вместо портфеля, и ушел домой, оставив меня радоваться своей победе.

Спустя некоторое время темы № 1 и № 2 были сняты с плана.

Небо за окном было как подожженное серебро. Оно горело серебряным слюдяным огнем и было все неровное, где темное, где светлое, по нему шли зыбкие полосы, и самой яркой из них была горящая лиловая полоса.

Когда я еще раз посмотрела в окно, все там было темно-серым, только далеко, может быть, уже над другими городами, на краю земли, что-то золотилось, курилось, бежало легким золотым дымком.

В комнате стало темно. Но в наступившей черноте за окном где-то бесконечно далеко все еще высвечивало огнем, потом погасло.

И стало так темно, что казалось невозможным выйти на улицу: как там пойдешь в темноте.

Наш дом был последней обитаемой, светлой и теплой точкой на земле. В больших городах этого не бывает, там всегда кто-то есть кроме тебя. Это бывает здесь, где заводы, институты, склады, ТЭЦ, где далеко тянутся пространства, именуемые территориями, и бегают паровозики по заводским путям-веткам, и пустыри сменяются полями, а вдали застыла река, и все это сейчас покрывает лед и снег. И лед и снег эти кажутся черными.

Я представляю себе Леонида Петровича, как он сидит в вельветовой куртке на письменном столе, читает старые Берихте чего-то и чего-то или, наклонив голову, задумчиво смотрит на свой порядок беспорядка.

Интересно, продолжает ли ленинградская девушка писать ему письма? Я не могу его уже теперь об этом спросить.

Теперь мы встречаемся редко. Вчера мы встретились случайно и поехали по городу, сели в троллейбус-лайнер и поехали в центр по заснеженным улицам.

В троллейбусе сидели знакомые, с которыми мы поздоровались, и незнакомые, с некоторыми мы тоже поздоровались. Нас в городе знают, называют учеными. Кажется, что незнакомых не может быть.

Вот на остановке в дверях троллейбуса остался валенок маленького мальчика.

Старушка в черном платке и мужском тулупе подала реплику:

— Ладно что так, а то ведь и ногу отхряпнет, гляди, лайнер этот.

В троллейбусе засмеялись.

Мы вышли на площади и остановились у витрины гастронома, где склеенный из папье-маше рыбак в натуральную величину тянет из моря сеть, не видя, что перед ним уже давно сидит на корточках похожая на лягушку золотая рыбка.

Люди подходили к остановке троллейбуса. Ждать им не приходилось, троллейбусы подплывали часто. Не все из них были так бесшумны, легки и блестящи. Были тут отщепенцы, обиженные судьбой, у них самый длинный маршрут и самый несчастный вид. Они зябко грохочут на ходу, неплотно закрываются и не до конца открываются, внутри они холодные, со слепыми окнами и кажутся сделанными из фанеры, как их копии в игрушечных магазинах.

И были троллейбусы со средними показателями, со средними маршрутами, среднего, будничного вида. Среди них, как среди людей, кому как повезет.

Такой же разнобой царил на площади среди ларьков. Тут были самые различные. Буфет от ресторана — на косогоре. Он похож на заколоченную лодочную станцию без лодок. Окна в буфете закрыты ставнями и сверху накрест забиты досками, железная кувалда висит наискось двери, и не похоже, что внутри идет бойкая торговля холодцом, копченой колбасой и теплыми, пахнущими содой коржами и пряниками. А это было так, мы это знали.

Раньше мы с Леонидом Петровичем ели пряники и пили прокисший яблочный сок в этом павильоне. Раньше? «Когда это раньше? — подумала я и повторила несколько раз: — Раньше, раньше, раньше. Было раньше, все-таки оно было, и его не стало».

Рядом стоял газетный киоск, как пришелец из другого мира. Свеженький, покрытый пластиком небесных оттенков, просвечивающий насквозь.

Неподалеку была воткнута узкая, типа железнодорожной, будка «Пиво — воды». Около нее толпились мужчины с кружками.

— Эх, что-нибудь бы соленью было у тебя, Маруся! Вобла. Припасла бы ты, Маруся. Нехозяйственная, — говорили мужчины.

Но Маруся припасла лишь пиво и конфеты «Радий».

Еще один ларек представлял собою переходную форму от Марусиной пивной точки к газетному киоску. То, что называется старой новой моделью. Стальные конструкции и фанера, которой пластики еще не пришли на смену.

Там продавали галантерейную мелочь, мыло и плащи-дождевики.

А вокруг в беспорядке топтались лоточницы в белых халатах с корзинами горячих пирожков и ящиками с мороженым.

Торговля в этот вечерний час была шумная и оживленная. Одна лоточница продавала сладости, которые каждый ест в детстве, а потом никогда, — круглые вафельные трубочки, наполненные кремом по краям, а внутри пустые.

— Хотите? — спросил Леонид Петрович, и мне показалось, что он улыбнулся.

Старый город всегда больше город, чем новые районы, в которых мы живем и хотим жить. Здесь и погода бывает другая, и ветер дует иначе, и снег падает медленнее и мягче. Здесь другая торговля и запахи другие.

Было поздно, но мы еще пошли к кремлю посмотреть на старую стену. Возле нее люди не останавливаются — стена. Кому она нужна сейчас? А она вызывает чувство, похожее на уважение: такая крепкая, такая легкая, такая старая. Раньше защищала город и сейчас защищает, от чего-нибудь защищает. А за ней далеко-далеко купола церковей летят в небо.

О комиссии, о Тереже мы не говорили. Давно уже это было, составляло главное в моей жизни, а сейчас отошло далеко и не вспоминается. Хотя днем в институте иногда вспоминается.

Леонид Петрович сказал мне:

— Я был недавно в вашей лаборатории, Маша, без вас. Движение есть, в конце концов движение — всё. Если бы бог держал в левой руке истину, а в правой — стремление к ней, я схватился бы за правую руку. Так формулировал Лессинг, и я с ним согласен. Вот, кстати, что знает наш друг замдир и не учитывает Дир. Но вот что: в вашей лаборатории много всякой заразы. И прессуете заразу. Будьте осторожны. Зараза есть зараза. Я знаю, я горел и травился. Меня уже выносили ногами вперед из лаборатории. В Ленинграде.

— Отчего вы это говорите?

— Беспokoюсь за вас. А вы что думали, что я уже не имею права за вас беспокоиться?

Я обрадовалась его словам. Почувствовала облегчение и счастье от того, что он это сказал.

— Ну ладно,— продолжал он,— главное, я верю в ваш полимер. Хорош будет.

И я сказала не совсем к месту, но чтобы что-то сказать:

— И ваш хороший.

Опять мы подбадривали друг друга, два не слишком уверенных в себе человека. Леонид Петрович не раз говорил раньше, что главное в его жизни — преодоление собственной робости.

Он взял меня за руку, даже такие вещи я стала замечать.

— Что вы читаете сейчас? — спросила я.

В институте постоянно одна или две книги, которые в данный момент все читают. Иногда это полная муть, но она вдруг нравится всему институту, и всему Гипропласту, и расположенному в двадцати километрах от нас биологическому институту.

Я знала, что Леонид Петрович обычно не читал того, что читали два института и Гипропласт, он читал химическую литературу или что-нибудь из серии «Жизнь замечательных людей».

— Меня интересуют только факты,— говорил он.

И сейчас он это сказал и стал расспрашивать меня о моем детстве и обо всем, что было в моей жизни до той минуты, как он увидел меня на привокзальной площади с чемоданами.

— Только факты, только факты, до того, как мы встретились,— приговаривал он, и мне казалось, что встретились мы только сейчас, сегодня, случайно выйдя в одно время из дома на заснеженную пустынную улицу.

Потом мы стали опять встречаться, не так часто, как раньше, но все-таки часто. А когда кончилась зима, начали ездить в лес.

У нас доехать до настоящего леса — тридцать минут. До Стройпоселка на троллейбусе — двадцать и там пройти еще десять.

— А здорово,— говорит Леонид Петрович,— что можно пойти в лес, когда захочется. Например, можно пойти в лес подумать. И это правда жизни. Вот скоро буду решать энские вопросы, пойду в лес. Один. Елки, ветки вокруг, а я хожу, решаю энские дела с энским сырьем. Иногда, ей-богу, я все же бываю счастливым, а вы?

— Тоже... иногда.

— Но я бываю счастливым иногда, даже... часто что-

то последнее время. Сам не знаю, сам не знаю, или мне это кажется...

Я понимаю, что он хочет сказать и не говорит.

Он смотрит на меня яркими синими глазами, и я думаю, что знаю про него все, что один человек может знать про другого: каким он был мальчиком там, в Ленинграде, как он там рос среди книг и картин у суровых, всегда занятых родителей, и каким он будет через много лет, и что он сейчас думает, мой нетаинственный двойник и мой друг, рассматривающий на ладони божью коровку, которая притворилась мертвой.

И это как в детстве, когда думаешь, что знаешь все, а на самом деле не знаешь ничего. И все-таки знаешь все.

23

Однажды вечером ко мне пришла Белла в сопровождении высокой девушки с густыми коротко стриженными волосами, в очках и сказала:

— Это Нина.

Девушка тряхнула мою руку и сиплым голосом представилась:

— Нина.

Белла отозвала меня на кухню.

— Насчет Нины вот что: Робик не должен знать, что она связана со мной. Она твоя подруга. Ты поняла? Потом поймешь. Это бедняга, каких не видел свет. Ей надо помочь. Она тебе сперва не понравится, но потом понравится. Я хочу ей помочь. Ты хочешь ей помочь?

Я молчу, это Беллу не смущает.

— Прекрасно! Она у тебя поживет. «Я к вам пришел навеки поселиться», — спела Беллочка и опять зашептала: — Она из той компании, ты знаешь какой. Несчастливая абсолютно девка. Я ее жалею. Мужики — ну что о них говорить! Родители ее выгнали. Все в классическом стиле. Но надо ее позвать, а то она обидчивая, подумает, что ты не рада. А я ей столько про тебя рассказывала, что ты идеал идеалов. Будь с ней полюбезнее и не задавай прямых вопросов. Нина! — заорала она.

Мне показалось, что вошла еще одна Белла. Но это была «моя подруга» в Беллиной одежде и в Беллиных туфлях. Все Беллино было ей немного узко и немного коротко.

— Курить здесь можно? — спросила она.

— Все здесь можно,— ответила Белла,— сейчас пельнищу принесу. Мойся в ванной. Спи, отдыхай. Кури. Включай телевизор. Будь как дома, дорогая. Ее не бойся,— она показала на меня.

Я была в ужасе и не знала, что делать, меня поставили перед фактом: Нина поселилась в моей квартире.

Теперь Белла тоже почти все время проводила у меня. Она трогательно ухаживала за подругой, стряпала ей обеды, бегала за папиросами, приносила свои платья из дома.

Она объясняла:

— Свои вещи только тогда и видишь, когда их носят другие. Наверно, ей будут впору твои брюки.

И мои хорошенькие клетчатые брючки затрещали на сильных и длинных ногах «подруги».

— Она поносит и отдаст,— успокоила меня Белла.

— Я ей их подарила,— сказала я.

— Наша задача,— говорила Белла,— дать ей прийти в себя, морально и физически окрепнуть. Она истощена. Ей не повезло. И родители — примитив. Бедной девке надо помочь. Я всегда верила в женскую солидарность. Пожалуйста, не делай такого лица. Это не навсегда. Терпи.

Что мне оставалось делать? Я терпела. Я уходила на работу. Нина оставалась лежать на диване. Что она без меня целый день делала? Приходила Белла. Они болтали. Курили. Квартира насквозь пропахла дымом и кремами для лица.

Они все время разговаривали. Больше говорила Белла. Нина слушала ее и курила, роняя окурки. Лицо у нее было несчастное.

Белла рассказывала свой «роман»:

— ...Когда он приехал во второй раз, я сразу увидела, как он изменился, внешне и внутренне. Он загорел тогда очень на юге, и на темном лице были белые полоски и белый шрам над бровью. Правда, у него хороший шрам?

— Чушь. Ты в него влюблена и очень высоко ценишь все его недостатки. А он такой же идиот, как все.

— Перестань. Он к тебе чудно относится, говорит, что ты настоящая, и всегда тебя защищает. И он не идиот, ты сама знаешь. Просто есть мужские отношения, они все друг за друга. Но уже во второй его приезд я поняла, что со мной происходит. Не могла сказать ни одного слова, хотя он уверял, что я говорю умно, оригинально и мило. А когда не можешь ничего сказать, ни умно, ни оригинально, ни мило...

— Муть,— отвечала Нина сквозь зубы,— у тебя есть Роберт.

— Нет, не муть,— грустно отвечала Белла,— ничего не понимаешь. Вот тоска.

— Ты еще будешь ныть.

Но Нина не всегда была так сурова и немногословна. Иногда она начинала говорить сама, и тогда Белла подавала уничтожающие реплики. Их беседы не имели ни конца, ни начала.

Звонил Роберт и спрашивал меня:

— Моя мадам опять у тебя? Что она делает? Кофточки вяжет? Я ничего не имею против. Тебе она не мешает?

Я что-то лепетала моему старому другу под насмешливо-сочувственными взглядами Беллы и Нины. Они учили меня, что говорить и что врать.

— Скажи ему, что мы собираемся пройтись подышать...— говорила Белла.

— Скажите просто, что вам нездоровится и Белка должна еще сбежать в аптеку,— советовала Нина.

— Скажи, что в холодильнике бульон и холодное мясо. И бобы. Пусть поест и спокойно садится работать. Ему надо кончать главу,— говорила Белла.

Сколько хороших девушек могли быть ему хорошими женами, но он выбрал эту, никакую жену, которая, лежа с сигаретой поперек дивана, советует ему работать и кончать главу. И все время врет, чего-то врет, я даже не знаю, чего она врет.

А Роберт по-прежнему с огромным напряжением сил пытается соединить институт и лабораторию. Научное руководство института плюс тема, о которой я подробно не знаю, ибо она закрытая, по разделу особо важных. Как говорит Леонид Петрович, энская тема. Я примерно понимаю, что там такое, но точно не знаю. В этих энских делах главное — фактор времени, все эти засекреченные ребята должны работать очень быстро. Они и гонят, там обычно собираются самые сообразительные, им «создают условия», и у них хватает посуды на шлифах и всего прочего. Они важничают и смотрят на нас с завистью. Им тоже охота потрепаться у ящика с песком. А они вынуждены говорить о себе так: «Ничего. Пошло. Заело. Встало. Опять с сырьем возимся. Опять очистка». Фактически то же самое, что у нас.

Роберт утверждает, что у него со всем этим только две заботы. А) Как бы нас не обогнали. Б) Как бы нас не обокрали.

Трудно ему. Если бы Белла ему помогала жить. Если бы она нашла себе дело, хоть какое-нибудь занятие для праздного ума. Если бы хоть что-нибудь кому-нибудь была должна. Тарелку супа, например. Но она никому ничего не должна, свободна. Недавно она почти устроилась в биологический институт переводчицей, но Роберт сказал, что не будет давать ей машину ездить туда, потому что не хочет, чтобы она сломала голову. А ездить в автобусе она не захотела.

И вот теперь она лежит на животе, и ее суровая подруга лежит на животе, и они взволнованно беседуют третью неделю подряд.

Белла говорит:

— Если бы ты вела себя умнее, он бы уже бегал восьмерками...

Нина:

— А как умнее? Когда любят, не ведут.

Белла:

— Ведь вначале...

Нина:

— Вначале он бил горшки с фикусами и кричал, что все для меня делает. А потом... очень скоро... стал такой озбоченный молодой человек... мы ничего не знаем, мы из Вологды... Все это какой-то кошмар и стыд...

Я сижу на кухне и стараюсь не слышать, что они говорят. Но самое плохое, я должна себе в этом признаться, что из-за них трудно с Леонидом Петровичем. Если он придет, мы с ним дома не останемся, это исключено, куда-нибудь уйдем. Пошатаемся по городу, посидим в кафе или в кино. Но, наверно, он не придет. Он стесняется Нины и Беллы, они на него плохо действуют, и он на них плохо действует. При нем они становятся напряженными, глупо шутят, глупо его спрашивают о нейлоне и орлоне. А у меня создается впечатление, что он не понимает ни слова из того, что они говорят.

— Они прелестные дамы,— сказал он мне,— но я их боюсь.

Я попыталась его убедить, что они славные, не надо их бояться.

— Да,— с готовностью согласился он,— славнейшие.

Я бы хотел им чем-нибудь помочь. Мне кажется, что они тонущие суда и подают сигналы бедствия SOS.

Я засмеялась.

— Не смейтесь,— сказал он,— но лучше нам идти в кино.

В кино мы ходили, а новые картины по понедельникам.

Я спрашиваю Беллу:

— Леонид Петрович не звонил?

— Ой, прости, звонил. Забыла. Я его звала, все, как полагается, он, такая душенька, молчал в трубку, молчал, а потом наконец сказал, что занят и еще раз занят. Цитирую дословно.

— Еще кто-то звонил и молчал в трубку,— сообщает Нина,— полагаю, что тоже он.

— Он душенька,— повторяет Белла умильно и снисходительно,— Пьер Безухов. Трогательная личность.

Так девчонки портят мне жизнь, но прогнать я их не могу. Они уже давно без денег, никто ими не интересуется, никому они не нужны. Сидят, смотрят телевизор и строят планы совместного устройства на работу. Все врут и путают. И все время ждут писем и телефонных звонков, бегают к почтовому ящику, но писем нет, и телефон молчит.

Однажды Белла сказала мне:

— Смотри.

И открыла сумку Нины. В модном черном мешке, испещренном косыми надписями и рисунками городов, на дне лежала маленькая кучка монет, тщательно закутанных в бумажку.

— А ей очень надо уехать, понимаешь. Ей позвонили.

Я купила Нине билет в Москву. И на вокзале первый раз увидела, как она улыбается.

— Чао,— сказала она нам на прощание.

— Бедные мы девки,— сказала Белла, когда поезд увез улыбнувшуюся Нину,— всех нас безбожно бросают.

— А кого еще бросили? — спросила я.

— Но ей-то как раз позвонили. И умоляли вернуться. Все это было вранье.

— А я устроюсь в биоинститут, буду сидеть в конторе и переводить скучнейшие статьи, уткнувши морду в словарь. Мне ведь не придется вылезать из словаря. Я абсолютно не знаю языка, клянусь...

— Чао,— сказала я. Жаль мне было всех и себя.

...Мой дом опять принадлежал мне.

Вечером пришел Леонид Петрович. И я поняла, что он сегодня скажет то, что не решался сказать тогда в лесу.

Он спросил:

— Неужели вам совершенно все равно, есть я или нет?

24

Мы жили в гостинице, которая дрожала, когда мимо станции проходили поезда. Городок был маленький. Две широкие большие улицы крест-накрест с каменными городскими домами, а остальные улицы сельские, мощенные булыжником или песчаные, и огромное количество тупиков, как будто нарочно так сделано, что только по некоторым улицам можно уйти из городка, по всем остальным нельзя.

Сделаешь несколько шагов, пройдешь три-четыре дома вдоль заборов, обсаженных елями, ели подстрижены и образуют второй забор, и опять упруешься в два забора — низкий, крашенный в зеленую краску штакетник и высокие, ровно подстриженные густые ели.

В городке есть парк, в парке вековые дубы и развалины старинной крепости, заросли шиповника и всегда прохладно. Какие-то мостики через что-то, чего уже нет, и груды камней от чего-то, чего уже тоже нет. Парк кончается теннисными кортами, а там, когда ни придешь, загорелые девчонки и загорелые парни стучат ракетками. Незнакомый юный мир.

Недалеко от парка кафе с плетеными занавесками, и на каждом столике стакан с ромашками. Пахнет ванилью, корицей, горячим печеньем и кофе. На стене висит свежая газета. Молоденькие девицы в широких юбках и открытых кофточках приходят сюда компаниями, едят пирожные и пьют кофе со сливками. И девицы все голубоглазые блондинки с кожей цвета сливок.

Старушка, приходившая убирать комнаты, и завитая дежурная на этаже, и хромой почтальон, приносивший газеты, и шофер, который привез нас с вокзала, разговаривали с нами.

Шофер подкатывал к нам, когда мы шли по улице.

— Привет! Как жизнь?

И хвалил погоду. И предлагал покататься.

— Здесь что? Ничего нет,—говорил он.—Вся радость — танцы на озере. Здешние все ездят на комбинат, десять километров отсюда. Не проблема.

— А там? — спрашивала я.

— Там культурно. Там жизнь.

Но здесь была жизнь.

Вот баня, откуда не спеша выходят чисто вымытые старушки с тазами и свертками белья, дровяной склад — запахи смолы, нагретого леса. Банк, почта, школа медсестер.

Вот столовая, где готовят особенный суп. Никогда мы не ели такого супа, не щи, не борщ, а что-то сваренное, чтобы накормить голодного человека, чтобы он целый день после этого был сыт. В супе говядина и свинина, картошка, морковь, помидоры, лук, фасоль, зеленый горошек стручками и что-то еще. Мы видели, как одна семья села за этот суп. В него еще накрошили шмат сала и с десяток вареных яиц.

У кинотеатра останавливаются мальчишки-школьники, обсуждают репертуар.

— ...Про вояху?

— Про вояху!

Старухи сидят на скамье в парке. Они давно знакомы между собой, а нас не знают. Мы пройдем, они обсудят нас.

Мы идем. Мир, окружающий нас, так ясно виден, отчетлив, он состоит из сосновых лесов вокруг, из этой скамьи со старухами, и школьников у афиши, и промчавшихся с воем мотоциклистов, и магазина похоронных принадлежностей, где продаются гробы, глиняные горшки для цветов и керамические желтые, как желток, кофейные чашки.

— Купим чашки? — спрашивает Леонид Петрович.

— Зачем?

— Просто так.

Другой магазин шляпный. Шапки твердые, как будто к ним предъявляют те же требования, что к некоторым пластическим массам. Береты, каскетки — все из жесткого фетра. Мимо.

Книжная лавка с хорошенькой продавщицей. Мы задерживаемся. Леонид Петрович перебирает стопку книг, положенную перед ним продавщицей, а она улыбается и спрашивает, что ему еще подать. Он понравился ей, загорелый, высокий, широкоплечий, с коротко остриженными

волосами, в рубашке цвета хаки. Он покупает военные мемуары, и мы выходим.

Заходим в ювелирный магазин. Это, наверно, самый маленький ювелирный магазин в Советском Союзе, торговый зал — шесть метров.

— Купим бриллианты, — говорит Леонид Петрович, и мы покупаем два серебряных кольца, одно витое из серебряной проволоки, а второе в виде печатки с чернью, их здесь носят школьницы, и я надеваю его на палец.

Леонид Петрович говорит:

— Давай выберем что-нибудь получше. По линии бриллиантов.

Мы идем дальше и везде что-нибудь покупаем. Покупаем грубую брезентовую куртку с капюшоном, рыбацкую.

— Это находка! — восклицает Леонид Петрович. — В ней есть что-то марсианское, глобальное и химическое. И ты в ней похожа на женщину здешних мест. Притом она от дождя.

— Я не уверена, что она женская.

— И я не уверен. Но она тебе идет.

— Может быть, хватит магазинов? Дальше — обои и мебель. Куртка тоже почти мебель.

— Последний.

В последнем покупаем цветы, несколько тяжелых темных гвоздик с веткой аспарагуса, перевязанных серебряной бумажкой. На цветах капли воды.

— Мне понравилось покупать тебе, — говорит он.

— Пойдем на озеро, — предлагаю я.

— Не заходя в гостиницу?

— Конечно. Если пойдет дождь, — здесь он каждую минуту может пойти; это страна дождя, — куртка нам пригодится. Книги про войну можно читать, сидя в лодке. Цветы — это цветы. Чашки мы не купили. А кольца на руке.

Мы видим старый каменный дом, вросший в землю, и заходим во двор. Может быть, здесь жил какой-нибудь ганзейский деятель, торговал мукой. Из подвала выскакивает молодчик в белой рубашке с красным пивным лицом, нелюбезный потомок ганзейца. На дереве посреди двора сушится на распялке женский плащ, девочки скачут через веревочку, из подвального окна несется магнитофонное завывание. Мы улыбаемся молодчику примирительно,

нам от него ничего не надо. Он вдруг тоже начинает улыбаться так, как будто сейчас позовет в гости.

На озере мы берем лодку, отплываем от берега, кладем весла и никуда не плывем. Рыбешки танцуют в воде, с лодки их видно. Иногда донесется голос с берега, и голос этот молодой и веселый. Или вырвется откуда-то звук транзистора. Иногда какая-нибудь лодка пройдет мимо, лодка с единомышленниками. В лодках загорают голубоглазые девицы в ситцевых купальниках, те, что были в кафе. И теннисисты. Озеро — излюбленное место отдыха трудающихся, шофер дал неточную информацию.

Мы купаемся с лодки, долго плаваем в холодной воде, лежим на спине, глядя в бесконечное небо. Потом обсыхаем в лодке и гребем к берегу. На берегу круглый дощатый ресторан с куполом, похожий на цирк. Окна смотрят в озеро.

Официантка-эстонка знает нас. Когда мы входим, она сразу подает тонко разрезанные помидоры с перцем. А позже приносит бифштекс, холодную молодую картошку, обсыпанную укропом, и опять помидоры, и крупно нарезанные огурцы. Каждый день одно и то же.

У официантки рыже-коричневые волосы, ровной волной загнутые на концах, светло-серые, цвета здешнего неба глаза, большой скорбный рот. Она в синем шелковом платье, а к маленькому переднику приколоты круглая металлическая брошка с изображением парусника.

Она смотрит на нас, но видит не нас, а других людей, на которых мы чем-то похожи. Может быть, себя.

Ветер шевелит занавески и скатерти на столах, продувает просторный дощатый ресторан. Иногда кажется, что он плывет. Чистая серебряная вода видна из открытых окон. Пахнет водорослями, рыбой, солью, кувшинками, земляникой.

Вечерами мы тоже спускаемся к озеру. Вечерами в ресторане танцы. Горят бумажные китайские фонарики, все столы заняты, играет оркестр, и молодежь из городка и окрестных деревень танцует до двенадцати ночи.

За столами сидят, пьют вино и не очень молодые мужчины и женщины, и даже совсем старые, и они тоже танцуют. Для них оркестр играет вальс. Старые люди танцуют, притопывая ногами, подпрыгивают, напевают, переделывают вальс на какой-то свой особый танец, вроде того супа, который подают в столовой. Этим можно насытить-

ся, во всяком случае. Это и не вальс, а такой танец, который танцуют старики, показывая, что веселиться умеют они. Это грустно-веселый танец.

Все одеты нарядно, по моде, которая предписывает молодым людям, несмотря на жару, быть в темных костюмах, в белых рубашках с галстуками, а девушкам разрешает все что угодно, из чего они выбирают широкие юбки и кофточки без рукавов.

Мы тоже танцевали под деревенский оркестр, который, однако, неплохо играл твист. Музыканты были пенсионного возраста. Может быть, они играли тут, на берегу озера, всю свою жизнь.

— Останемся здесь навсегда,— сказал Леонид Петрович.

Мы не могли остаться здесь навсегда и даже еще на несколько дней не могли. Наш отпуск кончался.

Мы в последний раз выплыли на лодке на середину озера. Погода была переменчивой в тот день, наплывали тучи, и все вокруг сразу меняло цвет, становилось печальным и каким-то заброшенным.

Вдруг появлялось солнце и освещало озеро то целиком, то половину. А другая половина оставалась темной и холодной. Как будто кто-то, забавляясь, передвигал свет и тепло, как ему хотелось. Иногда давал свет и тепло на нашу лодку.

— Представляешь, мы жили бы с тобой здесь. Ты бы сшила себе такую юбку для танцев, как у всех. Стали бы ездить за десять километров на комбинат, там нашлась бы работа двум химикам. Работали бы в одной лаборатории. Хотя... любимая женщина в лаборатории... не уверен. История знает такие примеры. Но по нашим правилам запрещается. И в этом тоже есть своя сермяжная правда.

— В счет исключения можно.

— Знаешь, нет. Не обижайся, милая. Когда я в лаборатории, я хочу быть и грубым, и небритым, и злым, и грязным, и молчать, и делать что хочу, и никого не замечать. Государство — это я. Я не могу тебя не замечать. Это было бы гнусно. Я не хочу тебя не замечать. Мне и вообще-то кажется, что я теперь не смогу работать. Как я буду отправлять свою должность, когда я думаю только о тебе.

Мы стали смотреть, как плывет туча, чтобы закрыть от нас свет, и блеск воды, и тепло.

Потом Леонид Петрович вытащил из-под сиденья брезентовую куртку и прикрыл мне плечи. Становилось свежо. Все озеро было темным.

— Слушай,— сказал он.— Недавно я увидел, как ты лежишь на песке. Лежишь и о чем-то думаешь. Но я не знал о чем. И я испугался.

Он уже давно это сказал, а я все еще слышала, как он это говорит.

Упали крупные капли дождя, и полило. Леонид Петрович сел на весла, стал быстро грести к берегу. Все сразу стало серым и черным, начиналась гроза. Тот, кто забавлялся со светом и тенью, теперь решил развлечься как следует.

Мы вбежали в наш ресторан шапито. «Последний раз»,— подумала я грустно. Здесь нам было хорошо, может быть, больше так не будет.

— Промокли,— сказала официантка без улыбки— она не умела улыбаться,— принесла сухое полотенце и подала нам. Потом принесла на подносе две рюмки водки и тарелку с помидорами.

Как всегда, она была в синем шелковом платье с красными пуговицами, только волосы завиты по-другому, локонами-валиками. Так причесывались здесь до войны. Она была высокая, широкая в плечах женщина, ступала на всю ногу. Когда ей было нечего делать, она уходила за стойку, складывала на груди большие, розовые, постиранные руки и смотрела на нас.

Я думала, что ей сказать на прощание.

А за окнами вода хлестала по воде и кривые молнии, как ножи, резали черное небо и втыкались в землю. Грохотал гром.

Леонид Петрович посмотрел на меня, провел рукой по моим волосам и по лицу.

— Боишься, трусишка?

— Нисколько,— засмеялась я,— наоборот, люблю.

От его руки пахло смолой и дождем. Казалось, дождь вошел в нас.

— Выпьем, Маша? За дождь и за ту женщину у стойки.

Мы посмотрели на официантку и подняли рюмки. Она издала без улыбки поклонилась.

— Я еще выпью, не возражаешь?— спросил Леонид Петрович.

Гроза начинала стихать.

— Все равно нам отсюда не уйти. Вон какой дождь. Пусть он будет подольше. Здесь хорошо. И не надо ни о чем жалеть. Выпей и ты, и я скажу тебе мою программу. Очень простая. Не делать подлостей. Самоотверженно вкалывать. Быть честным перед самим собой.

— Я то же самое. Мой отец так жил, хотя он ничего не формулировал.

— Можно и не формулировать. Но дело вот в чем: я люблю уравнение. Уравнение—это сильнее, чем вещь. Уравнение много может. Я пью специально, чтобы иметь право рассказать тебе все это. Еще скажу о себе...

Он засмеялся, чокнулся со мной и поставил рюмку.

— ...Я родился для того, чтобы получать вещества в граммах, первые вещества. Конечно, я буду честно выполнять ту работу, которую делают сейчас, фактически наполовину инженерную, технологическую. Но я первооткрыватель. Мне надо, чтобы ты это знала, я выпил и говорю тебе это.

— Тогда надо идти в А-эн. Там будет уравнение.

— Если бы решалось так просто... На нашем с тобой месте тоже можно кое-что сделать, по-моему. Если долбить, долбить долго, всю жизнь, с тихим упорством всю жизнь... Как ты думаешь?

— Всю жизнь и еще два часа,— отвечаю я.— И если тебе еще повезет...

— Я тоже так думаю. Значит, по этому вопросу мы договорились,— говорит он серьезно.

Гроза кончается, но дождь еще льет настойчиво. Люди заходят в ресторан босиком, вымокшие до нитки, смеются, развешивают на стульях мокрые вещи. Мы здороваемся с входящими, за эти дни мы со всеми познакомились.

— Много воображаете из себя,— смеюсь я,— такой скромный, скупой на слова, преданный своему делу, вдумчивый, хороший товарищ, с чувством ответственности, и не останавливается на достигнутом.

— Ты смеешься, а я правда такой,— отвечает он.— Слишком хорош, ты не находишь?

Не знаю, ничего не знаю. Он совсем другой здесь, спокойный, уверенный в себе, всегда веселый.

— Скоро кончится дождь. И мы уйдем. И уедем. И все у нас впереди. Договорились?

Да, наверно, да, но я молчу. Почему-то трудно это

сказать. Дождь скоро кончается, и солнце заливает теплым светом весь вымытый, мокрый мир.

Мы прощаемся с женщиной, которая так внимательно смотрела на нас. Мы ничего не узнали о ней, а она ничего не узнала о нас. Но это не имеет значения, это неважно.

— Всего вам хорошего,— говорю я.— Спасибо.

Леонид Петрович пожимает ей руку. Мы обнимаемся с ней и целуемся.

— Желаю вам,— говорит она,— сохраняйт его. А он — сохраняйт вас.

Кого-то она не сохранила, и кто-то не сохранил ее — это было ясно с самого начала.

— Спасибо,— еще раз говорю я.

Жаль, что больше мы не будем видеть эту прозрачную воду с маленькими нервными рыбешками, гладкие валуны и темно-зеленые кусты на берегу озера. Развалины крепости, знаменитые руины, скамьи в парке, тупики и двойные заборы. Мы не останемся здесь жить, не поступим химиками на комбинат. Уедем, наш отпуск кончается, мы провели его вдвоем, никто из близких этого не знал. Но не скроешь, и надо ли скрывать. Сначала казалось, что надо. А теперь — не знаю.

25

— Ленинград встречает нас чудной погодой,— сказал Леонид Петрович, когда наш поезд затормозил у перрона вокзала.— Мы правильно с тобой сделали, что приехали. Отдали дань. Это надо было. Как ты думаешь, твоя мама обрадуется?

— Сомневаюсь,— ответила я.

— А мои старички обрадуются.

Я вспомнила его академическую маму.

Мы ступили на ленинградскую землю.

...Моя мама сказала:

— Не могу сейчас понять, хорошо это или плохо. Этого никто не знает. Покажет будущее. Если ты так сделала, тебе виднее. Может быть, хорошо. Он производит, во всяком случае, впечатление неглупого и порядочного человека. Конечно, это чисто внешнее впечатление, мы с ним трех слов не сказали. Не знаю, не знаю. Это очень трудно. Надо привыкнуть. Я всегда хотела, чтобы ты стала ученой. Буду благодарна твоему мужу, если он уговорит тебя заняться преподавательской работой...

Она курила и продолжала говорить все в том же роде, а я молчала и чувствовала, что я опять перед ней виновата. Казалось бы, все у меня хорошо и можно радоваться, но маме это совершенно не нужно. Я ее знаю, ей это не нужно. Другие матери... но это никогда не подходило, что другие, это была моя мать. Я теперь не вернусь в Ленинград, а она, бедная, до последнего времени ждала, что я, может быть, вернусь.

Сейчас она чувствует одно — потерю, теперь окончательную. А она собственница.

— Мамочка, ты совсем за меня не рада? — спросила я. И зря спросила.

— Не рада, — ответила она и заплакала.

— Он тебе не нравится?

— Не нравится.

Ничего не поделаешь. С ней всегда было так и будет так. Потом, может быть, она будет к нему хорошо относиться, но сейчас она даже не видит, какой он. Будь он самый прекрасный на свете, все равно он бы не годился, он бы ей не понравился, он ей не нужен.

Когда приходит Леонид Петрович, она смотрит пристально на него своими черными непримиримыми глазами, изучает. Я испытываю потребность защищать его и спрашиваю:

— Мамочка, когда ты соберешься к... нам?

Мне самой еще трудно произнести «к нам».

Опять не то. Все не то. Мама поворачивается в мою сторону, начинает изучать меня. Что это я сказала? Я зову ее приехать, это естественно.

— Зачем? Кому я там сейчас нужна? Мешать вам? Я не привыкла быть в тягость. Чтобы меня терпели.

— Все ведь не так!

— Вы меня не переубедите, — отвечает мама.

Я смотрю на Леонида Петровича. Он меня спрашивал, обрадуется ли она.

Мама отдала нам старые папины часы. От отца осталось немного вещей. Он жил без вещей. Маленькие черные часы, которые заводились на семь дней, тикали твердо и ласково и светились в темноте, а тонкая секундная стрелка бегала в них, как живая, и никогда не останавливалась. Это были красивые надежные часы, как все связанное с папой. Он привез их с фронта. Они были сняты с разбившегося самолета, и он их заводил сам.

— Тебе не кажется, что Ленинград изменился? — спрашивал меня Леонид Петрович.

Да, пожалуй, хотя я не вижу Ленинграда.

Леонид Петрович считал, что все ничего, мы сейчас переживаем смутное время, оно кончится, мы перестанем быть сенсацией номер один среди предков, уедем к себе, переживем там смутное время...

Но и ему было не по себе. Это сближало нас.

В воскресенье его родители пригласили гостей.

— Переживем и это, — несколько неуверенно сказал Леонид Петрович. — Смутное время пройдет. Что пройдет, то будет мило.

Я помогала Марии Семеновне накрывать стол на веранде. В это время она учила меня, как заставить ее сына работать без скидок на семейное счастье. Как создать у нас дома строгий рабочий режим, а важно завести такой режим с самого начала.

— Он талантлив. Много может сделать. Остальное зависит от вас, — внушает мне Мария Семеновна. — Вы это понимаете?

Нет, не понимаю.

В черном костюме, в белой рубашке, с седыми висками, молчаливый, добрый, воспитанный, талантливый, ходит по дорожке в саду Леонид Петрович. «Может быть, что-то не так, неправильно, — думаю я, — что-то не так, как хотелось, но жизнь все-таки не такая плохая, и я постараюсь сделать все, что от меня зависит... А вот что это — все, хорошо бы знать».

Леонид Петрович подходит, улыбаясь, молча смотрит на нас и отходит.

— Конечно, если хотите, можно устроить вам перевод в Ленинград, — ласково предлагает мне Мария Семеновна. — Петр Федорович может это сделать.

Она смотрит на меня, ожидая ответа. Хочет, чтобы я согласилась. Я думаю о моей маме.

Нам предлагают работать в почтенном академическом месте. Леониду Петровичу на втором этаже, а мне — на четвертом. Там на всех этажах работают такую работу, которая, как только готова, сразу в печать. Не так, как у нас, печатаемся раз в год и только слово «внедрение» произносим как молитву.

Спокойная может быть у нас жизнь. Муж мой окон-

чательно сформируется в милого чудака. Задатки у него есть. Ученый должен быть немного чудаком. Чтобы была возможность прикинуться непонимающим, когда не хочешь понимать, и незнающим, когда не хочешь знать. Правда, нечудаки процветают больше, чем чудачки, но зато чудачки толкают науку вперед.

Мария Семеновна смотрит на меня испытующе. Или это мне кажется. Я стала беспокойная и неуверенная, и все мне чего-то кажется и представляется. Одно бесспорно — мы можем жить и работать в Ленинграде, заниматься чистой наукой, а промышленность, внедрение можем оставить другим; эту черную, трудную, неблагодарную работу пусть теперь делают другие, с нас хватит. Мы внесли свой скромный вклад...

— Не будем беспокоить Петра Федоровича,— говорю я.

— Умничка! — восклицает Мария Семеновна веселым басом. — Если захотите, еще вернемся к этому разговору. «Не вернемся», — думаю я.

Подъезжают машины, раздаются громкие голоса горожан, выбравшихся за город, мечтающих вообще всегда жить за городом. А моя мама не придет, сослалась на нездоровье.

Я проявляю хозяйственное рвение, чтобы подольше оставаться на веранде.

— Идем, познакомлю тебя с Матвеем. — Леонид Петрович берет меня за руку.

Матвей, старый академик, у которого я когда-то училась, стоит на крыльце. Он не слушает объяснений Марии Семеновны, кто я, откуда, чем занимаюсь. Слушать ему уже давно ничего не интересно.

— Молодая дама, — говорит он то, что думает, видя меня. А он открыл два закона в химии, старый Матвей.

— Веселитесь. Танцуйте. Я надеюсь, вы не химик, а то химики — ужасно скучные люди. И плохо знают Пушкина, вот за что я не люблю химиков.

— Стареет Матвей, — говорит Леонид Петрович, когда мы отходим, — один остался, жена, Софья Дормидонтовна, умерла, плохо быть старым и одиноким. А ему, между прочим, не так и много.

— Сколько?

— Семь ноль. Как нашему Петру Федоровичу. Но наш орел.

Петр Федорович подзывает меня.

Я знаю три типа профессоров-экзаменаторов. Один

ставит пятерку за то, что ты все честно выучила. Другой — за то, что ты молодая, и он когда-то был молодой, и все на свете ерунда, будь только порядочным человеком. А третий сидит за столом, вертит в руках твою зачетку, медлит задать вопрос, и ты уже знаешь: ничего хорошего не будет, он хочет от тебя невозможного. Он придумывает, что бы такое тебя спросить, и ты видишь эти вымытые профессорские щеки, и эту особую розовую седину, и узенькие от смеха глаза и уже знаешь, что он спросит тебя не по курсу, а что-нибудь попроще, что-нибудь такое простое, что потребует напряжения всех твоих сил, всей твоей памяти. И все будет зависеть от нескольких первых слов твоего ответа. Этот веселящийся старик экзаменует тебя не по праву, данному ему ректором, а по какому-то другому праву.

Петр Федорович — третий экзаменатор. И я все время жду его вопроса, но он его не задает. Но он тоже предлагает:

— Хотите попробовать остаться в Ленинграде, в нашем институте? Это... можно.

«Все нас искушают, — думаю я, — но мы не поддаемся».

Мария Семеновна говорит:

— Если мой сын будет бездельничать, Маша, звоните мне.

Леонид Петрович чокается с академиком и со своей мамой, обнимает за плечи каких-то деятелей, уже снявших пиджаки. И оглядывается на меня.

Потом он долго и почтительно слушает какую-то старую даму, что-то ей серьезно отвечает, а Мария Семеновна комментирует:

— Может быть воспитанным, если захочет.

Нигде не бывают так суровы и требовательны к своим детям, как в иных интеллигентских семьях.

Стол гудит, как самолет, гул то приближается, то удаляется, и иногда кажется, что стол летит. Я встаю, иду посидеть в ванной среди бутылок боржома. Хочется побыть одной. Мне жалко маму, все-таки она могла сюда приехать, мы предлагали, что привезем ее на такси. Она не захотела, сказала: «Считаю излишним».

Входит Леонид Петрович, садится рядом со мной на край ванны. Мне и его жалко и себя жалко, хорошо бы сейчас поплакать, но нельзя.

— Мы потом приедем в Ленинград еще? — спрашиваю я не очень вразумительно.

— Вас понял,— отвечает он ласково,— совпадает с моим желанием. Сейчас — уехать! Потом можно приехать еще сто раз.

«Все он понимает»,— думаю я с благодарностью.

Возвратившись к себе, мы очень быстро переживаем смутное время. Мы даже не становимся сенсацией. Нас, конечно, поздравляют, но все в институте считают это естественным, говорят, что так и знали, ждали.

Только Роберт, сказав: «Браки совершаются на небесах»,— смотрит на меня слишком внимательно, как человек, который сомневается в моем счастье.

«Смотри сколько хочешь,— говорю я про себя.— Можешь не сомневаться, все хорошо». Но видно, что его и маму я еще должна в этом убедить.

А по утрам мы, как все, идем в институт пешком и во дворе, у здания склада, расходимся в разные стороны.

В обеденный перерыв Леонид Петрович приходит ко мне в кабинет. Я закрываю дверь на ключ и на плитке варю в лабораторной посуде кофе. Он сидит, развалясь на диване, пьет кофе из химпосуды.

Если мне некогда или меня нет в лаборатории, Аля варит ему кофе в обеденный перерыв.

Каждый день из кучи дел, бумаг, звонков надо выхватить дела первоочередные, второй очереди, третьей, четвертой и определить последние, то есть те, которые я никогда не сделаю.

Скоро начнется новая полоса в нашей жизни, когда мы будем нарабатывать наш полимер. Это будет термостойкий полимер, лучший из полимеров, работы с ним хватит еще на тысячу лет.

Человек не бог и не может точно знать, какой получится полимер. У бога полимеры получались неплохо — дерево, хлопок. Наконец, самый трудный, самый сложный и самый удавшийся ему полимер — человек.

А жизнь идет и учит нас быть мудрыми и спокойными и не терять надежды.

Тережа я по-прежнему встречаю везде, где нам положено встречаться. Комиссия с ее грозными выводами прошла для него бесследно. Он остался таким же представительным товарищем в плотном коричневом костюме, сшитом недавно, но по моде начала пятидесятых годов. Лицо загорелое, большое, пепельно-серые волосы вьются крупно и круто, как вились, когда были блестящими и черными. Голосом своим он пользуется вполсилы, словно размеры

аудитории и все наши масштабы сдерживают его. Я не знаю, каким человеком был Терез в годы своего расцвета, что он знал, что умел тогда, но самообладание у него есть.

Встречаясь с нами, он шутит как ни в чем не бывало, смеется, спрашивает, какие новости.

— Мария Николаевна выглядит бесподобно. Похорошела, похудела. Как это вам удастся? Какая у вас теперь талия? Сколько сантиметров?

И по-прежнему руководит лабораторией.

Нам обещали большую квартиру, как приличествует двум ученым, двум начальникам лабораторий, если они поженились. У нас строится экспериментальный дом весь из пластика, которые мы создаем. Там мы будем жить, современные люди.

Иногда мы возвращаемся из института вместе, хотя вообще решено, что семейное счастье не будет мешать каждому из нас торчать в лаборатории, сколько ему надо, и долбить с тихим упорством, как мы договаривались на берегу озера.

Иногда поздно вечером идем пошататься по улицам.

А зима наступила снежная, часто идет снег, тот снег, который летит не с неба на землю, а с земли летит на небо, завихряется, принимая горизонтальное направление, не имеет цвета и формы, но обладает страшной силой массивированного удара, бьет в окна, стучит по крышам домов и вагонов, налетает на людей, рассыпается по лицу иглами, а попадая на дорогу, не остается лежать, а уносится дальше, как радиоактивная пыль, когда атом не на службе мира.

Троллейбусы и автобусы в такой снег ходят плохо. На вокзальной площади такси стоят, сбившись в кучу, и снег кидается на них, залепляя стекла, сечет кузова, беснуясь, отлетает в сторону города, ударяясь в дома, бросается назад на железнодорожные пути. Но площадь перед вокзалом все равно остается главной ареной этого бешенства. На нее страшно смотреть.

Когда открывается дверь привокзальной закуской, оттуда вырываются клубы молочного дыма, а туда вхлестывается снег. Людей вокруг почти нет, те, которые идут по площади, закрывают лица, как будто обороняются в драке.

А мы молоды и здоровы. У нас ничего не болит, и нам ничто не мешает жить и долбить с тихим упорством.

Единственное — это моя бессонница. Когда работаешь

поздно вечером, потом долго не можешь заснуть. Горит лицо, руки и ноги холодные. Ляжешь, укроешься тепло и начинаешь решать, о чем сейчас думать. В распахнутую форточку входит запах мороза, самый чистый, бодрый, радостный запах. И ты лежишь и, может быть, радуешься этому морозу, но не успокаиваешься, и тебе ясно, что ты не уснешь до утра.

Надо не думать, но хочется думать.

Ночью, когда ты лежишь в этой подсвеченной темноте и видны очертания предметов,—хорошо еще, что их мало в комнате и они не двигаются на тебя, как рояль во время болезни,—успеваешь подумать обо всем.

«Я родился, чтобы создавать новые полимеры»,—сказал Леонид Петрович. Я тоже думаю, что родилась, чтобы создавать новые полимеры. Это не талант—это работа. Каждый день, каждый день, вечер и даже ночь. Непременно методически, систематически, всю твою молодую, прекрасную, единственную жизнь, и если тебе при этом еще повезет...

Засыпаешь поздно, и утром трудно вставать.

РАССКАЗЫ

КАК ТЫ ЖИВЕШЬ, МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ?

Мы не виделись ровно десять лет. И вот мы встретились в гостинице, в номере, где я остановилась, приехав в свой родной город на конференцию. Это очень странно: приехать в город, где ты родилась и выросла, где был твой дом, и жить в гостинице, как посторонняя.

Николай пришел ко мне вечером, после работы, и в первую минуту мне показалось, что он совсем не изменился. Точно такой, как десять, даже пятнадцать лет назад, когда мы еще учились в школе. Мы обнялись и поцеловались. А потом он крепко пожал мою руку и сказал:

— Ну, здравствуй, Машенька!

А я сказала:

— Я уже думала, что мы никогда не встретимся.

На самом деле все десять лет я знала, что когда-то мы должны встретиться.

Он не ответил, он смотрел на меня. Потом сказал:

— Все такая же, совсем не изменилась.

Мы сели в кресла около круглого стола с красной плюшевой скатертью и замолчали. Я не знала, с чего начинать, а он вообще любил молчать.

Он был в военной форме, как и тогда, и это меня удивило. Я плохо помнила, как мы расстались, но очень ясно помнила все, что было до того, намного раньше.

Я сидела перед ним в своем самом лучшем платье, причесанная у парикмахера. Я приготовилась к этой встрече. Я даже выпалась — редкий случай, — чтобы хорошо выглядеть. И помнила, что имею научное звание, серьезную должность и опубликованные и неопубликованные работы.

Николай тяжело опустился в кресло и сгорбился. В левом глазу у него лопнул сосудик, и глаз был красный.

Подворотничок из целлулоида натирал ему шею. Он попросил разрешения расстегнуть крючки.

Он смотрел на меня сощурившись, со знакомой мне насмешливой и ласковой улыбкой, как будто чего-то ждал от меня. Что же изменилось в его внешности? Потом я поняла: волосы. Волосы стали редкими и потеряли блеск. Я разглядела даже раннюю лысину. А так он по-прежнему был красив.

— Рассказывай первая, Машенька,— сказал он,— все подробно и по порядку.

Он погладил меня по руке и заглянул в глаза. Кроме него, меня никто не звал Машенькой.

— Как ты жила с тех пор? Как твой папа и мама? Они тоже уехали? Я заходил на вашу старую квартиру — там чужие. Как бабушка, жива-здорова? Значит, ты окончила институт?.. Что было потом?

Я задумалась, глядя на Николая, и не ответила. Я так хотела знать, какой он стал, чем он занимается, хорошо ли ему живется, но главное — какой он: такой, как раньше, или другой? И какая она, эта чужая жизнь, которая когда-то была самой родной?

Он повторил свой вопрос:

— Значит, ты окончила институт?.. Что было потом?

Я рассказала, что было потом. Очень скромно и коротко, основные события моей жизни. Пожаловалась, что трудно работать. Приходится проводить опыты по разным лабораториям, уходит много времени; сейчас мне нужны обезьяны, их сложно доставать; замучили командировки. Вообще-то я люблю командировки, часто бываю в Минске, в Одессе. Вот, собственно, и все.

Он опять взял меня за руку и спросил:

— Ты счастлива?

Но это его не касалось. Я перевела разговор на предстоящую конференцию и свой доклад. Очень ответственный доклад.

— Ну, ты всегда была молодцом, и я не сомневался, что ты всех обгонишь и что из тебя получится нечто замечательное. Так и вышло.

Это прозвучало у него не слишком лестно, хотя он и раньше это часто говорил.

— Какое у тебя платье! Я даже таких не видел,— сказал он, продолжая меня разглядывать.

— А ты как? Довольно обо мне. Я хочу все о тебе знать. Я только сейчас позвоню, чтобы принесли ужин.

Он остановил меня, сказав, что недавно обедал.

— Мы что? Видишь, служим.

— Ты все еще в армии? Остался навсегда?

— Пока остался.

Я сосчитала звездочки на погонах. Четыре. Капитан. Тогда он был лейтенантом.

— Посмотрела на погоны? Пока еще не генерал.

— Еще будешь,— улыбнулась я.

— Вряд ли.

— Много работаешь?

— Ужасно! — Он усмехнулся.— Как вол.

Я промолчала.

— В этом году окончил институт. Могу похвастаться. Так что моя гражданская специальность — металлург.

— А военная?

— Совсем другая. В том-то все и дело. Я преподаю в училище топографию, а институт...

— Ничего не понятно: топография, металлург... Но ведь ты собирался стать математиком,— перебила я.— Бесконечно малые величины и так далее. Как же так?

— Мало ли что я собирался, Машенька! Жизнь подсказывает другие решения.

— Ах, вот что! — пробормотала я.— Жизни!

Он улыбнулся.

— Не сердись.

Я не сердилась, но подумала: при чем тут жизнь? Он не болен, не стар, от природы не тупица.

— Так что у меня две специальности,— с некоторой даже гордостью сказал он.

«Лучше иметь одну, но ту, которую хочешь, а не ту, которую тебе подсказали обстоятельства»,— чуть не вырвалось у меня, но я смолчала. Я хорошо помнила, как Николай мечтал и готовился поступить в университет. Он, наверно, забыл.

Николай продолжал:

— Так что все эти годы я работал, преподавал и учился. И даже получил диплом с отличием, по нашей с тобой привычке хорошо учиться. Да, Машенька?

— Ну, а теперь? Ты все еще в училище преподаешь топографию? Ведь ты мог бы поступить в аспирантуру. Быстро окончить при твоих способностях, скажем не в три, а в два года, и заниматься наконец научной работой. Ты же рожден для научной работы. Мы это еще в школе знали.

— Не так-то просто, Машенька.

Да, конечно, не просто. У него семья, дочь. Я это хорошо знала. Интересно, дочь похожа на него? У меня не было семьи как раз потому, что она была у него. И мне не очень хотелось об этом говорить.

— Дочка большая?

— Школьница,— улыбнулся он.

— Жена работает?

— Да, преподает географию в старших классах.

Я никогда не видела его жены. Только знала, что она моложе нас с ним на три года, хорошенькая, с косами. У меня тоже раньше были косы.

— Живешь все там же?

— Да.

Я помнила его уютную квартиру, которую я не сделала уютной. Мне было не до того. Наверно, теперь там все по-другому. Мне бы хотелось посмотреть, как там теперь. И дочка уже школьница.

Десять лет назад, когда я была в экспедиции, он написал мне, что женится на другой, потому что так получилось.

Нас называли мужем и женой, хотя свадьбы не было и в загс мы не ходили. Жили мы так: я убегала утром в институт, он — в училище, куда его направили после войны, то самое, где он работает и теперь. Мы встречались только вечерами, хотя я переехала к нему. Николай готовился к экзаменам в университет. Я была студенткой четвертого курса биологического факультета. И жизнь у нас была студенческая. Мне казалось, что с семейным уютом можно подождать. Это была моя ошибка.

Дома мы мало занимались. Зато мы очень много выясняли наши отношения. Он меня ревновал, и я его ревновала, но к чему, кому — я не помню сейчас. Мы ссорились из-за пустяков, мучились, мирились и опять ссорились. Это была какая-то страшная чепуха.

У Николая появилось много друзей по училищу. Чуть не каждый день кто-нибудь приходил и оказывался его лучшим другом. «Мы с ним, Машенька...» — говорил Николай. И они начинали пить, разговаривать, смеяться. А у меня никогда не было закуски.

Ему с ними было интереснее, чем со мной. Он не мог без них обходиться. А меня они не любили. И мне они не нравились.

Я решила уехать в экспедицию. Мне эта экспедиция была совершенно не нужна. Но мне казалось, что будет лучше, если я уеду. Коле надо остаться одному, думала я, войти в колею нормальной трудовой жизни. Наши сосоры мешали ему заниматься, а мне хотелось, чтобы он хорошо сдал экзамены. И еще одно: я хотела доказать свою независимость, что могу обойтись без него. И еще: пускай, думала я, поживет без меня. Это полезно. Ведь я была уверена в его любви. А вернусь — будем жить по-настоящему. Я скоро окончу институт, буду работать, он — учиться.

Зачем я уехала? Я понимаю все сейчас, но тогда я не понимала. Он писал: «Брось все и возвращайся». У меня сохранились его письма: «Приезжай, ты мне нужна», «Приезжай, очень плохо без тебя». Мне тоже было плохо без него. Я отвечала веселыми, спокойными письмами. Он даже прислал какую-то справку о своем расстроенном здоровье, чтобы я отпросилась у начальника экспедиции. Но я уже втянулась в работу и не могла бросить ее неоконченной. Я отвечала шутливыми медицинскими советами: «Измеряй температуру, градусник вытягивает жар», «Носи шарф и калоши и думай обо мне».

Разлука любовь бережет. Я была счастлива и спокойна. А в последнем письме, за несколько дней до моего возвращения, он сообщил, что женится. Я не поверила.

Он встретил меня на вокзале: так велика была его честность и прямота. И подтвердил, что все правда, так получилось, он виноват. Было увлечение, но теперь та девушка беременна, он не может быть подлецом. Он сказал, что любит меня, одну меня, и будет всегда меня любить. Но он не может быть подлецом.

Мы учились вместе в школе. Я его очень хорошо знала. Знала его ветреность. Не мудрено: он был очень красивый, и все в него влюблялись. Знала его честность. В детстве казалось, что он упрям. Он не менял своих мнений. Он никогда, даже мальчишкой, не дрался. Ему нравились научные стихи, над которыми я смеялась. Я знала его вкусы, привязанности, я все вообще про него знала. Еще бы! Он был моя первая любовь, как же я могла что-нибудь не знать! Я его проводила в армию в сорок первом году. Он приезжал ко мне во время войны. Он писал мне письма, треугольники без марок.

Нас еще в школе дразнили: «Жених и невеста». А потом, в войну, я стала его настоящей невестой.

Он меня всегда любил, он даже любил, как я пою, хотя я пою ужасно и никто не может выносить моего пения.

У него был трудный характер человека, щедро одаренного талантом и красотой. Мне всегда хотелось помериться с ним и тем и другим. Но надо признать, что он был талантливее и красивее меня. Впрочем, о своих способностях судить трудно, как о своей внешности.

Знаю только, что обладаю упорством и убеждением: раз другие могут, то и я должна. И потом я стараюсь быстро работать. И делаю сегодня то, что можно сделать завтра. Вот и все. Это мой секрет. Моя производственная тайна.

Что касается внешности, то если серые глаза, темные волосы и хороший цвет лица — это красиво при прочих средних показателях, значит, я красивая. Теперь, кстати, у меня плохой цвет лица. Я хотела бы быть повыше ростом и потолще, но я не толстею, потому что много хожу. И еще потому, что я стала курить.

От Коли я ждала очень многого. Да не только я. У него не было склонности к искусствам (у меня тоже), зато у него была всепокоряющая сила логики, он должен был стать выдающимся математиком. В школе, например, он устно решал задачи, над которыми мы бились с карандашом и не могли решить. Он был абсолютным чемпионом всех школьных математических олимпиад. Учителя относились к нему с уважением. Говорят, в школе — одно, в жизни — другое. Не знаю, но ведь способности никуда не пропадают. Они остаются в человеке навсегда и ждут своего часа. Обидно, когда талант достается слабому человеку. И он, как говорится, «зарывает свой талант в землю».

Николая портили женщины. Все, кроме меня. Они вслух восхищались его внешностью. Но я пыталась убедить его, что он слишком мал ростом и что у него красивое, но туповатое лицо. Это была чепуха: у него было одухотворенное лицо и нормальный рост.

Когда мы встретились после войны, он объявил мне, что знает жизнь и что почем. Это было неприятно, но, пожалуй, это было наносное. Я тоже в те годы притворялась опытной и разочарованной. Он цинично говорил о женщинах. Меня это огорчало. Но я собиралась все преодолеть. Моя мама часто говорила: «Ничего не попадает

нам в руки готовеньким». Так что не страшно — все возможно исправить. Я его люблю.

Одно я знала твердо: только я могу быть его женой. Я помогу ему стать тем, кем он хочет стать: ученым, математиком. Если он слабый человек, у меня хватит силы на двоих.

Я тогда плохо варила супы и не умела делать котлеты, это верно, но я собиралась научиться. Я нарочно стряпала в экспедиции и справлялась.

Он не может быть подлецом. Но как же он может бросить меня? Почему он так легко от меня отказывается? Она беременна — вот что. Я не упрекала его. Зачем? Я должна была держаться хотя бы в его присутствии.

Она, оказывается, ничего не требует и не просит от него, и потому он тем более обязан жениться на ней. Какая доблесть! Я тоже ничего не просила и не требовала. Она, оказывается, любит его. Но я любила его всегда.

Я знала, что его родные против нашей женитьбы. Я им не нравилась. Они уговаривали его вообще подождать, не торопиться. «Из ранних браков ничего не получается», — наверно, говорили они.

Он побоялся на мне жениться — вот что. Или он разлюбил меня и полюбил ее? Так бывает. У меня так быть не может. Неужели человек может связать себя на всю жизнь только потому, что «так случилось»? Видимо, да, если он тряпка и трус.

Ничего подобного я тогда не думала. Тогда я понимала только одно: все кончено. Я не испытывала ни гнева, ни ревности. Это было потом. Вначале я была только несчастлива. Жить было очень тяжело.

На вокзале мы расстались. Я пожелала ему счастья. Я запомнила его лицо, бледное, неподвижное, в слезах. И утешила его на прощание: «Не горюй, ничего не поде-лаешь». Я ушла. Остальное неважно.

Что за человек сидел передо мной сейчас? Так же, как и он обо мне, я больше всего хотела знать, счастлив ли он. Непохоже. Почему у него такой усталый вид? Ведь ему только тридцать лет.

— Что же будет у тебя дальше? — продолжала я свои расспросы.

Николай пожал плечами.

— В этом году попытаюсь сдать кандидатские экзамены. Самое крайнее, в будущем. При том, что я работаю, это

займет немало времени. Не знаю, как вообще, получится ли что-нибудь из этой затеи.

Я подумала, что он сдаст эти экзамены, но время, время! Время уходит. Что, кто ему мешает? Семья? Семья — это счастье, которого нет у меня. Это помощь. Выходит, что для него это обуза.

А если не побояться сесть на стипендию, как многие студенты, у которых тоже есть семьи?.. Тяжело, конечно, тяжело. Жена ему поможет. Тише едешь — дальше не будешь. К тридцати пяти, сорока годам он, может быть, заработает себе право заниматься наукой. Не поздно ли это?

— Ну-ка, Машенька, встань, я на тебя еще посмотрю, — попросил он. — Худущая! Но, пожалуй, это лучше.

Наверное, его жена растолстела; раньше он говорил, что мне обязательно надо поправиться. Он попросил показать мои фотографии за эти годы. У него было смешное пристрастие к фотокарточкам. Я достала из сумочки пачку, отложила в сторону две бумажки: одна — выговор, другая — благодарность, полученные мною почти одновременно.

Несколько фотографий я показала Николаю. После защиты диссертации, на фестивале молодежи в Варшаве, за рабочим столом у себя в лаборатории, в белом халате, на фоне осциллографа, с сотрудниками на демонстрации Первого мая и даже где-то на трибуне с воинственно поднятой рукой.

— Честолюбивая! — засмеялся он. — Подари какую-нибудь.

— Не надо, — ответила я.

— Не надо, — вздохнул он.

Я хотела закурить. Николай отобрал у меня папиросу.

— Не кури.

Какое ему дело! Я закурила.

Почему я не рассказала о том, как я в действительности работаю? Прихожу домой ночью, ставлю одни и те же опыты до одурения. Получаю ничтожные результаты и все начинаю сначала. Как меня чуть не выгнали из института за год работы впустую. Что мое положение в лаборатории ничего, кроме забот, мне не прибавило, работать стало труднее. Как это все непарадно, бесконечно далеко от фотографий, которые я демонстрировала. И еще, что язык мой — враг мой. Последнего, впрочем, я могла не говорить: он это знал.

Мы заговорили о наших одноклассниках. Он знал обо всех и дружил со многими. А я растеряла старых друзей. Отчасти потому, что уехала из родного города, а может быть, потому, что одно время не хотела встречаться с ними. Ведь они все знали про нас с Колей.

Он посмотрел на часы.

— Поздно, Машенька? — вопросительно сказал он, поднимаясь. — У вас завтра ответственный доклад, Марина Сергеевна.

— Брось, мы редко видимся, — пошутила я и подумала: «Он нервничает, ему попадет за опоздание».

— Ну хорошо. — Он опять опустился в кресло.

— Тогда чаю. — Я выбежала в коридор, чтобы попросить чаю. Возвращаясь, взглянула на себя в зеркало. Щеки у меня горели. Новое бархатное платье, которое я на себя напялила, показалось мне неуместным.

— Так ты ничего о себе и не расскажешь? — спросил Николай, когда я вернулась. Я развела руками. — Ты не замужем. Почему?

Я опять развела руками, улыбаясь. Почему я не вышла замуж? Это длинная история, и к нему она уже не имеет отношения.

— Ты никого не любишь?

Я ответила, что люблю.

Нам принесли чай.

— Может быть, выпьем водки? — предложила я.

— Я не пью, то есть пью по большим праздникам, — ответил он и поправился: — Сегодня, конечно, большой праздник, что я тебя повидал, да, Машенька? Для меня, во всяком случае. Но пить не будем.

Большой праздник? А мне хотелось плакать.

— Еще через десять лет, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь уже профессором или академиком, а, Машенька?

Я не ответила: не люблю, когда надо мной шутят. Если говорить серьезно, то за десять лет я постараюсь сделать что-нибудь путное.

Что будет с ним через десять лет? Сделает ли он что-нибудь большое? Я от всей души желала ему успеха, но я уже не верила. А раньше я верила, и эти прошедшие десять лет я тоже верила. Мне хотелось гордиться им, но гордиться было нечем, это я поняла сегодня.

Я внимательно посмотрела на него, он отвел глаза.

— Коля!

— Что, Машенька? — тихо проговорил он.

— Ничего, — ответила я.

Мы замолчали.

Как же так? Любил меня, женился на нелюбимой. Мечтал о математике, родился математиком, а стал преподавателем топографии с дипломом металлурга в кармане. Опять нелюбимое вместо любимого. «Что, так спокойнее, Коля?» — хотелось мне крикнуть. Но я сказала:

— Изменился наш город.

— Ты согласна, Машенька, что тебе везет? Я знал и раньше, что тебе будет везти в жизни, — сказал Николай. Я пожала плечами. — Но счастлива ли ты — этого я так и не узнал.

— А ты, Коля? Ты счастлив?

— Я? Не знаю. Наверно, — ответил он. — Почему же нет?

Через полчаса он поднялся. Я сказала, что пойду проводить его. Он не хотел, чтобы я шла, и стал отговаривать меня:

— Нет, нет! Поздно. Мне уже пора. А как ты будешь возвращаться одна, Машенька?

— Ну, как я всегда одна возвращаюсь, так и сегодня вернусь. Не уговаривай, сказано — провожу тебя, — сказала я. — Я быстро: только наброшу пальто и отдам ключи от номера.

У него был плащ на вешалке в гардеробе; он сказал, что подождет меня у подъезда.

Когда я вышла из гостиницы, он стоял на улице. В руках у него был старенький портфель, под мышкой два батона, завернутых в газету.

Мы пошли. Как я давно здесь не была! Улицы знакомые, дома знакомые. Скамейки в сквере, и как будто я на каждой когда-то сидела.

Мы молча прошли несколько кварталов. За поворотом уже был его дом. Он опять взглянул на часы. Его ждали, он боялся опоздать, даже один раз за десять лет. Я вдруг подумала, что он изменяет своей жене. Не любит ее и изменяет.

— Давай прощаться, — сказала я, останавливаясь. — Давай пожелаем друг другу всего хорошего.

— Я желаю, — сказал он, — всегда желаю.

— И я, — сказала я тихо и обняла его. Мне было так тяжело, как будто он еще раз обманул меня. Моя первая любовь. — До свидания, — сказала я, — уже очень поздно.

— Посмотри на меня, Машенька, я хочу запомнить твое лицо,— сказал он.— До свидания.

Он пошел медленно вперед. Я осталась стоять на месте. Я испытывала в своем сердце только жалость к нему. Жалость. Я все стояла и смотрела ему вслед. Неужели это его я так любила когда-то?

Один раз он оглянулся. Может быть, он хотел все-таки спросить, счастлива ли я.

Я вытерла слезы. Не надо мне сюда ездить. Это слишком грустно.

Я еще долго видела его широкую спину, портфель и ба-
тоны, завернутые в газету.

ФЕДОРОВ И ТАНЯ

Сегодня я ему позвоню обязательно,— сказал Федоров и записал на календаре: «Позвонить Каштанову».

Полистав календарь, Федоров усмехнулся. «Позвонить Каштанову»,— промелькнуло пять раз за последние семь дней. А Федоров и был-то в Москве всего неделю. Но для встречи с Каштановым ему хотелось иметь полностью свободный вечер. Сегодня командировочный Федоров был свободен, а завтра он уезжал.

У Федорова была хорошая память. Он все помнил, что было в жизни, и Григория Каштанова, Гришку Каштана, он помнил прекрасно.

Дома у Федорова сохранилась фотография, наклеенная на твердый серый картон и помеченная на обороте двадцатым годом. Молодые красногвардейцы — какие молодые! — снялись перед отправкой на фронт. Он сам, Федоров, сидит в первом ряду, даже не сидит, а лежит. Сбоку винтовка. Федоров в длинной шинели, на голове буденовка со звездой. Лицом похож на девочку, на стриженую девочку шестнадцати лет. А Гришка Каштанов стоит, опершись на винтовку, высокий, могучий. Лица Каштанова на этой карточке сейчас уже нельзя разобрать, оно покрылось желтоватым пятном. Время, или солнце, или качество бумаги тут виноваты — неизвестно. Но Федоров помнит: лицо у Каштанова круглое, румяное, с очень черными, сросшимися на переносье бровями и широко расставленными глазами.

«Все мы были орлы-красавцы! — усмехается про себя Федоров, который не был ни орлом, ни красавцем.— И девушки нас любили».

— А этот самый Гришка Каштан один раз... это очень смешная история, я тебя предупреждаю,— говорит Федоров своей племяннице Тане, которая сидит на диване у него в гостинице, вместо того чтобы сидеть на лекциях в институте, и смотрит на дядю глазами, полными вежливо-невнимания.

Федоров смеется.

— Ты глупа и лентяйка, но эту историю ты должна знать.

Племянница вздыхает, она терпеть не может дядиных воспоминаний и историй, но она любит дядю и готова слушать.

А Федоров убежден в том, что он великолепный рассказчик.

— Я тебе уже говорил, что Гриша Каштан был самый высокий парень в нашем отряде. Это был громадина ростом... ростом с эту дверь наверняка. Представляешь? Уже смешно. Правда?

— Да, дядя,— соглашается племянница, следя за тем, как Федоров закуривает папиросу.

Ему запрещено врачами курить, но он и курит и пьет.

— У тебя, наверно, нет ни одного такого высокого знакомого парня,— говорит дядя.

— Есть,— отвечает племянница и едва заметно улыбается.

— Не думаю,— говорит Федоров,— не думаю. Неважно. Эта смешнейшая история произошла под Киевом. Смешнейшая,— повторяю. Мне надо побриться, но я могу бриться и рассказывать.

Федоров начинает бриться, оставив открытой дверь из ванной. Рассказав, как Каштанова перепутали с командиром полка и что из этого получилось, Федоров хохочет и высовывается из ванной, чтобы посмотреть, как смеется племянница. Та смеется хорошо, и дядя с одобрением и удовольствием смотрит на нее...

— Сейчас побреюсь, спустимся вниз, позавтракаем,— говорит он.

— Я сыта,— отвечает Таня.

— Сомневаюсь,— говорит Федоров и, надув намыленную щеку, прячет голову за дверь.

Теперь он начинает гудеть «Каховку». Он поет только две песни — «Каховку» и «Девушку с гор» — и только по утрам, когда бреется. Но, может быть, даже было бы лучше, чтобы он рассказывал, а не пел.

Потом Федоров причесывает перед зеркалом свои мягкие пегие волосы. Вынув из чемодана белую пикейную рубашку, он говорит:

— У меня своя мода. Собственная. Я ношу белые рубашки. У твоих знакомых таких рубашек в жизни не было. Это тебе понятно?

— Понятно,— отвечает племянница, глядя на лоснящиеся старые брюки Федорова и на узкий в плечах и короткий пиджак.

Завязывая галстук, Федоров говорит:

— Шерстяной плетеный галстук. У твоих щенков небось таких нет.

Потом он заводит часы, большие и круглые, которые кажутся огромными на худой руке Федорова.

— Одиннадцать часов, безобразия!— говорит он.— Безобразия! Идем.

Таня встает с дивана и постукивает об пол затекшей ногой.

После завтрака Федоров с племянницей идут гулять по Москве. Они обходят вокруг Кремля, ездят по новым станциям метро. Год назад Федоров тоже был в командировке в Москве, но тогда он ничего не успел посмотреть. Зато сейчас он не только выходит из вагона и осматривает подземные залы, но каждый раз поднимается по эскалатору и разглядывает станции наверху.

— Ох уж эта любознательность!— ворчит Таня.

Федоров порывается съездить еще на Сельскохозяйственную выставку, где он был только один раз вечером, но Таня категорически отказывается, говорит, что устала и больше не может.

— Ты глупа,— говорит Федоров,— ты глупа так же, как твоя мать. Так же, как моя жена. Я ненавижу ваши хитрости. Когда я болен, я лежу. Но вам никогда не понять, что пока человек интересуется окружающим, он здоров. А если он не интересуется, он болен. Я здоров. Понятно?

— Понятно,— отвечает Таня.— Я устала и хочу немного посидеть. Мы уже бегаем четыре часа без отдыха.

— Ты что, серьезно устала?— спрашивает Федоров, с насмешкой глядя на Таню.

Но Таня не боится его насмешек.

— Серьезно,— отвечает Таня, и они садятся на скамейку в вестибюле станции «Калужская».

Федоров вытаскивает из кармана смятую пачку папирос.

— Здесь можно курить?

— Нельзя,— быстро и радостно отвечает Таня.— Как раз нельзя.

— Звонить еще рано,— говорит Федоров.— Он, конечно, еще не пришел домой.

— А вдруг он не захочет с тобой встретиться?— говорит Таня.

— Ну что ты,— отвечает Федоров,— этого не может быть.

И он качает головой с растрепавшимися мягкими волосами.

— Ведь совсем не все так относятся к своему прошлому, как ты.

— Ну и дура! — говорит Федоров.

— Давай поедем в центр и там где-нибудь поедим сосисок, — предлагает Таня.

Федоров не голоден, но он не возражает Тане, и они едут до центра, там выходят из метро и, разыскав какое-то кафе на улице, едят сосиски, пирожки с мясом и пьют чай.

— Все-таки очень интересно, каким теперь стал Гришка Каштан, — улыбаясь, говорит Федоров, и на его смуглом костлявом лице собирается множество морщинок. — Очень интересно! Последний раз мы виделись на партконференции. Он был тогда директором завода, а я начальником одного строительства. А тебе было три года от роду. Понятно?

— Понятно, — отвечает Таня, — мне все понятно. — И смеется.

У Тани и у Федорова блестящие веселые черные глаза, у всех в семье такие глаза.

— Я давно потерял Каштанова из виду, а этой зимой прочитал про него в газете. Оказалось, что он теперь большой начальник. Я обрадовался, но не удивился. Он всегда был умница, да. Умнейший парень. Много лет прошло. Тоже, наверно, старый стал, и узнать будет трудно. Слушай, это у тебя хорошее платье? Если вдруг так получится, что мы вечером пойдем к нему в гости...

— Ничего, — отвечает Таня, — не очень, но сойдет.

Федоров гладит ее по волосам и улыбается:

— Если уж я стал такой старый гриб, то пусть ты будешь у меня как надо. Верно? Нам не пора подниматься?

— Посидим, еще есть время. Твой Каштанов наверняка еще не пришел.

— Мог уже и прийти. Вообще-то раньше он ленивый был, черт, не любил много работать. Но теперь, конечно, другое дело. — Помолчав, Федоров продолжает: — А я тебе говорил, как в двадцать втором году я, Петька Гуляев и Гришка Каштан...

— Говорил! — кричит Таня. — Ты все говорил.

Федоров добродушно улыбается:

— А ты, наверно, думаешь, что тебе будет скучно. Ну, поскучай один вечер. Завтра я уезжаю.

— Я ничего не думаю, — отвечает Таня.

Федоров смотрит на часы.

— Знаешь что, сходим в универмаг, купим что-нибудь моим ребятам, у меня есть сэкономленные деньги.

Таня соглашается с удовольствием. Она очень любит ходить по магазинам. Они идут и покупают внуку Федорова мяч, коричневые сапожки номер двадцать шесть, внучке лыжные штаны. От себя Таня покупает заводную лягушку. На подарок жене у Федорова денег уже не остается.

— Ну ничего,— огорченно говорит он,— так всегда. Куплю в следующий раз. Или отдам ей свою вечную ручку, она все равно ее всегда берет. Уже можно звонить.

Таня и Федоров идут в телефонную будку. Федоров набирает номер, а Таня стоит рядом и ногой держит открытую дверь, потому что в телефонной будке душно.

— Можно Григория, Григория... (Так и не вспомнил отчества,— шепчет Федоров Тане) товарища Каштанова. Извините, пожалуйста, когда он будет? Спасибо.

Федоров вешает трубку, вытирает платком испарину со лба. Душно и жарко.

— Его еще нет. Будет через час-полтора.

Таня с Федоровым опять идут гулять по Москве, идут медленно, и Федоров, по обыкновению, смотрит по сторонам.

— Приятный женский голос. Мне почему-то кажется, что он женился на одной нашей девушке. Я ее смутно вспоминаю. Она тоже была с нами на фронте. Но, может быть, конечно, я и ошибаюсь.

— Давай посидим в скверике против Большого театра,— предлагает Таня,— там очень хорошо.

Федоров кивает головой и прибавляет шаг. Таня еле поспекает за ним: так быстро он ходит. «Маленький, а крепкий,— с восхищением думает Таня, глядя на подобранную и совсем молодую фигуру дяди.— Больной, а крепкий,— размышляет про себя Таня.— В общем, молодец».

Они садятся на единственную не занятую в сквере скамейку, и Таня развязывает пакет, который она несла, и смотрит на сапожки, лыжные штаны и игрушку. Она всегда, не доходя до дома, на улице рассматривает покупки. Потом Таня долго завязывает пакет, но он уже не получается таким, как в магазине.

— Хорошая лягушка,— задумчиво говорит Таня и украдкой смотрит на дядю.

Он все-таки устал и теперь сидит, откинувшись на спинку скамейки, заложив ногу за ногу, и глаза у него закры-

ты. Предлагать ему идти в гостиницу отдохнуть бесполезно: он рассердится, накричит и все равно не пойдет.

— Ты чего? — не открывая глаз, спрашивает Федоров.

— Ничего. А сколько лет сейчас Каштанову? — Таня задает вопрос, чтобы доставить дяде удовольствие.

— Пятьдесят с чем-нибудь. Мы все ровесники своего века, — с некоторой выспренностью отвечает Федоров и молчит, ожидая, что скажет Таня. Но Таня не говорит ничего.

— Хочешь, я тебе еще немного расскажу про Гришу Каштанова? — предлагает Федоров.

— Как, еще? — ужасается Таня. — Я тебя очень прошу, дядя...

— А обо мне тоже была статья. В местной газете. Как об отличнике строительства. Два дома сдал раньше срока. Это не шутка! Экономия средств огромная. Я им показал, что такое Федоров.

Дядя хвастает. Таня к этому привыкла. Но, с другой стороны, это и не хвастовство, а чистая правда. Когда-то Федоров руководил крупными строительствами, теперь в Смоленске строит двухэтажные жилые дома. Обстоятельства, как видно, могут меняться к худшему, но человек, как видно, не меняется.

— И я опять премию получил, — говорит Федоров. — Еще рано звонить, черт бы его побрал!

Приходится сидеть и ждать. Таня начинает вместе с Федоровым разглядывать прохожих.

Сентябрь стоит очень теплый, народу на улицах много, все скамейки в сквере заняты. Рядом с Таней сидят двое стариков, по виду муж и жена, а рядом с Федоровым — девушка с туго набитым портфелем и пестрым платком, который она теребит в руках. Таня знает, что надо отвлечь Федорова от девушки, а то он начнет к ней приставать и спрашивать, почему она нервничает или даже кого она ждет.

— Сколько времени? — поспешно спрашивает Таня.

— Сейчас пойдем звонить, — Федоров сочувственно смотрит на девушку с платком и поднимается.

Таня уводит Федорова искать телефон-автомат.

Каштанова все еще нет дома, но он должен скоро быть, его ждут. Таня с Федоровым опять гуляют по улицам.

— А как ты объяснил, кто говорит? — спрашивает Таня.

— Старый фронтовой друг по гражданской войне, назвал фамилию.

— А она что?

— Ничего. Просила позвонить немного попозже. Наверно, он важный стал. Как ты думаешь?

— Может быть, и не стал. Не обязательно,— говорит Таня.

— Конечно, конечно. Но можно предположить, что стал.

— Ты же его так хвалил,— замечает Таня.

— А я ничего и не говорю. Прекрасный парень.

Таня с Федоровым останавливаются около Большого театра посмотреть, как люди идут в театр. Вернее, как бегут опоздавшие и томятся непопавшие.

— Внук растет,— почему-то говорит Федоров.

— Он на тебя похож,— отвечает Таня.

— Ну, звоним последний раз. Если нету — идем в кино. И все.

«Хоть бы не было»,— думает про себя Таня.

Но на этот раз Каштанов дома.

— Гриша, Гриша, ты никогда не узнаешь, кто с тобой говорит,— улыбаясь, кричит Федоров в трубку,— Киев помнишь? Партшколу помнишь? Это Федоров, Михаил Федоров, не Иван, а Михаил. Здравствуй, Гриша!

— А-а,— отвечает незнакомый голос.— Какой Федоров?

— Михаил Федоров. На партийной конференции мы с тобой виделись последний раз. Вспоминаешь? Здравствуй, Гриша!

— Здравствуй.

— Вспомнил наконец.

— Как же ты меня нашел? Разыскал?

— Ну нашел и нашел,— радостно и возбужденно говорит Федоров.— Как ты, Гриша? Какой стал, старый, толстый? А Снегирева помнишь? Я его вижу иногда.

— Снегирева помню.

— Ну, какой же ты стал, а?— продолжает быстро спрашивать Федоров.— Дети есть? Большие? Очень приятно, очень хорошо найти тебя.— Федоров растроганно улыбается, и Таня тоже улыбается, глядя на него.— Где ты сейчас работаешь, я знаю, прочитал в газете. Кого из наших видишь? Где Глебов? Розенштам? Живы?

— Не встречал.

— А я Иванеева встретил в Ленинграде. Он меня

узнал, а я его нет. Седой совсем, постарел, но молодец. Инструктор горкома.

— А ты сам-то где? — спрашивает Каштанов.

— Я приехал в Москву в командировку.

— А где сам-то?

— Работаю прорабом, живу в Смоленске. А ты как, все эти годы в Москве? Свиридов наш генералом стал, черт!

— Знаю Свиридова.

— Хорошо бы его повидать! Вспомнить старое, поговорить. У меня сохранилась фотография, перед самым фронтом мы снялись, там все наши ребята. Крылов умер недавно. И ты там есть, сбоку стоишь. А какие мы там молодые, Гриша, а? Сколько лет прошло, ну-ка, скажи!

— Много,— отвечает Каштанов.

— А голос ты мой узнаешь?

— Голос не узнаю.

— А я твой узнаю. Сперва не узнал, а теперь узнаю. Ну скажи что-нибудь. Сын у тебя? Или дочь? Может, внуки есть?

— Дочь.

— Узнаю твой голос, конечно, узнаю! А ты что такой скучный? Нездоров?

— Здоров.

— Что, Гриша, часто нашу молодость вспоминаешь? Я, признаюсь, часто. Даже вон племянницу замучил.

— Так ведь что вспоминать, работать надо.

— Это верно,— соглашается Федоров,— это ты верно подметил. Но я люблю нашу молодость. Дорожу, как говорится. Ну, Гриша, повидаться бы нам хорошо. Я с племянницей здесь.

— Я тут ни при чем,— сердито шепчет Таня.

— Так ты звони. Звони,— говорит Каштанов.— Позвони мне, знаешь когда? Сейчас посмотрю, подожди минутку.

— Жду, жду.

— Минуту. Позвони-ка ты мне в среду. Да, в среду! И мы условимся, когда встретиться.

— А я завтра уезжаю,— говорит Федоров.

— Будущая неделя у меня все занята, понимаешь,— продолжает, как будто не слыша, Каштанов.— Понедельник, вторник, среда...

— Так как же?

— Вот именно,— шутит Каштанов,— значит, в среду

и договоримся. А ты звони, звони, не стесняйся. Сегодня не дозволился, завтра звони. Понастойчивей, понастойчивей.

— Ну, будь здоров!— Федоров вешает трубку.— Как был дураком, так дураком и остался,— спокойно говорит он Тане, выходит из телефонной будки и останавливается.

— То есть как?

— А вот так.

— Что он тебе такого сказал?

— В том-то и дело, что ничего не сказал.

— А почему ты рассердился?

— Кто? Я? Где я рассердился?

— Нигде.

— Видишь ли, я никогда не был высокого мнения о Каштанове, но, конечно, я надеялся, что, может быть, за эти годы он стал человеком...

— Дядя,— восклицает Таня,— имей совесть! Ты целый день расхваливал этого Каштанова. Имей совесть!

— Ты глупа, и больше ничего. Разве я его хвалил? Я нашу молодость вспоминал, дурочка. И всех своих товарищей я хвалил. И буду впредь.

— Тэк-с,— говорит Таня.

— Ты Сергея моего видела?

— Видела.

— Плохой?

— Средний.

— А Егоров?

— Егорова я очень люблю. Я не спорю.

— То-то! А с Каштановым я и раньше никогда не дружил. Но не надо обобщать. Я очень не люблю, когда обобщают.

— Кто это, интересно, обобщает?

— Если один человек плох, то это не значит, что и другие такие. Жаль, целый день потерял. И зачем нам нужен был Каштанов, спрашивается?

— Нам!— возмущается Таня.— Мне он совершенно не нужен. И давай отойдем от автомата, а то на нас люди смотрят.

Федоров послушно делает несколько шагов, но опять останавливается.

— Танечка, ты на меня не сердисься?— виновато говорит он.

— За что?

— Целый день сегодня потеряла. Обидно.

— Чепуха!

— Но я тоже не виноват. Откуда я мог знать? А ты знаешь мое железное правило — я в человека верю. Я и тебя как учу? Если ошибся в человеке — жаль. Но исключение только подтверждает правило. А мы можем еще успеть в кино, как ты думаешь?

— Конечно. Тем более что в десять часов меня будут ждать около кино. Один знакомый.

— Что?

— Ничего. Идем. Только скорее, — весело отвечает Таня и берет дядю за руку.

Но Федоров продолжает стоять на месте.

— А почему ты раньше не сказала, что тебя ждут? Я не пойду.

— Не сказала, — смеется Таня. — Мы же к Каштанову в гости собирались, ты забыл.

— Не пойду. Зачем я пойду? Я не хочу вам мешать. Зачем я буду вам мешать?

— Но мне надо тебя с ним познакомить. Как ты не понимаешь? Ты пойми. Это очень важно.

— Ах, вот как, ах, вот как! — растерянно и ласково повторяет Федоров. — Тогда идем. Тогда мы идем. Одну минуточку. — И дядя поправляет свой вязаный галстук, одергивает пиджак и причесывает мягкие пегие волосы. — Идем. Если твой парень мне понравится, я скажу тебе прямо, но если не понравится...

— Он тебе понравится, — говорит Таня.

СЕСТРЫ

Это была маленькая, незаметная, тихая женщина с незаметным лицом. Звали ее Марией Ивановной. Она работала медсестрой в поликлинике районного городка, бегала по вызовам делать уколы и воспитывала двух детей. Воспитание заключалось в том, что она старалась этих детей накормить и при любом удобном случае отправить погостить к матери в деревню.

Отец двух ее ребят, мальчика и девочки, был когда-то завхозом в одном учреждении. Потом он работал механиком пишущих машин. Потом сбежал. Мария Ивановна разыскивала его пятый год.

— Я знаю,— застенчиво говорила она,— я знаю, он спился на нет. Четыре копейки за четыре года, и то нет от него. А двое детей законных. И не найти мне его никогда,— печально заключала она,— хоть всю жизнь буду искать. И не видела я от него ни слова, ни ласки, ни материальной помощи.

Теперь Мария Ивановна жила со слесарем. Парень был моложе ее, непутевый, пьющий, а она его любила и жалела.

— Ну что,— говорила она,— он несамостоятельный. Куда ж я его прогоню, квартиранта моего.

И она бегала с утра до вечера по вызовам, старалась заработать побольше, накормить посытнее двух своих ребятшек и квартиранта.

У Марии Ивановны была сестра Галина Ивановна. Сестра работала в загородном детском саду, но часто приезжала в город. Навещала племянников, ругала Марию Ивановну.

Галина Ивановна приходила к сестре, кормила ребят и садилась на кухне, тоже худенькая, в синем коротком халате с белым кружевным воротником и закатанными рукавами.

— Ну что,— спрашивала она,— квартиранта еще не прогнала?

И добавляла слово не для детских ушей. Мария Ивановна начинала плакать.

Тогда Галине Ивановне становилось жаль ее, жаль детей. Она окидывала глазами бедный дом с остатками мебели, нажитой тогда, когда пропавший законный муж еще не пил, а работал честно и все старался принести в дом.

— Сестренка, сестренка,— увещевала она,— вот ты взвесь и подумай. Я тебе безвредное и безъехидное говорю. Уж если у тебя любовь есть к нему какая, так он должен к тебе тоже сочувствие иметь. Или тогда прогони его.

Мария Ивановна плакала и гладила детей по головкам, слушала.

— Могла бы ты жить, как все люди,— говорила Галина Ивановна,— детей бы пожалела. У мальчишечки ни одной троечки нет, а ты ему не мать. Вот кудри себе навила. А все квартирант твой проклятый чужой. И детям чужой и тебе чужой. А чужие пройдут, как ветер пройдет.

Мария Ивановна никогда не плакала долго. Она вытирала слезы, сердце ее ожесточалось на сестру за такие разговоры.

— Твое горе для меня родное, кровное,— продолжала Галина Ивановна.— Ты наше детство вспомни, Маша. И в лаптях ходили, и картошку черную, гнилую ели. Сушили и ели.

Она открывала старую коричневую кожаную сумочку, подзывала детей и давала им по шоколадной конфете.

— Сушили и ели,— повторяла она задумчиво.— Я бы этого квартиранта своими руками...

Мария Ивановна хлопала дверью, уходила в другую комнату.

Дети бежали за ней.

— Мапочка,— утешала ее дочь,— сейчас тетьке Гальке ее конфетину отдам, что она тебя обижает. Отдать?

— Не надо,— говорила мать.

Галина Ивановна клялась, что больше никогда сюда не придет, пропадите вы здесь пропадом со своим квартирантом, и являлась ровно через три дня. И все начиналось сначала.

Сестры были непохожи. Мария Ивановна при всей ее незаметности была очень хорошенькая. У нее были пепельные вьющиеся волосы, уложенные пышным рассыпающимся валиком, большие серые глаза и красивые бледные губы. В ушах она носила красные стеклянные серьги. И на пальцах с коротко остриженными ногтями, желтыми от йода, два серебряных кольца, одно гладкое, другое с красным дешевым камушком.

Галина Ивановна была некрасивая. Волосы, прямые и светлые, как солома, висели вдоль длинного лица. Круг-

лые совиные глаза зеленоватого оттенка смотрели на мир испуганно и сурово.

Галина Ивановна была очень добрая, в детском саду ее любили все, особенно дети.

И она любила детей. Она говорила так:

— А я все к детям. Каждое слово от детей люблю. А своих нет. Сколько живу — и все время люблю. А своих детей не имею.

Галина Ивановна жила в комнате при детском саде. Комната была маленькая, квадратная, чистая, как будто накрахмаленная. Галина Ивановна рукоделием не занималась, жаловалась: «Шить и вышивать нет у меня влечения», но все это вязаное и вышитое, купленное на рынке добро было у нее в комнате в изобилии.

Судьба сестры и ее двух ребят была главным горем и заботой Галины Ивановны. Из-за них она подчас забывала и о собственном одиночестве. О себе говорила: «Я уже не думаю жить семейно».

Но это была неправда, и мысли о хорошем человеке приходили ей в голову постоянно. Как бы она заботилась о нем, работала, старалась. Несправедливой казалась своя судьба. Галина Ивановна нередко плакала над собой.

Думала и других спрашивала: «Какое же это счастье? Как бы его увидеть? Есть ли счастье? Вот над чем я думаю и думаю».

Знакомые считали Галину Ивановну чудачкой, она соглашалась и не обижалась.

— Некоторые так легко за жизнь берутся и так ведут. А я сорок лет доживаю и не умею. Чудная я. Самомнительная.

У нее была подруга, затейница из соседнего пионерского лагеря. Собственно, это она считала затейницу Люсю своей подругой, а как считала та, было неизвестно.

Затейница, забубенная голова, ходила в резиновых черных ботах на каблучках, носила широкий черный пояс, туго затянутый, и зеленое шерстяное платье с высокими плечами.

Галина Ивановна умела хорошо стирать и гладить. Она старалась постирать и погладить для Люси.

— Что мне с нею делать, — жаловалась Галина Ивановна затейнице на сестру, — такие ребятки превосходные. У мальчишечки ни одной троечки даже нет. А она? Так себя она не уважает. Что делать с ней?

Но Люся умела ловко прихлопывать тонкой ногой в резиновом ботике на высоком каблуке, и давать команду, и запевать хриловатым голосом, и бегать, и плавать, и метать диск. Давать советы?

— Она его мужем называет, а у меня одно слово — квартирант. Бесстыжий он все же. Цепляется за нищую юбку. Я, Люся, чужих никогда не сужу, а за своих болею. Это ж позор, перед детьми позор, — печально повторяла Галина Ивановна, разглаживая зеленое платье Люси.

Люся в черной комбинации, не снимая бот, сидела на белоснежной кровати Галины Ивановны. Люся была единственным человеком, которому это позволялось.

— Вот это платье какое у тебя носистое, прочное, — заметила Галина Ивановна и продолжала главное: — И не бросит ее он никак, ведь он моложе. Нашел бы себе другую, молодую. Для нее это будет боль несветимая, а потом она себя вспомнит. Детей будет растить.

— Она другого найдет, раз она такая, — сказала Люся, нетерпеливо следя за утюгом.

— Найдет, эта найдет. В кого она такая? И не трогай меня, говорит, и не наставляй. Я без мужа жить не буду, не хочу. Что с ней говорить, только хуже будет. Извдилась она. Квартирант выпивать принесет и ее соблазняет. Вот еще что. Конечно, возраст у нее еще не уклонный, не после пятидесяти. Если бы не дети, пускай бы делала, что хочет. А детей жалко: перед детьми. Они все понимают. Уже, наверно, осудили ее.

— А забери себе детей, в крайнем случае по суду. И воспитывай, — посоветовала Люся, надевая через голову платье. — Я побежала.

— Она не отдаст. Беги, беги, завтра приходи, — попрощалась Галина Ивановна, одернув платье Люсе, — расскажешь, как гуляла. Картину будете смотреть?

— Обязательно, — уже из дверей сказала затейница.

— Содержание расскажешь.

Галина Ивановна прилегла на кровать. Она была после ванны, ее красное, распаренное лицо лоснилось, глаза были полузакрыты, волосы закручены и повязаны вафельным полотенцем.

— Прямо сплю я беспощадно, — проговорила она, — беспощадно сплю. Особенно после купанья.

Она сразу задремала, и ей приснилось, что они с Машей, молоденькие, сидят в избе, мама с ними, и ткут на

маленьких станочках. И у них с Машей плохо получается, а у мамы такая красота, на полотенце какие-то человечки в шапках, и птицы, и цветы.

Что-то стукнуло, и Галина Ивановна проснулась.

В комнату вбежала Мария Ивановна и повалилась на стул. Красные пятна горели у нее на лице, бледные губы были еще белее обычного, она задыхалась, не могла говорить.

— Что? — крикнула Галина Ивановна. — Говори, что?

— Дети, — простонала Мария Ивановна, — в деревне пожар.

— Что ты знаешь?

— Сгорел дом, дом на особняке, — выговорила Мария Ивановна и стала раскачиваться на стуле, закрыв глаза.

— На особняке только мамин дом, — сказала Галина Ивановна. Она уже вскочила с кровати, сбросила фланелевый халат и полотенце с головы.

Мария Ивановна с белым лицом, сцепив руки, мерно раскачивалась из стороны в сторону и стонала.

Галина Ивановна оделась.

— Что ты еще знаешь, Маша, говори, — просила она. Мария Ивановна не отвечала.

До деревни, где жила их мать и гостили дети, было километров сорок. Нужно было достать машину.

— Ну, поехали. — Галина Ивановна еще не знала, как они будут добираться. В деревню ходил автобус, но не в это вечернее время.

Если Люся еще дома, если еще не ушла, а сидит и ждет ухажера, Галина Ивановна знала, она поможет. Люся человек действия. Недаром ребята с таким удовольствием выполняют все ее приказания.

— Можно еще попробовать позвонить, — тихо сказала Мария Ивановна и опять застонала. — О-ох, о-ох, горе!

— Поедем, — приказала Галина Ивановна, — надо ехать.

— Я не поеду, я боюсь, я не поеду, я боюсь, — повторила Мария Ивановна.

— Ну сиди здесь, бессовестная! — крикнула Галина Ивановна. — Какая ты мать после всего!

— Ой, ой, ой! — причитала Мария Ивановна и не двигалась с места.

— Но если дети живы и ты после этого не выгонишь своего квартиранта, то после этого ты...

— Никогда... никого... я выгоню... деточки, — рыдала Мария Ивановна.

— Ну поедем, перестань, Маша, разве можно так,— попробовала успокоить сестру Галина Ивановна.

— Не могу, боюсь,— всхлипывала та.

Беспомощная, жалкая, Мария Ивановна ничего не могла. Только плакать, вскрикивать и раскачиваться на стуле.

Галина Ивановна убежала, а сестра осталась сидеть на стуле, время от времени повторяя: «Выгоню его, выгоню... дети».

Люсю Галина Ивановна встретила около своего дома, и Люся, конечно, помогла. И Люся и ее ухажер побежали вместе с ней и достали машину. Люся, ничего не спрашивая, села и поехала вместе с Галиной Ивановной, а ухажер сказал, что он будет их ждать и не ляжет спать, пока они не вернутся.

— Все будет в порядке,— добавил он и отдал Люсе свой пиджак.

— А мы утром вернемся, не раньше, это далеко, иди лучше в кино,— сказала ему Люся, ловко прыгнув в кузов грузовика.— Только один иди, на мой билет никого не води. Какому-нибудь мальчику отдай. Слышишь!

Темная деревня спала; крайний дом, где жила мать, стоял на месте, и Галина Ивановна с Люсей с трудом достучались, перебудили ребят, разбудили старуху.

Тревога оказалась ложной, у кого-то сгорел сарай. Проснувшиеся ребята сказали, что сарай горел быстро, хорошо, но бабушка цыкнула на них. Пожар в деревне внушает ужас старому человеку.

— Сгорел сараюшек, все одно страшно,— сказала старуха.— А ты чего переполошилась, доченька, ночью приехала?

При свете яркой лампочки Галина Ивановна разглядела, что племянники загорели, посвежели и глаза у них веселые, детские. Не то что в городе,— там ей всегда казалось, что они смотрят всепонимающе, как взрослые. Про мать они спросили только один раз, почему она не приехала.

— Мама дежурит,— ответила Галина Ивановна, зная, что дети гордятся, когда их мать дежурит.

Маленький старинный ткацкий станочек, который она недавно видела во сне, стоял в углу. На нем уже много лет никто не ткал.

На обратном пути Люся крепко спала на плече у Галины Ивановны.

— С добрым утром,— сказала она, проснувшись только около своего дома.

Войдя к себе, Галина Ивановна не удержалась и обняла сестру. Обе заплакали.

Потом Мария Ивановна стала собираться в город, в поликлинику. Галина Ивановна сказала ей, что навестит ее вечером.

— Ты помнишь, Маша, что обещала? Теперь все по-другому будет? По-иному? — напомнила Галина Ивановна на прощание.

Мария Ивановна несколько раз кивнула и судорожно обняла сестру.

Вечером Галина Ивановна задержалась, приехала поздно.

В кухне за столом сидели квартирант без рубашки в одной майке и раскрасневшаяся сестра в шелковом платье. Перед ними стояли граненые стаканы, котлеты на сковороде и бутылка водки.

— Такая радость, выпей за такую радость,— обращаясь к Галине Ивановне, заговорила сестра.— А я думала: дом на особняке — это только мамин дом, а это оказался простой сарай. А дети живы-здоровы и даже поправились. По такому случаю выпить надо. Вот он принес. Ты его не любишь, квартиранта моего. А вот он принес за детей моих выпить, и ты...

Галина Ивановна повернулась и вышла...

ПЫЛЬ И ВЕТЕР

Эта встреча не была случайной. Что же случайного, когда встречаются два человека, которые называли друг друга друзьями. И хотя прошло семь лет, как они не виделись, и все эти семь лет они как бы ехали от одной точки в разные стороны, они встретились.

Ветер гнал, и гнал, и крутил колючую пыль. Та самая пыль, которая еще два часа назад лежала на дорогах серой ватой, сейчас сделалась острой, как железные стружки, перестала быть пылью, превратилась в песчинки, камушки, камни, щепки. И все это летело в лицо, в глаза, за шиворот. Будто кто-то нагибался, поднимал с земли все, что только можно было подобрать, и злобно швырял в людей, бежавших по улице.

Привыкнуть к этим ветрам и к этой пыли было невозможно. Надо было закрывать голову и лицо и бежать как можно быстрее.

Нина возвращалась с работы домой. Было три часа дня, суббота. Один раз она выругалась: «Эта чертова пыль!» — и тут же раскаялась: пыль оказалась на зубах, и пришлось плевать и вытирать зубы платком.

— Нинка! — услышала она веселый забытый голос. — Ниночка!

Высокая женщина в белом платье с волнистыми разводами пыли встала перед Ниной. Это была Тося, почти Тося, потому что была гораздо старше Тоси. Мелко завитые короткие волосы металась над головой спокойной большой женщины, которая смотрела на Нину с улыбкой, не отрываясь. Они обнялись.

Нина показала рукой на ближайший подъезд, и обе, обнявшись за плечи, быстро пошли туда.

— Ну и пылица в вашем городе! — сказала Тося, вытирая лицо платком; запахло духами.

— Это здесь редко бывает, — сказала Нина, хотя ветры были бичом городка и сама Нина любила говорить: «Живем как в трубе».

«Здорово мы постарели!» — думала Нина, глядя на подругу, с которой пять лет была неразлучна в институте.

— Нинка, Нинка! — говорила Тося. — Наконец-то мы повидались! Ты молодцом, не переменялась. А я? Не та? Что ты смотришь?

— Смотрю,— сказала Нина,— просто смотрю. Радуюсь. И это была неправда. Радости Нина не ощущала.

— Сережа ехал сюда, я уговорила взять меня с собой. Ехала и боялась, вдруг не застану, вдруг ты в отпуске, или в командировке, или еще где-нибудь. Может быть, замуж вышла, думала.

— Пока что не вышла, никто не берет,— сказала Нина.— Ты сегодня приехала?

— Утром. Столько рассказать надо, спросить еще больше! Пойдем к тебе.

Квартира у Нины была хорошая, как все новые квартиры в городе. Старых, впрочем, здесь вообще не было. Светлая, с газом, с паровым отоплением, с ванной. Ванна — счастье в этой пылище. Но дома, Нина это знала, был беспорядок, потому что мать болела и еле управлялась всех накормить, сестра разбаловалась и, кроме спорта, ничего не хотела знать. Братья старались помочь чем только могли, но старший работал на буровой, другой — на промыслах и учился в техникуме, третий учился в институте. К счастью, они приходили домой только обедать и спать. Они были рослые, крикливые, у них было много товарищей, они были молодые, с хорошим аппетитом и любили петь. Они не могли не шуметь.

Ветер немного утих.

— Пойдем,— позвала Нина.

Мимо, свистя на все лады в стручки акации, прошла группа ремесленников. Ремесленники почтительно поздоровались с Ниной, потом опять начали свистеть.

Около дома Нины маячила старуха, мать начальника одной из контор бурения. Старуха наблюдала за всей улицей, всегда знала, кто к кому пошел в гости, кто когда вернулся с работы, кто сегодня выпивал, а кто опохмелялся. Но так как основная обязанность старухи состояла в том, чтобы присматривать за внуком, она время от времени громко кричала, ни к кому не обращаясь: «Не озоруй!» До внука эти наставления не доходили: он старался держаться от дома подальше.

Старуха проводила видную Тосю одобрительным взглядом и крикнула: «Не озоруй!»

На Нину старуха тоже посмотрела дружелюбно: она уважала Нину и не раз высказывалась, что лучше бы ее сын женился на ней, чем на той, на которой женился.

— Ну как ты? — все спрашивала по дороге Тося.

— Хорошо,— отвечала Нина и думала: «Потом расскажу все, обязательно расскажу или ничего не расскажу».

Тося, всегда разговорчивая, слезливая, охотно откровенничала, и сейчас у нее стояли слезы в глазах: она была растрогана встречей. Лицо у Тоси было круглое, красивое, движения плавные. Красивая дебелая женщина средних лет.

А Нина была худая, тонкое платье не могло скрыть выступавших лопаток на спине. Женщина, которой мучительно нужно отдохнуть, а если бы она отдохнула, тогда бы еще можно было увидеть, что она и молода и привлекательна. У Нины были яркие синие глаза на загорелом дочерна лице. Кожа в который раз за лето лупилась на носу, губы, четкие и небольшие, накрашены неяркой помадой. Пальцы рук испорчены ревматизмом, полученным здесь в первые суровые зимы; морщины едва заметной белой паутинкой лежали вокруг глаз. И все-таки она выглядела гораздо моложе Тоси. Казалось, ей нужно только отдохнуть и начать улыбаться.

Голос у Нины был глухой, хрипловатый, как будто простуженный. А Тося разговаривала громко, певуче и слушала сама себя.

Нина сразу вспомнила эту манеру подруги. Тося рассказывала себе, никому другому.

— Семья хорошая, дочки послушные, а Сережа золотой, только очень упрямый. Но я не спорю с ними, мне лишь бы тихо было, я всем уступаю, и все довольны.— И она покивала головой, соглашаясь с собственными словами и одобряя собственные мысли.

«Как она скучно говорит!» — подумала Нина.

— И квартира у нас хорошая. Правда, сейчас можно будет другую получить, мне наш район не нравится: зелени мало и этаж высокий. Знаешь, я всю эту зиму болела,— продолжала Тося.

Слова о болезни звучали смешно: Тося была воплощением здоровья.

— Вот что значит внешность обманчива! — засмеялась Нина.— Перестань, Тоська, какая ты больная!

Но Тося не улыбалась.

— Внешность обманчива, это верно. Ты небось здоровая, хоть и худая.

Нина решила не распространяться о своих болезнях.

Мать Нины, увидев Тосю, заулыбалась, всплакнула,

сказала: «Вот ты какая стала!» — и перевела взгляд на дочь.

— Лида где? — спросила Нина про сестру. — Опять бе-
гает?

— Она на соревнования просится ехать, — виновато проговорила мать. — Я не разрешила.

— Я знаю, как ты не разрешила! — пробурчала Нина. — Но я ее не пушу. Зачеты надо сдавать, а рекорды потом будет ставить. Когда диплом в кармане будет. На этот раз обойдутся без нее.

— Ты ей так и скажи, она тебя послушает, — сказала мать, — а меня она не послушает. — Мать помолчала. — Только ей очень хочется поехать. Она всех подведет, если не поедет.

Нина устало вздохнула.

— Останется без образования. Потом будет жалеть, поздно будет. Пускай едет, я ей не сторож.

Пообедали, сели на диван.

— Я в ванну воды набрала, можно мыться, — осторожно сказала мать и пояснила Тосе: — У всех огороды, поливают, а нам приходится воду запасать, иначе и не поможешься.

— Некоторые огородники у себя под каждый куст кран провели. По десять кранов в саду, пустят воду — и все. А другие без воды сидят, — сказала Нина. — Безобразия! И в газету писали и говорили без конца. Все бесполезно.

— Под каждым кустиком у них кран, — повторила мать. Видно было, что она привыкла повторять за Ниной.

Мать вышла, Нина и Тося остались вдвоем. Нина чувствовала себя напряженно. «Чужими стали», — подумала она и со смущенной улыбкой посмотрела в лицо подруге. Нина вспомнила, как на последнем курсе Тося была озабочена тем, чтобы выйти замуж. Она влюблялась в одного, в другого, наконец вышла замуж за того, в кого влюблена не была. Она объявила: «Он хороший», — и сложный вопрос был разрешен, Тося пристроилась.

Тося вздохнула, она, видно, тоже о чем-то вспомнила.

— Ну, Ниночка, рассказывай, рассказывай, как живешь. Работать тяжело? Ведь работа такая, самая мужицкая, я-то знаю. И условия здесь все-таки тяжелые, зря ты хвораешься, — говорила Тося.

Но Тося не знала этой жизни, этой работы, она не работала ни одного дня. Когда-то давно она была здесь

вместе с Ниной на практике, когда здесь ничего не было, все только еще начиналось. И города этого не было, и бесчисленных вышек, которые видны из окна далеко вокруг, и дорог, прекрасных, ровных, асфальтированных дорог. И что из того, что эти дороги зимой заносит снегом и к буровым приходится добираться на тракторах, что эти дороги иногда обрываются в самом неожиданном месте и дальше приходится ехать по мягкой проклятой пыли и днем включать фары на машине? Эти дороги весной заливают, потому что даже маленькая речка может весной доставить большие неприятности.

Из них двоих это знает только Нина. Тося не знает ничего.

— Я вижу, здесь и со снабжением неважно,— продолжила Тося с искренним участием.

— Со снабжением?— Нина пожала плечами.— А мы считаем, что в последнее время стало гораздо лучше.

— Что ты говоришь? Я прошла по магазинам.

— Не знаю. Мы не жалуемся. Предыдущие годы было плохо, а сейчас наладилось.

— Значит, вообще все хорошо?— Тося говорила уже с иронией.

— Ну не все,— ответила Нина.— Плохо, когда зимой бураны, когда летом ветры, когда осенью дожди, а весной вода. Мы, знаешь, здесь очень зависим от стихии.

— Нинка, ведь я вижу, что тебе тяжело. По твоим глазам вижу. Я тебя знаю, не забыла.

— Мы буровики! — усмехнулась Нина.

— Сколько раз в жизни я слышала эти слова: мы буровики!

— А я, наверно, еще больше,— ответила Нина.— Когда мой начальник меня куда-нибудь посылает к черту на рога, он всегда говорит: «Она все может, она выдержит, она буровик».

— Помнишь, когда мы приезжали сюда на практику,— сказала Тося,— здесь был буровой мастер, не помню его по фамилии. Он все повторял: «Бегите, девчата, бегите от нефти подальше, пока не поздно. Женский полк здесь лишний». Он так смешно говорил: «женский полк».

— Да, женский полк. Фамилия этого мастера — Королев, мы с ним друзья. А бежать мне уже поздно. Ты убежала, ну и молодец, а мне уже поздно.

— Послушай, Нинка, мне пришла в голову идея: просись в управление. Ты на хорошем счету, верно? Тебя

возьмут в управление. Просись. Все-таки областной город, не сравнить с этими твоими промыслами. Квартиру получишь, не сразу, но получишь. Строительство идет большое. Пока не поздно, просись.

— Как это «просись»? — задумчиво проговорила Нина.— Я не умею. Конечно, если очень постараться, можно отсюда уехать. Мне даже в прошлом году предлагали, я отказалась.

— Хочешь, я похлопочу? То есть попрошу Сережу, он поговорит с кем надо, может быть, что-нибудь и получится, а, Ниночка?

Нина улыбнулась.

— Вот теперь ты улыбнулась, как раньше! — закричала Тося.— Честное слово, давай похлопочу!

— Ты всегда была добрая, Тосенька. Только не хлопочи. Куда мне отсюда ехать? Сама подумай. Я к нефти привязана. А девонская нефть — особенная, ее трудно доставать. На две тысячи метров бурим. Ты не смотри, что я в производственном отделе сижу. У меня работа не бумажная, я с каждой буровой связана. Между прочим, в Горелове новое месторождение открыли совсем недавно, не слышала? Район еще, конечно, не обустроенный... Но я согласна туда ехать. Не веришь?

— Не верю! — сердито ответила Тося.— Это глупо! Просто глупо!

— Мы буровики! — уже совсем свободно и весело рассмеялась Нина.— И потом, я здесь семь лет. Видишь, сколько мы здесь за это время разбурили, город построили. Неплохой город? Вот на этом самом месте, где мой дом, было картофельное поле, и я сама здесь картошку сажала, вкусная картошка была.

— Ты лучше скажи, почему ты замуж не вышла.

— Никто не взял,— весело ответила Нина.

— А Володя?

— Володя испугался. Когда папа умер, у меня на руках как-никак пятеро осталось. Теперь мы ребят вытянули, только Лидка дурная, ее добыча нефти мало интересует, ее интересует рекорды ставить.

— А ты?

— А я? Что я? У меня даже цветы не цветут. Рука тяжелая. Круглый год листья желтеют и ни одного цветочка. И солнца, кажется, в квартире достаточно. Рука у меня тяжелая.

— Слушай, переводись в управление, в большой город.

Твои иждивенцы уже на ногах, можешь для себя пожить.

— Смешно ты говоришь. Как это я переvedусь? Только меня и ждали!

— Это можно устроить.

Нина опять засмеялась, поцеловала Тосю, встала с дивана, перевесилась через окно и посмотрела на улицу. Старуха, как изваяние, стояла в подворотне. Стережущие черные глаза вопросительно и сурово посмотрели на Нину: что ты высовываешься, в чем дело? Но, увидев, что Нина улыбается, старуха засмеялась, обнажив ровные белые зубы, хотела что-то спросить, но непредвиденные дела отвлекли ее, и старуха метнулась во двор.

Нина стояла перед Тосей, худая, стройная, в хорошо сшитом платье.

— Ты что, спортом занимаешься? — ревниво спросила Тося, глядя на нее.

— Да, спортом. Бурением.

— Я серьезно. У тебя все-таки очень здоровый вид. А я весь год болела. В Москву ездила, в клинике столичной лежала. Не могут поставить диагноз. Врачи!

— Может быть, это потому, что нет болезни? Нет болезни, нет и диагноза!

— Ты все шутишь. Мне пора идти в гостиницу. Сережа будет ждать. Завтра давай увидимся утром и обо всем поговорим. Трудно так, сразу... за столько лет!

— Ладно. Я тебя провожу.

— Кто тебе шьет?

— Сама.

Первым, кто встретился на улице, был буровой мастер Королев. Он шел злой, вспотевший, в толстом плаще зашитного цвета с капюшоном.

— Лучше жара, чем пыль! Здравствуйте, — сказал он, останавливаясь. — Нина, у вас вода есть?

— Есть. Здравствуйте!

— А у нас нету. И ни горком не знает и ни один слесарь не знает, отчего в городе воды нет. Ну, а я на исполкоме послезавтра доишусь. Вода будет! Нет, наш город еще до ума доводить надо. А эту барышню я помню, — сказал Королев; у него была поразительная память.

— И я вас помню, — ответила Тося.

— В гости приехали?

— В гости, — ответила Нина.

— А где работаете?

— Она не работает.

— Вот и правильно! — одобрил Королев. — Зачем это работать? Я вот тоже скоро брошу, сад разведу, облепиху посажу — есть такой прелестный кустарник. — Королев расстегнул свой негнувшийся плащ, загородился от ветра, закурил. — Где жара и где ветры, там нефть, я уже заметил, — сказал он Нине.

— Вы бросите когда-нибудь курить? — спросила Нина.

— Нет! — крикнул Королев. — А хоронить меня будешь, в гроб рядом со мной пачку папирос положишь. А то жена забудет. Понятно?

— Понятно! — крикнула в ответ Нина.

Королев, сощурившись, посмотрел на нее.

— Вон подруга твоя не работает, даром что инженер, с дипломом. А ты зачем на буровых горло дерешь? Охрипла вся, смотреть на тебя нехорошо. Хотя бы тогда побольше в кабинете сидела, бумаги писала!

— Я не могу, мне работать надо... А я скоро уеду, — сказала Нина, — новое месторождение осваивать.

— Неизвестно, однако, какая еще там нефть — большая или маленькая! — проворчал Королев. — А жаль, дочка, тебя с нами в Чусовских городках не было: начало нефти-то оттуда. Ты сама тоже уральская, да?

— Я вам сто раз говорила, что не уральская, — ответила Нина.

— Ну-ну, ты старику так не отвечай дерзко. Значит, поедешь в Горелово? А кто тебя гонит? Жених твой?

— Никто. Сама.

— Так, так. Хотя я всегда говорю и еще повторю, что женский полк в наше дело не годится. Вон подруга молодец, что бросила! И ты бросай. И я брошу! А ты что, подругу на промыслы ведешь, показывать, что ли? Вы осторожней ходите: нефтишка-то — она ведь коварная. Будьте здоровы!

Королев надвинул капюшон, потрепал Нину по плечу и быстрыми шагами рванулся вперед.

— Сердитый какой! — сказала Тося. — А вспомнил меня. Про какого это он жениха говорил?

— Да так. Шутил.

— Что ты врешь? Таишься от меня, неоткровенная ты стала.

— Ни от кого я не таюсь! — ответила Нина, глядя вслед Королеву, который в своем плаще был похож на монаха.

Тося обиженно замолчала.

Проводив подругу до гостиницы — двухэтажного дома, затененного тополями, Нина медленно пошла домой. Все эти годы, вспоминая Тосю, она завидовала ей. Устроенная жизнь! Как ей тоже хотелось устроенной жизни! Сегодня она перестала завидовать Тосе. Она вспомнила красивое и доброе Тосино лицо, ее участливые слова, потом жалобы на здоровье. Потом вспомнила Королева. Рассердился он на Тосю. «И ты бросай! И я брошу!» Вся жизнь его тут. Он на буровой и умрет. Да, попробуй брось! Как это Тося говорила: «Просись»? Смешное слово. Отсюда, где каждый дом вырос на глазах, каждая улица? Не одна вышка встала при ее участии. Буровики, суровые люди, говорят ей «ты», называют сестренкой. Ей суждено быть счастливой только здесь, в этих краях, где глубоко под землей лежит нефть, а по земле ходят люди, которые эту нефть добывают.

Сестра Лида, маленькая, стриженная, туго перепоясанная красным ремешком, неизвестно откуда очутилась перед Ниной. Голова у нее была склонена набок, лицо просительное, она заглядывала Нине в глаза.

— Ниночка, я тебя умоляю! Только ты не сердись, ты послушай. Последний раз. Я экзамен сдам. И зачеты. Я их почти сдала. Я всех очень подведу, если не поеду. Ты бы на моем месте...

— Безобразие, — сказала Нина, — форменное безобразие все эти соревнования!

— Последний раз! — проникновенно просила младшая сестра. — Чтобы никого не подводить!

Нина отчетливо видела клетчатую ковбойку за углом соседнего дома. Лида сделала жест рукой, и ковбойка скрылась.

— Ладно, — сказала Нина. — Имей в виду, это плохо кончится.

— Соревнования? — испуганно спросила Лида.

— Нет, экзамены.

— Никогда! — воскликнула Лида и убежала за угол соседнего дома.

Нина подошла к своему дому, остановилась около старухи, вместе с нею стала смотреть на улицу. По улице шли знакомые. А тех, кого не знала Нина, знала старуха.

— Это Еремкины, они немирно живут. А этого ты знаешь, его все знают, ловильный мастер. Трезвый.

Старуха не без кокетства поздоровалась с проходившим мимо высоким бритоголовым человеком.

Прошел помбурильщика Цветков, веселый могучий парень, помахал Нине газетой. Две подруги с третьего промысла в одинаковых платьях, в одинаковых туфлях медленно шли под руку.

— На танцы,— сказала старуха.— Больно рано собрались.

Небо было темное, дул ветер. Вдруг показалось солнце и осветило огромные серебряные баки на склонах ближних зеленых холмов за городом.

Ветер приносил запах полыни с холмов. В городе нефти не пахло нефтью.

На улице вдруг стало оченьлюдно.

— Кончилось кино,— заметила старуха.— А это кто?— спросила она, показывая на смуглую черноволосую девушку и парня в кителе без погон.

— Незнакомые, наверно, недавно здесь,— сказала Нина.— А я решила ехать в Горелово.

— Да ну!— сказала старуха и вытянула губу, поросшую темными усиками.— Одна? С ним?

Нина покраснела.

— Он не промахнулся,— сказала старуха,— неплохую выбрал. А нефть там большая?

— Не знаю. Посмотрим,— ответила Нина.

— Д-да. Значит, так,— проговорила старуха,— поздравить надо.

И вдруг закричала:

— Не озоруй!

Показался и исчез ее внук.

ДЕВОЧКА И НЕФТЬ

Во дворе и на улице это была самая высокая девочка. В четырнадцать лет, когда другие девочки уже начали хорошеть, она оставалась все такой же долговязой и бледной, с удлинненными черными глазами и широким приплюснутым носом. На голове у нее торчала копна жестких, как из проволоки, черных волос.

Ходила она, топала ногами, не знала, куда деть большие, красные, обмороженные руки, и прятала их за спину и застенчиво-вопросительно смотрела на людей. Она всегда была одета в одно и то же клетчатое платье. Материя попалась прочная, платье не снашивалось, оно только делалось коротко, и его приходилось надставлять. Внизу были пришиты две широкие полосы другого цвета.

Девочку звали Вале́й. Мать у нее умерла, а отец был геолог, разведчик нефти, постоянно в отъезде.

Валя росла одна. Никто не спрашивал у нее отчета ни в чем, никто ничего от нее не требовал. Отец иногда с тоской смотрел на дочь и думал: «Плохо тебе без матери. Как ты растешь, чем тебе помочь?» И еще отец думал себе в утешение, что в конце концов все вырастают и становятся людьми.

Видя тройки в ее дневнике, отец стыдился ругать Валею, только спрашивал:

— Ну что же это ты, как же так?

Валя никогда не оправдывалась, не говорила, что учительница виновата.

— Это ничего, папа,— говорила Валя,— я могу исправить.

Но не исправляла, это было неважно и для дочери, и для отца.

— Лучше расскажи, как у тебя дела,— спрашивала Валя отца.

Отец Вали тоже был высокий, с торчащими седеющими волосами, губастый, широкоскулый, с такую же удивленной улыбкой. И так же, как Валя, сутулился из-за своего высокого роста.

И отец начинал рассказывать про новое, недавно открытое месторождение нефти. Богато нефти, говорил он, но трудно будет первую зиму с жильем, в деревнях теперь на квартиру пускают неохотно, в деньгах не заинтересованы.

— А где дальше бурить будете? — спрашивала Валя. Отец показывал по карте.

Вечером к отцу приходили товарищи, и Валя, засыпая на кровати за ширмой, слышала их голоса.

— ...Так, конечно, дикой кошкой мы вышку ставить не будем!

— ...Ты одного токарька приладь, он тебе потихонечку твои трубы и нарежет.

— ...Тогда начнем вызывать нефть...

Валя улыбалась. В детстве казалось странным, как это вызывать нефть. «Нефть, нефть, иди сюда». Теперь она знала, как вызывают нефть, как бурят, знала все, о чем говорили отец и его товарищи.

Уезжая, отец просил соседку Анну Сидоровну и новую соседку Цветкову, молодую женщину, которая недавно появилась в квартире:

— Присмотрите за дочкой, пожалуйста, опять, понимаешь, уезжаю.

— Приглядим, — весело отвечала Анна Сидоровна, — цела будет.

Цветкова говорила вслед Валиному отцу:

— Других забот у нас нет. Интересно это как.

И высоко вскидывала узкие плечи.

У Цветковой был муж слесарь, работающий и молчаливый, и двое детей, мальчик и девочка, погодки. Цветкова сразу начала беспощадную войну с Анной Сидоровной, требуя, чтобы дети играли на кухне. Анна Сидоровна не разрешала. Цветкова шумела.

— Детям на кухне даже поиграть нельзя. Ну, первый раз встречаюсь с таким случаем!

— Кухня — это кухня, — отвечала Анна Сидоровна.

— Вам разве не все равно? — спрашивала Цветкова и упиралась руками в крутые бедра.

— Кухня — это кухня, — тихо, с бешенством повторяла Анна Сидоровна, — я вам сказала ясно и прекрасно.

— Интересные вы какие. Ну нет! Ну-у нет!

Анна Сидоровна уходила, а Цветкова в ярко-красном шелковом платье, в клетчатой косынке на вьющихся пепельных волосах оставалась на незавоеванной кухне.

— Девять лет скиталась по квартирам, получила свой угол, и пожалуйста, детям на кухне даже поиграть нельзя. Пускай тогда дают другую квартиру. Начальники... Больно начальники самонаравные. Этих начальников нужно немножко на другую работу поставить.

Цветкова подолгу говорила про начальников что-то непонятное, и Вале все хотелось у нее спросить, что это за начальники.

Валя предложила Цветковой:

— Пускай ваши ребята у меня в комнате играют. Комната большая.

Цветкова залилась краской.

— Ну-у нет. Из принципа.

Потом сердито согласилась, и дети стали играть в Валиной комнате.

Валя мало бывала дома. На улице ей было лучше.

Она была связана с жизнью города и так же, как город, была связана с нефтью.

В детстве она разбивала камнем синеватые маслянистые пленки во всех лужах и водоемах, искала нефть. И повторяла ребятам слова отца: «Если где-нибудь плавает пленка, ее надо разбить. Нефтяная на круглые куски разобьется, а у железистой будут кусочки с острыми краями».

Вместе с мальчишками со своей улицы она бегала смотреть, когда пускали электрообессоливающую станцию, называемую звучным словом «элоу». Она ходила на первый промысел, помогала сажать сад, на третьем промысле смотрела, как строят ремонтную мастерскую своими силами. Она слышала, что начальник треста сердится на эту станцию и говорит: «Втянули вы меня в авантюру», и ей нравилось, что он так говорит. Она знала, где рабочим привозят родниковую воду, а где в бачках налита промышленная вода.

Она употребляла нефтяные словечки, говорила о нефти и думала про нефть.

Валя бегала по городу из конца в конец, ездила на попутных машинах на промыслы к знакомым операторам, возвращалась домой измазанная мазутом, в пыли. Отец никогда не ругал ее за то, что она бегаёт по промыслам.

Однажды, когда Валя приехала от отца с разведывательного бурения, обгоревшая на солнце, в штанах и застиранной куртке, соседка Анна Сидоровна сказала ей:

— Не годится так ходить. Стыдно. Возьми у отца денег, дай мне, я штапеля на платье тебе наберу и сошью или модистке отдам. И так-то ты нескладная и одета еще как нищая. Никто тебя замуж не возьмет, сирота.

— Я замуж не собираюсь. И я не сирота.

Валя ушла к себе в комнату и заплакала.

Анна Сидоровна бросилась к ней.

— Валюша, не плачь, я не со злом сказала. Надо тебе платье новое справить.

В кухне появилась Цветкова, подбоченилась.

— А она сама знает, что некрасивая. А с лица не воду пить...

Вышел муж Цветковой в белой шелковой рубашке с розовой штопкой около молнии, с татуировкой на обеих руках, сказал жене:

— Иди в комнату. Думай, что говоришь.

— Вы на самолюбии у меня не играйте,— завела Цветкова привычным скандальным голосом, даже не взглянув в сторону мужа.— Я такое же участие в сироте принимаю. Меня ее отец просил за ней смотреть.

— Иди в комнату,— повторил муж.

Валя выбежала на кухню, крикнула:

— Никто пусть за мной не смотрит, не надо мне!

И ушла до ночи на улицу, чтобы не видеть никого.

— Настолько все тупые, настолько самомнительные,— продолжала Цветкова,— что удивляюсь.

— Тьфу! — сказал муж, повернулся и ушел. Анна Сидоровна тоже заперлась у себя, расстроенная до слез. А дети Цветковой вприпрыжку поскакали в Валину комнату и стали там играть на полу кусками керна, тяжелыми плашками выбуренных пород, которые привозил отец и собирала Валя.

Валя окончила девятый класс. Летом она обычно уезжала к отцу и кочевала вместе с ним от буровой к буровой и выполняла несложные и скромные просьбы разведчиков, оторванных от семей. Привозила бумагу, конверты, нитки, папиросы. Она стремилась туда, потому что там была настоящая жизнь.

— Разведчики-нефтяники, как моряки в далеком море, не видят земли,— повторяла она слова отца.

Ей казалось, что она что-то значит для буровиков, которые называли ее Валюшей и среди которых были разные люди — и молодые отчаянные ребята, и старые мастера, люди огромной физической силы и таинственного «чутья нефти», и просто временные, случайные люди, привлеченные заработком. Своих нефть никогда не отпускала, а временные скоро уходили, не выдерживали.

Вале нравились настоящие нефтяники, вольные люди, не привязанные ни к чему, кроме скважины, которую

они сейчас бурили, кроме этой дырки в земле, которую они сверлили с таким упорством, трудом и риском. Нефти могло не оказаться. Это была разведка.

— Керн взяли? — интересовалась Валя. Она любила разглядывать круглые, аккуратно вырезанные куски породы, выхваченные, вырванные глубоко под землю. Керн выдавал тайны недр, по нему судили, что находится там, где сейчас идет бурение. Валя понимала эти каменные знаки.

Разведчики ставили свои вышки то в поле, то на холме, то на лугу среди ярко-лиловых больших, как чашки, колокольчиков. Устав за вахту, бурильщики бросались тут же на траву и спали под неровный рокот мотора и просыпались, когда мотор замолкал.

А в траве росла душистая крупная земляника. Валя собирала ее и стеснялась угощать бурильщиков, уж очень они были грубые и голосистые парни, а они собирали землянику для Вали и отдавали всю ей, а сами не ели, не привычные ничем баловать себя. Главным для них было курево. Когда у всех кончались табачные запасы, они собирали окурки, сворачивали из них большую сигару, делали по две последних затяжки, и после этого на буровой воцарялась тишина, прекращались шутки и разговоры.

Тогда Валя собиралась в путь. Никто не просил ее, но она торопилась, повязывала голову платком, обувалась и говорила: «Давайте деньги, ребята». Она шагала десять, пятнадцать километров, сколько было до ближайшей деревни, и для нее не могло быть важнее дела, чем принести папирос и табак на буровую.

В это лето Валя изменилась, внезапно проступила в ее лице прелесть юности, и все, что раньше казалось нелепым и некрасивым, вдруг стало необычным и привлекательным: и широкий нос, и скулы, и азиатские глаза. Даже волосы перестали торчать, как склеенные, но этому было вполне реальное объяснение. Городская вода была очень жесткая, все жители страдали из-за воды. Валя знала и объясняла Цветковой, что жесткость воды сорок процентов, предел нормы. Но упрямая Цветкова считала, что в воду добавляют хлор, и кричала свое:

— В воде флорка. Из-за флорки ее пить невозможно! — И ругала начальников.

Летом не было Цветковой, слава богу. А в некоторых местах можно было найти прозрачную хорошую воду, и волосы Вали после мытья становились красивыми и мягкими.

Валя купалась в речках, как купаются беспризорные

дети, пока не посинеют и не начинают дрожать. Тогда она вылезала и начинала бегать, чтобы согреться.

Отец и Валя ездили на крытом брезентовом зеленом газики, и все за нефтью, в поисках нефти.

Валя говорила отцу:

— Нефть у нас тут должна быть.

А отец отвечал:

— Я и раньше знал, что на Васильевской нефть есть. Как туда двинули-то разведочку, ну и нашли нефть.

— Ты всегда говорил. Я помню.— Валя гордилась, что у отца было «чутье нефти».

Отец рассказывал:

— Зимой пурга воеет, как волки. Такой вой страшный. Машина застревает в снегу. Толкаешь ее, толкаешь, и кажется, что сил уже нет. Конец. И вдруг трактор шумит.

И Валя представляла себе, как живет отец и другие разведчики зимою в пургу, когда она сидит у себя в теплой комнате на диване и читает книгу и смотрит на окно, занавешенное мохнатым ярким китайским полотенцем.

— А мы сейчас опять настроили вышек. Опять зимой бурить будем. Придется платить разрывные с семьями.

Отец и Валя вылезли из машины и шли пешком. Шофер оставался дремать на холодке.

— Спит без отрыва от производства,— повторяла Валя чужую остроу.

— А тебе что, жалко стало? По каким дорогам человек ездит, ты подумала?

— Нет, нет, я просто так сказала,— оправдывалась Валя.

— В другой раз не говори просто так.

Между буровыми, на пыльных разбитых дорогах, среди разогретых перелесков и журчащих ледяных ключей, в оврагах, густо поросших татарником, проходило лето. С отцом и другими людьми, которые казались Вале особенными, не такими, какие жили в городе.

Лето кончилось, и Валя вернулась в город.

Скучным выглядел город, скучной была квартира, и жизнь предстояла скучная. Цветкова с Анной Сидоровной по-прежнему воевали. Цветкова летом ходила к какому-то начальнику, жаловалась ему на Анну Сидоровну и сразу стала рассказывать об этом Вале. Вид у нее был, как всегда, возбужденный до крайности, косынка упала с пепельных волос.

— А он мне сказал, знаешь, так презрительно: мол, я вмешиваюсь только в чрезвычайных случаях. Какой ему еще нужен случай, интересно. Чтобы все друг друга убивали. Тогда будет чрезвычайный случай. А детям никто не может запретить играть.

«Надо же,— думала Валя,— к какому-то занятому человеку ходила, время отнимала! Кричала там без всякого стыда».

— А я еще пойду. Над тем начальником тоже начальники есть. Не беспокойтесь. Ну, а ты как время проводила?

— Гуляла,— ответила Валя и ушла в свою комнату.

Анна Сидоровна с намеком сообщила, что в соседнем новом доме поселилась модистка, которая знает все фасоны. Но Валя надела опять свое старое клетчатое платье с полосами на подоле и пошла в школу.

Однажды вечером Цветкова постучала в дверь к Вале и сказала с улыбочкой:

— К тебе гости.

В дверях стоял парень, которого Валя не сразу узнала. Прежде всего бросалась в глаза пряжка на его ремне, огромная, металлическая, с изображением кинжала и крыльев, а потом уже сам парень, худенький, белобрысый.

Это был помбурильщика Федя. На буровой он ходил в одних только рваных промасленных холщовых брюках, а сейчас на нем была чистая рубашка, начищенные ботинки. Увидев, как Валя разглядывает его пряжку, он прикрыл ее кепкой.

— А мне ребята говорят: найди Валюшу, посмотри, как она поживает,— говорил Федя.

Валя обрадовалась, подумала: «Не забыли меня». Усадила Федю, стала расспрашивать, как идут дела.

— Одно слово — нефтяная целина,— отвечал Федя.

— А трудно?

— Идти с буровой, когда ветер в зад, легко,— смеялся Федя.

«Буровики не жалуются»,— думала Валя. Ночевать, как выяснилось, Феде было негде.

Валя предложила ему ночлег, а сама пошла на кухню, поставила уют, чтобы погладить наволочку.

Вошла Анна Сидоровна, Федя встал, вежливо сказал:

— Садитесь, мамуся!

— Нынче зима рано легла,— молвила Анна Сидоровна и, оглядев Федю, удалилась.

А на кухне сказала Вале:

— Рано тебе еще кавалеров почевать оставлять.

— Зачем так говорить, Анна Сидоровна, а если ему почевать негде,— ответила Валя.

— Не твоя это забота.

— Была бы мать, она бы тебе показала,— влезла немедленно Цветкова.

— Оставьте меня в покое,— сказала Валя.— Вы ничего не понимаете.

Она подумала: может быть, попробовать объяснить, что ничего плохого она не делает, но, взглянув на толстую глупую Анну Сидоровну и злую красную Цветкову, ничего объяснять не стала. Пусть думают, что хотят.

— Грубиянка! — неся ей вслед голос Цветковой.

И что-то кудахтала Анна Сидоровна.

А парни с буровых стали навещать Валу. Теперь Валя видела, что она и в городе что-то для них значит. Она опять помогала им чем могла и была счастлива. Что только могла, она делала. Покупала, что они просили и сами купить не могли, разыскивала их родню, передавала поклонны, выручала с ночлегом. Один раз даже пошла в трест и неожиданно уладила дело с увольнением.

Цветкова и Анна Сидоровна забыли старую вражду, их объединяло теперь общее негодование против Вали.

— Матери-то нет и на базаре не купишь,— говорила жестокая Цветкова Вале,— а без контроля дело быстро пойдет.

— Нехорошо, нехорошо,— поддакивала Анна Сидоровна.

«Что плохого? — хотелось спросить Вале.— Что я делаю? Что с ребятами дружу, помогаю? Что хожу с ними, гуляю, в кино хожу, разговариваю?»

Цветкова теперь, кроме Вали и начальников, повадилась ругать еще и нефть.

— Все нефть здесь портит. Нефть всю влагу высасывает. Все реки посушились из-за нефти. Я эту нефть давно в мыслях содержу.

«Что она плетет, ну что плетет»,— думала Валя.

Несколько раз за зиму приезжал Федя.

— Из шланга паром картошку варим, пятнадцать минут — и картошка готова,— рассказывал он.— Пять дней к буровой подходу не было.

«На буровые женщин не берут,— размышляла Валя,— а к геологам меня возьмут. Сперва разнорабочей, буду делать что придется, а потом лаборанткой буду».

Однажды Федя появился, и от него пахло водкой. Валя испуганно спросила:

— Ты что? Выпил?

— Бражки выпил, я тебе точно говорю. Один стакан. Бражка сильный запах дает,— объяснил Федя.— В кино пойдешь?

— Дожжик, как из сита, сеет,— вмешалась Анна Сидоровна,— на дождик не стоило бы ходить,— а главное дело выпимши.

— Никто здесь не выпимши,— громко ответила Валя.— Идем, Федя.

Валя защищала своих буровиков.

— Слоняется, как слон,— пробурчала Анна Сидоровна,— двери только закрывай.

— Это ж грубияны. Хулиганье. Буровики! — добавила Цветкова.

«Как странно,— думала Валя,— что она ругает и обзывает этих парней, которые в десять тысяч раз лучше, чем она».

— Как ты с ними живешь? — удивлялся Федя.— Даже жалко тебя. С такими, понимаешь, даже не знаю, как сказать...

— А я уйду. Школу кончу и уйду. В нефтеразведке работать буду. А они останутся.

И Валя засмеялась, представила себе, как она уйдет. А они останутся и всю жизнь будут так жить, как живут.

Иногда Цветкова с улыбочкой спрашивала кого-нибудь из Валиных знакомых:

— Почему это в нашем городе такая вода, сорок процентов жесткости. Из-за флорки или из-за нефти? Я думаю, из-за этой нефти скоро ничего ни пить, ни есть нельзя будет. Рыбу уж никто есть не может. Интересно, какую рыбу начальники едят?

Наконец пришел день, когда Валя окончила школу и собралась уезжать.

Валя взяла рюкзак, заперла комнату на ключ, прошла по квартире в последний раз. На кухне дети Цветковой играли все теми же темными кусками керна.

Она подумала, постучала к Цветковой, протянула ей ключ.

— Возьмите. Пускай ваши ребята у меня в комнате играют. Я теперь не скоро вернусь.

И бегом спустилась по лестнице. Ей предстояло добираться попутными машинами.

ЭТОТ ЕРЕМЕЕВ

Заниматься болтом и ржавым гвоздем буду я, а он пускай бы охватил весь объем работ, если он начальник! А ржавые гвозди я буду доставать. Я это лучше знаю! — кричала высокая женщина в сарафане, из которого она как будто выросла.

«Это невыносимо», — думал ее собеседник.

Разговор происходил на лугу, среди ромашек и колокольчиков, высокой травы и серебряного ковыля. Неподалеку сбивчиво тарахтел трактор. Пахло мятой, сухой травой, полынью, горячей землей и нефтью.

Женщина нагнулась и стала пить воду из родничка. Роднички в этих местах били повсюду, неожиданные, стремительные, ледяные.

Женщина пила с ладоней, захлебываясь, и не могла оторваться. Она подивала водой руки, плечи, ноги: было жарко.

— Пейте, пейте, — говорила она, поднимая ясные голубые глаза на своего спутника. — Что ж вы не пьете? Такая вкусная вода! Пейте, угощайтесь!

— Я не хочу, Вера Петровна, не хочу я пить, — упрямо отказывался мужчина.

— Эх, напоила бы я всех сейчас такой водичкой! — сказала Вера Петровна. — Жаль, не могу.

И она опять нагнулась к роднику. Мужчина отошел в сторону и стал заводить часы.

Ему хотелось стукнуть Веру Петровну по голове, так она ему надоела за сегодняшний день. Она шумела, ругалась, хвасталась. По ее словам выходило, что никто не умеет работать, только она и несколько монтеров. А главное, никто не любит свою работу, только она любит. А его, молодого инженера Еремеева, она особенно ругала. И равнодушный он, и непонятно, чему его учили в институте, и непонятно, что из него получится в жизни.

Она его ругала, а он молчал. Юное лицо Еремеева как бы говорило: «Ори, тетка, ори, мне на тебя наплевать, ну, еще поори, я послушаю».

Еремееву хотелось пить; он не пил нарочно. «Из принципа», — сказал он себе. А Вера Петровна даже воду пила громко.

— Ладно, товарищ Еремеев, пошли дальше.

Вера Петровна в последний раз провела мокрой рукой

по лицу, смочила коротко стриженные волосы и потянула лась.

— Эх, жизнь наша!

На вид Вере Петровне было лет тридцать пять, но могло быть и меньше. Лицо ее было бронзово-загорелым, брови и ресницы на степном солнце стали почти белыми, волосы — рыжеватыми. Все в ее лице и фигуре было крупно, отчетливо, дерзко, только голубые глаза — добрые, застенчивые.

Вера Петровна ловким движением вытянула из кармана своего красного сарафана две папиросы из надорванной пачки, одну протянула Еремееву.

— Не люблю, когда женщина курит, — заметил Еремеев, но папиросу взял, — и громко разговаривает.

— И я не люблю, — не обидевшись, сказала Вера Петровна, — но ничего не поделаешь. — Она с грустью посмотрела на дальние холмы и белые облака над ними, как будто там, в облаках, бродила некурящая Вера Петровна с тихим, нежным голосом и мягкими движениями. — Да, — она мотнула головой, отгоняя видение, — конечно. А как мне с вами справляться без крика? — Она опять возвысила голос. — Скажите, как? Вот с вами, например?

— О-ох! — Еремеев поморщился.

— Нечего охать! — накинулась на него Вера Петровна. — Брюки вас научили гладить, а работать не научили. Вы мне скажите: что вас в жизни интересует? Ничего вас не интересует.

— Вы в этом уверены? — спросил Еремеев.

— Уверена, — ответила Вера Петровна.

— Вот и прекрасно. И хватит меня перевоспитывать.

— Будем выходить на дорогу и ждать автобуса или пойдем пешком? — Вера Петровна решила прекратить разговор.

— Подождем, — назло Вере Петровне сказал Еремеев, который наверняка знал, что Вера Петровна ждать не будет, да и сам не любил ждать.

— А по-моему, быстреей дойти. Я пошла. Догоняйте! — крикнула Вера Петровна и зашагала, широко размахивая длинными загорелыми руками. Подол ее красного сарафана развевался на ветру, как флаг.

Еремеев усмехнулся и двинулся следом. Так они и шли: она впереди, он сзади.

До города было недалеко, и дорога вела лугами. Вера Петровна стала напевать песенку.

— Вот черт! — воскликнула она. — Ни у одной песни слов не знаю. Почему это? А вы знаете? Подпевайте!

Еремеев подпевать не стал, но подсказал Вере Петровне следующий куплет. Он шел, поглядывая на часы, и думал: «Ну помолчи ты хоть минуту, крикунья».

Город с холмов был хорошо виден — светлый, сверкающий, еще в строительных лесах, но уже зеленый. Улицы полукругами вились вокруг центра, который еще не был отстроен. Дворец техники стоял на площади. Площадь же была только наполовину площадью, наполовину она была пустырем, и сочные лопухи росли на этой половине.

— Белый наш город, — сказала Вера Петровна, — но, по-моему, город надо было строить в другом месте. Знаете, где?

— Где? — нехотя отозвался Еремеев.

— Вон там, — Вера Петровна протянула руку, — за тем холмом, рядом с деревней Пашки.

— Да, да, — небрежно сказал Еремеев, но посмотрел, куда показывала Вера Петровна.

Вера Петровна не обратила внимания на его тон.

— Там тихое место, безветренное и высокое, здоровое, прямо курорт. Вид прекрасный открывается. А внизу насадили бы парк. Какой бы там город был!

— Вообще-то верно, — согласился Еремеев.

— Это понимать надо! Мы с вами все-таки строители. Нас это касается.

— Не касается, — упрямо сказал Еремеев.

Вера Петровна посмотрела на него, и ей не захотелось спорить.

Они шли мимо нефтяных вышек. Неподалеку горел факел, плохо различимый на солнечном свете. Но глаза Веры Петровны видели все.

— Эх, — сказала она, — эх-эх! Богатые мы и бесхозяйственные. Горит у нас драгоценный газ, а мы смотрим.

— А чего? Красиво горит. Мне, например, нравится, — с вызовом ответил Еремеев.

— Как вы можете так говорить! — крикнула Вера Петровна. — Комсомолец!

— Лучше так говорить, как я говорю, чем так охать без конца, как вы, — огрызнулся Еремеев. — Факел!

И они посмотрели друг на друга с нескрываемой злобой.

Город не имел окраин, начинался сразу. Только что был лес, только что был луг, а здесь перед ними, окуна-

ясь в траву и цветы, стоял четырехэтажный дом. Внизу был магазин, витрины пустые, со стекол не до конца оттерта краска, но магазин торговал.

— Зайдем посмотрим,— предложила Вера Петровна,— может быть, что-нибудь хорошенькое дают. С этим домиком мы помучились. Наше детище. Посмотрим на свою работу, полюбуемся.

В магазине была очередь за сосисками. Вера Петровна сразу сунулась к прилавку посмотреть. Любопытная и нескладная, она даже кого-то задела локтем, пробираясь вперед.

В очереди зароптали:

— Куда? Куда лезет? Она не стояла!

Тучная женщина с черной кошелкой из самого конца очереди вышла к прилавку.

— Не отпускайте ей, товарищ продавец, пускай постоит.

Продавщица узнала Веру Петровну.

— Не кричите,— сказала она, обращаясь к очереди,— это наши строители. Вы им за дом лучше спасибо скажите, а не кричите. Сколько вам свешать?

— Мне не надо, честное слово,— смущенно проговорила Вера Петровна.— Я только посмотреть хотела.

— Берите, берите, хорошие сосиски,— уговаривала продавщица.— Сколько свешать?

Женщины в очереди смолкли и теперь улыбались: многие узнали Веру Петровну.

— Берите,— басом сказала толстуха с черной кошелкой и ушла в свой конец очереди.— Чего там!

Из магазина Вера Петровна вышла со свертком сосисок, красная, и дальше по улице шла молча. Еремееву даже стало жалко ее, но он насмешливо улыбался и тоже молчал. Это означало: «Не суйся, не лезь, не ори ты всегда, тогда не будет стыдно».

Кончились четырехэтажные дома, потянулись небольшие стандартные деревенские, снаружи оштукатуренные домики. В здешних краях зимы были суровые. Домики стояли в садах, в каждом саду в это время работали.

Навстречу двигалась группа парней в соломенных шляпах, один шел с гитарой наперевес, у остальных оттопырились карманы.

Вера Петровна остановилась, парни ее окружили.

— Вы куда это, хлопцы? — громко спросила Вера Петровна.— Гулять собрались?

— А почему не погулять? — сказал тот, который был с гитарой. — Идемте с нами, Вера Петровна.

— Спасибо, хлопцы, не могу, — красуясь, отвечала им Вера Петровна; видно, ей было приятно, что монтеры зовут ее. — Я бы пошла, хлопцы, но работы много.

— Глубоко сожалеем, — вежливо сказал парень с гитарой. Уговаривать ее он не стал, приподнял соломенную шляпу, и группа расступилась.

— Хорошие у меня ребята, — растрогалась Вера Петровна. — Когда кончаем объект, я всегда им говорю: «Хлопцы, вам спасибо! Да, пока что мы, грубые электрики, командуем миром, а не атомники».

Вера Петровна резко остановилась.

— Что случилось? — почти испуганно спросил Еремеев.

— Молодежный парк! Полюбуйтесь! — загремела Вера Петровна.

Прохожие оборачивались на ее голос.

Еремеев покорно остановился и покорно посмотрел в сторону парка.

Парк был действительно плох. Собственно-то, и парка не было — овражек с чахлыми деревцами, ссохшимися, пожелтевшими.

— Когда закладывали, говорили, что надо оставить овражек как есть, что так будет красивее, вольнее. А на самом деле лень было разровнять землю, спланировать. Вон дороженьки все затоптанные, елки погибли неухоженные. Овраг был, овраг и остался. Стыд для нашего города — ходим мимо, и смотреть стыдно, и говорить обидно!

— Да бросьте вы, Вера Петровна, вырастет парк, ничего особенного. Чего уж так переживать! Есть вещи поважнее, — сказал Еремеев.

Чувство антипатии к Еремееву было таким сильным, что Вера Петровна не стала возражать.

Однажды какая-то девушка назвала Еремеева красивым. Вера Петровна удивилась. Лицо у Еремеева было как будто сонное, с широко расставленными глазами. Лоб, правда, был большой и открытый, но Вере Петровне всегда казалось, что мысли Еремеева далеко-далеко, если у него вообще есть мысли. Лоб-то есть, а мыслей может и не быть.

Глаза Еремеева, когда он смотрел на Веру Петровну, были слегка прищурены, хмурые, неприязненные глаза. Разве могут быть такие глаза у молодого парня? У него

глаза должны быть горячие, веселые, ясные. И голос должен быть слышный, безудержный, а не глухой, как будто таящий что-то против всех.

Собственно, ничего определенно плохого Вера Петровна не могла сказать о Еремееве. Она удивлялась ему, такому спокойному, молчаливому. Он казался ей неважным работником, формальным человеком. Вера Петровна таких ненавидела. «Равнодушие — враг прогресса», — любила говорить она и в жизни и на собраниях, а на собраниях она выступала всегда.

Конечно, Еремеев еще молодой, неопытный, но ведь другие тоже молодые. Он уже год здесь, а как будто делает одолжение, что работает со всеми вместе. После работы спешит домой, а ведь семьи у него нет.

Вера Петровна сегодня нарочно заставляла Еремеева ходить с нею, нарочно пошла даже на те стройки, где недавно была. Пускай, пускай! Откуда берутся такие хладнокровные, вытуженные, с дипломами инженеры и как с ними бороться, как из них делать людей, — Вера Петровна не знала. Но делала, что могла.

«Хватит меня перевоспитывать». Лучше всего, наверно, было оставить Еремеева в покое, но этого не позволял ее характер.

— Знаете что, — решительно заговорил Еремеев, — хватит. С утра мотаемся. У меня еще есть другие дела. Достаточно важные. До свидания!

Вера Петровна растерянно посмотрела на Еремеева. Вдруг его глаза показались ей запавшими и блестящими от усталости, на его щеках она увидела пятна.

— Вы устали? Вы же молодой. Ну, идите, идите. Какие у вас там еще дела? Живете несемейно. Кто вас разберет!

Еремеев повернулся и пошел; притихшая Вера Петровна осталась одна. В руках у нее был сверток с сосисками.

Мимо прошел мальчик в очках, в тапочках, нес ведро картошки.

— Пойду-ка и я домой, — сказала тихонько Вера Петровна, — отварю картошки, отварю сосисок, а вечером пойду в кино.

— Скоро озеленение вырастет, тогда будет хорошо, — услышала Вера Петровна мужской голос.

Жезский голос нежно произнес:

— Не скоро.

— Всегда споришь, поперечный ты человек,— произнес мужской голос.

Вера Петровна улыбнулась.

Только успела она открыть дверь своей квартиры — сразу зазвонил телефон. Она взяла трубку, немного послушала, потом вздохнула и закричала:

— Я на вас за это в суд подам! К прокурору! Вы про эти провода забудьте! Немедленно пойдете под суд! Кто кричит? Я кричу? Я вам вежливо говорю: под суд! Еремеев сказал? А какое он имеет право? Он не материально ответственное лицо. Запрещаю! Да.

Она повесила трубку и, пыхтя, подошла к зеркалу. Зеркало отразило ее растрепанные волосы, запыхавшуюся шею и злополучный сарафан, который она шила сама и не успела дошить.

— Ладно,— сказала Вера Петровна,— пускай я чучело. Плевать на все! Ужинаю и иду в кино.

В кино билетов уже не было. Выручила знакомая девушка, техник Галия. Галия была румяная, с косами, уложенными короной, с темными глазами, опущенными ресницами такой длины и красоты, что Вера Петровна не удержалась и попросила Галию закрыть глаза.

Галия рассмеялась и с готовностью зажмурилась. Темные таинственные тени легли на смуглое, румяное, детски гладкое лицо.

В руках у Галии были цветы. Она показала их Вере Петровне.

— Цветок сам желтый, а внутри припекает розовым. Красиво, правда?

Вера Петровна посмотрела.

— А как у тебя дела? — спросила Вера Петровна.

Галия заочно училась в нефтяном институте.

— Ничего,— ответила Галия.

Вера Петровна сразу поняла, что Галия говорит не об институте.

— Уж не замуж ли собралась?

Галия промолчала.

— Кто же он? Хороший?

— Очень.

— Чем же?

— Всем.

— Красивый? Умный?

— Очень,— сказала Галия.

— Кто он? Скажешь мне?

— Саша Еремеев,— шепнула Галия и подняла к Вере Петровне розовое лицо.

Корона волос, скрепленных черными шпильками, опустилась книзу. В вырезе платья виднелась загорелая шея.

— Еремеев?— удивилась Вера Петровна.— Не может быть!

— Он,— шепотом подтвердила Галия.— Почему не может быть? Разве я такая плохая?

— Ты! Ты, но он...— вырвалось у Веры Петровны.

— Вы его знаете,— со счастливой улыбкой проговорила Галия.— Вы же его знаете,— повторила она, поощряя Веру Петровну к рассказам.

— Еремеев? Этот Еремеев?— удивилась Вера Петровна. «Этот Еремеев, этот Еремеев!»— думала она.

— Ну конечно! Вам он нравится?

— Мне?— Вера Петровна медлила, не зная, что говорить. Она умела говорить только правду и совершенно не умела врать и хитрить.— Мне? Почему? Парень он... Слушай, а ты выходишь за него замуж?

Галия кивнула.

— Мне он нравится,— проямлила Вера Петровна.

— Я так и знала!— Галия засмеялась.

— А что? А что такого? Еремеев — хороший парень.

— Сашка — сама душа. Вы же его знаете!

— Знаю,— сказала Вера Петровна.

И в это время в зале погасили свет. Галия сжала руку Веры Петровны.

«Такая прекрасная дивчина — и этот Еремеев. Этот Еремеев»,— думала Вера Петровна. И она вспомнила лицо Еремеева. И никак не могла вспомнить, какого же цвета у него глаза. Не то серые, не то черные, в общем противные.

Сеанс кончился. Галия крепко взяла Веру Петровну под руку, и они пошли по парку — кинотеатр находился в парке.

— Саша не пошел со мной, не мог сегодня. Он очень много работает. Скажу вам по секрету: он с двумя товарищами уже полгода над одним проектом сидит. У них железное правило — два вечера в неделю никуда не ходить. Даже в кино. Я убежала, чтобы их не смущать. Пускай работают! Они молодцы!

Вера Петровна задумчиво слушала.

— Может быть, меня встретить придет, цветы купил,— продолжала Галия.— Саша — сама душа. Ему до

всего есть дело. Да вы сами знаете. Вот посмотрите на эти факелы.

В темноте на холмах факелы были видны отчетливо, они горели, как тоненькие трепетные свечки с неровным пламенем. Их было пять или шесть, таких светильников, вдалеке.

— Красиво! Но Саша мой возмущался. «Мы, говорит, идолопоклонники. Это безобразие надо немедленно гасить». Полгода они уже разрабатывают свой проект, скоро доклад будут делать.

«Что я слышу! — Вера Петровна была озадачена. — Вот почему он так рассердился, когда я про факелы заговорила! Ай-яй-яй, как глупо, как неловко получилось! Дура я. Но кто же знал...»

— Да, Еремеев молодец! Работать умеет, этого у него не отнимешь, — веско сказала Вера Петровна.

— Работоспособность, — заметила Галия. Вера Петровна покрутила веточку. — А какой он веселый, да! Вы знаете? С ним всегда весело. Или это, может быть, только мне?

— Очень веселый, — пробормотала Вера Петровна. — Мне с ним тоже очень весело. Веселый так веселый!

Вера Петровна поняла, что настоящего Еремеева видит влюбленная Галия, а не она, и принялась хвалить Еремеева со всей страстью своего благородного, горячего сердца. Галия только улыбалась.

Потом Галия сказала:

— Вы его в глаза так не хвалите, Вера Петровна, а то он испортится. Нельзя. Пускай будет скромный. Он не знает, какой он, и пускай не знает.

Они вышли из парка и увидели Еремеева. Галия побежала ему навстречу, а Вера Петровна решительно повернула в другую сторону и быстро пошла не по тротуару, а прямо по дороге.

— Кто это был? — спросил Еремеев Галию.

— Вера Петровна.

— Да ну ее! — буркнул он.

— Ой! — воскликнула Галия. — Как тебе не стыдно! Ты совести-то имеешь хоть грамм? Она к тебе так относится, как к родному. Хвалила тебя, слушать было неудобно. Хорошая она женщина!

— Да брось ты, у тебя все хорошие. Давай лучше спрячемся в подворотню, и я тебя поцелую.

— Вера Петровна хорошая.

— Слушай, оставь ее в покое. Я на работе от нее не знаю куда деваться, теперь еще в личной жизни. Она может перепилить человека на восемь частей. А как она орет целый день, ты не слышала? Ты с ней в кино сидела, а я с ней работаю. Она крикунья. Если бы ты была крикунья, я бы на тебе никогда не женился. Но если тебе так хочется, я готов согласиться, что она неплохой человек.

— Хорошие люди всегда немного невыносимы,— со спокойной мудростью сказала Галия.

— Слушай,— сказал Еремеев,— я пожертвовал тобой ради проекта, но ради этой Веры Петровны...

— Эта Вера Петровна хорошая,— упрямо сказала Галия, проявляя характер, который был скрыт за ее нежным лицом и тихим голосом.

Тогда Еремеев сделал то единственное, что он мог сделать. Он поцеловал Галию на улице, не заходя в подворотню, и сказал:

— Не забывай, я люблю тебя.

ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Если надо было ехать читать лекцию в район и никто не соглашался ехать, если было известно, что аудитория трудная, а тема неинтересная,— посылали Аню Кравченко. Там, где другие решительно отказывались или умели отшутиться, уговорить, Аня только обижалась и соглашалась.

Начальник литературной секции городского лекционного бюро, где работала Аня, Веткин хорошо относился к ней да и вообще был прекрасным человеком, но он вечно спешил, опаздывал и изнемогал под бременем дел, которые он взвалил на себя и которые, казалось, прибили его к земле и иссушили.

Это был маленький худенький человек, узкоплечий и буйно курчавый. Издали его можно было принять за мальчика. Он казался старше своих сорока лет, усталый, озабоченный человек с нездоровым цветом лица, окруженный облаками папиросного дыма. Станным контрастом с внешним обликом Веткина был его зычный, разработанный голос лектора.

Несомненно, что Веткин был слабохарактерным, потому что лучшие путевки у него вытягивали наиболее напористые лекторы. На руках у Веткина оставались самые неудобные путевки. Он либо ехал и читал лекцию по этим путевкам сам, либо звонил Ане и говорил: «Выручайте». И Аня выручала. Так было и на этот раз. Аня приехала в лекционное бюро. Веткин встретился ей на лестнице, ухватился за ее руку и закричал:

— Анна Ивановна, вся надежда на вас! Горит путевка, выручайте!

Аня вздохнула и спустилась на две ступеньки, чтобы Веткину не приходилось вставать на цыпочки, разговаривая с нею.

— Скажу прямо, путевка на завтра, на утро, и довольно далеко. Но мы узнавали, поезда идут так, что вы обернетесь до вечера совершенно свободно... И от станции близко.

Все было знакомо: и заверения, что от станции близко и что железнодорожное расписание составлено безупречно.

Ане очень хотелось отказаться, сказать бы: «Не поеду, почему всегда я? Есть другие лекторы, кроме меня. Можете их посылать».

Мало ли в какой форме можно было дать понять Веткину, что довольно на ней выезжать, хватит! Но вместо этого Аня вздохнула, сказала, что поедет, и даже поблагодарила Веткина за что-то.

Веткин сказал:

— Должна была читать Герасимова, но в последний момент оказалось, что она не может. По семейным обстоятельствам.

Веткин говорил это улыбаясь, и он и Аня знали, что никакие семейные обстоятельства не мешают Герасимовой ехать: наверно, свидание, или театр, или еще что-нибудь. Ане нередко приходилось читать лекции вместо Герасимовой.

Веткину захотелось порадовать Аню. Он сказал:

— Да, Анна Ивановна, вы у нас самый исполнительный лектор. Я всегда это говорил. Зато в следующем месяце, клянусь, все лучшие путевки — ваши. К старшекласникам, в институты. И в центре города. Первая будете выбирать, как придут заявки.

И он благодарно потряс Анину руку и с раскаянием заглянул ей в глаза, потому что хорошо знал, что в будущем месяце все будет как всегда.

— Ой, ой, ой! — Веткин сморщился, посмотрев на часы. — Черт возьми!.. Желаю успеха. — Он поскакал вниз.

Аня медленно пошла вверх по лестнице, уставленной зеркалами, не глядя ни в одно из них. Аня считала, что ей смотреться в зеркало нечего — это для Герасимовой.

А ехать, видно, придется далеко, завтрашний день потерян.

Взяв у секретаря путевку, Аня вышла из лекционного бюро на улицу.

Она не спешила. Перед витриною новинок стояли люди. Аня тоже подошла, посмотрела. Большая, сложная овощерезка была ей не нужна. Аня не занималась хозяйством. Стиральную машину давно хотелось купить в дом. Был выставлен еще особенный календарь на вечные времена, электрополотер новой конструкции. Электрическая бритва, авторучка... Все это хорошо было бы купить и подарить кому-нибудь. Но дарить было некому, и Аня отошла от витрины.

Домой она не торопилась. Что было делать дома? Предстоял длинный одинокий вечер. Такой, как вчера, и позавчера, и завтра. Подруги Ани после университета разъехались, а новых друзей почему-то не было. Писем

Аня получала много, но по телефону ей никто не звонил, кроме Веткина.

Аня не могла бы объяснить, почему ей дома все в тягость. Ее раздражали внимательность матери, ее вопросы:

— Что с тобой? У тебя неприятности? Опять тебя посылают в район, почему всегда тебя?

Вопросы были участливые, но Аня сердилась и отвечала:

— Это — мое дело. Я лектор.

Отец веселыми и чересчур частыми шутками старался прикрыть неловкость, которая возникала в семье из-за угрюмости Ани. Отец шутил, бабушка вздыхала, мать сдерживалась, чтобы не задавать вопросов, и только маленький брат, который ко всем приставал, приставал, конечно, и к сестре.

Аня вернулась домой и дома сделала все, что делать была не должна. Она сердито отмахнулась от брата, просящего прочитать о Буратино — книгу, которую он знал наизусть, съязвила бабушке по поводу котлет и киселя и, забыв поздороваться с отцом, ушла к себе в комнату.

Ей хотелось побежать извиниться. Она знала, что все обрадуются, потому что они добрые, легкие люди, а она одна портит всем настроение.

«Ну и пускай,— в следующую минуту думала Аня,— я ничего плохого не делаю. Я хочу быть одна. Я не хочу, чтобы на меня смотрели так, как будто у меня горе или меня обижают. Меня никто не обижает».

Ей вспомнились слова Веткина: «Вы у нас самый исполнительный лектор». Вспомнилась Герасимова в розовом платье. «По семейным обстоятельствам». Аня не терпела лжи, не понимала, как можно сказать неправду, не выполнить обещания, опоздать. Она ни разу в жизни никуда не опоздала.

Протянув руку, Аня взяла со столика зеркало и посмотрела на себя. У нее было смуглое лицо без румянца, серьезные глаза, большой лоб. Русые волосы были собраны сзади в небольшой пучок, а спереди была косая челка, которая очень не шла Ане. Но челка была данью моде, подражанием Герасимовой и попыткой улучшить свою внешность, то есть ухудшить — закрыть большой и красивый лоб.

Аня была коренастая и по-мужски плечистая. Туфли она носила без каблуков. Карманы ее темного мешковатого костюма были обычно набиты всякой всячиной. Ключи, блокноты, карандаши, какие-то штучки, вроде

футлярчика с грифелями, бренчали в ее карманах. Сумкой Аня не пользовалась. На костюме она всегда привинчивала свой университетский значок.

Аня сняла жакет, легла на диван, набросила халат на ноги, закрыла ухо подушкой и, не раздеваясь, заснула.

А в соседней комнате, боясь включить радио, сидели за столом бабушка перед горкой составленных грязных тарелок, брат с желтой книжкой о Буратино на коленях и отец, который обедал, читал газету и шутил, что он, слава богу, не холостой студент, чтобы обедать в одиночестве, поэтому пусть все сидят с ним за столом. Это была старая-престарая шутка отца, повторявшаяся ежедневно уже много лет. А мать сидела рядом и думала о том, что Аня скушает, никуда не ходит, и ей было обидно за дочь.

На следующее утро Аня сообщила, что уезжает до вечера читать лекцию за город.

Мать всплеснула руками:

— Анечка, опять! Почему ты соглашаешься? Ведь для этого есть областное бюро, наконец! Честное слово...— начала она, но, взглянув в лицо дочери, осеклась.

— Читать лекции—это моя обязанность. Кроме того, деньги нам нужны. Так что нечего возмущаться. А вы меня не ждите, ложитесь спать. Я могу задержаться: это далеко.— Потом, сообразив, что так разговаривать с матерью нехорошо, Аня добавила:— Не надо беспокоиться. Веткин попросил меня. Надо было его выручить. И вообще, как я могу отказываться от лекций! Съезжу и прочитаю. Ты понимаешь?

Мать все понимала. Она погладила Аню по голове.

— Да, да. Я тебя буду ждать.

Через час Аня села в гулкий полупустой поезд. Потопала промокшими на вокзале валенками и стала смотреть в окно. За окном были северные прозрачные лесочки и бревенчатые домики, которые убегали, как недостижимые видения.

Аня сошла на маленькой платформе. Дежурный по станции сказал, что надо идти сперва через лес, потом начнутся улицы поселка, там столько-то раз направо, налево—и она легко найдет общежитие ремесленного училища, которое обозначено в ее путевке.

В бревенчатом доме, в большой комнате, где топилась печка, вокруг Ани собрались ребята, подвигали стулья, пошептались и затихли.

Голос у Ани был глуховатый, негромкий, но лекции она

читала хорошо. За три года работы она научилась главному — говорить просто. Она умела пошутить, ее лекции нравились.

Ей удалось завладеть вниманием ребят, и тотчас же ей самой сделалось интересно, и она уже старалась всюю и забыла, что старается. Высеклась какая-то искра между нею и слушателями, лекция перестала быть лекцией в прямом и, будем откровенны, несколько скучном смысле этого слова, и можно было не смотреть на часы.

Когда Аня кончила отвечать на вопросы, за окнами уже было темно.

Два мальчика пошли провожать ее на станцию. Они оказались очень любопытными, и Аня должна была ответить им, сколько и где она училась, какие еще может читать лекции, трудное ли это дело, всем ли оно доступно. Мальчики спрашивали, бывает ли так, что она не может ответить на вопрос, сколько ей лет, какая у нее семья, знает ли она математику и физику.

Потом подошел поезд, похожий на случайного важного гостя на этой маленькой деревянной станции, и Аня села в вагон.

Две темные фигурки остались на платформе в нечетком кругу света от единственной качающейся лампочки. Любопытные слушатели! Аня помахала им рукой, но они уже не могли ее видеть.

Вагон был пустой, ни одного человека. Аня села на скамейку, почувствовала, что устала.

Поезд шел и стучал, громыхал железом, как старый дом с неисправной крышей в плохую погоду.

Аня сидела в углу скамейки и думала о мальчиках, которые ее провожали, о том, что лекция была удачной, — черт с ним, с Веткиным, не стоит обращать внимания!

Поезд остановился, в окна влетел свет со станции, стукнула дверь, и чей-то голос негромко произнес:

— Пустой вагон, вот так штука!

Вошел моряк в ушанке, с красным от мороза лицом. Он остановился посреди вагона, огляделся и заметил Аню.

— Все-таки есть живая душа, — приветливо сказал он, — не так тоскливо будет ехать.

Аня ничего не сказала. Выражение ее лица не предвещало моряку веселой поездки.

— Я здесь бывал на лыжах. — Моряк ткнул рукой в сторону окна. — Хорошие места! Вы разрешите? — спросил моряк вежливо и сел напротив Ани на скамейку.

Аня пожалала плечами: мол, скамейка свободная, но лучше бы вам сесть куда-нибудь подальше,— отвернулась к окну и стала внимательно смотреть в темноту.

— В гости ездили? — услышала она.

— Нет.

— А зачем же?

— Лекцию читать.

— Лекцию? — удивился моряк.

Лицо у моряка было широкое, глаза маленькие, черные и нос маленький, а подбородок раздваивался.

Посмотрев на Аню круглыми, в ободке прямых черных ресниц глазами, моряк сказал:

— Вы часто ездите за город читать лекции?

Аня сдавленным голосом ответила, что часто. Ей было неприятно, что вагон пустой и приходится разговаривать с незнакомым человеком. Конечно, можно было встать и перейти в другой вагон, но она осталась сидеть.

Моряк замолчал, заметив Анино недовольство. Теперь было видно, что он тоже смущается. Он покашлял, потер щеки. Придвинулся к окну и сообщил, что идет снег.

— Да, снег, — поддержала разговор Аня.

— И сильный, — сказал моряк.

Потом моряк снял шапку; у него оказались густые, как будто склеенные, гладкие черные волосы.

Трудно было определить, сколько ему лет. Круглое веселое лицо было как будто очень молодым, почти детским, но в профиль выглядело суровым и взрослым.

— Вот едем, — улыбнулся моряк, — вдвоем в пустом вагоне. Даже странно. Надо все-таки познакомиться. Разрешите представиться: Кондратьев Сергей.

Он учился на последнем курсе военного вуза.

— А вы? Вы, наверно, очень ученая, раз вы читаете лекции?

Аня сказала, что окончила университет и работает в лекционном бюро.

Кондратьев был вежлив, серьезен и очень стеснялся. Это понравилось Ане, она даже начала улыбаться. Ее случайный попутчик сказал:

— Как это вас, интересно знать, отпускают одну? Я бы не отпустил.

Аня нахмурилась. Но молчать ей не хотелось, и она спросила, какая следующая станция.

— Не знаю, — ответил Кондратьев. — А вы любите ходить на лыжах?

Аня ответила, что ей не приходится. Кондратьев рас- судительным голосом стал говорить, что это неправильно и надо ходить на лыжах.

Аня немного раздраженно сказала:

— Что значит неправильно? И что значит надо? А что такое работа, вы понимаете?

Кондратьев улыбнулся.

— Я на флоте. И не первый год. В общем, знаю.

Поезд остановился, в вагон вошли люди, и с этой ми- нуты разговор между Аней и Кондратьевым уже не пре- кращался. Кондратьев оказался отличником, спортсменом.

— У вас на лице написано,— засмеялась Аня.

Пока они торопясь выясняли, кто что любит и какие у кого друзья, поезд шел, останавливался и шел. Они еще очень мало успели рассказать и выяснить, как поезд окон- чательно остановился. И из вагона, где они вначале ехали вдвоем, вместе с ними вышло довольно много людей.

— Молодец тот человек, который послал вас читать лекцию сегодня,— сказал Кондратьев, и Аня засмеялась, вспомнив Веткина.

— Нет, он вообще не молодец,— сказала она.

— Завидую вам,— сказал Кондратьев,— придете сей- час домой. Вас ждут. Вы понимаете, какая вы счастливая?

— Очень счастливая! — усмехнулась Аня.

— Не понимаете. С чего вам понимать?

— Почему вы так говорите? — удивилась Аня.

— Для этого надо быть бездомным.— Кондратьев по- молчал.— Только и всего. А завтра у вас опять лекция?

— Нет, лекции нету.— Аня запнулась.— Завтра кон- церт в филармонии,— быстро проговорила она и почувст- вовала, что у нее взмокли ладони. Ей было стыдно: по- лучилось, что она назначила свидание; и ей очень хоте- лось, чтобы Кондратьев не расслышал ее слов.

Они шли по площади к остановке троллейбуса.

В первый троллейбус Аня не села: он показался слиш- ком полным.

— Нет сидячих мест, безобразие,— растерянно сказал Кондратьев и потер щеку.— Подождем следующего, не возражаете? Собственно, я хотел...

Подошел свободный троллейбус, больше пропускать было неудобно. Аня быстро поднялась по ступенькам и остановилась на площадке.

— Спасибо, до свидания! — негромко крикнула она.

Троллейбус тронулся.

— Как же вы так быстро уезжаете?— услышала Аня.—
Всего хорошего. Завтра приду.

Или ей послышалось: «Завтра приду»?

Аня посмотрела в окно и увидела только здание вокзала, надписи «Багаж» и «Ресторан».

Кондукторша подала Ане билет и спросила, который час. Было около десяти.

Аня подумала, что завтра в филармонию ей нечего надеть. «Вы счастливая»,— сказал Кондратьев. Аня никогда не считала себя счастливой. «Для этого надо быть бездомным». Аню дома ждут. Она представила себе, как отец сидит над кроссвордом, который она раньше всегда помогала ему решать, и, все пытаясь шутить, говорит: «Товарищи, кто отгадает реку, тому плачу рубль».

А брат кричит: «Волга, Нева!..»

Больше он не может вспомнить никаких рек, а ему очень хочется получить рубль.

Мама гонит брата спать. А брат хнычет: «Подожду Аню», хотя совершенно неизвестно, зачем ему нужно ее ждать.

А бабушка произносит излюбленную фразу: «Хорошие мальчики давно спят. Хорошие мальчики давно вымылись на ночь и крепко спят».

Но брату безразличны хорошие мальчики.

Аня улыбнулась, представив себе, что делается дома.

Улыбаясь, она позвонила и сразу же услышала крик брата: «Аня пришла!»— и вошла в переднюю.

Брат повис у нее на шее. Бабушка сказала:

— Хорошие мальчики давно спят, я кому говорю?—
И схватила брата за руку.

— Оставь Аню в покое!— сказала мать.— Видишь, она устала с работы.

— Я не устала,— сказала Аня и подошла к столу, за которым сидел отец и листал журнал.

Отец спросил:

— Как прошла лекция?

— Хорошо.

Раздался телефонный звонок.

— Да,— сказала мать,— тут без тебя звонил Веткин. Просил завтра вечером прочитать лекцию где-то. Это, наверное, опять он звонит.

— Завтра?— переспросила Аня.— Я не пойду к телефону. Скажите, что меня нет дома. И скажите, что я завтра не смогу читать лекцию. По семейным обстоятельствам.

ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Татьяна Попова училась на филологическом факультете. Ей очень нравилось ходить пешком в университет, потому что по дороге она могла мечтать и смотреть по сторонам, а переходя мост, любоваться Невой, потом набережной, прекрасной и неповторимой. Странное дело, она все теперь воспринимала как прекрасное и неповторимое. Ростральные колонны — прекрасные и неповторимые, длиннейший университетский коридор — прекрасный и неповторимый. Даже пухлые, увядающие астры в университетском дворе она считала прекрасными и неповторимыми. Все было прекрасно, полно значения.

Лекции Татьяна посещала исправно, хотя они не казались ей прекрасными и неповторимыми. У Татьяны были самые образцовые конспекты лекций на курсе, но она осуждала тех профессоров, которые повторяли истины из учебников. Ей не приходило в голову, что истина единственна. Она ценила оригинальность изложения, ораторские приемы, острые шутки. Некоторые профессора ей особенно нравились. На одну женщину-профессора ей хотелось быть похожей. Татьяна пробовала перенять манеру ее речи, певучей и выразительной, говорила нараспев: «Да что-вы! Неужеели!» — и подтверждала эти слова энергичным жестом, заимствованным у другого профессора.

Татьяна была исполнена уважения к университету, его стенам, истории и традициям. Даже студенты старших курсов казались ей существами высшего порядка, впрочем, наверно, потому, что они уже сдали те экзамены, которые ей предстояло сдавать. Экзаменов она боялась панически, но всегда получала пятерки. Она всегда ждала провала и позора. Люди, которые подходили к экзаменаторскому столу и решительно брали первый попавшийся билет, казались ей безумцами и смельчаками. Она же долго шарила рукой по билетам, пытаясь в это время столкнуться с судьбой.

Она была добросовестна и прилежна, но не ходила на экзамены без шпаргалок. Она никогда не пользовалась шпаргалками, считая это ниже своего достоинства отличницы, однако шпаргалки лежали. Она была нашпигована шпаргалками, это успокаивало.

Сдав экзамен, Татьяна начинала любить тот предмет,

с которым было покончено. Насколько плохо было до экзаменов, настолько хорошо было после.

Она шла пешком в любую погоду и вспоминала экзамен, лицо экзаменатора, свой ответ, и все это маленькое событие представлялось ей необыкновенно значительным, наверное еще потому, что домашние, влюбленные в высшее образование, ждали ее дома с ее пятеркой и подробным рассказом, как все было.

Рассказывала Татьяна с большими преувеличениями: «...экзаменатор злой как черт... режет подряд... понимаю, что лучше уйти, но не уйду... двум смертям не бывать... спокойно беру билет... иду отвечать без подготовки (готовилась дольше всех)... отвечаю... экзаменатор удивлен... улыбается... ставит жирную пятерку... жмет руку и благодарит».

В ее рассказах в конце профессор всегда жал ей руку и благодарил. Она была честолюбива.

Татьяна получала только «жирные пятерки» и не хотела получать никаких других отметок. Тут были три основных соображения. Первое — стипендия. Стипендия была необходима. Второе — честолюбие отличницы, желание, чтобы хвалили. Третье — эти пятерки очень радовали ее маму; мама очень любила эти пятерки, гордилась ими и ждала их, и Татьяна не могла ее разочаровывать. Наконец, это входит в привычку, как курение, втягиваешься.

Татьяна была прилежна, аккуратна, серьезна. В школе она была первой ученицей. Все шло у нее гладко и спокойно, после школы — университет.

Литературоведение, которому Татьяну обучали в университете, было не особенно интересной наукой, хотя к третьему курсу она научилась с умным видом повторять, что самое главное — это методика. Про методику говорили все. Говорили друг другу, сообщали преподавателям на семинарах, говорили товарищам, которые учились на других факультетах и занимались более точными науками, и те удивлялись: «Как, и у вас тоже?» Филологи пожимали плечами: «Что значит «тоже»?» У них это самое главное.

Татьяна шептала «методика, методика», когда шла длинной и прекрасной дорогой из университета домой, но она понятия не имела, что это такое.

Был у нее в группе один студент, который знал. Про него говорили, что у него есть методика, и он с помощью этой методики уже делал какие-то ученые открытия. Татьяна Попова поглядывала на него с недоверием. В чем

тут дело, спрашивала она себя, что знает этот несчастный Саша и не знает она? Почему Сашу называли надеждой и гордостью факультета, а ее никто не называл ни гордостью, ни надеждой. Саша был бледный, безразличный ко всему и такой худой, как будто его грызла жестокая болезнь. А Татьяна была очень здоровая и краснощекая. Когда Татьяна встречала Сашу и он поднимал на нее темные близорукие глаза, ей делалось жаль его. Но чаще она завидовала. Она считала, что она не хуже Саши, что его научные успехи сильно преувеличены. Он писал какие-то статьи. Ну и что?

Татьяна решила наблюдать за Сашей. Выяснив, что Саша занимается в Публичной библиотеке, она записалась в Публичную библиотеку. Она была упорной, ей надо было разгадать Сашин секрет.

За особые заслуги Саша занимался не в общем читальном зале, а в научном, куда было сложно проникнуть, но в результате хитростей ей это удалось. Билет читателя научного зала возвышал ее в собственных глазах, она воображала себя научным работником.

Татьяна пристроилась неподалеку от того места, где обычно сидел Саша. Ей было интересно, сколько часов в день он занимается. Как он занимался! Все дни, включая субботу, он сидел склонившись над книгами до закрытия библиотеки, а по воскресеньям приходил к девяти утра, к открытию. Другие выходили в курилку покурить и поболтать, Саша не выходил. Некоторые подолгу пили в буфете жидкий горячий чай с пирожными-кольцами. Саша чай пил очень быстро и с чаем ел винегрет или сосиски. Были люди, которые выходили погулять в садике напротив, некоторые отлучались на два часа на Невский в кино. Татьяна знала таких, которые вообще все время разговаривали всюду — в раздевалке, на лестнице, у выставочных витрин и в самом читальном зале под возмущенное шиканье читателей.

Татьяна наблюдала, как хилый Саша тащит к своему месту кипы книг. Мелькали классические названия. «По истории...», «К вопросу...», иностранные книги. Потом его будут хвалить за то, что он прочитал такую прорву книг. Татьяна тоже читала, по программе и сверх программы, и ее хвалили.

Саша часто приходил с завязанным горлом, и Татьяна слышала, как он кашляет, чихает, сморкается. Не поворачивая головы, она могла определить, что чихает Саша.

Он отчетливо и тоненько произносил «апчхи», а потом долго отфыркивался и вздыхал.

То Саша читал в журнальном зале, то скрывался в архиве, то удалялся в каталог и там среди ящиков с маленькими твердыми карточками чихал и отфыркивался и что-то сосредоточенно выписывал на собственные маленькие карточки. У Татьяны тоже были такие карточки.

Несколько раз она пробовала разговаривать с Сашей.

Он говорил медленно и очень длинно, если попадал на свою тему. Татьяне было скучно следить за его мыслями, и она старалась прекратить разговор. «Чересчур умный», — думала она.

Татьяна писала в библиотеке свою курсовую работу. «Ну чего писать?» — с тоской спрашивала она себя и вставляла огромные цитаты.

Татьяна ходила в зал для научных работников, выписывала толстые книги и серьезные брошюры, добросовестно читала их, а когда чувствовала, что засыпает, шла в буфет пить чай или брала свежий номер журнала и с интересом читала роман. «Это тоже надо, — успокаивала она себя, — нельзя отставать».

Иногда в особенной тиши читального зала ей хотелось громко запеть. «Что бы было?» — улыбалась Татьяна, поглядывая на соседей.

Саша на ее глазах без отдыха читал и писал и с сожалением вставал со своего места, когда раздавался звонок, извещавший о том, что половина двенадцатого ночи и библиотека закрывается.

Товарищи Татьяны уже сдавали курсовые работы руководителю семинара, а Татьяна все еще написала очень мало. Саша приносил какие-то куски работы, аккуратно и красиво отпечатанные на машинке (у всех было написано от руки!), и им неизменно восхищались. На очередном занятии женщина-профессор спросила, когда Татьяна собирается написать работу. Татьяна немного подумала и ответила, что в мае. Профессор посмотрела в потолок и, махнув рукой, сказала: «Товарищи, поверьте моему опыту, что еще ни одна работа не была написана в мае». Она по-прежнему растягивала слова, у нее это получалось очень внушительно. Очевидно, она намекала на то, что май — весенняя пора, прекрасная и неповторимая. Татьяна вздохнула.

Татьяна спросила у Саши, над чем он работает. Он

ответил, заметно оживившись. Татьяна слушала внимательно. То, что он говорил, было очень интересно.

— Мне для этой работы, чтобы кончить, нужна одна штука,— как будто пожаловался Саша и улыбнулся застенчивой улыбкой,— книги, понимаешь. Но за ними далеко ехать. Денег на дорогу нет,— он сморщил нос и чихнул.— Вот и правда,— засмеялся он.

«Тронутый,— ласково подумала Татьяна.— Интересно, куда ему надо ехать».

Неожиданно Саша предложил ей помощь, у него была подобрана литература по ее курсовой теме.

— Когда-то я этим занимался... Я сразу о тебе подумал,— сказал он. Он мог говорить о науке «когда-то».

— Я зайду к тебе вечером и перепишу, можно? — обрадовалась Татьяна.

— Конечно, но учти, что я живу у черта на куличках.

Вечером, идя к Саше по одной из дальних линий Васильевского острова, Татьяна думала о себе с неудовольствием. Что-то дрогнуло в ее сердце отличницы, когда Саша сегодня рассказывал о своей работе. Ей было грустно и тревожно. О Саше она думала: «Прекрасный парень». Для нее было неожиданностью, что он так, по-товарищески, предложил ей помочь. Он казался ей всегда эгоистом, целиком занятым своими заумными сверхучеными изысканиями.

Она волновалась, переступая порог Сашиного жилища,— наконец она узнает его тайну, тайну алхимика, как готовят золото. Он владел этой тайной, она не сомневалась.

Саша открыл ей дверь, на нем был малиновый лыжный костюм, стариковские шлепанцы, горло было обмотано шарфом. Он извинился: «Я занят, у меня ученик» — и повел Татьяну через комнату, где за обеденным столом сидел мальчик примерно девятого-десятого класса, в другую комнату, где никого не было. Маленькая комнатка была завалена книгами, а на письменном столе лежали ворохи бумаг и стояла тускло сверкающая черная пишущая машинка. Татьяна сразу обратила внимание на эту машинку.

— Садись за стол, переписывай, а если умеешь печатать на машинке, печатай. У меня ученик,— Саша дернул за конец шарфа и пошел к дверям.

— Чему ты его учишь? — спросила Татьяна.

— Всему: русскому, французскому, в институт готов-

лю. Большой балбес.— И Саша зашаркал прочь из комнаты.

Татьяна посмотрела на него и сказала:

— Горло надо полоскать йодом с содой.

Она села к столу и огляделась. В комнате ничего не было, кроме дивана и двух стульев. Остальное — книги. На подоконнике, на грубых полках по стенам, на полу.

Она стала разглядывать пишущую машинку, маленькие рычажки, круглые клавиши, твердый резиновый валик. Пишущая машинка! Это она решительно выделяла Сашу среди остальных студентов. Еще бы, все приносили свои сочинения, написанные дрянным почерком, любой преподаватель мучился, разбирая, что написано. А Саша сдавал свои работы отлично отпечатанными на машинке, приятно взять в руки, удовольствие читать. Серьезно, солидно.

Ей безумно хотелось попробовать попечатаť на машинке, хотя она в жизни не печатала. Она взяла лист чистой бумаги. Довольно легко лист вставился в машинку. «Ничего особенного», — сказала Татьяна. Она медленно стала нажимать на клавиши, с силой выдавливая каждую букву. Вначале слова сливались в одну строку, строки набегали друг на друга, но все-таки все можно было понять. Это было удивительно. Татьяна улыбалась от удовольствия. Такие пустяки, такая приятная работа, и в результате напечатанная страница.

Вдруг она поняла, что ничего на свете не хочет так, как иметь собственную пишущую машинку. Это было настолько определенное и сильное чувство, что давняя мечта о сером костюме с черной блузкой, как у женщины-профессора, не шла с ним ни в какое сравнение. Если бы у нее была пишущая машинка, она очень быстро написала бы курсовую работу. Если бы у нее была такая вот черная, тускло блестящая пишущая машинка, слегка пахнущая автобусом! Пускай не такая — это, наверно, была очень хорошая и дорогая, — пускай похуже, какая-нибудь старенькая, только бы она печатала. Впрочем, у этой машинки была одна неисправность: буква «а» получалась выше, чем остальные буквы, прыгала, но это даже выглядело веселее.

Татьяна быстро постучала по клавишам без разбору. Можно было научиться печатать очень быстро. Тогда она свои и без того аккуратные конспекты все бы перепечатала. Она закончила вкривь и вкось один лист и на всякий

случай спрятала его от Саши. Конечно, это было нахальство, что Татьяна стала печатать на машинке, но она не в силах была бороться со своим желанием. И она нажимала на гладкие круглые теплые клавиши, и выходили черненькие ровные букочки, одна за другой, одна за другой. Она печатала очень медленно, во-первых, потому, что с трудом находила буквы, они располагались не в алфавитном порядке, как следовало ожидать, а как-то бессистемно, а во-вторых, потому, что боялась испортить что-нибудь в этом драгоценном и совершенном механизме. Когда строчка подходила к концу, раздавался нежный, мелодичный звоночек, словно звенел волшебный серебряный колокольчик.

Заглянул Саша, улыбнулся и зевнул. Видно, ему было скучно заниматься с учеником. У Саши одна щека была красной: наверно, он подпирал ее рукой.

— А куда тебе надо ехать? — спросила Татьяна.

— В Москву, — Саша вздохнул.

— Это что, обязательно?

— Конечно нет! — Он подергал носом, у него была такая привычка, и засмеялся: — Но желательно. Я бы тогда закончил работу так, как мне надо, понимаешь?

Татьяна смотрела на него с уважением.

— Хочется, — сказал он и ушел к своему ученику.

Татьяна перепечатала список книг, данный ей Сашей, руки у нее устали, лицо горело. Напоследок она напечатала свое имя и фамилию и, вытерев машинку чистым носовым платком, встала из-за стола.

— Ложку соды, пять капель йода на стакан теплой воды, — сказала Татьяна на прощанье Саше. — Спасибо.

— Если тебе чего-нибудь еще надо, Танечка, приходи. Всегда рад.

Возвращаясь домой, она думала только о машинке, вспоминала, как печатала, вспоминала стук машинки, коротенький, деловой. Быстрота, техника! Потом это чисто физическое очарование пишущей машинки отбилось на задний план, и она стала думать о тех необозримых практических возможностях, которые открывает пишущая машинка своему владельцу. Если бы у нее была пишущая машинка! Она слегка шевелила пальцами рук, всеми десятью, хотя печатала только двумя указательными. Руки приятно ныли...

С того дня Татьяна стала грезить пишущей машинкой. Она узнала названия пишущих машинок. Идя по улице,

прислушивалась, не стучит ли где пишущая машинка. Заходила в деканат и останавливалась около машинистки, смотрела, как она работает. Втайне она ждала чуда, что ей свалится в руки пишущая машинка. В двадцать лет бывает, что человек засыпает даже не с надеждой, а с уверенностью, что утром случится чудо. Она искала знакомых с пишущей машинкой, чтобы попросить попечатать. Тут она заметила, что люди не любят давать печатать на своих пишущих машинках. Это ее огорчало, но не удивляло. Свою пишущую машинку она бы тоже жалела и берегла.

Несколько раз она одевалась получше, чтобы ее можно было принять за солидного покупателя, заходила в магазины и пробовала пишущие машинки, с видом человека, который намерен выписать чек и заплатить деньги в кассу. У нее завелся один знакомый молодой продавец, который все советовал покупать не портативную машинку, а канцелярскую, на полный развернутый лист, уверяя, что такая машинка лучше, или, как он говорил, интереснее. Но Татьяна не хотела такую, она хотела маленькую, портативную машиночку, которую можно было взять в руки и ехать с ней куда угодно. Куда ехать, было неизвестно, но с машинкой она бы не расставалась.

Жизнь остановилась, уперлась. Нужны были деньги. Машинку можно купить, как достать денег? Где найти, взять в долг, заработать? Последнее подходило больше всего, но как? Жизнь без машинки кончилась, и только с машинкой могла начаться новая, прекрасная.

Татьяна вспомнила Сашу. Нужно было найти ученика. Она могла бы давать уроки английского языка какому-нибудь оболтусу. Где найти подходящего оболтуса? Татьяна прилично знала английский язык. Ей представлялся какой-нибудь шестиклассник, похожий в школьной форме на новобранца, голова круглая, пальцы в кляксах. «Иди вымой руки!», «Сиди спокойно!» Или вроде того ученика, который был у Саши. Она бы справилась, готовилась бы сама к урокам. Поднажать — и будет пишущая машинка. В жизни нет ничего невозможного.

Помог Саша. Услышав, что Татьяна ищет ученика, он сказал:

— Да? Да? Тебе нужны деньги? Я спрошу, узнаю, я постараюсь.

Ученик, присланный Сашей, пришел к Татьяне домой и оказался страшно высоким молодым человеком лет тридцати. Увидев его, Татьяна растерялась и хотела отказать-

ся от занятий. Но пишущая машинка... тогда все рушилось.

Ученик смущался и от смущения покашливал. Татьяна посоветовала ему пить горячее молоко. Она хотела сказать эту фразу по-английски: «Если у вас кашель, то пейте горячее молоко», но забыла, как по-английски «кашель». «Если у вас болит горло...» — хотела она сказать, но не сказала. Горячее молоко тогда пить было не нужно, а нужно было полоскать горло водой с содой и йодом, но она не знала, как по-английски «сода», «йод» и «полоскать».

В общем, первый урок прошел позорно. Татьяна была уверена, что второго не будет, ученик не придет.

Ученик пришел. Это был удивительный ученик, прекрасный и неповторимый. Все надежды Татьяны сосредоточились на нем. Он был очень застенчив, возможно из-за своего плохого английского произношения, может быть из-за своего роста. По профессии он был астроном. У него было такое выражение лица, как будто он хотел сказать Татьяне: «Не беспокойтесь, вы замечательная учительница».

Но Татьяна беспокоилась. Она боялась, что ученик откажется от уроков и она никогда не купит пишущую машинку. Она старалась изо всех сил. Она тщательно готовилась к урокам, зубрила слова и репетировала перед приходом ученика английские фразы. Ей казалось, что ученик что-то хочет ей сказать, но не решается. Возможно, он не мог больше заниматься. Она не спрашивала. Они изучали учебник, параграф за параграфом, методично и неукоснительно, как все, что делала Татьяна.

Спустя месяц ученик, справившись со своим поразительным смущением, сказал, что ему совсем не нужно читать учебник, а нужно переводить астрономические статьи срочно.

Тогда Татьяна погрузилась в астрономию и английские словари. Небосвод и звезды, далекие миры приближали ее к мечте — маленькой, черной, тускло сверкающей машинке. Собственно говоря, уже можно было начинать подыскивать машинку.

Ученик и Татьяна читали статьи в журналах с яркими обложками. Кстати, она поинтересовалась, нет ли у астронома пишущей машинки. У него не было. Но для астронома пишущая машинка не обязательна, ему скорее нужен телескоп.

А ей нужна была пишущая машинка, только пишущая машинка и больше ничего. День покупки, день исполнения желаний приближался.

Однажды Саша не пришел на лекции. Вечером Татьяна пошла к нему узнать, что случилось. Ей сказали, что он уехал в Москву.

Саша все-таки поехал в Москву ради нескольких книг, которые были нужны для его работы. Он был настоящий ученый, с горячим сердцем. Татьяна думала об этом, идя домой. Она вспомнила, с какой неохотой поднимался Саша со своего места, когда раздавался звонок в библиотеке перед закрытием. А она писала без увлечения, потому что надо.

Но теперь, когда у нее будет пишущая машинка, все изменится.

Знакомый продавец, который уговаривал купить канцелярскую машинку, теперь, когда она пришла с деньгами, опять попытался спихнуть ей какую-то гадость. Но Татьяна была начеку и не дала себя обмануть. Продавец хвалил — редкая машинка, пятая модель. Только что без футляра.

Ни за что! Только с футляром. Еще одна — нестандартный шрифт. Смешно говорить — только стандартный, самый стандартный. Вам что, для учреждения? Для себя.

Наверно, можно было подождать, прийти в другой раз, но она не могла ждать. Машинка хоть как-то приблизила бы ее к Саше.

Татьяна пересмотрела все машинки, выстукивала на каждой свое имя и фамилию и просто буквы, как попадали пальцы — апръгк.§:» — !/%.№опк. Это было наслаждение. Она выстукивала названия звезд и планет — Сириус, Андромеда, Кассиопея, Марс.

Что-то все было не то, что-то не нравилось, главным образом звук, стук. Она различала звучание машинки, как музыкант различает звучание инструмента. Ей хотелось звука чистого и ясного, как идеально взятая нота.

Осталась последняя машинка. Продавец определенно не хотел эту машинку показывать, и Татьяна следила, чтобы он не убрал ее с прилавка. Татьяна сделалась подозрительной. Машинка была в потрепанном футляре, но, когда с нее сняли уродливую оболочку, Татьяна поняла, что эту машинку она купит. Тихим голосом она осведомилась о цене и коснулась клавиш. Звук был глухой и чистый. Это стояла ее машинка. Она была очень похожа на Сашину

машинку, родная сестра. Татьяна напечатала слова «История вопроса». Так назывался первый раздел ее еще не написанной курсовой работы.

Продавец побледнел и сказал, что у этой машинки какие-то части из пластмассы.

— А из чего же, по-вашему, они должны быть? — спросила Татьяна.

— Из металла. Только из металла.

— Но мне как раз больше нравится из пластмассы,— ответила она, держа руку на приятно охлаждающем корпусе машинки, и потребовала чек. У бедного продавца были голубые глаза, выющиеся волосы и авторучка в кармане на груди. Он безропотно выписал чек, Татьяна победила.

Говорят, что человек всегда испытывает легкое разочарование, достигнув желаемого. С Татьяной этого не случилось. Машинка с каждой напечатанной строчкой казалась все чудесней. В первый день владения машинкой Татьяна написала (напечатала) письма людям, которым вообще никогда не писала. В ее машинке прыгала кверху буква «а», и Татьяну это радовало. Машинка была точь-в-точь как у Саши.

После лекций Татьяна стремилась к машинке, как спешат к живому любимому существу. Ей все время хотелось печатать.

Она стала быстро писать курсовую работу. Из книг, которые советовал прочитать Саша, она успела прочитать две или три, писала без особенной подготовки. Но писалось легко под аккомпанемент пишущей машинки.

Через две недели она принесла в университет свою работу, отлично отпечатанную на машинке, и отдала руководителю семинара в один день с Сашей, и это было не совпадение, а просто последний день, когда принимали работы. Татьяна всегда сдавала все работы в срок, что касается Саши, то он иногда опаздывал.

Саша пришел подтянутый, свежевыбритый, в белой рубашке с галстуком, для него это было событие. Как всякий человек, которого обычно видишь небрежно одетым и небритым, он в этот день выглядел почти торжественно. Круглые черные глаза блестели на худом лице. Когда радуется серьезный, редко веселящийся человек, это всегда заметно. Он делает это неловко и трогательно. Саша разговаривал громче обычного, у него горели щеки, он волновался.

Татьяна улыбнулась Саше,— он мог не сомневаться,

что его работа окажется прекрасной, выдающейся, ее рекомендуют опубликовать в университетском сборнике, о ней будут говорить. Татьяна знала это, недаром она следила за Сашей в Публичной библиотеке и была у него дома, в комнатухе, заваленной книгами. Он съездил в Москву, а этого уж никто не сделал. Кроме того, он печатает свои работы на пишущей машинке, а это тоже кое-что значит.

Татьяна нагнулась к столу профессора, чтобы сравнить, чья работа напечатана лучше. То, что она увидела, поразило ее. Сашина работа была написана от руки, острым, косым неразборчивым почерком!

Профессор тоже удивилась:

— Вы всегда печатали на машинке, а на этот раз нет.

Саша улыбался сдержанно-торжественной, счастливой улыбкой:

— На этот раз нет. Но это не имеет значения.

— Конечно, конечно,— любезно сказала профессор.

Татьяна взволнованно переводила взгляд со своей курсовой работы на Сашину. Ее сочинение, которое она не переоценивала, пустяковое сочинение, было напечатано на машинке с весело танцующей буквой «а». На Сашиной машинке! Значит, Саша продал свою машинку, чтобы поехать в Москву, чтобы прочитать нужные ему книги и закончить свою работу, написанную от руки. Значит, машинка значила для него меньше, чем эти книги, меньше, чем его работа. Машинка для него ничего не значила.

— Саша, ты продал свою машинку? — спросила Татьяна.

Саша посмотрел на Татьяну исподлобья.

— Ну чего ты кричишь?

— Значит, ты продал свою машинку, чтобы...

— Танечка, ну чего ты кричишь? — Саша весело улыбался.— Разве в машинке дело. Почему ты придаешь этому такое значение? Подумаешь, событие. Продал и продал. Зато смотался в Москву.

По лицу Саши, по его улыбке Татьяна видела, что его интересовало только одно, как получилась его работа, и ничего больше.

— Танечка, почему ты такая красная, ты не заболела? — заботливо спрашивал Саша, взяв ее за руку.— Проводить тебя домой? Ты, наверно, устала, тебе надо отдохнуть.

Но она не устала, она без труда написала курсовую

работу, за которую, вероятно, получит обычную пятерку, потому что написано грамотно, все, что полагается, и к тому же красиво напечатано на машинке. Татьяна выдернула руку и убежала из университета домой.

Дома она быстро обтерла машинку — Сашину машинку! — и поставила в потрепанный футляр. Она торопилась. Не потому, что боялась раздумать, а потому, что хотела скорее поставить машинку на Сашин стол, на то место, где она стояла и должна была стоять, среди его книг и бумаг.

«Кто ты такая, интересно, чтобы делать такие подарки? — представился ей возмущенный голос матери. — У тебя нет пальто, туфель...» Воображаемый голос матери спрашивал: «Кто он тебе? Почему ты это сделала?» Татьяна засмеялась. Она не знала, что она ответит матери, но знала, что скажет Саше, если он будет дома: «Вот твоя машинка».

Лучше, конечно, чтобы его не было дома. Она села в трамвай. Она улыбалась, прижимая к себе машинку. Она сожалела только, что не успела починить веселую, прыгающую букву «а».

Она любила, чтобы все было исправно и стояло на своих местах.

ТРИ ДНЯ, ТРИ ЗВОНКА



некоторых пор я езжу в Ленинград в одно учреждение, с которым связана по работе. А живу в Москве.

Останавливаюсь в гостинице, учреждение имеет бронь. В Ленинграде я родилась и выросла.

Гостиница — странная штука. По утрам в гостиничной жизни есть что-то бодрящее, как кефир, который пьют отдохнувшие за ночь командированные. Но по вечерам все иначе.

То был вечер, к тому же субботний. Из коридора доносилось бряканье посуды, веселье, рождаемое телевизорами. Звучали возбужденные голоса тех, кто как умел справлялся со своей субботней неприкаянностью.

Я сидела за письменным столом у телефона, раскрыв записную книжку на букву «Л». В какую-то из командировок я купила ее, похожую на кусочек мыла, и заполнила особым способом, по городам. Это решительно негодная и неудобная система, если жизнь твоя записывается вся целиком на буквы «Л» и «М». Алфавитный порядок пришлось смять и заползти на другие буквы.

Такая естественная и простая вещь — позвонить и сказать:

— Угадай, кто говорит?

А я медлила.

У многих в жизни бывает уход. Я тоже уходила, уезжала, убегала, меняла местожительства, профессию, друзей, ни у кого ничего не спрашивала, ни с кем не советовалась. Надо было уйти — я ушла. Все сделала по-своему, все забыла, что смогла, не заметила, как пролетело десять лет, потом еще десять...

А потом захотела вернуться... Улица моя ленинградская меня приняла. Другие улицы, сады и площади тоже, приласкав уже тем, что не изменились. Родственники, обиженные мною, приняли, забыли обиды. Однако родственники добры, а улицы равнодушны. Но в этом городе когда-то у меня были друзья...

Я набирала номер, про который только думала, что его забыла. Он был занят сейчас, как и тогда. Наконец я услышала родной голос, — на букву «Л» все родное, и смех, и никакого удивления, как будто моего звонка ждали если не последние десять лет, то последние два часа.

— Дуреха, дуреха, феноменальная дуреха...— сказала Лариса.— Раньше не могла позвонить, свинюшка. Ты откуда? Ты же... ты... за тридевять земель...

А голос был по-прежнему чудесный. Этим чудесным голосом она теперь читает лекции студентам в аудиториях, где нам читали лекции другие голоса. Почему я раньше не позвонила? Простой вопрос, ответа на него нет.

Я попыталась шутить, мне это обычно не удается.

— Ты толстая или худая?— наконец услышала я вопрос, на который могла дать толковый, обстоятельный ответ.

— Средняя,— сообщила я,— а была как бочка. Удалось сбросить пятнадцать кэгэ.

— Без ущерба для красоты и здоровья?— спросил чудесный смеющийся голос.

Но я была недоступна юмору.

— Потом я опять прибавила, и в конечном счете... Слушай, а когда мы увидимся?— сказала я, а сама подумала: «И увидимся ли вообще?»

— Сейчас я иду на день рождения знаешь к кому? К Надюше Журавлевой.

Что-то черноглазое, веселое было связано с этим именем, но и какие-то неурядицы, неустроенность, и что-то еще важное, но что, я не помнила.

— Она теперь живет на краю света, в новом районе. Я одеваюсь,— сообщила Лариса.

И я увидела, как она готовится к вечеру, наряжается. Она не была франтихой, но, подобно мужчине, умела в праздник выглядеть особенно торжественно. Понимала праздникам цену. Я увидела, как она стоит перед зеркалом, хмурится и скоро станет такой, которую хочется выбрать в президиум.

— Надюша Журавлева, какая она теперь?— медленно, все еще на ощупь, спросила я.

— Замечательная, как всегда,— ответили мне, как будто закрыли дверь.

Все правильно, я заслужила.

— Когда ты уезжаешь?— спросила Лариса.

Чуть заметная скука скользнула в вопросе, чуть заметное нетерпение. Или мне показалось? Я уезжала послезавтра, в понедельник, когда подпишу документы.

— Завтра? Нет. Я обещала Надюше навестить ее брата...

Вот то, что я забыла в жизни веселой Надюши,— у нее

был любимый больной брат, он по-прежнему жив, по-прежнему болен. Все живы...

— А хочешь так? Надюша живет в новом районе. У меня заказано такси, я за тобой заеду, мы по дороге поболтаем, туда ехать почти час. Обрато вернешься на этой же машине. Заодно посмотришь новый район.

Всегда она умела так говорить, каждая фраза несла информацию или мысль. Не то что у других: много слов, а мысль одинокая, едва различимая.

Однако мотаться в такси мне не захотелось. Мы договорились на понедельник на семь вечера.

Я осталась в своем номере, а она поехала, с каждым километром долгой дороги становясь все торжественнее. Я представляла себе это так ясно, как будто все-таки села в то такси. А на последнем километре она умела по-спортивному выложиться до конца и войти весело, как ленточку рвануть грудью. Так она, наверно, теперь входила в аудитории, где ее ждали студенты. Так сегодня войдет в комнату, где уже собрались гости.

Чего я, собственно, желала? Чтобы она к Надюше не ехала или чтобы меня позвала с собой? «У меня сюрприз»,— сказала бы, улыбаясь, хозяйке. И та бы улыбнулась в ответ. А я бы работала сюрпризом. Глупость. Но не исключено, что я этого хотела. Если судить по обиде, которую ощущала и которая не проходила, не уходила и хотела со мной поговорить.

— Ну чего ты радио-то ломаешь?— сказала моя Обида.— Радио не виновато, оставь его в покое, ты от него ничего не добьешься. Жизнь идет и не останавливается по требованию, как автобус. Не остановятся именины, не остановится суббота, чтобы тебя подобрать. Тебя подбери, а потом ты опять захочешь выскочить на ходу. Ты ненадежна, ты...

— Кто старое помянет... и притом это мой родной город,— заметила я.

— Ну и что?

— Суббота...

— Привязалась к субботе.

Какая-то зловредность почувствовалась мне и не понравилась. Я эту Обиду отмечаю, прогоняю, разговаривать с ней не хочу. Но разговаривать больше было не с кем. Никого тут не было, только Обида сидела, как барыня, в красном поролоновом кресле, развалясь, и единственный способ покончить с нею было набрать еще один телефонный номер.

...Анечка меня не узнала, и я ее тоже. Но потом я стала ее голос узнавать. И не столько голос, сколько знаки препинания, которые она всегда как-то удивительно вставляла в свою речь. И сейчас, по прошествии стольких лет, многоточия, восклицательные знаки, точки с запятой и тире хозяйничали в ее речи как хотели.

— Ты? Ты! Ты... вот уж поистине неожиданно. Неожиданно? Да? — говорила Анечка. — Даже не знаю, что сказать. Я очень рада! Не ждала... Сколько времени прошло... Странно даже, что ты? Вдруг? Позвонила? Неожиданно? — В этом месте она тоже воткнула вопросительный знак. — Неожиданно... — Тут она поставила многоточие на четверть минуты. — Не знаю, о чем спрашивать, что рассказывать. Что тебя интересует?.. Мы взрослые. Может быть, мы даже старые? Хотя ты, конечно, скажешь, что нет. Другие... У меня сын и дочь!

В полном беспорядке раскидала она знаки препинания и замолчала.

— У меня сын, — сообщила я и посмотрела на кресло. Обида сидела и внимательно слушала.

— Как себя чувствует твоя мамочка? Я ее видела несколько лет назад, когда она еще жила в Ленинграде. Как она в Москве? Привыкла? — спросила Анечка.

— Не надо было уезжать. Это была ошибка.

— Наверно... Я тоже так думаю. Корни? — сказала Анечка.

Я спросила:

— Как ты?

— Хорошо. Врач-эпидемиолог. Работаю в институте. Защитилась.

— А муж?

— Защитился. Доктор.

— Наук? Чего он доктор?

— Доктор всего, — засмеялась Анечка.

Все кандидаты, все доктора, с гордостью подумала я, как будто это была моя заслуга, я их так воспитала.

Анечка молчала. Я слышала, как она там возится со знаками препинания.

— Ты меня извини. Я вот о чем подумала. Может быть, я могу быть тебе чем-нибудь полезна? — наконец выжала она из себя, и в этой фразе все знаки препинания были расставлены правильно.

Я ответила:

— Может быть.

— Пожалуйста, скажи,— попросила Анечка, заведя разговор в такой тупик, из которого было не выбраться. Обида кошкой рванулась ко мне с кресла. «Ладно, ладно»,— сказала я и кинула ее обратно.

Я не звонила Анечке сто лет. Она была вправе решить, что мне чего-то надо. Но чего? Выведать, как эпидемиологи предотвращают эпидемии? Но я лишь минуту назад узнала, что она эпидемиолог. И притом у меня в Москве есть знакомые эпидемиологи, уж в крайнем случае они могут рассказать, как там и что. Может быть, она решила, что я к ней за воспоминаниями? Но я никому не собиралась предлагать погружаться в прошлое, как под воду без маски. У всех дела еще были на поверхности, у меня тоже.

— Чего молчишь?— спросила Анечка, стукнула трубкой, и оттуда посыпались звуки субботнего веселья, музыка, голоса.

Я поняла, что надо отпустить ее. Но Анечка тоже что-то поняла, даром что телефон работает на слабых токах. Слабые, слабые, не такие они и слабые.

— Вот что, послушай,— сказала Анечка четко и засадила точку.— Приезжай. У нас неожиданно гости. К дочке сейчас придет орава чешских студентов. Будут и наши чешские коллеги. Я накрываю на стол. Понятия не имею, чем буду их кормить.

— Сколько будет всего чехов?

— Шесть, семь, восемь...

— Мало,— сказала я.

Она засмеялась.

— Вас понял. Если все это не слишком поздно кончится, я не буду мыть посуду, а приеду к тебе в гостиницу.

Так завершился второй звонок, и я, не оглядываясь на кресло, чтобы не видеть сверкающие зеленые глаза подружки моей Обиды, набрала третий номер. Три попытки даются каждому, и было еще не поздно. Чешские студенты еще не пришли к Анечкиной дочери, коллеги еще любовались набережными и мостами, такси с Ларисой еще пробирались по дорогам и пустырям.

— Угадай, кто говорит,— предложила я.

Он угадал.

— Спасибо тебе, что позвонила. Я очень тронут. Благодарен тебе за звонок.

Чарующая вежливость старинного, немного книжного образца отличала его и раньше, и слабые токи телефона принесли ее в номер откуда-то с Петроградской, как тонень-

кую мелодию, слышанную давно, возможно, вместе с ним в зале филармонии.

— Ты бы не мог приехать? Прошлись бы по Невскому, подышали.

— Понимаешь, какая глупость, я стою в комбинезоне, заляпан мемом, чудовищно небрит. У меня ремонт.

— Сам, что ли, делаешь?

— Может быть, и не сам, но...

— Понимаю. Твое присутствие необходимо.

— Сформулировано по обыкновению точно. Времени, видишь ли, мало. Всего два дня.

— А потом что?

— Понедельник.

Его понедельники были заполнены работой до отказа, когда он был еще лейтенантом. А теперь он полковник, какие же теперь у него понедельники? Я представила себе, как он двигает тяжелые предметы, он мастер их двигать, как он мажет, красит, белит, увлекая своим примером неторопливых маляров.

— Куда ты пропал? — спросила я с нежностью.

— Думаю. Знаешь, я приеду. Только побережусь.

Но я сказала, что уезжаю сию минуту, что я пошутила, но скоро приеду опять, и тогда мы обязательно встретимся.

В понедельник я закончила дела, сложила подписанные бумаги, всех заверила, что столичные коллеги со сроками не подведут (не подводили раньше), со всеми попрощалась.

Приготовила для встречи с Ларисой последние до поезда четыре часа. Четыре часа — как четыре стены и белый потолок над ними.

В семь позвонила. Женский голос ответил, что Лариса Федоровна еще не пришла с работы. Через полчаса тот же голос повторил те же слова, которые отличались от семичасовых тем, что были неправдой.

Человеку надо умыться и поесть после рабочего дня, и я позвонила позднее. Трубку взяла Лариса, и я сразу поняла, что она без сил, сидит в кресле, курит, истратив за день все свои запасы торжественности и шутливости. Даже голос ее прекрасный кончился. Она шептала таинственным бронхитным шепотом:

— Это чепуха, чепуха, к вечеру это у меня часто бы-

вает. Чепуха. Было бы странно, если бы не было. С восьми часов лекции плюс практические занятия. Если бы меня спросили, как я представляю себе счастье, я бы ответила, что счастье — это молчание. А сейчас еще явится дипломник, милый мальчик с неразбуженным интеллектом.

Достаточно было прикоснуться к полузабытому слову «дипломник», и я представила себе, как он входит, неся под мышкой в аккуратной папке свое будущее. Мои четыре часа, теперь уже три, уйдут на дело высшего образования.

— Вот он звонит. Прошу,— это ему, розовощекому лодырю, хриплым, но радостным голосом.— Видишь, он уже тут,— это больным, иссякающим шепотом мне.— Ничего не напишешь. Давай свои московские координаты. Буду в Москве, обязательно позвоню.

«Обязательно позвоню» переводится «не позвоню».

Обида моя тут же явилась, и была она сегодня не нахальная, а серьезная, грустная.

— Не устраивай, пожалуйста, трагедий,— сказала я ей.— Постарайся без нервов, будь умной. У всех своя жизнь, своя работа. У меня тоже, не приставай, уйди, уйди.

Так окончились три дня. Три звонка...

Перед самым уходом из гостиницы я позвонила Гале, она была единственным человеком, которого удалось не потерять. Моей заслуги в том не было, я бы и ее потеряла, но она не потерялась.

Я просила ее не приезжать на вокзал, не провожать.

— Какой вагон? — спросила Галя.

И вскоре возникла у поезда с веником багульника, цветущего слабыми крепдешинowymi цветочками.

Галино широкое лицо сельской учительницы-красавицы в очках мелькнуло последний раз в окне, поезд легко взял с места и покатил легко. Шестьсот километров — это совсем немного, если знать, что и предстоят шестьсот.

Поезд шел, даря пассажирам ночь, передышку, состояние невесомости. Даря возможность о чем-то подумать, что-то понять. Поезд шел и соединял разбросанные части воедино.

В купе багульник стал пахнуть малиной, сосной, кувшинками, корюшкой, дождем, морем.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

Сокровища на земле	4
Никто никогда	128
Вся жизнь плюс еще два часа	242

РАССКАЗЫ

Как ты живешь, моя первая любовь?	394
Федоров и Таня	405
Сестры	415
Пыль и ветер	422
Девочка и нефть	432
Этот Еремеев	441
По семейным обстоятельствам	451
Пишущая машинка	459
Три дня, три звонка	472

